ИСПОВЕДАЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ

SHOUT
SHARE
IT

- Исповедальные беседы
  -
  - ЛАТЕРНА МАГИКА[1]
    -
    - * * *
    - * * *
    - * * *
    - * * *
    - * * *
    - * * *
    - * * *
    - * * *
    - * * *
    - * * *
    - * * *
    - * * *
    - * * *
    - * * *
    - * * *
    - * * *
    - * * *
    - * * *
    - * * *
    - * * *
    - * * *
    - * * *
    - * * *
  - ДЕТИ ВОСКРЕСЕНЬЯ[80]
    -
    - * * *
    - * * *
    - * * *
    - * * *
  - ИСПОВЕДАЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ[83]
    - БЕСЕДА ПЕРВАЯ (ИЮЛЬ 1925 ГОЛА)
    - БЕСЕДА ВТОРАЯ (АВГУСТ 1925 ГОЛА)
    - БЕСЕДА ТРЕТЬЯ (МАРТ 1927 ГОДА)
    - БЕСЕДА ЧЕТВЕРТАЯ (МАЙ 1925 ГОЛА)
    - БЕСЕДА ПЯТАЯ (ОКТЯБРЬ 1934 ГОДА)
    - ЭПИЛОГ-ПРОЛОГ (МАЙ 1907 ГОЛА)
  - СОДЕРЖАНИЕ

- Редакционно-издательский комплекс «Культура»
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33
  - 34
  - 35
  - 36
  - 37
  - 38
  - 39
  - 40
  - 41
  - 42

- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86

Исповедальные беседы

Книга объединяет три шедевра Бергмановской прозы: воспоминания «Латерна магика», уже издававшиеся па русском языке отдельно в 1989 г.; романы «Дети воскресенья» и «Исповедальные беседы», публикуемые книгой впервые. Выдающийся шведский режиссер театра и кино предельно открыто рассказывает в них о себе, о своей жизни в искусстве и размышляет о многих проблемах семьи и общества.

Для широкого круга читателей.

Бергман Ингмар

ЛАТЕРНА МАГИКА[1]

К моменту моего появления на свет в июле 1918 года мать болела «испанкой», я был очень плох, и потому меня вынуждены были крестить прямо в больнице. Наш старый домашний врач, зайдя как-то навестить семью, осмотрел новорожденного и заявил, что младенец может погибнуть от истощения. И тогда бабушка (со стороны матери) забрала меня с собой на дачу в Даларна. В поездке — а в то время такое путешествие занимало целый день — бабушка кормила меня бисквитом, размоченным в воде. Когда мы добрались до места, я едва дышал. Бабушка все-таки не теряла надежды и нашла кормилицу — славную светловолосую девушку из соседней деревни, я начал прибавлять в весе, но при этом постоянно мучился болями в животе и рвотой.

Кроме того, меня то и дело настигали какие-то непостижимые болезни, и я никак не мог решить, стоит ли мне продолжать жить. Где-то в глубине сознания живет память о моем тогдашнем состоянии: вонь от выделений тела, влажная, натирающая кожу одежда, мягкий свет ночника, приоткрытая дверь в соседнюю комнату, тяжелое дыхание няньки, крадущиеся шаги, шепчущие голоса, солнечные зайчики на графине с водой. Все это я помню. Не помню лишь чувства страха. Оно появилось позднее.

Окна столовой выходили на темный задний двор, обнесенный высокой кирпичной стеной. Там — уборная, мусорные баки, стойка для выбивания ковров, жирные крысы. Я сижу на чьих-то коленях, меня кормят молочной смесью. На серой клеенке с красным кантом стоит эмалированная миска — голубые цветочки на белом фоне, — в которой отражается скупой свет из окна. Я наклоняюсь в разные стороны, пробую различные углы зрения. С каждым поворотом головы отражения в миске меняются и образуют новый рисунок. И вдруг начинается рвота.

Это, по всей видимости, мое самое раннее воспоминание — мы жили тогда в угловом доме на перекрестке улиц Шеппаргатан и Стургатан, на втором этаже. Осенью 1920 года мы переехали на Виллагатан, 22, в районе Эстермальма[2]. Квартира пахнет свежей краской и натертым паркетом. В детской пол покрыт ярко-желтым линолеумом, на окнах светлые опускающиеся шторы, на которых нарисованы рыцарские замки и полевые цветы. У матери мягкие, нежные руки, она никуда не спешит, часто рассказывает сказки. Отец, как-то раз вставая утром с кровати, опрокидывает ночной горшок и кричит: «Поцелуй меня в задницу!» В кухне, напевая, хозяйничают две девушки из Даларна. По другую

сторону лестничной площадки живет моя однолетка по имени Типпан. Она горазда на выдумки и предприимчива. Мы с ней сравниваем строение наших тел и обнаруживаем интересные различия. Кто-то застает нас за этим занятием, но ничего не говорит.

Появляется на свет моя сестра, мне четыре года, и положение радикально меняется: главную роль вдруг начинает играть эта жирная уродина. Меня изгоняют из материнской постели, отец сияет от радости, склоняясь над орущим свертком. Демон ревности рвет когтями мое сердце, я неистовствую, рыдаю, делаю кучи на пол и вымазываюсь с ног до головы. Я и мой старший брат, с которым мы обычно смертельно враждовали, заключаем мир и придумываем разные способы, как извести эту отвратительную тварь. Брат почему-то считает меня наиболее подходящей кандидатурой для выполнения нашего плана. Я чувствую себя польщенным, и мы ждем подходящего случая.

Однажды тихим солнечным днем, полагая, что в квартире никого нет, я проскальзываю в родительскую спальню, где в розовой корзине спит это существо. Пододвигаю стул, взбираюсь на него и смотрю на раскормленное лицо и слюнявый рот. От брата я получил четкие инструкции по поводу того, что мне нужно делать, но неправильно их понял. Вместо того чтобы сжать шею сестры, я давлю ей на грудь. Она тут же просыпается с пронзительным криком, я зажимаю ей рот рукой, она таращит свои водянистые голубые глаза, они косят, я делаю шаг вперед, чтобы было удобнее схватить ее, теряю опору и падаю на пол.

Помню, действие это сопровождалось острым наслаждением, которое почти мгновенно сменилось ужасом.

Я склоняюсь над фотографиями моего детства, рассматриваю в лупу лицо матери и пытаюсь пробиться сквозь угасшие чувства. Конечно, я любил ее, она весьма привлекательна на этой фотографии: густые волосы с пробором посередине над низким, широким лбом, нежный овал лица, приветливо изогнутые чувственные губы, теплый, открытый взгляд из-под темных, красивой формы бровей, маленькие сильные руки.

Мое четырехлетнее сердце сгорало от собачьей любви.

Но наши отношения были вовсе не так просты — моя преданность досаждала ей, вызывала раздражение, а проявления нежности с моей стороны н бурные вспышки беспокоили ее. Она нередко отсылала меня прочь холодным ироничным тоном. Я рыдал от бешенства и разочарования. Отношение матери к брату было гораздо проще, поскольку ей все время приходилось защищать его от отца, воспитательный метод которого отличался суровой твердостью и включал в себя жестокие телесные

наказания в качестве непременного аргумента.

Со временем я понял, что мое то сентиментальное, то неистовое обожание не оказывает ровным счетом никакого действия.

С ранних лет я начал искать ту манеру поведения, которая могла бы понравиться матери, привлечь ее внимание. Заболевший немедленно вызывал ее участие. А так как я был болезненным ребенком, страдавшим всевозможными недугами, болезнь стала хотя и неприятным, но зато надежным способом пробудить у нее нежность. Симуляцию же мать распознавала сразу (она была дипломированной медсестрой) и наказывала за нее на совесть.

Другой способ обратить на себя ее внимание был опаснее. Обнаружив, что мать не выносила равнодушия и безразличия — ведь это было ее собственное оружие, — я научился обуздывать свою страсть и повел удивительную игру, главными элементами которой были высокомерие и холодная приветливость. Что уж я там вытворял, не помню, но любовь делает человека изобретательным, и вскоре мне удалось пробудить интерес к моему кровоточащему чувству собственного достоинства.

Проблема заключалась лишь в том, что я так и не получил возможности раскрыть карты, сбросить маску и испытать сладость ответной любви.

Много лет спустя, когда мать лежала в больнице со вторым инфарктом и с трубкой в носу, мы заговорили с ней о нашей жизни. Я рассказал ей о своей детской страсти, и мать призналась, что ее это очень мучило, но вовсе не так, как полагал я. Оказывается, она поделилась своими тревогами со знаменитым детским врачом, и тот в самых серьезных выражениях высказал ей свои опасения (начало 20-х годов). Он посоветовал ей самым решительным образом отклонять мои, как он выразился, «болезненные заигрывания». Любая уступка повредит мне на всю жизнь.

У меня сохранилось отчетливое воспоминание об одном визите к этому врачу. Поводом послужил мой отказ ходить в школу, несмотря на то, что мне уже исполнилось шесть лет. День за днем меня, орущего от страха, втаскивали или вносили в класс. Все окружавшие меня предметы вызывали у меня немедленно рвотный рефлекс, я падал в обмороки, появились нарушения вестибулярного аппарата. В конце концов я победил, и посещение школы отодвинули на неопределенный срок, но визита к выдающемуся педиатру избежать не удалось.

У доктора была большая борода, высокий стоячий воротник, и от него пахло сигарами. Он стянул с меня штаны, взял одной

рукой мой крошечный член, а указательным пальцем другой очертил в паху треугольник и сказал матери, сидевшей наискосок позади меня в отороченном мехом пальто и темно-зеленой бархатной шляпке с вуалью: «В этом отношении ваш сын еще ребенок».

Когда мы вернулись домой после визита к врачу, на меня надели бледно-желтый передник с красной каймой и вышитой кошкой и дали горячий шоколад и бутерброд с сыром, после чего я отправился в отвоеванную детскую — брат болел скарлатиной и жил где-то в другом месте (я, разумеется, надеялся, что он умрет — в то время скарлатина была опасной болезнью). Из шкафа с игрушками я вытащил деревянную тележку с красными колесами и желтыми спицами и запряг в оглобли деревянную лошадь. Угроза посещения школы поблекла, уступив место сладостным воспоминаниям о достигнутом успехе.

Как-то ветреным зимним днем 1965 года в театр позвонила мать и сказала, что отца положили в больницу на операцию по поводу злокачественной опухоли пищевода. Она хотела, чтобы я навестил его. Я ответил, что у меня на это нет ни желания, ни времени, говорить нам с отцом не о чем, он для меня чужой человек и, если я навещу его, лежащего, по всей видимости, на смертном одре, он будет лишь напуган и смущен. Мать разозлилась и начала настаивать. Я, тоже возмущенно, попросил ее перестать играть на моих чувствах. Вечно одно и то же: ну сделай это ради меня. Мать пришла в бешенство и начала рыдать, а я, заметив, что слезы никогда на меня не действовали, бросил трубку.

В тот вечер я дежурил в театре — проверял сцены, беседовал с артистами, проводил в зал зрителей, опоздавших из-за чудовищного снежного бурана. Но большую часть времени сидел в своем кабинете и работал над мизансценами к «Дознанию» Петера Вайса.

Зазвонил телефон, и телефонистка сообщила мне, что внизу стоит фру Бергман и требует свидания с директором театра. Поскольку я знал нескольких фру Бергман, я ворчливо спросил, какая еще, черт возьми, фру Бергман? Телефонистка немного испуганно ответила, что это моя мать и она желает поговорить со своим сыном — немедленно.

Я спустился вниз и привел мать в кабинет — буран не помешал ей явиться в театр. Она тяжел дышала — от напряжения, больного сердца и гнева. Я предложил ей сесть и спросил, не хочет ли она выпить чашку чая. Нет, садиться она и не подумает и чай пить не намерена. Она пришла, чтобы еще раз услышать от меня те оскорбительные, бессердечные и грубые слова, которые я

сказал ей по телефону днем. Она желает посмотреть на выражение моего лица, когда я буду отрекаться от своих родителей и оскорблять их.

На ковре вокруг маленькой, одетой в шубу фигурки образовались темные пятна от таявшего снега. Она была очень бледна, глаза потемнели от гнева, нос покраснел.

Я сделал попытку обнять и поцеловать ее, но она оттолкнула меня и дала пощечину. (Мать умела давать пощечины с непревзойденным мастерством. Удар был молниеносный, левой рукой, и два массивных обручальных кольца оставляли потом довольно болезненное напоминание о наказании). Я засмеялся, а мать судорожно зарыдала. Она опустилась — весьма ловко — на стул, стоявший у большого стола, и, закрыв лицо правой рукой, принялась левой искать в сумке носовой платок.

Сев рядом, я начал уверять ее, что, конечно же, обязательно проведаю отца, что раскаиваюсь в своих прежних словах и прошу ее от всего сердца простить меня.

Она пылко обняла меня и заявила, что ни минутой дольше не будет меня задерживать.

После этого мы пили чай и мирно беседовали до двух часов ночи.

То, о чем я только что поведал, произошло во вторник, а в воскресенье утром мне позвонил один знакомый нашей семьи, который жил у матери, пока отец лежал в больнице, и попросил немедленно приехать — матери стало плохо. Мамин врач, профессор Наина Шварц, уже в пути, в настоящий момент приступ прошел. Я поспешил на Стургатан, 7. Дверь открыла профессор и сообщила, что мать умерла всего несколько минут назад.

К собственному удивлению, я не смог сдержаться и безудержно разрыдался. Но слезы скоро высохли, старая докторша молча держала меня за руку. Когда я успокоился, она рассказала, что агония продолжалась недолго — двумя приступами по двадцать минут.

Спустя некоторое время я остался наедине с матерью в ее тихой квартире.

Мать лежала в кровати, одетая в белую фланелевую ночную сорочку и вязаную голубую ночную кофту. Голова чуть повернута, рот приоткрыт. Темные круги вокруг глаз подчеркивали бледность лица, все еще черные волосы аккуратно расчесаны — впрочем, нет, волосы уже не были черными, они были серо-стального цвета, и последние годы она носила короткую стрижку, но в памяти ее волосы оставались по-прежнему черными, возможно, прореженные седыми прядками. Руки сложены на

груди. На левом указательном пальце белела полоска пластыря.

Внезапно комнату залило ярким светом приближающейся весны. На тумбочке в изголовье усердно тикал маленький будильник.

Мне казалось, что мать дышит, что грудь ее вздымается, что я слышу тихое дыхание, вижу, как подрагивают ее веки, мне казалось, будто она спит и вот-вот проснется. (Моя вошедшая в привычку обманчивая игра с действительностью).

Я просидел там несколько часов. Колокола церкви Хедвиг Элеоноры прозвонили к мессе, перемещался по комнате свет, откуда-то слышались звуки рояля. Не думаю, чтобы я особенно горевал, по-моему, я вообще ни о чем не думал, я, кажется, даже не наблюдал за собой со стороны, не разыгрывал спектакль с собственной персоной в главной роли — профессиональная болезнь, немилосердно преследовавшая меня всю жизнь и зачастую нарушавшая цельность моих самых глубоких переживаний или вовсе лишавшая меня их.

Я мало что помню из часов, проведенных в комнате матери. Самое яркое воспоминание — полоска пластыря на ее левом указательном пальце.

В тот же вечер я навестил отца и сообщил ему о смерти матери. Он хорошо перенес операцию и справился с последовавшим за операцией воспалением легких. Сейчас, одетый в старый халат, он сидел в голубом кресле в своей палате, благообразный, чисто выбритый, сжимая длинными костлявыми пальцами набалдашник палки. И не сводил с меня ясных, спокойных, широко раскрытых глаз. Когда я рассказал все, что знал, он только кивнул и попросил оставить его одного.

В основе нашего воспитания лежали такие понятия, как грех, признание, наказание, прощение и милосердие, конкретные факторы отношений детей и родителей между собой и с Богом. В этом была своя логика, которую мы принимали и, как мы полагали, понимали. Вполне возможно, именно это привело нас к робкому приятию нацизма. Мы никогда ничего не слышали о свободе и вовсе не представляли себе, что это такое. В иерархической системе все двери закрыты.

Таким образом, наказания были сами собой разумеющимися, их целесообразность никогда не подвергалась сомнению. Порой они бывали скорыми и незамысловатыми вроде оплеух или шлепков по заднице, но иногда принимали весьма изощренные, отточенные поколениями формы.

Если Эрнст Ингмар Бергман писал в штаны — а такое случалось весьма часто, — ему приходилось остаток дня ходить в красной, до колен юбочке. Это считалось безобидным и

потешным.

Прегрешения посерьезнее наказывались по всей строгости. Сперва выяснялось, в чем преступление. Потом преступник признавался в содеянном в низшей инстанции, то есть в присутствии гувернанток, матери или кого-нибудь из многочисленных безмолвных родственниц, в разное время живших в пасторском особняке. За признанием немедленно следовал бойкот. С провинившимся никто не разговаривал, не отвечал на вопросы. Это должно было, как я понимаю, заставить виновного мечтать о наказании и прощении. После обеда и кофе стороны вызывались в кабинет к отцу. Там возобновлялись допросы и признания. После чего приносили прут для выбивания ковров, и преступник сам решал, сколько ударов он, по его мнению, заслужил. Определив ему меру наказания, доставали зеленую, туго набитую подушку, с виновного стягивали штаны, клали его животом вниз на подушку, кто-нибудь крепко держал его за шею, и приговор приводился в исполнение.

Не могу утверждать, что было очень больно, боль причиняли сам ритуал и унижение. Брату приходилось хуже. Не один раз мать, сидя у его кровати, клала примочки ему на спину, исполосованную до крови розгами. А я, ненавидя брата и боясь его внезапных вспышек бешенства, испытывал глубокое удовлетворение от того, что его подвергали такому жестокому наказанию.

Получив причитающиеся удары, следовало поцеловать отцу руку, затем произносились слова прощения, с души падал тяжкий камень греха, чувство освобождения и милосердия проникали в сердце, и хотя в тот день приходилось ложиться спать без ужина и вечернего чтения, облегчение было велико.

Существовало также и своего рода спонтанное наказание, весьма неприятное для ребенка, боявшегося темноты, а именно — длительное или кратковременное заключение в особую гардеробную. Кухарка Альма рассказывала, будто как раз в этой гардеробной обитало крошечное существо, обгрызавшее большие пальцы ног у злых детей. Я отчетливо слышал, как кто-то шевелится во мраке, ужас обуревал меня, не помню уж, что я предпринимал — наверное, пытался залезть на полки или уцепиться за крюки, лишь бы спасти пальцы ног. Но этот вид наказания перестал вселять в меня страх после того, как я нашел выход из положения: спрятал в углу карманный фонарик с красным и зеленым огоньками. Если меня запирали в гардеробную, я отыскивал фонарик, включал его, направлял лучик света на стенку и представлял себе, что сижу в кино. Однажды, отворив дверь гардеробной, меня обнаружили

лежащим на полу с закрытыми глазами — я притворился, будто потерял сознание. Все перепугались, кроме матери, которая подозревала симуляцию, однако доказательств не было, и посему дальнейших репрессий не последовало.

Способы наказаний были разнообразные: запрещали ходить в кино, не давали есть, заставляли лежать в постели, запирали в комнате, таскали за волосы, ссылали на кухню (что порой бывало очень приятно), объявляли бойкот на какое-то

время и так далее.

Теперь я понимаю отчаяние моих родителей. Пасторская семья живет как на ладони, не защищенная от посторонних взглядов. Двери дома открыты для всех. Прихожане беспрерывно критикуют и отпускают замечания. Будучи людьми во всем стремившимися к совершенству, отец и мать, естественно, едва выдерживали такое непомерное давление. Их рабочий день был неограничен, супружеские отношения с трудом удерживались в надлежащих рамках, самодисциплина — железная. В обоих сыновьях проявлялись те черты характера, которые родители неутомимо подавляли в себе. Брат был не способен защитить ни себя, ни свой бунт. Отец направил всю свою силу воли, чтобы сломить его, и это ему почти удалось. Сестру родители любили бурно и властно. Она отвечала самоуничижением и робким трепетом.

Думаю, я понес наименьшие потери благодаря тому, что научился врать. Надел личину, не имевшую практически ничего общего с моим подлинным *«я»*. Но не понимал, что следует четко разграничивать созданный мною образ и свою истинную сущность, и вредные последствия этого еще долго сказывались в моей взрослой жизни и на моем творчестве. Приходится утешаться мыслью, что живший во лжи любит правду.

Прекрасно помню свою первую сознательную ложь. Отец стал больничным пастором, мы переехали в желтый дом в конце большого парка, примыкавшего к лесу Лилль-Яне. Был холодный зимний день. Мы с братом и его приятелями кидались снежками в теплицу, расположенную на окраине парка. Было разбито не одно стекло. Садовник немедленно заподозрил нас, о чем и сообщил отцу. Последовал допрос. Брат признался, его приятели тоже. Я стоял в кухне и пил молоко. Альма на кухонном столе раскатывала тесто. Через заиндевелое окно я различал фронтон поврежденной теплицы. Вошла Сири и рассказала о происходящих экзекуциях. Она спросила, не принимал ли и я участие в этом вандализме — факт, который я отрицал на предварительном допросе (и был временно отпущен в связи с отсутствием доказательств). Когда же Сири шутливым тоном и

словно мимоходом поинтересовалась, много ли стекол мне удалось разбить, я мгновенно увидел расставленную западню и спокойно ответил, что, мол, просто немного постоял и посмотрел, бросил пару снежков без определенной цели, попал в брата и ушел, потому что у меня замерзли ноги. Отчетливо помню мелькнувшую у меня тогда мысль: так вот, значит, что такое врать.

Это было важное открытие. Я решил — почти так же рассудительно, как мольеровский Дон Жуан, — стать Лицемером. Не собираюсь утверждать, будто мне всегда одинаково везло. Иногда из-за отсутствия опыта меня разоблачали, иногда вмешивались посторонние.

У нашей семьи была одна беспредельно богатая благодетельница, которую звали тетя Анна. Она устраивала детские праздники с фокусами и другими развлечениями, дарила очень дорогие и желанные подарки на Рождество и каждую весну водила нас на премьеру цирка Шуманна в Юргордене[3]. Это событие приводило меня в лихорадочное возбуждение: поездка на автомобиле с одетым в ливрею шофером, огромное, ярко освещенное деревянное здание, таинственные запахи, широченная шляпа тети Анны, грохот оркестра, магия приготовлений, рев диких зверей за красным форгангом[4]. Кто-то шепчет, будто видел льва в темном люке под куполом, беснуются и наводят ужас клоуны; от всех переживаний я заснул и проснулся под звуки чудной музыки: на арене молодая женщина в белом одеянии гарцует на громадном вороном жеребце.

Я влюбился в юную наездницу. Выдумывал игры с ее участием, называл ее Эсмеральдой (возможно, ее и на самом деле так звали). В конце концов мои фантазии преступили роковую грань, отделявшую их от действительности, когда я поведал моему соседу по парте Ниссе (взяв с него клятву молчать) о том, что мои родители продали меня в цирк Шуманна, скоро я покину дом и школу и буду учиться на акробата вместе с Эсмеральдой, считавшейся первой красавицей в мире. На следующий день мой поэтический вымысел был предан гласности и осквернен. Учительница сочла дело настолько серьезным, что написала возмущенное письмо матери. Началось ужасающее судебное разбирательство. Я был выставлен на посмешище, унижен, опозорен — и дома и в школе.

Пятьдесят лет спустя я спросил мать, помнит ли она историю с продажей меня в цирк. Она помнила ее очень хорошо. Тогда я спросил, почему никто не посмеялся, не умилился богатству фантазии и дерзости. Да и стоило бы задаться вопросом, почему

семилетний мальчик хочет оставить родной дом, чтобы быть проданным в цирк. У родителей и так хватало забот с моим враньем и выдумками, сказала мать. Измучившись, она даже консультировалась с известным педиатром. Он подчеркнул, как важно ребенку вовремя научиться проводить грань между фантазией и действительностью. И теперь, столкнувшись с нахальной и очевидной ложью, следовало примерно наказать провинившегося.

Я же, решив отомстить своему бывшему другу, гонялся за ним по школьному двору с одолженной у брата финкой в руках и чуть не убил учительницу, бросившуюся нас разнимать. Меня временно исключили из школы и хорошенько выпороли. Вероломный друг вскоре заболел полиомиелитом и умер, что доставило мне живейшую радость. Класс, как полагается, распустили на три недели по домам, и все было забыто. Я же продолжал придумывать истории с участием Эсмеральды. Наши приключения становились все опаснее, а любовь разгоралась все сильнее. Тем не менее я не терял времени даром и обручился с девочкой из нашего класса по имени Гладис, изменив таким образом Типпан, моей верной подруге по играм.

Парк, где расположена больница Софияхеммет, огромен. Он простирается вдоль Валхаллавеген, одной стороной к Олимпийскому стадиону, другой — к Политехническому институту, забираясь в глубь леса Лилль-Яне. На холмистой местности были разбросаны немногочисленные — в те времена — строения.

Здесь я гулял, предоставленный самому себе, здесь пережил много приключений. Мое внимание особенно привлекала часовня, небольшое кирпичное сооружение в глубине парка. Благодаря дружбе с больничным сторожем, отвечавшим за перевозку усопших из больницы в часовню, я услышал разные интересные истории и увидел множество трупов в разной стадии разложения. В другом здании, куда вход, вообще-то, был запрещен, находился машинный зал, громко гудели четыре громадные печи. Уголь подвозили на вагонетках, и черные фигуры бросали его в огонь. Несколько раз в неделю прибывали подводы, запряженные тяжеловесами арденской породы. Работники в капюшонах из мешковины подтаскивали мешки к открытым стальным дверцам. Время от времени на сжигание поступали таинственные транспорты с грузом окровавленных человеческих органов и отрезанных рук и ног.

Два воскресенья в месяц отец служил мессу в больничной часовне, заполнявшейся медсестрами в черной праздничной форме с накрахмаленными белыми передниками и шапочками на

ухоженных волосах. Напротив пасторской усадьбы располагался Сульхеммет, дом для престарелых медсестер, посвятивших всю свою жизнь больнице. Они образовали настоящий монашеский орден со строгим монастырским уставом.

Обитатели Сульхеммет могли видеть все, что происходит в пасторской усадьбе. И они смотрели.

По правде говоря, я с удовольствием и с любопытством думаю о ранних годах моей жизни. Фантазия и чувства получали богатую пищу, не припомню, чтобы мне когда-нибудь было скучно. Скорее, дни и часы взрывались фейерверком примечательных событий, неожиданных сцен, волшебных мгновений. Я до сих пор способен совершать прогулки по местам моего детства, вновь переживая освещение, запахи, людей, комнаты, моменты, жесты, интонации, предметы. Редко, когда это бывают эпизоды, поддающиеся пересказу, это, пожалуй, короткие или длинные, наугад снятые фильмы без всякой морали.

Привилегия детства: свободно переходить от волшебства к овсяной каше, от безграничного ужаса к бурной радости. Границ не было, помимо запретов и правил, но они чаще всего скользили мимо, как тени, были непонятными. Знаю, к примеру, что никак не мог уяснить важность правил, связанных с временем: ты должен наконец научиться следить за временем. У тебя теперь есть часы. Ты умеешь определять время. И все-таки времени не существовало. Я опаздывал в школу, опаздывал к столу. Беззаботно бродил по больничному парку, наблюдал, фантазировал, время исчезало, что-то напоминало мне, что я вроде бы проголодался, и в результате — скандал.

Было необычайно трудно отделить фантазии от того, что считалось реальным. Постаравшись как следует, я мог бы, наверное, удержать действительность в рамках реального, но вот, например, привидения и духи. Что с ними делать? А сказки — они реальны? Бог и ангелы? Иисус Христос? Адам и Ева? Всемирный потоп? И как обстояло дело в действительности с Авраамом и Исааком? Собирался ли он и вправду перерезать горло сыну? Распаленный, я вглядывался в гравюру Доре, воображая себя Исааком: это — реальность, отец собирается перерезать горло Ингмару, может случиться, что Ангел запоздает. Тогда они все зарыдают. Хлещет кровь. Ингмар слабо улыбается. Действительность. А потом появился кинематограф.

До Рождества оставалось еще две-три недели. Одетый в ливрею шофер беспредельно богатой тети Анны, господин Янссон, уже доставил множество подарков, по традиции сложенных в специальную корзину, стоявшую в чуланчике под лестницей, ведущей на второй этаж. Мое нетерпеливое

любопытство особенно вызвал один пакет: коричневый, прямоугольной формы, на котором было написано «Форснерс». «Форснерс» называлась фотофирма на Хамнсгатсбаккен. И там продавались не только фотоаппараты, но и настоящие кинопроекторы.

Больше всего на свете мне хотелось обладать кинопроектором. Год назад я впервые побывал в кино, смотрел фильм про лошадь, по-моему, он назывался «Красавчик вороной» и был сделан по известной детской книге. Фильм шел в кинотеатре «Споре», мы сидели в первом ряду на балконе. Это был началом. Меня одолела лихорадка, которая так никогда и не прошла. Беззвучные тени поворачивают ко мне свои бледные лица и неслышно говорят, обращаясь к самому заветному во мне. Миновало шестьдесят лет, ничего не изменилось, меня по-прежнему бьет лихорадка.

Как-то позднее, осенью, я был в гостях у своего школьного товарища. У него был кинопроектор и несколько фильмов, и он счел своим долгом устроить нам с Типпан киносеанс. Мне разрешили крутить ручку, пока хозяин флиртовал с Типпан.

Рождественские праздники были заполнены множеством увеселений. Мать твердой рукой осуществляла режиссуру. Для проведения этой оргии гостеприимства, застолий, приезжающих родственников, рождественских подарков и церковных ритуалов требовалась, вероятно, значительная организационная работа. Сочельник в нашей семье проходил довольно спокойно — рождественская служба в пять часов в церкви, оживленное, но сдержанное застолье, потом зажигали елку, читали рождественское евангелие и рано ложились спать, так как надо было вставать к заутрене, которая в те времена действительно начиналась ранним утром. Подарки в Сочельник не раздавали, но настроение было радостное в предвкушении празднеств, предстоявших на Рождество. После заутрени со свечами и звуками труб приступали к рождественскому завтраку. Отец к тому времени, покончив со своими профессиональными обязанностями, снимал пасторский сюртук и переодевался в домашнюю куртку. Он был в самом веселом расположении духа, произносил импровизированную речь в стихах, чокался с гостями, пил водку, пародировал братьев-священников, веселил присутствующих. Я иногда вспоминаю его веселую беспечность, беззаботность, нежность, дружелюбие, его задор — все то, что с такой легкостью заслонилось его мрачностью, тяжелым характером, жестокостью, холодностью. Наверно, вспоминая отца, я часто бываю несправедлив к нему.

После завтрака несколько часов спали. Внутренняя

организованность все-таки, наверное, действовала безотказно, ибо в два часа, когда начинало смеркаться, подавали кофе. Дом был открыт для всех, кому хотелось пожелать счастливого Рождества его обитателям. Среди друзей семьи были профессиональные музыканты, и нередко после обеда устраивался импровизированный концерт. Приближалась кульминация празднества — ужин, лукуллов пир. Он сервировался во вместительной кухне, где на это время переставал действовать социальный табель о рангах. Кушанья выстраивались на сервировочных столиках и застланных скатертями столах для мытья посуды. Раздача подарков происходила в столовой. Вносили корзины, отец отправлял богослужение, размахивая вместо кадила сигарой и стаканом с пуншем, вручались подарки, читались под аплодисменты и комментарии стихи — ни один подарок не должен был остаться без стишка.

Вот мы и подошли к кинопроектору. Его получил мой брат.

Я тотчас заревел, на меня шикнули, я спрятался под столом, продолжая бесноваться, мне велели замолчать, я убежал в детскую, ругаясь и проклиная всех, собрался было бежать из дома и в конце концов с горя заснул.

Праздник продолжался. Поздно вечером я проснулся. Внизу Гертруда пела народную песню, горел ночник. На высоком комоде слабо мерцал транспарант с изображением яслей и молящихся волхвов. На белом складном столе среди остальных рождественских подарков брата стоял кинопроектор — *с* изогнутой трубой, с красивой формы латунной трубкой-линзой и устройством для закрепления пленки.

Решение созрело мгновенно: я разбудил брата и предложил ему сделку — сотню моих оловянных солдатиков в обмен на кинопроектор. А поскольку у Дага была большая армия и он беспрерывно проводил какие-то сложные военные операции со своими друзьями, сделка состоялась к обоюдному удовольствию.

Кинопроектор стал моим.

Конструкция аппарата была несложной. Источником света служила керосиновая лампа, ручка была соединена с шестеренкой и мальтийским крестом. В заднем торце жестяного ящика — простое зеркало-отражатель. Позади трубки-линзы находился держатель для цветных кадров. К аппарату прилагалась фиолетовая четырехугольная коробка, в которой лежали стеклянные пластинки и окрашенная сепией пленка (35 мм) длиной около трех метров, склеенная в кольцо. На крышке стояло название фильма — «Фрау Холле». Никто не знал, кто такая фрау Холле, но потом выяснилось, что это — фольклорный

вариант богини любви в странах Средиземноморья.

На следующий день я забрался в просторную гардеробную при детской, установил кинопроектор на ящике из-под сахара, зажег керосиновую лампу, направив ее свет на белую оштукатуренную стену, и зарядил пленку.

На стене появилось изображение луга. На лугу дремала молодая женщина, по всей видимости, в национальном костюме. И тут я повернул ручку (это невозможно объяснить, у меня не хватает слов, чтобы описать мое возбуждение, в любой момент я могу вызвать в памяти запах нагретого металла, перебивавшего запах пыли и средства от моли, прикосновение ручки к ладони, дрожащий прямоугольник на стене).

Я повернул ручку — и девушка проснулась, села, медленно встала, вытянула руки, повернулась и пропала за правой границей кадра. Я продолжал крутить ручку, она опять лежала н лугу и потом точь-в-точь повторяла все движения. Она двигалась.

* * *

Детские годы в пасторской усадьбе при больнице Софияхеммет: повседневный ритм, дни рождения, церковные праздники, воскресенья. Обязанности, игры, свобода, ограничения и чувство надежности. Длинная темная дорога в школу зимой, игра в шарики и велосипедные прогулки весной, воскресные вечера с чтением вслух у камина осенью.

Мы не знали, что мать страстно влюбилась, а отец находился в тяжелой депрессии. Мать собиралась разводиться, отец грозил покончить с собой, потом они помирились и решили сохранить семью «ради детей» — так это называлось в то время. Мы ничего, или почти ничего, не замечали.

Однажды осенним вечером, когда я забавлялся со своим кинопроектором в детской, сестра спала в комнате матери, а брат был на занятиях по стрельбе, я вдруг услышал отчаянную перепалку, доносившуюся с первого этажа. Мать плакала, отец что-то гневно говорил. Мне стало страшно, такого я раньше никогда не слышал. Я выскользнул на лестницу и увидел родителей, ссорившихся в холле. Мать пыталась вырвать пальто из рук отца, тот не уступал. Наконец она отпустила пальто и ринулась к двери прихожей. Отец опередил ее, оттолкнул в сторону и загородил дверь. Мать накинулась на него, началась драка. Мать дала отцу пощечину, он отшвырнул ее к стене. Она потеряла равновесие и упала. Я громко закричал. Сестра, разбуженная шумом, вышла на лестничную площадку и сразу же заплакала. Родители опомнились.

Что было дальше, помню плохо. Мать сидела на диване в своей комнате, из носа у нее шла кровь, она пыталась успокоить сестру. Я стою в детской, смотрю на кинопроектор, потом патетически бросаюсь на колени и обещаю Богу отдать и фильм и аппарат, если мама с папой помирятся. Мои молитвы были услышаны. Вмешался настоятель прихода Хедвиг Элеоноры (папин начальник). Родители заключили мир, и беспредельно богатая тетя Анна увезла их в длительное путешествие по Италии. Бабушка взяла бразды правления в свои руки, порядок и иллюзорная надежность были восстановлены.

Бабушка (со стороны матери) жила по большей части в Уппсале, но у нее еще был красивый летний дом в Даларна. Овдовев в тридцать лет, она разделила парадную квартиру на Трэдгордсгатан пополам, оставив себе пять комнат, кухню и комнату для прислуги. В момент моего появления на свет она обитает там одна в компании фрекен Эллен Нильссон,

монументальной матроны из Смоланда, не подверженной влиянию времени, которая вкусно готовила, была глубоко религиозна и баловала нас, детей. После смерти бабушки она перешла на службу к матери — ее любили и боялись. В семьдесят пять лет, заболев раком горла, она убрала свою комнату, написала завещание, поменяла купленный матерью билет второго класса на третий и уехала к сестре в Патахольм, где и умерла через несколько месяцев. Эллен Нильссон, которую мы, дети, звали «Лалла», прожила в семье бабушки и матери больше пятидесяти лет.

Бабушка и Лалла жили в темпераментном симбиозе, в котором имели место многочисленные ссоры и примирения, но который никогда не ставился под сомнение. Для меня огромная (может, и не такая уж огромная) квартира на Трэдгордсгатан была символом надежности и волшебства. Многочисленные часы отмеряли время, солнечные лучи скользили по бескрайней зелени ковров. От голландских печей исходил вкусный дух, гудело в дымоходе, звякали заслонки. Иногда с улицы доносился звон колокольцев — мимо проезжала санная упряжка. Колокола Домского собора созывали на службу или на похороны. Утром и вечером раздавался отдаленный нежный звон колокола Гуниллы[5].

Старомодная мебель, тяжелые гардины, потемневшие картины. В конце длинного темного холла находилась интересная комната: в двери у самого пола были просверлены четыре дырки, стены оклеены красными обоями, а посередине стоял трон из красного дерева и плюша с латунной окантовкой и орнаментом. К трону вели две ступеньки, застланные мягким ковром. Под тяжелой крышкой открывалась бездна мрака и запахов. Чтобы сидеть на бабушкином троне, требовалось мужество.

В холле помещалась высокая железная печка, испускавшая свой особый запах тлеющих углей и разогретого металла. В кухне Лалла готовила обед, питательные щи, их горячий аромат распространялся по всей квартире, вступая в высший союз со слабыми испарениями потайной комнаты.

Для маленького человечка, который едва не касается носом пола, от ковров свежо и сильно пахнет средством против моли, они успевают им пропитаться за летние месяцы. Когда лежат без дела, свернутые в рулоны. Каждую пятницу Лалла натирает старые паркетные полы мастикой и скипидаром, издающими невыносимую вонь. Сучковатые, в заусенцах дощатые полы пахнут жидким мылом. Линолеум моют вонючей смесью из снятого молока и воды. Люди вокруг испускают симфонии запахов: пудры, духов, дегтярного мыла, мочи, выделений

половых желез, пота, помады, грязи, чада. От некоторых пахнет просто человеком, от одних исходит запах надежности, от других — угрозы. Толстая Эмма, тетка отца, носит парик, который она приклеивает к лысине специальным клеем. Тетя Эмма вся пропахла клеем. От бабушки пахнет «глицерином и розовой водой», своего рода одеколоном, купленным безо всяких ухищрений в аптеке. У матери запах сладкий, словно ваниль, но когда она сердится, пушок у нее над губой увлажняется, и она источает едва ощутимый запах металла. Лучше всех пахнет хромоножка Мэрит, молоденькая, круглолицая, рыжеволосая нянька. Самое большое наслаждение — лежать в ее кровати, головой на ее руке, уткнувшись носом в грубую ткань ее рубашки.

Исчезнувший мир света, запахов, звуков. Когда я лежу неподвижно, собираясь погрузиться в сон, я вновь обретаю способность бродить по комнатам, вижу каждую мелочь, я знаю и чувствую. В тишине бабушкиной квартиры чувства мои раскрылись, решив сохранить это все навек. Куда это уйдет? Унаследовал ли кто-нибудь из моих детей отпечатавшиеся во мне впечатления, можно ли унаследовать чувственные впечатления, переживания, прозрения?

Дни, недели и месяцы, проведенные у бабушки, отвечали, вероятно, моей назойливой потребности в тишине, организованности, порядке. Я играл в свои одинокие игры, не скучая по обществу. Бабушка сидела за столом в столовой, в черном платье и полосатом голубом переднике. Она читала, проверяла счета или писала письма, стальное перо чуть слышно царапало бумагу. В кухне занималась делами Лалла, напевая себе под нос. Я склонялся над своим кукольным театром, сладострастно поднимая занавес над мрачным лесом Красной Шапочки или празднично освещенным залом Золушки. Моя игра завоевывала власть над сценой, мое воображение населяло ее.

Воскресенье, у меня болит горло, можно не ходить к мессе, я остаюсь в квартире один. Зима доживает последние дни, в окна проникают солнечные лучи, быстро и беззвучно скользя по занавесям и картинам. Огромный обеденный стол возвышается над моей головой, я прислоняюсь спиной к его гнутой ножке. Стулья вокруг стола и стены комнаты обиты потемневшей золотистой кожей, пахнущей старостью. За моей спиной горой вздымается буфет, в изменчивом свете поблескивают стеклянные графины и хрустальные бокалы. На продольной стене слева висит большая картина, на которой изображены белые, красные и желтые дома, словно растущие из синей воды; по воде скользят продолговатые лодки.

Столовые часы, достающие почти до лепного потолка, угрюмо

и глухо разговаривают сами с собой. С того места, где я сижу, мне видна мерцающая зеленью зала. Зеленые стены, ковры, мебель, гардины, в зеленых горшках — папоротники и пальмы. Я различаю обнаженную белую даму с обрубленными руками. Она стоит, немного наклонившись вперед, и с улыбкой смотрит на меня. На пузатом, отделанном золотом бюро с золотыми ножками — позолоченные часы под стеклянным колпаком. К циферблату прислонился юноша, играющий на флейте. Рядом с ним крошечная девушка в широкополой шляпе и короткой юбочке. Обе фигурки — позолоченные. Когда часы бьют двенадцать, юноша начинает играть на флейте, а девушка — танцевать.

Комната освещается солнцем, его лучи вспыхивают в хрустальной люстре, бегут по картине с домами, растущими из воды, ласкают белизну статуи. Бьют часы, танцует золотая девушка, юноша играет, обнаженная дама поворачивает голову и кивает мне, во мраке прихожей. Смерть опускает свою косу на линолеум, я вижу ее, ее желтый ухмыляющийся череп, вижу ее темную длинную фигуру на фоне застекленной входной двери.

Хочу взглянуть на бабушкино лицо, нахожу фотографию. На ней — дедушка, транспортный начальник, бабушка и три пасынка. Дедушка с гордостью глядит на свою юную жену, у него ухоженная черная борода, пенсне в золотой оправе, высокий воротничок, предобеденный костюм безупречен. Сыновья подтянулись — молодые люди с неуверенным взглядом и расплывчатыми чертами лица. Достаю лупу и изучаю лицо бабушки. Глаза светлые, пронзительный взгляд, округлые щеки, упрямый подбородок, рот решительный, несмотря на вежливую, для фотографии, улыбку. Густые темные волосы уложены в тщательную прическу. Ее нельзя назвать красивой, но она излучает силу воли, ум и юмор.

Молодожены производят впечатление состоятельной, уверенной в себе пары: мы согласились играть наши роли и исполним их. Сыновья же кажутся растерянными, усмиренными, а может быть, преисполненными бунтарства.

Дед построил дачу в Дуфнесе, одном из красивейших мест Даларна. С великолепным видом на реку, степные просторы, пастбища и синеющие вдали горные хребты. А так как он обожал поезда, железная дорога проходила прямо по склону угодий в каких-нибудь ста метрах от дома. Он мог, сидя на веранде, проверять по часам время прохождения всех восьми поездов, по четыре в каждом направлении, из которых два были товарные. Он мог видеть и железнодорожный мост через реку, чудо строительной техники, его гордость. Я вроде бы когда-то сидел у деда на коленях, но его не помню. От него мне достались в

наследство изогнутой формы мизинцы и, возможно, страсть к паровозам.

Как я уже говорил, бабушка овдовела, будучи совсем молодой. Она оделась в черное, волосы тронула седина. Дети переженились и улетели из гнезда. Она осталась одна с Лаллой. Мать как-то рассказывала, что бабушка никого никогда не любила, кроме своего младшего сына, Эрнста. Мать пыталась завоевать ее любовь, подражая ей во всем, но характером была куда мягче, и попытка не удалась.

Отец называл бабушку властолюбивой ведьмой. В этой своей оценке он наверняка был не одинок.

И тем не менее лучшие годы моего детства прошли у бабушки. Она относилась ко мне с суровой нежностью и интуитивным пониманием. Мы с ней выработали, например, ритуал, который она ни разу не нарушила. Перед обедом усаживались на ее зеленый диван и часок «беседовали». Бабушка рассказывала о Большом Мире, о Жизни и Смерти (немало занимавшей мои мысли). Спрашивала, о чем я думаю, внимательно слушала, продираясь сквозь мое мелкое вранье или с дружеской иронией отбрасывая его в сторону. С ней я мог говорить как личность, реальная личность без маскарада.

Наши «беседы» — это всегда сумерки, доверительность, зимний вечер.

У бабушки было еще одно замечательное качество. Она любила ходить в кино, и если фильм дозволялось смотреть детям (понедельничные утра с кинопрограммой на третьей странице «Упсала Нюа Тиднинг»), не надо было дожидаться субботы или второй половины дня воскресенья. Удовольствие омрачалось лишь одним обстоятельством. Бабушка не переносила любовных сцен, которые я, напротив, обожал. Она обычно ходила в чудовищного вида ботах, и когда герой с героиней чересчур долго и томительно выражали свои чувства, бабушкины боты начинали скрипеть, а кинозал оглашался жуткими звуками.

Мы читали друг другу вслух, выдумывали разные истории, чаще всего с привидениями и другими ужасами, рисовали «человечков» — своеобразные комиксы. Один рисовал первую картинку, другой, рисуя вторую картинку, развивал действие. Так рисовали иногда несколько дней подряд, по сорок—пятьдесят картинок, сочиняя к ним пояснительный текст.

Жизнь на Трэдгордсгатан протекала в Каролинском духе. Вставали после того, как затапливали голландские печи, в семь утра. Обтирание ледяной водой в жестяном корыте, завтрак — овсяная каша и бутерброды на хрустящих хлебцах. Утренняя молитва, выполнение домашних заданий или уроки под

бабушкиным присмотром. В час — чай с бутербродом. Затем гулянье, в любую погоду. Прогулка по городу от одного кинотеатра к другому: «Скандия», «Фюрис», «Рёда кварн», «Слоттс», «Эдда». В пять часов обед. Вынимаются старые игрушки, сохранившиеся с детских лет дяди Эрнста. Чтение вслух. Вечерняя молитва. Звонит колокол Гуниллы. В девять часов — ночь.

Лежать на кушетке и слушать тишину. Наблюдать, как движутся по потолку свет и тени, отбрасываемые уличным фонарем. Когда на Уппсальской равнине беснуется снежный буран, фонарь качается; тени извиваются в печи пляшет и завывает огонь.

По воскресеньям обедали в четыре часа. Приходила тетя Лоттен. Она жила в доме для престарелых миссионеров, когда-то они с бабушкой учились в одной группе и были одними из первых студенток в стране. Тетя Лоттен уехала потом в Китай, где, занимаясь миссионерской деятельностью, потеряла красоту, зубы и один глаз.

Бабушка знает, что мне противна тетя Лоттен, но считает необходимым закалять мой дух. Поэтому на воскресных обедах меня сажают рядом с тетей Лоттен. Я гляжу прямо в ее волосатые ноздри с застывшим комком желто-зеленых соплей. От нее воняет высохшей мочой. Когда она говорит, вставные челюсти щелкают, а ест она, держа тарелку у самого лица и чавкая. Время от времени у нее из живота доносится урчание.

Эта отвратительная личность обладает одним сокровищем. Покончив с обедом и кофе, она достает из желтого деревянного ящика китайский театр теней. На дверь, ведущую из столовой в залу, вешают простыню, гасят свет, и тетя Лоттен разыгрывает спектакль театра теней (должно быть, весьма умело: она одновременно управляла несколькими фигурами, играя одна все роли, внезапно экран окрашивался в красный или синий свет, по красному полю вдруг проносился демон, на синем — появлялся тоненький серпик луны, потом все неожиданно становилось зеленым, в глубине моря плавали странные рыбы).

Иногда приходили в гости мамины братья со своими устрашающими женами. Мужчины были толстые, с бородами и громкими голосами. От женщин в большущих шляпах несло потливой суетливостью. Я по возможности старался держаться подальше. Но меня брали на руки, обнимали, чмокали, тискали, щипали. Приставали с назойливыми интимностями: на этой неделе мальчику не пришлось ходить в красной юбке? На прошлой неделе, кажется, ты часто писал в штаны. Открой рот, я посмотрю, не качается ли зубик, а, вот он, разбойник, давай-ка

его вырвем, получишь десять эре. По-моему, мальчик косит, смотри на мой палец, ну конечно, один глаз не двигается, нужно надеть черную повязку, будешь как пират. Закрой рот, малыш, что ты все ходишь с открытым ртом, у тебя, наверное, полипы, у человека с открытым ртом глупый вид, бабушка должна проследить, чтобы тебе сделали операцию, ходить с открытым ртом вредно.

Они делали резкие движения, во взгляде сквозила неуверенность. Жены курили. В присутствии бабушки они потели от страха, голоса у них были резкие, речь торопливая, лица накрашенные. Они не походили на мать, хотя и были матерями.

Зато дядя Карл отличался от всех.

* * *

Дядя Карл выслушивал упреки, сидя на бабушкином зеленом диване. Это был крупный тучный человек с высоким лбом, то и дело озабоченно наморщиваемым, с лысиной в коричневых пятнах и остатками редких кудрей на затылке. Волосатые уши пламенели. Большой круглый живот давил на ляжки, очки запотели от выступившей влаги, скрывая добрые, фиалкового цвета глаза. Жирные мягкие руки сжаты между коленями. Бабушка, маленькая, с прямой спиной, — в кресле у журнального столика. На правом указательном пальце — наперсток, то и дело она постукивала наперстком по блестящей поверхности стола, подчеркивая значимость своих слов. Она, как и всегда, в черном платье, украшенном белым воротником и брошью-камеей, и будничном переднике в белую и голубую полоску. Ее густые белые волосы блестели в солнечных лучах, был морозный зимний день, гудел огонь в голландской печи, окна затянуты ледяным узором. Часы под стеклянным колпаком пробили двенадцать быстрых ударов, пастушка исполнила для пастушка свой танец. В арку ворот въехали сани: зазвенели бубенцы, послышался царапающий звук полозьев о булыжник и гулкий цокот тяжелых копыт.

Я сидел на полу в соседней комнате. Мы с дядей Карлом только что разложили рельсы для поезда, который мне подарила на Рождество беспредельно богатая тетя Анна. Внезапно в дверях возникла бабушка и отрывисто и холодно позвала дядю Карла. Он встал, тяжело вздохнув, надел пиджак и одернул на животе жилет. Они удалились в залу. Бабушка закрыла, разумеется, за собой дверь, но та чуточку отъехала в сторону, и я смог наблюдать за происходящим, словно действие разыгрывалось на сцене.

Бабушка говорила, дядя Карл сидел, выпятив толстые красные с синим отливом губы. Его крупная голова все глубже уходила в плечи. Вообще-то дядя Карл приходился мне дядей лишь наполовину, поскольку он был бабушкин старший пасынок, не намного моложе ее самой.

Бабушка была его опекуном — дядя Карл был слаб умом, «котелок у него плохо варил», и не способен о себе заботиться. Иногда он попадал в дом для умалишенных, но по большей части жил на пансионе у двух пожилых дам, которые всячески за ним ухаживали. Это было преданное и ласковое, словно большой пес, существо, но сейчас дело зашло чересчур далеко: как-то утром он выбежал из своей комнаты, не удосужившись надеть ни кальсон,

ни брюк, и бросился страстно обнимать тетю Беду, осыпая ее слюнявыми поцелуями и неприличными словами. Тетя Беда отнюдь не впала в панику, а ущипнула дядю Карла за нужное место, точно следуя рекомендациям врача. После чего позвонила бабушке. Дядя Карл, преисполненный раскаяния, чуть не плакал. Тишайший человек, он каждое воскресенье ходил с тетей Бедой и тетей Эстер в миссионерскую церковь. Опрятный темный костюм, мягкий взгляд, красивый баритон — его вполне можно было принять за проповедника. Он выполнял различные мелкие поручения, будучи как бы церковным сторожем на общественных началах, его охотно звали на кофе и встречи швейного кружка, где он с удовольствием читал вслух, пока дамы занимались рукоделием.

Дядя Карл, в сущности, был изобретателем. Он заваливал Королевское патентное бюро чертежами и проектами, но без особого успеха. Из сотен заявок было принято всего две: машина для чистки картофеля, из которой клубни выходили одного размера, и автоматическая щетка для чистки клозетов.

Он был очень подозрителен. Больше всего его беспокоило, как бы кто-нибудь не украл его идеи. Поэтому он заворачивал свои чертежи в клеенку и засовывал их за брюки. Клеенка была не лишней, поскольку дядя Карл страдал недержанием мочи. Нередко, находясь в большом обществе, он не мог сдержать своей тайной страсти. Обвив правой ногой ножку стула, он приподнимался, и его брюки и кальсоны намокали от теплой струи.

Бабушка, тетя Эстер и тетя Беда знали об этой его слабости и могли коротким резким призывом «Карл!» не допустить подобного удовлетворения его потребности, зато фрекен Агда однажды, к своему ужасу, услышала шипение, исходившее от раскаленной плиты. Застигнутый на месте преступления, дядя Карл воскликнул: «Опля, а я тут пеку блинчики!»

Я восхищался им и по-настоящему верил тете Сигне, утверждавшей, что дядя Карл был самый талантливый из всех четырех братьев, но Альберт из зависти ударил своего старшего брата молотком по голове, в результате чего бедный мальчик на всю жизнь повредился в уме.

Я восхищался им потому, что он изобрел всякие приспособления для моей Латерны Магики и для моего кинопроектора, смастерил держатель для диапозитивов и объектив, вмонтировал вогнутое зеркало и экспериментировал с тремя и больше перемещавшимися по отношению друг к другу стеклянными пластинами, им собственноручно разрисованными. Таким образом он добился подвижного фона для фигурок. У них

вырастали носы, они парили, из освещенных лунным светом могил появлялись привидения, шли на дно корабли, тонущая мать держала ребенка над головой, пока их обоих не поглощали волны.

Купив обрезки пленки по пять эре за метр, дядя Карл погружал их в горячий раствор соли, чтобы смыть эмульсию. Когда пленка высыхала, он тушью рисовал на ней подвижные картинки или абстрактные узоры, которые менялись, взрывались, разбухали, съеживались.

Вот он сидит, грузно склонившись над рабочим столом в своей заставленной мебелью комнате, пленка закреплена на освещенном снизу матовом стекле. Очки сдвинуты на лоб, в правом глазу — лупа. Он курит короткую изогнутую трубку, на столе — еще несколько таких же трубок, вычищенных и набитых табаком. Я смотрю не отрываясь на крошечные фигурки, быстро и уверенно возникающие на квадратиках пленки. Работая, дядя Карл говорит и посасывает трубку, говорит и постанывает:

— Вот здесь цирковой пудель Тедди делает кувырок вперед, это у него хорошо получается, это он умеет. А теперь свирепый хозяин цирка заставляет бедного песика сделать сальто назад — Тедди не может. Он ударяется головой о манеж, в глазах у него звезды и солнца — звезды сделаем другого цвета, красные. На голове у него выросла шишка, пойди-ка в столовую, выдвинь левый ящик буфета, там лежит пакетик конфет, они их спрятали, потому что Ма говорит, что мне нельзя есть сладостей. Возьми четыре конфеты, только осторожно, смотри, чтобы никто не увидел.

Я выполняю поручение и получаю одну конфету. Остальные дядя Карл запихивает в толстогубый рот, от жадности пуская слюни. Он откидывается на спинку стула и, прищурившись, смотрит на серые зимние сумерки.

— Я тебе что-то покажу, — вдруг произносит он, — только не говори Ма.

Он встает и идет к столу, над которым висит абажур, зажигает лампу, ее желтый свет падает на восточный орнамент скатерти. Дядя Карл садится и предлагает мне занять место по другую сторону стола. Оборачивает один конец скатерти вокруг кисти левой руки и сперва осторожно, а потом все быстрее начинает крутить и вертеть рукой. И наконец кисть отделяется от руки на уровне накрахмаленной манжеты, капельки какой-то мутной жидкости капают на стол. — У меня есть два костюма, каждую пятницу я должен являться к твоей бабушке, чтобы поменять белье и костюм. И так продолжается уже двадцать девять лет. Ма обращается со мной как с ребенком. Это

несправедливо, Бог накажет ее. Бог наказывает власть имущих. Гляди, в доме напротив пожар!

Сквозь свинцовые облака пробилось зимнее солнце, ярко вспыхнули окна в доме напротив, на Гамля Огатан. На обоях загорелись прямоугольники густого желтого цвета, правая половина лица дяди Карла пламенеет. На столе между нами лежит оторванная кисть.

После смерти бабушки опекуном стала моя мать. Карла перевезли в Стокгольм, где он снимал две комнатушки у старушки сектантки, жившей на Рингвеген, недалеко от Ётгатан.

Старый порядок был восстановлен. Каждую пятницу Карл являлся в пасторский особняк, получал чистое белье, переодевался в вычищенный, отглаженный костюм и обедал со всем семейством. Он не менялся, такой же грузный и круглый, такой же розовощекий, с фиалковыми глазами за толстыми стеклами очков. По-прежнему без устали атаковал Патентное бюро своими изобретениями. По воскресеньям пел псалмы в миссионерской церкви. Мать управляла всеми его финансами, выдавая ему еженедельно карманные деньги. Он звал ее «сестра Карин» и иногда иронизировал над ее беспомощными попытками подражать бабушке: «Ты хочешь быть как мачеха. Не старайся. Ты для этого слишком добрая. Мамхен была безжалостна».

В одну из пятниц к нам пришла хозяйка дяди Карла. У них с матерью состоялся долгий разговор наедине. Рыдания хозяйки разносились по всему дому. Спустя два-три часа она, опухшая от слез, удалилась. Мать отправилась на кухню к Лалле, опустилась на стул и, смеясь, сказала: «Дядя Карл обручился с женщиной на тридцать лет моложе его».

Через пару недель обрученные нанесли визит. Они хотели обсудить с отцом церемонию венчания — она должна быть простой, но по-церковному торжественной. На дяде Карле была свободная, спортивного покроя рубашка без галстука, клетчатый блейзер и отутюженные фланелевые брюки без единого пятнышка. Свои старомодные очки он заменил современными в роговой оправе, высокие ботинки на застежках — мокасинами. Он был немногословен, собран, серьезен. Ни единой путаной мысли, ни единого дурашливого выражения. Дядя Карл поступил работать сторожем в церковь Софии. Свою изобретательскую деятельность он забросил:

— Видишь ли, Schwesterchen[6], это была иллюзия.

Невесте, тощей, небольшого росточка женщине с костлявыми плечами и длинными худыми ногами, было немного за тридцать. Крупные белые зубы, собранные на затылке волосы медового цвета, длинный правильной формы нос, тонкие губы и круглый

подбородок. Глаза темные, блестящие. На жениха она смотрела ласковым взглядом собственницы, крепкая рука как бы по рассеянности покоилась на его колене. Она была преподавательницей физкультуры.

Пожизненное опекунство должно быть отменено:

— Представление мачехи о моих умственных способностях было одной из ее иллюзий. Она была властным человеком, ей надо было держать кого-нибудь в своей власти. Schwesterchen никогда не сможет стать такой же, как мачеха, сколько бы она ни старалась. Это иллюзия.

Невеста разглядывала семейство своими блестящими черными глазами и молчала.

Через несколько месяцев помолвка была расторгнута. Дядя Карл возвратился в комнатушки на Рингвеген и ушел с работы в церкви Софии. Он доверительно сообщил матери, что был вынужден покончить с изобретениями. Невеста пыталась всячески препятствовать ему, дело доходило до скандалов и драк, у Карла на щеке остались следы ногтей:

— Я думал, что могу покончить с изобретательством. Это было иллюзией.

Мать вновь взяла на себя опекунство, каждую пятницу дядя Карл приходил в пасторскую усадьбу, менял костюм и нижнее белье и обедал с семьей. Его страсть писать в штаны усилилась.

Но у него была еще одна, гораздо более опасная склонность. Отправляясь в Королевскую библиотеку или в Городскую библиотеку, где он любил проводить дни, он делал крюк и шел через железнодорожный туннель под Сёдером. Сын транспортного инженера, построившего железную дорогу между Крюльбу и Иншён, дядя Карл обожал поезда. Когда они с грохотом проносились мимо него в туннеле, он прижимался к скалистой стене, грохот приводил его в восторг, скала сотрясалась, пыль и дым опьяняли. Однажды весенним днем его обнаружили сильно изуродованным, лежащим на рельсах. Под брюками нашли клеенчатый пакет с чертежами приспособления, упрощающего замену ламп в уличных фонарях.

* * *

Когда мне было двенадцать лет, один музыкант, игравший на челесте в «Игре снов» Стриндберга, разрешил мне во время представления сидеть за сценой. Впечатление было ошеломляющее. Вечер за вечером, спрятавшись в башенке просцениума, я становился свидетелем сцены бракосочетания Адвоката и Дочери. Впервые в жизни я прикоснулся к магии актерского перевоплощения. Адвокат двумя пальцами — большим и указательным — вертел шпильку для волос, сгибал ее, распрямлял, переламывал пополам. *В руке у него не было ничего, но я видел эту шпильку*! За кулисами стоит в ожидании своего выхода офицер. Чуть наклонившись вперед, рассматривает свои ботинки, руки за спиной, беззвучно откашливается — самый что ни на есть обыкновенный человек. Но вот он открывает дверь и выходит на сцену. И мгновенно изменяется, преображается, он — Офицер!

Поскольку в душе моей беснуется буря, которой нельзя давать волю, я боюсь всего непредвиденного, непредсказуемого. Посему моя профессиональная работа заключается в педантичном управлении неизъяснимым. Я — посредник, организатор, человек, создающий ритуалы. Есть режиссеры, материализующие собственный хаос, в лучшем случае им удается из этого хаоса сотворить спектакль. Мне отвратительна подобная самодеятельность. Я никогда не участвую в пьесе — я перевожу, конкретизирую. Самое главное — в моей работе нет места для личных проблем, если только они не помогают проникнуть в тайну текста или же не дают выверенного толчка творческой фантазии актера. Я ненавижу бури, агрессивность, эмоциональные взрывы. Моя репетиция — это операция, проводимая в специально оборудованном для этой цели помещении. Там царит самодисциплина, чистота, свет и тишина. Репетиция — это работа, а не психотерапевтический сеанс режиссера и актера.

Я презираю Вальтера, который уже в 11 часов утра пребывает в легком подпитии и вываливает на окружающих свои неприятности. Мне противна Тереза, которая со всех ног кидается мне на шею, испуская запах пота и духов. Мне хочется отлупить Пауля, этого злополучного педераста, явившегося в туфлях на высоком каблуке, хотя он прекрасно знает, что ему целый день придется бегать по лестницам на сцене. Я ненавижу Ваню[7], которая отдуваясь, врывается в зал с опозданием ровно на одну минуту, растрепанная, расхристанная, нагруженная сумками и

пакетами. Меня раздражает Сара, забывшая рабочий экземпляр пьесы, и ее вечное ожидание двух важных телефонных разговоров. Я хочу покоя, порядка и дружелюбия. Только так мы сумеем приблизиться к безграничности. Только так постигнем тайну и овладеем механизмом повторения. Живого, пульсирующего повторения. Каждый вечер — один и тот же спектакль, тот же самый, и тем не менее каждый раз рождающийся заново. Кстати, как научиться дозволенному, длящемуся всего какую-то секунду rubato[8], столь необходимому, чтобы спектакль не превратился в мертвящую рутину или в непереносимое своеволие? Все хорошие актеры знают эту тайну, посредственные должны ею овладеть, плохие не постигнут никогда.

Итак, моя работа — управлять текстом и рабочим временем. Я несу ответственность за то, чтобы дни проходили не совсем бессмысленно. Я не бываю просто человеком со своими личными заботами. Я наблюдаю, регистрирую, констатирую, контролирую. Заменяю актерам глаза и уши. Предлагаю, прельщаю, вдохновляю или отвергаю. Во мне отсутствует спонтанность, импульсивность, соучастие в игре, хотя внешне все выглядит наоборот. Если бы я на секунду снял маску и высказал то, что на самом деле думаю и чувствую, мои товарищи накинулись бы на меня, разорвали на части и выкинули в окно.

Но маска не искажает моей сути. Интуиция работает быстро и четко, я все замечаю, маска — лишь фильтр, не пропускающий ничего личного, не относящегося к делу. Буря — под контролем.

Довольно долгое время я жил с немолодой, поразительно талантливой актрисой. Она издевалась над моей теорией чистоты, утверждая, будто театр — это дерьмо, похоть, необузданность и вообще ад. Она говорила: «Единственный твой недостаток, Ингмар Бергман, — страсть ко всему здоровому. Ты должен избавиться от нее, ибо она лжива и подозрительна, она ставит тебе пределы, за которые ты не осмеливаешься переступить, тебе следовало бы, как доктору Фаустусу Томаса Манна, подыскать себе шлюху-сифилитичку».

Возможно, она была права, а может, это были просто романтические бредни в духе времени поп-искусства и наркотиков. Не знаю. Знаю только, что эта красивая гениальная актриса потеряла память и зубы и умерла пятидесяти лет от роду в сумасшедшем доме. Сполна получила за свое распутство.

Между прочим, художники, имеющие пристрастие к теоретизированию, весьма опасны. Их идеи внезапно становятся модными, что нередко приводит к катастрофическим последствиям. Игорь Стравинский обожал теоретические формулировки. Он много писал об интерпретации. Внутри у него

бушевал вулкан, и потому он призывал к сдержанности. Посредственности, читая его рассуждения, согласно кивали головами. Те, у кого и намека на вулкан не было, взмахивали дирижерскими палочками, свято соблюдая сдержанность, а Стравинский, который никогда не жил так, как учил, дирижировал своего «Аполлона Мусагета» словно это был Чайковский. Мы же, знакомые с его теориями, слушали и поражались.

Год 1986-й, я в четвертый раз ставлю «Игру снов». Я доволен своим решением — «Фрекен Жюли» и «Игра снов» пойдут в одном театральном сезоне. Мой кабинет в Драматене отремонтирован, я уже обосновался в нем. Я — дома.

Подготовительный этап начался с осложнений. Я пригласил для постановки одного сценографа из Гётеборга. Его подруга, после десяти лет совместной жизни, сбежала с молодым актером. У сценографа открылась язва, и он приехал в конце июня на Форё в ужасном состоянии.

В надежде, что работа обуздает его депрессию, мы начали проводить наши ежедневные совещания. У художника дрожали губы, и он, глядя на меня своими чуть вытаращенными глазами, шептал: «Хочу, чтобы она вернулась». Я, не желая играть роль духовника, был непреклонен. Через несколько недель он сломался окончательно, заявил, что работать больше не в силах, после чего упаковал вещички и вернулся в Гётеборг, где, подняв паруса, отправился в морское путешествие с новой любовницей. Мне ничего не оставалось, как обратиться к моему старому другу и сотруднице Марик Вос. Она с дружелюбным воодушевлением приняла предложение и поселилась в нашем гостевом домике. Мы сильно запаздывали, но приступили к работе в хорошем настроении. Марик много лет назад уже делала «Игру снов» с Улофом Муландером[9], основоположником стриндберговской традиции.

Своими прежними постановками я был недоволен: телевизионный спектакль завяз в технических проблемах (в то время даже пленку нельзя было резать). Спектакль на Малой сцене получился довольно убогим, несмотря на прекрасную актерскую игру. Немецкая авантюра захлебнулась в величественных декорациях.

На этот раз я собирался играть пьесу без изменений и купюр, в том виде, в каком она была написана. Кроме того, я намеревался перевести чересчур сложные сценические указания в технически выполнимые элегантные решения. Мне хотелось, чтобы зритель почувствовал вонь, идущую с заднего двора адвокатской конторы, холодную красоту заснеженной дачной

местности Фагервик, сернистую дымку и дьявольское мерцание Скамсунда, роскошь цветников вокруг Растущего Замка, атмосферу старого театра за стенами театрального коридора.

Малая сцена — неудобная, узкая, обшарпанная; это, собственно, приспособленный под театр бывший кинотеатр, ни разу основательно не ремонтировавшийся со времени своего открытия в начале 40-х годов. Чтобы создать необходимое пространство и интимность, мы решили убрать первые четыре ряда кресел из партера и на пять метров надстроить сцену.

Таким образом, появилась возможность построить две комнаты — внешнюю и внутреннюю. Внешняя, ближе к зрителям, должна была стать владениями Поэта. У разноцветного окна в стиле модерн — его письменный стол, пальма, украшенная цветными лампочками, книжные полки с потайной дверью. Справа на сцене громоздится куча хлама, где главенствующее место занимает большое, несколько попорченное распятие и таинственная буфетная дверца. В углу, словно зарывшись в этот пыльный хлам, сиди за пианино «дурнушка Эдит» — актриса, способная пианистка, сопровождает происходящее на сцене и своими действиями и музыкой.

Образовавшееся благодаря надстройке переднее помещение ведет в таинственную заднюю комнату. Ребенком я часто стоял в мрачной столовой нашей квартиры и заглядывал через приоткрытые раздвижные двери в гостиную. Солнце освещало мебель и разные другие предметы, сверкало в хрустальной люстре, отбрасывало движущиеся тени на ковер. Комната плавала в зелени, как в аквариуме. Вдруг возникали люди, исчезали, возвращались вновь, замирали в неподвижности, тихо переговаривались. На окнах пламенели цветы, тикали и били часы — волшебная комната. Теперь нам предстояло воссоздать такую же в глубине сцены. Достали десять мощных проекторов, они должны проецировать изображение на пять экранов специальной конструкции. Какие конкретно картины предстанут перед зрителем, мы еще не знали, но считали, что у нас достаточно времени на размышление. Пол сцены покрыли палевым ковром, над внешней комнатой натянули того же цвета полог. И акустика Малой сцены, вообще-то совершенно непредсказуемая, стабилизировалась, стала в высшей степени чувствительной. Актеры могли говорить быстро, не напрягаясь, принцип камерной музыки был достигнут.

В 1901 году Стриндберг женится на молоденькой, необычайно красивой — несколько экзотической красотой — актрисе Драматического театра. Она на тридцать лет моложе мужа и уже знаменита. Поэт снимает пятикомнатную квартиру в

только что построенном доме на Карлаплан, сам подбирает мебель, обои, картины, безделушки. Молодая жена попадает в декорации, целиком созданные ее стареющим супругом. Обе стороны, преодолевая препятствия, с любовью, терпением и талантом играют распределенные между ними с самого начала роли. Вскоре, однако, по маскам побежали трещины, и в тщательно продуманной пасторали разыгрывается не предусмотренная никем драма. Жена в гневе покидает дом и поселяется у родственников, в шхерах. Поэт остается один в окружении величавых декорация. Разгар лета, город опустел. Поэт испытывает невыносимую боль — он и не подозревал, что такое бывает.

В «На пути в Дамаск» Неизвестный, в ответ на упреки Дамы в том, что он играет со смертью, говорит: «Так же, как я играю с жизнью, я ведь был поэтом. Несмотря на врожденную угрюмость, я никогда ничего не воспринимал всерьез, даже собственные трагедии, и порой я сомневаюсь, что жизнь более реальна, чем мои стихи».

Рана глубока, обильно кровоточит, отказывается повиноваться, как при других жизненных неурядицах. Боль проникает в самое нутро, в неизведанные бездны и дает выход прозрачным родниковым водам. Стриндберг записывает в дневнике, что он плачет, но слезы промывают взгляд, и теперь он смотрит на себя и на других со смиренной снисходительностью. Поэт воистину заговорил новым языком.

И по сей день не утихают споры, сколько успел написать Стриндберг до того, как Харриет Боссе, примирившись с беременностью, вернулась домой, в мирную идиллию. Первая половина пьесы изумительна: все понятно, прозрачно, все — мука и наслаждение, все живо, оригинально, неожиданно. Практически готовый спектакль. Кульминация поэтического вдохновения — сцена в доме Адвоката. Начало семейной жизни, разочарование в ней и распад семьи показаны ровно за двенадцать минут.

Потом драма утяжеляется: за Скамсундом следует Фагервик, вдохновение начинает хромать и спотыкаться, перед нами — словно непостижимая фуга из бетховенской сонаты для клавира, точность подменяется избытком нот. Почистишь чересчур усердно, загубишь сцены, сыграешь целиком — зритель не выдержит.

Необходимо, сохраняя хладнокровие, ввести утраченную ритмизацию. Это вполне возможно и оправданно, ибо текст по-прежнему напряженный, терпкий, забавный, поэтически выдержанный. Неожиданная сцена в школе, к примеру, просто великолепна. Что же до эпизода с несчастными отвозчиками угля,

то он довольно натужен: «Игра снов» из грезы превращается в сомнительного качества эстрадный номер на злобу дня.

Самые заковыристые проблемы тем не менее еще впереди. Первая — пещера Фингала. Мы знаем, что в доме царил мир. Юная беременная жена проводила время за лепкой и чтением книг. Поэт, дабы продемонстрировать свои благие намерения, бросил курить. Супруги ходили в театр и в оперу, устраивали обеды и музыкальные вечера. «Игра снов» наливалась соком. И тут Стриндберг обнаружил, что его драма превращается в панораму человеческой жизни, направляемой нерешительной рукой рассеянного Бога. Внезапно он чувствует себя призванным в словах сформулировать ту Раздвоенность Бытия, которую уже так непринужденно отобразил в первых сценах и эпизодах пьесы. Дочь Индры берет Поэта за руку и ведет его — увы! — на край безбрежного моря к пещере Фингала. И там начинается декламация стихов, вперемежку великолепных и дурных, бок о бок — красота и уродство.

Постановщик, ежели он не пал духом, дозволив Поэту вариться в его собственном, приправленном парфюмерией модернистском супе, сталкивается с почти неразрешимыми задачами. Как изобразить пещеру Фингала так, чтобы она не выглядела нелепой? Как справиться с длинным жалобным посланием богу Индре? Это ведь в основном хныканье. Как показать шторм, кораблекрушение и самое трудное — идущего по волнам Иисуса Христа? (Безмятежное и волнующее мгновение в напыщенном театральном действе.)

У меня возникла идея сделать маленький спектакль в спектакле. Поэт — с помощью ширмы, стула и старинного граммофона — оборудует некое игровое пространство. На Дочь Индры он набрасывает восточную шаль, себя увенчивает перед зеркалом терновым венцом с распятия. Протягивает несколько рукописных страничек партнерше. Они скользят от игры к серьезности, от пародии к иронии, и вновь все пошло всерьез — праздник дилетантов, великолепный театр, простые, чистые аккорды. Возвышенное остается возвышенным, отмеченное печатью времени приобретает оттенок мягкой ироничности.

Мы радовались найденному решению, преграда наконец преодолена.

Следующая сцена в театральном коридоре суха и бессодержательна, но выбросить ее нельзя. Игра с Праведниками, Тайна, скрывающаяся за дверью, духовное убийство Адвокатом Дочери — все это проходные, наспех набросанные картины. Без глубины. Здесь единственно возможный путь — легкость, стремительность, угроза: Праведники, охваченные ужасом перед

тем «ничто», которое они обнаружили, открыв дверь, непременно должны источать опасность.

Заключительная сцена у алтаря, несмотря ни на что, великолепна, а прощание Дочери безыскусно-трогательно. Этой картине предшествует странная вставка — Дочь Индры раскрывает Загадку Жизни. Судя по дневнику, Стриндберг, завершая работу над пьесой, читал диссертацию по индийской мифологии и философии. Плоды этого чтения он бросил в котел и хорошенько перемешал. Но они не осели на дно и не придали новых вкусовых качеств всему блюду, а остались тем, чем были, — бесприютной индийской сказкой.

В заключительной сцене, как, впрочем, и в мажорном прологе, кроется неразрешимая, но при этом тщательно замаскированная проблема. В одном из первых эпизодов — обращенная к Отцу реплика, по всей видимости, ребенка[10]: «Замок все время растет из земли. Видишь, насколько он вырос с прошлого года?» В последнем монологе постаревший Поэт устами Дочери восклицает: «Теперь я чувствую всю боль бытия, так вот каково быть человеком». В начале ребенок, в конце — старик, а в промежутке — целая человеческая жизнь. Я разделил роль Дочери Индры между тремя актрисами, что дало неплохие результаты. Начало заиграло, конец стал логичным. Даже Загадка Жизни в искреннем, проникнутом жизненным опытом исполнении большой актрисы зазвучала как трогательная сказка. Дочь обрела — в своей взрослой жизни — силу, любопытство, жизнелюбие, радость, прихотливость, трагизм.

Ни одна постановка не давалась мне с таким трудом, не требовала столько времени. Необходимо было стереть из памяти все прежние свои попытки и в то же время с водой не выплеснуть и ребенка. Те находки, которые органично вливались в новую концепцию, следовало сохранить, но при этом произвести строгий отбор, следуя суровому совету Фолкнера — Kill your Darlings[11]. И если завершающий этап работы над «Фрекен Жюли» был увлекательной игрой, то сценическое воплощение «Игры снов» превращалось в тягостную борьбу.

Впервые я воспринимал старость как врага. Воображение бастовало, принятие решений затягивалось, я ощущал непривычную скованность. Недостижимое так и оставалось недостижимым, душило меня. Не раз я был готов сложить оружие — редко возникающее у меня желание.

Репетиции начались во вторник 4 февраля сбором труппы. Мы обсудили конкретные детали, технические решения, составили план работы. Еще раньше мы договорились, что текст надо будет выучить как можно быстрее. Обычная канитель, когда

у актера практически парализована одна рука из-за зажатой в ней тетрадки, — пройденный этап; эту методу ввел Ларе Хансон[12], ненавидевший процесс заучивания роли. Ленивые актеры охотно пользовались его евангелием под тем расплывчатым предлогом, что текст, мол, должен усваиваться естественным путем в ходе репетиций. В результате, как правило, получалась неразбериха, один знал роль, другой — нет, взгляды, жесты, чувство партнера — все это напоминало лоскутное одеяло.

Основная задача артиста, как известно, настроиться на партнера. «Без *тебя* нет и *меня*», — сказал один умный человек.

Читаю свои дневниковые записи, относящиеся к работе над «Игрой снов», — чтение, отнюдь не располагающее к веселью. Я в плохом состоянии. Неспокоен, переутомлен, пребываю в дурном настроении, болит правое бедро, боль не отпускает ни на минуту, утренние часы — самые тяжелые. Желудок протестует спазмами и поносами. Омерзение влажной тряпкой обволакивает душу.

По мне, однако, ничего не видно. Позволить личным проблемам взять верх во время работы — служебное преступление. Я обязан во что бы то ни стало сохранять ровное, деятельное настроение. А вот то творческое вожделение, для которого и определения-то не существует, волевым усилием не вызовешь. Остается опираться на тщательную подготовку и надеяться на лучшие времена.

Примерно за месяц до начала репетиций Лена Улин, назначенная на роль Дочери Индры, просит меня уделить ей время для разговора. Она заразилась свирепствующим в театре плодородием. Ко дню премьеры будет, «вероятно», в начале пятого месяца. Родить должна в августе, запланированные на осень гастроли исключены, весной следующего года «Игру снов», требующую большого ансамбля, все равно снимут с репертуара. Значит, в лучшем случае мы сыграем всего сорок спектаклей.

Ситуация немного комическая. В моей телевизионной пьесе «После репетиции» рассказывается о встрече молодой актрисы (роль исполняет Лена Улин), которая должна играть Дочь Индры, со старым режиссером, который в четвертый раз ставит «Игру снов». Актриса говорит, что она беременна. Режиссер, затеявший постановку ради того, чтобы поработать с актрисой, выходит из себя. В конце концов актриса признается, что уже сделала аборт.

Лена Улин не собирается делать аборт. Она — сильная, красивая, полная жизни женщина, крайне эмоциональная, порой безалаберная, с уравновешенным, по-крестьянски цепким умом. Она радуется предстоящему рождению ребенка, сознает все связанные с этим трудности, но считает, что если заводить ребенка, то именно сейчас, когда ее карьера уверенно пошла

вверх.

Ситуация, как я уже сказал, немного комическая, то есть комическая для режиссера. Будущая молодая мать не может быть смешной, она прекрасна, достойна всяческого уважения и притом ради ребенка отказывается от карьеры.

Чувства в большинстве случаев неуправляемы: я все-таки мысленно обвиняю ее в предательстве. Так называемая действительность внесла свои коррективы и в мечты и в планы. Но мое ожесточение почти сразу проходит — что это еще за нытье? Для будущего наши театральные упражнения довольно безразличны, рождение же ребенка придает ему хотя бы иллюзорный оттенок смысла. Лена радовалась. Я радовался ее радости.

Репетиционные неприятности не имели ничего или почти ничего общего с вышеописанными событиями. Недели шли. Результаты были по-прежнему средние. К тому же что-то произошло с Марик Вос, нашим сценографом — то ли временный провал в памяти, то ли дало себя знать перенапряжение. Вот уже много лет мужское пошивочное ателье Драматического театра было «укомплектовано» неумелой бестолочью. Марик тихо и упорно боролась с их глупостью, ленью и чванливостью, ни одна вещь не соответствовала эскизам, ничего не было готово. Все это привело к тому, что Марик забыла о диапозитивах. Их подбор она поручила одной молодой особе, для которой — по причине ее общей некомпетентности — не нашлось другой работы. Та горячо взялась за дело и заказала фотографий на десятки тысяч крон, на что никто не обратил внимания. Наконец молчание вокруг диапозитивов показалось мне подозрительным, и я начал разбираться в этом деле. Оказалось, в нашем распоряжении замечательные новые проекционные аппараты и ни одного диапозитива. Катастрофа казалась неминуемой, но нам повезло: нашелся молодой, знавший дело фотограф, горевший желанием помочь; дни и ночи напролет он подбирал мотивы и решал возникавшие технические проблемы. Последние диапозитивы были готовы к генеральной репетиции.

В пятницу 14 марта состоялся первый прогон, спектакль игрался без остановок и повторов. В дневнике я записал: «Не прогон, а насмешка. Сижу и глазею. Ни малейшего сопереживания. Абсолютно бесстрастен. Ну да ладно, время еще есть». (Премьера была запланирована на 17 апреля, в 70-ю годовщину первой премьеры.)

В воскресенье мы с Эрландом[13] сидим у меня в кабинете в театре и разговариваем о Себастьяне Бахе. Маэстро вернулся домой после длительного путешествия, за время его отсутствия

умерли жена и двое детей. В его дневнике появляется запись: «Господи всеблагой, не дай мне потерять радость».

Всю свою сознательную жизнь я прожил с тем чувством, которое Бах называл радостью. Оно спасало меня в критические моменты и в несчастьях, было мне столь же надежной опорой, как и мое сердце. Порой подавляло, причиняло неудобства, но никогда не бывало враждебной, разрушительной силой. Бах называл это состояние радостью, Божьей радостью. *Господи всеблагой, не дай мне потерять радость.*

Внезапно я слышу, как говорю Эрланду: «Я теряю радость. Ощущаю это физически. Она ускользает от меня, оставляя после себя болезненную пустоту и влажную оболочку, которая скоро усохнет и исчезнет».

Я заплакал и испугался, потому что давно отвык плакать. В детстве я часто и охотно пускал слезу. Мать, раскусив мою хитрость, стала меня наказывать. Я перестал плакать. Иногда из глубины, со дна колодца до меня доносится безумный вой, всего лишь эхо, он настигает без предупреждения. Безудержно рыдающий ребенок, вечный узник.

В тот сумеречный день в моем кабинете взрыв произошел неожиданно. Меня залила черная жгучая тоска.

Несколько лет назад я навестил своего друга, умиравшего от рака. Разъедаемый изнутри болезнью, он превратился в сморщенного гнома с огромными глазами и колоссальными желтыми зубами. Он лежал на боку, подключенный ко множеству аппаратов, прижимал левую ладонь к лицу и шевелил пальцами. Губы его растянулись в жуткой улыбке, и он проговорил: «Гляди, я еще могу шевелить пальцами, все-таки какое-то развлечение».

Надо приспособиться, сократить линию фронта, битва все равно проиграна, ничего другого ждать не приходится, хотя я и жил в жизнерадостном заблуждении, что Бергману, мол, не грозит разрушение. «Неужели нет никаких скидок, никаких льгот для артистов?» — спрашивает актер Скат в «Седьмой печати», цепляясь за крону Дерева жизни. «Нет никаких льгот для артистов», — отвечает Смерть и начинает пилить ствол.

В ночь на понедельник у меня поднялась температура. Тело сотрясает лихорадка, пот течет ручьями, каждый нерв бурно протестует. Ощущение необычное. Я почти не болею, иногда плохо себя чувствую, но никогда не бываю болен настолько, чтобы отменить репетицию или съемку.

Десять дней я валяюсь с высокой температурой, даже читать не в силах, лежу и дремлю. Когда же наконец пытаюсь встать с кровати, не могу удержаться на ногах — я так тяжело болен, что это даже интересно. Дремлю, засыпаю, просыпаюсь, кашляю,

сморкаюсь. Грипп хозяйничает неутомимо и покидает меня с неохотой: температура скачет. У меня появился шанс — если бросать работу над спектаклем, более подходящего случая не придумаешь.

Мы сделали видеозапись злополучного прогона. Я прокручиваю ее вновь и вновь, отмечаю слабости, анализирую недостатки. Возможность отказаться от постановки дала мне мужество продолжать. Бессмысленность не стала менее бессмысленной, нежелание не превратилось в желание, но меня охватила вырабатывающая адреналин ярость. Я еще не умер.

Решаю начать репетицию 1 апреля, независимо от моего состояния. Накануне ночью — повторный приступ болезни с высокой температурой и желудочными спазмами. Тем не менее работа идет нормально, я бракую целые куски и делаю их заново. Актеры отвечают дружеским энтузиазмом. Бессонные ночи заполнены тревогой и физическими недомоганиями, грипп оставил после себя незнакомую мне депрессию, живущую самостоятельной ядовитой жизнью в моем теле.

В среду 9 апреля — последняя репетиция в репетиционном зале. Я записал: «Опасения оправдываются и усиливаются. Идти дальше еще решительнее. Печален, но отнюдь не сломлен».

И вот мы переместились в тесноту и неудобства Малой сцены. Расстояние и резкий рабочий свет безжалостно выявили все неровности спектакля. Исправляем, изменяем. Установка света, грим, костюмы. С таким трудом собранный дом разваливается, все скрипит, трещит, сопротивляется.

Мир сотрясается и рушится, неужто мне и впрямь придется нацепить эту бороду! Если я надену эти брюки поверх других, не успею переодеться, здесь нужна липучка, ты перебрал с белилами. Убийца Пальме все еще на свободе, снегоразбрасыватель неисправен, снег получается комковатый, навеска неудачна, почему у левого софита свет теплее, чем у других, зеркало никуда не годится, производственный брак, в Швеции нет хороших зеркал, надо заказать в Австрии, уличные беспорядки в Южной Африке, четырнадцать человек убито, много раненых, почему шумят вентиляторы, они должны работать бесшумно, вентиляция отвратительная, в середине зала — ледяной сквозняк, почему до сих пор нет ботинок, сапожник болен, мы заказали их в городской мастерской, думаю, в пятницу получим. Можно, я сегодня буду говорить потише, болит горло, нет, температуры нет, в «Ревизоре» я не играю, но у меня выступление по радио. Оставайся там, где стоишь, сделай два шага вправо, хорошо, чувствуешь теперь эту лампу?

Терпение и спокойствие, не ругаться, а смеяться. Так дело

идет быстрее, но все равно муторно. Теперь вот это место, нет, ничего не меняем, по-прежнему никакого отзвука, я ведь вижу, как его трясет словно в судорогах, я в чем-то ошибся? Может, надо было по-другому выстроить мизансцену? Нет, не поможет. Он страстно хочет, изо всех сил колотит в стены тюрьмы, есть же какой-то выход?

Мир сотрясается и рушится, мы — хлопотливо и чуть возбужденно — жужжим в толстых стенах Дома, маленьком мирке тревожного беспорядка, прилежания, нежности и таланта. Мы ведь только на это и способны.

Наутро после убийства Улофа Пальме мы собрались в холле репетиционного зала. Приступить к работе казалось немыслимым. Переговаривались — неуверенно, подыскивая слова, пытаясь нащупать контакт, кое-кто плакал. Диковинным выглядит наше ремесло, когда в него врывается реальная жизнь, не оставляя камня на камне от наших иллюзорных забав. В дни оккупации Норвегии и Дании Германией мой любительский театр должен был играть «Макбета» в актовом зале школы на Свеаплан. Мы соорудили временную сцену и трудились над спектаклем целый год. В те дни в школе расквартировали воинскую часть, большинство из нас было призвано в армию. Но по какой-то необъяснимой причине нам разрешили сыграть наш спектакль. В школьном дворе были установлены зенитки, полы в коридорах и классах устланы соломой, кругом кишели облаченные с грехом пополам в военную форму солдаты. Светомаскировка.

Я исполнял роль короля Дункана, парик не налезал, я выкрасил волосы в белый цвет жирным гримом и приклеил бороду — никогда ни один Дункан не был так похож на козла. Леди репетировала всегда в очках и потому сейчас то и дело спотыкалась и наступала на подол платья. Макбет фехтовал, как никогда, энергично (мечи мы достали в последнюю минуту) и так хватил по голове Макдуфа, что у того брызнула кровь — после представления его увезли в больницу.

А теперь вот — убийство Улофа Пальме. Как справиться с охватившей нас растерянностью? Отменить репетицию, отменить вечерний спектакль? Об «Игре снов» придется забыть навсегда. Нельзя же в самом деле сейчас играть пьесу, в которой героиня беспрерывно повторяет: «Как жалко людей». Невыносимо устаревшее произведение искусства, прекрасное, но далекое, возможно, уже мертвое.

И тут одна из молодых актрис говорит: «Может, я ошибаюсь, но мне кажется, надо репетировать, надо играть. Тот, кто убил Пальме, хочет, чтобы наступил хаос. Если мы отменим репетицию и спектакль, мы лишь поможем возникновению хаоса, позволим

чувствам взять верх. Сейчас главное — не чьи-то личные временные эмоции, а нечто иное. Нельзя допустить хаос».

Медленно, неуверенно «Игра снов» превращалась в спектакль. Мы репетировали в присутствии публики. Иногда зрители были внимательны и увлечены, иногда молчаливы и безразличны. Робкий оптимизм окрасил наши щеки. Коллеги хвалили, мы получали письма и ободряющие отклики.

Последняя неделя репетиций для режиссера почти невыносима. Стимул дальнейших усилий утрачен, от тоски нечем дышать, изъяны бьют в глаза, мозг и чувства точно плотным туманом заволакивает холодным влажным равнодушием.

Сон из рук вон: крутится бесконечная карусель неурядиц. Интонаций, жестов, перед глазами застыли, словно неподвижные слайды, неудачные световые моменты. Полюбуйся-ка! Ночь длинна и тосклива. Недостаток сна меня не смущает, изматывают переживания: в чем основная ошибка? Может быть, она заложена в самом тексте — в разрыве между гениальными находками и душеспасительными теориями, между суровой красотой и приторным лепетом? Но ведь именно это противоречие, черт бы меня побрал, я и хотел отобразить! Может, игривая пародийность сцены в пещере Фингала кощунственна? Над Титаном нельзя смеяться, даже если смеешься с любовью? Не забыть направить 36-й софит на кровать в комнате Адвоката, а в целом свет в этой сцене удачный, всего несколько ламп — и создано нужное настроение. Свен Нюквист[14] был бы мною доволен. На меня уставились коровы, пасущиеся на худосочном лугу возле кузницы, тучи мух вьются над их мордами, лезут в глаза, малорослая пестрая корова с острыми рогами считается злюкой. Вот идет Хельга, блузка на пышной груди повлажнела, от нее резко пахнет потом и молоком, она смеется, обнажая крупные белые зубы с дырой посередине — дело рук Брюнольфа. В ответ Хельга спустилась на берег реки и потопила его плоскодонку, потом открыла банку анчоусов и спряталась за дверью. Когда Брюнольф пришел на обед, она вдавила банку в лицо законного супруга, вдавила и повернула. Брюнольф задумался. Заново обретя способность видеть, он нахлобучил на голову шляпу с круглой тульей и отправился пешком в Борленге — по лбу и щекам течет кровь, в бороде застряли анчоусы. Он зашел к фотографу Хультгрену и потребовал, чтобы тот сфотографировал его прямо в таком виде — в заляпанном комбинезоне, в шляпе, с раскровавленным носом и свисающими со щек и подбородка анчоусами. Что и было исполнено. Эту фотографию Хельга получила на день рождения. Все, я сплю... и звонит будильник.

Лежу не шевелясь, голова ясная, в душе страх: я способен

убить всякого, кто скажет хоть одно дурное слово о моих актерах. Подошел день генеральной репетиции, настало время расставаться. Послезавтра они прочтут газеты, уверяя, что и не думали читать. А уж там их освежуют, намнут бока, похлопают по плечу, превознесут, отчитают, смешают с грязью или вовсе обойдут молчанием. А вечером того же дня им выходить на сцену. И они будут знать, что зрители знают.

Много лет тому назад я видел, как один мой друг стоял в углу за кулисами, одетый и загримированный. Нижняя губа была сжевана до крови, кровь стекала тоненькой струйкой по подбородку, в уголке рта выступила пена. Он тряс головой — не выйду, не выйду. И вышел.

Генеральная репетиция — вечером 24 апреля. Днем у нас сбор труппы, посвященный «Гамлету». За столом множество народу составляет план работы над спектаклем, премьера которого состоится 19 декабря. Я рассказываю им свой замысел: пустая сцена, возможно, два стула, но не уверен. Неподвижный свет, никаких цветных светофильтров, никакого искусственного настроения. К полу, в непосредственной близости к зрителям, приварен круг радиусом 5 метров. На нем и разыгрывается действие. Фортинбрас со своими людьми ломает дверь в задней стене сцены, выходящей на Альмлёфсгатан, ветер задувает на сцену снег, трупы сбрасывают в могилу Офелии, Гамлету воздают почести в презрительно-формальных выражениях, Горацио убивают из-за угла.

В глубине души я взбешен и испытываю желание отказаться от постановки. Несколько месяцев назад я попросил на роль Могильщика Ингвара Чельсона. Сам Чельсон ответил согласием. А потом за моей спиной он берет — или ему дают — роль побольше в другом спектакле. Другой, совсем юный актер, у которого еще молоко на губах не обсохло, заявляет, что собирается взять длительный отпуск по уходу за новорожденным ребенком. Третьего у меня забрали по ультимативному требованию приглашенного режиссера. Бесхребетный, но одаренный парнишка не хочет играть Гильденстерна. Молодым, делающим карьеру актерам ненавистна мысль о том, что им придется стоять на сцене рядом с Гамлетом — их ровесником, а то и еще моложе. У них начинаются конвульсии, психосоматические расстройства, они даже вспоминают о своих новорожденных сыновьях. Да и, кроме того, быть в дружеских отношениях с Бергманом уже не так важно, он ведь перестал снимать фильмы.

В то же время я все понимаю, ну разумеется, я все прекрасно понимаю, я вообще понятливый: для артиста своя рубашка ближе

к телу, он изворачивается и лавирует, размышляет и взвешивает. Я все понимаю и тем не менее взбешен. Помню, как Альф Шёберг[15] собирался меня вздуть, когда я переманил Маргарету Бюстрём из его спектакля «Альцест». Ситуация аналогичная. На похоронах Шёберга член правления театра повернулся к одному актеру, представлявшему труппу, и сказал: «Поздравляю, теперь у вас в Драматене одной режиссерской проблемой меньше». Помню, как мне пришлось уволить Улофа Муландера. Дай мне, Господи, благоразумия уйти вовремя. Когда наступит это «вовремя»? Может, уже наступило?

В четверг 24 апреля в семь вечера (во всех газетах объявлено, что опоздавшие к началу в зал не допускаются) — наконец-то генеральная! Актеры чуют легкое дуновение успеха, они бодро-беспечны и возбуждены. Я стараюсь разделить их радостные ожидания. Где-то в подсознании я уже отметил провал, и дело вовсе не в том, что я недоволен постановкой, напротив. После всех мытарств — на сцене первоклассный, продуманный и, для наших условий, хорошо сыгранный спектакль. Ни малейшего повода для самобичевания.

И все-таки я уже знаю — наши усилия напрасны. Спектакль начинается. Звучит до-мажорный сигнал, и я покидаю Малую сцену вместе с директором театра. Только мы выходим на улицу через заднюю дверь, как нас мгновенно тесным кольцом окружают фотокорреспонденты, ослепляя вспышками. Загорелый Кто-то трогает меня за плечо и говорит, что я обязан его впустить, он опоздал на десять минут, не имеет возможности посмотреть спектакль в другой раз, пытался уговорить билетеров, но они, как им и было приказано, были непреклонны. Я едко отвечаю нахалу, что у меня нет ни возможности, ни желания помочь ему, сам виноват. После чего узнаю в нем редактора отдела культуры «Свенска дагбладет», который к тому же театральный критик. Я добавляю с натянутой улыбкой — мол, он должен понимать и отнестись с уважением к нашим правилам. Одновременно у меня возникает непреодолимое искушение наброситься на него с кулаками — он, считающий себя профессионалом, позволяет себе опаздывать! И к тому же настолько бестактен, что требует от режиссера сегодняшнего спектакля впустить его. Критик удаляется. Директор театра, предчувствуя длительное преследование на культурной странице «Свенска дагбладет», бежит за рассерженным редактором и проводит его в зал.

Этот незначительный эпизод окончательно убедил меня в безнадежном исходе. Язва и бегство первого сценографа, беременность Лены Улин, вынужденные решения, неудачный прогон в середине репетиционного периода, мой грипп с

последующей депрессией, технические незадачи, распределение ролей в «Гамлете», оскорбленный редактор отдела культуры и вдобавок убийство Пальме — событие, из-за которого наша работа предстанет, временно или навсегда, в совершенно ином свете. Все это, вместе взятое, как большое, так и малое, привело к ясному осознанию ситуации, я знал, что будет дальше.

После генеральной мы собрались в одном из новых репетиционных залов над Малой сценой. Пили шампанское, закусывая бутербродами. Настроение приподнятое, но с налетом грусти. Трудно расставаться после длительного и тесного общения. Я испытываю бессильную нежность ко всем этим людям. Пуповина перерезана, а тело еще корчится от боли. Обсуждаем фильм Вайды «Дирижер»[16], где он доказывает, что музыка немыслима без любви. В едином порыве мы признаем, что театр без любви в принципе возможен, но это — мертвый театр, он не способен жить и дышать. Без любви нельзя. *Без тебя нет меня.* Конечно, мы видели блестящие постановки, выросшие из вакхической ненависти, но ненависть ведь тоже прикосновение, любовь и ненависть одинаково проницательны. И мы, подумав, приводим примеры.

Горят, мерцают на столе свечи, капает стеарин. Время расставаться. Объятия, поцелуи, словно прощаемся навсегда. Черт побери, завтра же снова встретимся, говорим мы и смеемся. Завтра премьера.

Впервые за всю свою профессиональную жизнь я переживал неудачу дольше сорока восьми часов. Обычно можно утешаться аншлагами. Посещаемость сорока спектаклей на Малой сцене была неплохая, но недостаточная. Бессмысленность скалит зубы! Столько усилий, боли, волнений, тоски, надежд — и все напрасно. Без всякой пользы.

* * *

Дача в Даларна называлась Воромс, на диалекте Орса это значит «наша». Я попал туда в первый месяц своей жизни, но в воспоминаниях живу там до сих пор. Вечное лето, шумит огромная раздвоенная береза, дрожит от жары воздух над горной грядой, на террасе двигаются люди в легких светлых одеждах, окна распахнуты настежь, кто-то играет на рояле, катится крокетный шар, вдалеке на станции Дуфнес гудит товарняк, переходя на другой путь, река отливает таинственной чернотой даже в самые светлые дни, плывут по течению бревна, то неспешно, то быстро крутясь в воде, пахнет ландышами, муравейниками и телячьим жарким. Коленки и локти у детей в ссадинах, мы купаемся в реке или в Черном озере и рано овладеваем искусством плавания, поскольку и там и тут резко уходящее вниз глинистое дно и неожиданная бездонная глубина.

Мать наняла няньку — девушку из местных. Ее звали Линнеа, она была милая, немного молчаливая, но добрая и привыкла ухаживать за малышами. Мне было шесть лет, и я обожал ее веселую улыбку, белую кожу и пышные рыжеватые волосы. Я слушался любого ее слова и нанизывал на соломинку ягоды земляники, стараясь ей угодить. Она прекрасно плавала и научила плавать меня. Когда мы с ней купались вдвоем, без свидетелей, она не надевала свой черный несуразный купальник, что я очень ценил. Она была высокая, худая, с широкими веснушчатыми плечами, маленькой грудью и огненно-рыжими волосами на лобке. Никогда я столько не купался, как в то лето, — вылезал из воды, стуча зубами, с синими губами, и мы грелись, сидя в палатке, которую Линнеа мастерила из купальной простыни.

Как-то сентябрьским вечером, незадолго до нашего отъезда в Стокгольм, я зашел на кухню. Линнеа сидела за кухонным столом, не зажигая керосиновой лампы. Перед ней стояла чашка кофе. Поддерживая ладонью голову, она рыдала — судорожно, но беззвучно. Я перепугался, бросился ей на шею, но она оттолкнула меня. Такого раньше никогда не случалось, и я тоже заплакал — мне уже и до того было грустно. Мне хотелось, чтобы она перестала плакать и утешила меня. Но она этого не сделала. Она не обращала на меня внимания.

Через несколько дней мы уехали из Воромса в Стокгольм. Линнеа с нами не поехала. Я спросил маму, почему Линнеа не едет с нами, как в прежние годы. Ответ был уклончивый.

Сорок лет спустя я поинтересовался у матери, что произошло

с Линнеа. Я узнал, что девушка забеременела, отец ребенка отрицал свое отцовство. А так как семья пастора не могла держать беременную прислугу, отец был вынужден ее рассчитать, невзирая на горячие протесты матери. Бабушка собиралась вмешаться и помочь девушке, но та исчезла. Через два-три месяца ее нашли у железнодорожного моста с размозженным черепом. Полиция пришла к выводу, что она разбилась, бросившись с моста.

Железнодорожная станция Дуфнес состояла из красного станционного домика с белыми угловыми венцами, уборной, на которой было написано «Мужчины» и «Женщины», двух семафоров, двух стрелок, товарного склада, каменного перрона и погреба, на крыше которого росла земляника. Главная колея, огибая гору Юрму, проходила мимо Воромса, видимого со станции. В двухстах-трехстах метрах к югу мощной дугой шла излучина реки, опасное место — оно называлось Гродан, — с глубокими водоворотами и острыми выступающими камнями. Над излучиной вздымался железнодорожный мост с узкой пешеходной дорожкой с правой стороны. Ходить по мосту было запрещено. Но никто не обращал внимания на запрет, потому что это был самый короткий путь к богатому рыбой Черному озеру.

Начальника станции звали Эрикссон. Уже двадцать лет он жил в станционном домике со своей женой, страдавшей базедовой болезнью, а в деревне его все еще считали новоселом и потому относились с подозрением. Дядю Эрикссона окружало множество тайн.

Бабушка позволяла мне ходить на станцию. И хотя у дяди Эрикссона разрешения не спрашивали, он обращался со мной рассеянно-дружелюбно. В конторе у него пахло трубочным табаком, на окнах жужжали сонные мухи, время от времени стучал телеграфный аппарат, выпуская из себя узкую ленту, испещренную точками и тире. Дядя Эрикссон сидел, склонившись над столом, и что-то писал в черных тетрадях или сортировал накладные. Иногда кто-нибудь в зале ожидания колотил в окошко и покупал билет до Репбеккен, Иншён или Борленге. Царивший покой был как сама вечность и уж наверняка достоин того же уважения. Я не нарушал его ненужной болтовней.

Но вот все-таки звонит телефон, короткое сообщение: поезд из Крюльбу вышел на Лэннхеден, дядя Эрикссон что-то бормочет в ответ, надевает форменную фуражку, берет красный флажок, взбирается на пригорок и поднимает южный семафор. Кругом ни души. Палящее солнце накаляет стену склада и рельсы, пахнет смолой и железом. Вдалеке у моста журчит река, горячий воздух дрожит над замасленными шпалами, блестят камни. Тишина и

ожидание, изуродованная кошка дяди Эрикссона устроилась на дрезине.

От изгиба дороги перед Длинным озером просигналил паровоз, вдали черным пятном на сплошном зеленом фоне показался поезд, сперва почти беззвучно, гул быстро нарастает, поезд уже пересекает реку, гул усиливается, заскрежетала стрелка, содрогается земля, паровоз мчится мимо перрона, ритмично выпуская из трубы клубы дыма, свистит ветер, стучат на стыках колеса, земля ходит ходуном. Дядя Эрикссон отдает честь машинисту, тот отвечает на приветствие. Через мгновение гул затихает, поезд уже огибает Воромс, вот он скрылся в горе, вот вскрикнул у лесопильни. И опять воцаряется тишина. Дядя Эрикссон крутит ручку телефона и говорит: «Из Дуфнеса два тридцать три». Тишина полнейшая, даже мухи не осмеливаются жужжать на стекле. Дядя Эрикссон удаляется на второй этаж обедать и вздремнуть до того, как прибудет идущий на юг товарный — где-то между четырьмя и пятью. Этот товарный не отличался точностью, ибо почти на каждой станции заменял вагоны.

Неподалеку от станции стоит кузница. Ее владелец похож на монгольского хана. Он женат на все еще красивой, но сильно потрепанной жизнью женщине по имени Хельга. Они со всеми своими многочисленными детьми ютятся в двух комнатушках над кузней. Там — беспорядок и доброжелательность. Мы с братом охотно играем с детьми кузнеца. Хельга кормит грудью младшенького. После того как малыш насытился, она зовет другого сына, моего ровесника: «Йонте, иди сюда, попей». Я с завистью в сердце смотрю, как мой друг становится между материнскими коленями, она протягивает ему свою тяжелую грудь, он наклоняется и начинает жадно сосать. Я спрашиваю, можно ли мне тоже попробовать, но Хельга, смеясь, говорит, что мне надо сначала попросить разрешения у фру Окерблум, то есть у бабушки. Я со стыдом сознаю, что переступил границы одного из этих непонятных правил, которые все в большем количестве скапливаются на моем пути.

Моментальные фотографии! Лежу в кровати с высокими спинками, вечер, горит ночник. Я сладострастно мну в руках колбаску — она мягкая, принимает любую форму, вкусно пахнет. Неожиданно я бросаю ее на пол и громко и настойчиво зову Линнеа, няньку. Дверь открывается, входит отец — большая, черная фигура, освещенная светом, льющимся из холла. Он показывает на колбаску и спрашивает, что это такое. Я поднимаю на него глаза, сердце готово выскочить из груди, и говорю, что, по-моему, там ничего нет. Следующая сцена: получив хороший

шлепок, я реву, сидя на горшке посередине комнаты. Горит верхний свет, Линнеа сердито перестилает мою постель.

Тайны. Внезапные мгновения тишины. Неясные физические недомогания. Это и есть муки совести? — как спрашивает Дочь Индры в «Игре снов». Что я сделал? — спрашиваю я в ужасе. Ты знаешь сам, — отвечают Власть предержащие. Конечно, я согрешил, всегда существует какой-нибудь необнаруженный проступок, грызущий душу. Подглядывали около отхожих мест. Стащили изюм из шкафчика со специями. Купались совсем рядом с водоворотами у железнодорожного моста. Украли мелочь из отцовского пальто. Осквернили имя божие, заменив его на дьявола благословляющего: дьявол, благослови нас и спаси нашу душу, дьявол, обрати к нам свой лик и трахни нас. «Мы» — это мой брат и я, временами объединявшиеся для совместных акций, но чаще разделенные едкой ненавистью. Даг считал, что я врал, выворачивался и избегал наказания. К тому же еще и избалован, ибо был любимчиком отца. Я же полагал, что брат, который был на четыре года старше, пользуется несправедливыми преимуществами: его не загоняли в постель так рано, он ходил на фильмы, на которые не пускали детей, и мог вздуть меня когда вздумается. А то, что он постоянно вызывал ревнивое неудовольствие отца, я осознал значительно позже.

Ненависть между братьями чуть было не привела к братоубийству. Даг дал мне хорошую взбучку, я решил отомстить. Чего бы это ни стоило! Взяв в руки тяжелый стеклянный графин, я взобрался на стул, спрятавшись за дверью нашей с ним общей комнаты в Воромсе. Когда брат открыл дверь, я со всей силой ударил его по голове. Графин разлетелся на мелкие кусочки, брат упал, кровь хлестала из зияющей раны. Месяц или два спустя он набросился на меня без всякого предупреждения и выбил два передних зуба. В ответ я поджег его кровать, когда он спал. Огонь погас сам по себе, враждебные действия временно приостановились.

Летом 1984 года мой брат со своей женой-гречанкой приехали погостить к нам на Форё. Ему было шестьдесят девять лет, он был генеральный консул в отставке. Несмотря на тяжелый паралич, он до конца неустанно выполнял свои служебные обязанности. Теперь он мог лишь двигать головой, прерывисто дышал, говорил неразборчиво. Мы проводили время в воспоминаниях о нашем детстве.

Он помнил гораздо больше меня, рассказывал о своей ненависти к отцу и сильной привязанности к матери. Для него они по-прежнему оставались родителями, мифическими существами, прихотливыми, труднодоступными, которых он явно

переоценивал. Мы ощупью пробирались по заросшим тропинкам, ошарашенно глядя друг на друга: непреодолимое расстояние разделяло двух пожилых людей, вышедших из одного чрева. Наша взаимная антипатия испарилась, оставив после себя пустоту, где не было места контакту, общности. Брат хотел смерти и в то же время боялся умереть, бешеное желание жить заставляло работать его легкие и сердце. Кроме того, как он обронил, покончить с собой не было возможности, ибо руки у него парализованы.

Сильный, дерзкий, умный человек, любивший рисковать, не уклонявшийся от военных опасностей, умевший наслаждаться жизнью, рыбак, обожавший лесные прогулки, бесцеремонный, эгоистичный, обладавший чувством юмора. Всегда заискивавший перед отцом, несмотря на ненависть. Привязанный к матери, несмотря на все попытки вырваться на свободу и мучительные конфликты.

Мне понятна болезнь брата — он парализован яростью, парализован двумя подавляющими его сумеречными фигурами, удушающими, неуловимыми — отцом и матерью. Может, следует добавить, что он питал полнейшее презрение к искусству, психоанализу, религии и вообще к духовности. Он был насквозь рациональным человеком, знал семь языков, из книг предпочитал исторические сочинения и биографии политических деятелей. И еще он диктовал на магнитофон свои мемуары. Я отдал перепечатать этот материал. Получилось восемьсот страниц, выдержанных в сухом, ироничном, академическом тоне. Правда, за несколькими исключениями. Просто и прямо рассказывает он о жене, есть страницы, посвященные матери. В остальном же — поверхностность, сарказм, лицемерное безразличие: жизнь как неинтересное приключение. На этих восьмистах страницах нет ни строчки о болезни, он никогда не жаловался, но свою судьбу презирал. Боли, физическое унижение переносил со злобным нетерпением и приложил максимум стараний быть настолько неприятным, чтобы никому и в голову не пришло выражать ему свое сочувствие.

Свое семидесятилетие он отпраздновал в посольстве в Афинах. Он был очень слаб, жена считала, что надо отменить празднество. Он отказался и произнес блестящую речь в честь гостей. Вскоре его увезли в больницу, где применили неправильное лечение, и он умер после нескольких затяжных приступов удушья. Он был все время в сознании, но говорить не мог, потому что ему сделали свищ в горле. И умер в ярости от своей немоты, от невозможности высказаться.

С моей младшей сестрой, Маргаретой, мы жили довольно

дружно. И хотя она была на четыре года моложе, я охотно играл с ней в куклы, разыгрывая сложные представления в ее кукольном шкафу. На фотографии из семейного альбома я вижу крохотное кругленькое существо с белесыми волосами и расширенными от ужаса глазами. Она была сама чувствительность — от нежного рта до нерешительных рук. Родители — и отец и мать — ее обожали, и она пыталась быть достойной этой любви, пыталась быть тем ласковым, нежным ребенком, который вознаградил бы их за мучения с обоими трудноуправляемыми сыновьями.

Мои детские воспоминания о Маргарете бледны и расплывчаты. Мы построили кукольный театр, она сшила костюмы, я нарисовал декорации. Мать — терпеливая и заинтересованная зрительница — подарила нам красивый вышитый бархатный занавес. Мы играли мирно и тихо, я чувствовал себя намного лучше в ее обществе, чем в обществе брата. Не думаю, чтобы мы когда-нибудь с ней дрались или ругались. Одно лето, когда мне было одиннадцать лет, а сестре — семь, мы проводили в Лонгэнген, недалеко от Стокгольма. Матери сделали тяжелую операцию, и она уже несколько месяцев лежала в больнице Софияхеммет. Отец пожелал, чтобы мы находились поблизости, поэтому на время наняли кроткую домоправительницу, которая, вообще-то, была учительницей младших классов. Мы с сестрой по большей части были предоставлены сами себе. Помимо виллы в усадьбе имелась также старая купальня, клонившаяся к воде. Купальня состояла из раздевалки и бассейна без крыши. Там мы пропадали часами, играя в наши слегка приправленные чувством греха игры. Неожиданно, без объяснений или допросов, нам запретили ходить одним в купальню.

Маргарету все больше стали затягивать ее отношения с родителями, и мы отдалились друг от друга. В девятнадцать лет я сбежал из дома. С тех пор мы практически не встречались. Маргарета утверждает, будто она однажды показала мне какое-то свое сочинение, которое я по юношескому недомыслию раскритиковал в пух и в прах. Сам я этого не помню. Теперь она время от времени пишет книги. Если я правильно понимаю ее произведения, жизнь ее, очевидно, была адом. Иногда мы говорим с ней по телефону, как-то неожиданно встретились на концерте. Ее измученное лицо и странные бесцветный голос напугали меня и привели в дурное расположение духа.

Порой у меня появляются мимолетные угрызения совести, когда я думаю о своей сестре. Она начала писать тайно от всех, никому не разрешая познакомиться с написанным. В конце концов, набравшись мужества, дала почитать мне. Я сам пребывал

в растерянности; ко мне отнеслись благожелательно как к молодому многообещающему режиссеру и смешали с грязью как писателя. Писал я плохо, манерно, подражая Яльмару Бергману и Стриндбергу. И обнаружив тот же неестественный, натужный стиль у сестры, я пригвоздил к столбу ее опыты, не сознавая, что для нее это был единственный способ излить душу. По ее собственным словам, она бросила тогда писать. Чтобы наказать меня или себя или потому, что пала духом, не знаю.

* * *

Решение отложить в сторону кинокамеру было лишено драматизма и созрело во время работы над фильмом «Фанни и Александр». То ли тело взяло верх над душой, то ли душа повлияла на тело, не знаю, но только справляться с физическими недугами становилось все труднее.

Летом 1985 года у меня возникла близкая моему сердцу — как мне казалось — идея. Мне хотелось вернуться к принципам немого кино, сделать большие куски фильма без диалога и акустических эффектов, я увидел — наконец-то! — возможность порвать со своими разговорными фильмами.

Я немедленно засел за сценарий. На меня, выражаясь мелодраматически, еще раз снизошла благодать, во мне горело желание творить. Дни были заполнены тем тайным наслаждением, которое является признаком добротного творческого воображения.

После трех недель плодотворной работы я тяжело заболел. Организм отреагировал судорогами и нарушением равновесия. Я был точно отравлен, растерзан страхом и презрением к своему жалкому состоянию. Я понял, что никогда больше не сделаю ни одного фильма, мое тело отказалось мне помогать, непрерывное напряжение, связанное с работой в кино, было уже немыслимо, отошло в прошлое. И я спрятал подальше свой сценарий о рыцаре Финне Комфусенфейе[17] (о том самом, кто «из дома в дом ходит и помощь везде находит», о безымянном режиссере немого кино, фильмы которого — множество наполовину испорченных пленок в жестяных коробках — находят во время ремонта в подвале загородной виллы. В уцелевших кадрах прослеживается какая-то смутная взаимосвязь, специалист в области немого кино пытается по губам актеров расшифровать их реплики. Кадры пускают в разной последовательности, каждый раз получая разные сюжетные ходы. В дело вовлекается все больше людей, оно разрастается, разбухает, требует все больше денег, выходит из-под контроля. В один прекрасный день все сгорает — и нитратные оригиналы и ацетатные копии, сгорает дотла целый каземат. Всеобщее облегчение).

Всю жизнь я страдал так называемым желудочным неврозом — курьезная и в то же время унизительная напасть. Мои внутренности пакостили мне с неиссякаемой, зачастую изощренной изобретательностью. Школьные годы были из-за этого сплошным мучением, ибо я не мог предугадать, когда начнется приступ. Внезапно наложить в штаны — травма для

любого, и достаточно еще двух-трех подобных происшествий, чтобы навек потерять покой.

С годами я терпеливо научился справляться с этим недугом в такой степени, что могу работать без явных помех. Но это — как если бы у тебя внутри, в самом чувствительном месте поселился зловредный демон. С помощью строгих ритуалов я умею держать его под контролем. Особенно подорвало его власть одно принятое мною решение — хозяин своим действиям я, а не он.

Никакие лекарства не помогают, потому что они либо одурманивают, либо начинают действовать слишком поздно. Один умный врач посоветовал мне примириться и приспособиться. Что я и сделал. Во всех театрах, где я работал подолгу, в мое распоряжение был предоставлен отдельный туалет. Эти туалеты и останутся, вероятно, моим непреходящим вкладом в историю театра.

Итак, создается впечатление, будто живущему во мне демону все-таки удалось одержать победу над моим желанием снимать фильмы. Но это вовсе не так. Уже около двадцать лет меня мучает хроническая бессонница. Страшного в этом ничего нет, человек может обходиться гораздо менее продолжительным сном, чем это принято думать, мне, во всяком случае, вполне хватает пяти часов. Изнуряет другое — ночь делает человека легко ранимым, смещает перспективы; лежишь и прокручиваешь дурацкие или унизительные ситуации, терзаешься раскаянием за необдуманные или преднамеренные гадости. Частенько по ночам слетаются ко мне стаи черных птиц: страх, бешенство, стыд, раскаяние, тоска. Для бессонницы тоже существуют свои ритуалы: поменять кровать, зажечь свет, почитать книгу, послушать музыку, съесть печенье и шоколадку, выпить минеральной воды. Вовремя принятая таблетка валиума дает иногда превосходный эффект, но она же может привести к роковым последствиям — раздражительности и усилившемуся чувству страха.

Третья причина моего решения — надвигающаяся старость, явление, по поводу которого я не испытываю ни сожаления, ни радости. Тяжелее стало преодолевать возникающие проблемы, больше возни с мизансценами, медленнее принимаются решения, непредвиденные практические трудности буквально парализуют меня. Накопившаяся усталость выражается в растущем педантизме. Чем сильнее утомление, тем сильнее недовольство: чувства обострены до предела, я повсюду вижу провалы и ошибки. Придирчиво перебирая свои последние фильмы и постановки, я тут и там обнаруживаю крохоборческое, убивающее жизнь и душу стремление к совершенству. В театре опасность не так велика, там я имею возможность подкараулить погрешности

или в крайнем случае меня поправят актеры. В кино — все бесповоротно. Ежедневно — три минуты готового фильма, которые должны жить, дышать, быть произведением искусства. Порой я отчетливо, почти физически ощущаю в себе глухо ворочающееся допотопное чудовище — наполовину животное, наполовину человек, — готовое в любую минуту вылезти наружу: однажды утром у меня на языке появится отвратительный привкус его жесткой бороды, тело мое задрожит от подергивания его слабых членов, я услышу его дыхание. Я чувствую наступление сумерек, но это не смерть, а угасание. Иногда мне снится, будто у меня выпадают зубы, и я выплевываю изо рта желтые крошащиеся огрызки.

Я ухожу до того, как мои актеры и сотрудники заметят это чудовище и преисполнятся отвращением или сочувствием. Слишком часто я видел своих коллег, погибавших на манеже, — они умирали, словно усталые шуты, замученные собственной тоскливостью, под свист или вежливое молчание зрителей, и униформа — участливо или с презрением — выносила их из-под лучей прожекторов.

Я беру свою шляпу, ибо пока еще достаю до верхней полки, и ухожу сам, хотя и болит бедро. Творческая активность старости — вещь отнюдь не очевидная. Она периодична и случайна, приблизительно так же, как и тихо угасающая чувственность.

Выбираю один съемочный день в январе 1982 года. Судя по моим записям, на улице холодно, минус двадцать. Я просыпаюсь, как обычно, в пять утра или, вернее, какой-то зловредный дух будит меня, выталкивает, точно по спирали, из глубокого сна, голова ясная. Чтобы предупредить истерию и вредительские действия своих внутренностей, я немедленно поднимаюсь с кровати и несколько секунд неподвижно стою на полу с закрытыми глазами. Проверяю положение дел на сегодня — в каком состоянии тело и душа и прежде всего что предстоит сделать. Отмечаю, что у меня заложен нос (воздух пересушен), боль в левом яичке (вероятно, рак), болит тазобедренный сустав (старая болячка), звенит в больном ухе (неприятно, но можно не обращать внимания). Далее устанавливаю, что истерика под контролем, страх перед желудочными спазмами умеренный, сегодня предстоит работа над сценой Измаила и Александра, и я опасаюсь, как бы вышеупомянутая сцена не оказалась за пределами возможностей моего юного и храброго исполнителя главной роли. Мысль же о том, что скоро я буду работать со Стиной Экблад, вызывает радостное предвкушение. На сем первая проверка завершается, она дала небольшой положительный перевес — если Стина оправдает мои ожидания, я справлюсь с

Бертилем — Александром. Я уже наметил два стратегических варианта: один — с равноценными артистами, другой — с основным и вспомогательным.

Теперь главное — спокойствие, успокоиться.

В семь часов мы с Ингрид[18] завтракаем в дружеском молчании. Желудок пока ведет себя тихо, на пакости ему осталось сорок пять минут. В ожидании его действий я прочитываю утренние газеты. Без четверти восемь за мной приезжают и отвозят в съемочный павильон А/О Эурупафильм в Сюндбюберге.

Эта когда-то пользовавшаяся хорошей репутацией студия сейчас находится в стадии запустения. Занимаются там в основном производством видеофильмов, а персонал, оставшийся со времен кино, растерян и обескуражен. Сама киностудия представляет собой грязное, требующее ремонта помещение с никудышной звукоизоляцией. Аппаратной, оборудованной на первый взгляд с вызывающей улыбку роскошью, пользоваться нельзя. Проекторы никуда не годятся, резкость не держат, остановить кадр невозможно, звук плохой, вентиляция не работает и ковер в пятнах.

Ровно в девять часов мы приступаем к съемкам. Очень важно начать работу вовремя, всем вместе. Споры, сомнения должны быть вынесены за пределы этого внутреннего пространства полной концентрации. С момента начала съемок мы — сложный, но единый механизм, имеющий своей задачей создание живых картин.

Работа быстро входит в налаженный ритм, царит искренняя и безыскусно-доверительная атмосфера. Единственно, что мешает нам в этот день — звукопроницаемость и отсутствие уважения к красным сигнальным лампочкам в коридорах у тех, кто находится вне стен съемочного павильона. В остальном день приносит робкую радость. Уже с первой минуты чувствуется, насколько поразительно Стина Экблад постигает суть образа обиженного судьбой Измаила. Самое же замечательное в том, что Бертиль — Александр сразу уяснил ситуацию и с трогательной, присущей лишь детям неподдельностью выражает сложное состояние любопытства и страха.

Репетиции идут легко, без задержек, настроение — умиротворенно-приподнятое, творческая фантазия бьет ключом, чему во многом способствуют декорации, созданные Анной Асп, и свет, установленный Свеном Нюквистом с той непередаваемой интуицией, которая отличает его ото всех остальных и делает одним из лучших, если не лучшим, в мире мастеров по свету. На вопрос, как ему это удается, он обычно перечисляет несколько

основных правил (весьма пригодившихся мне в театре). Главный же свой секрет он не хочет — или не может — открыть. Если ему почему-то кажется, будто ему мешают, подгоняют, или просто у него плохое настроение, все идет наперекосяк, и ему приходится начинать сначала. У нас было с ним полное доверие и взаимопонимание. Иногда мне становится грустно от мысли, что нам не придется больше работать вместе. Особенно когда я вспоминаю такой день, как этот. Я испытываю чувственное удовольствие, работая бок о бок с сильными, самостоятельными, творческими людьми: актерами, техниками, электриками, администраторами, реквизиторами, гримерами, костюмерами — одним словом, всеми теми, кто заполняет день и помогает его прожить.

Временами я остро тоскую по всем и всему. Я понимаю, что имеет в виду Феллини, утверждая, что для него работа в кино — образ жизни. Понимаю и рассказанную им историю про Аниту Экберг. Последняя сцена с ее участием в «Сладкой жизни» снималась в студии, в автомобиле. После завершения съемок, что для нее означало вообще конец работы в этом фильме, она заплакала и, вцепившись руками в руль, отказалась вылезать из машины. Пришлось, применив некоторое насилие, вынести ее из студии.

Иной раз профессия кинорежиссера доставляет особенное счастье. В какой-то миг на лице артиста появляется неотрепетированное выражение, и камера запечатлевает его. Именно это случилось сегодня. Неожиданно Александр сильно бледнеет, и лицо его искажается от боли. Камера регистрирует это мгновение. Выражение боли — неуловимой боли — продержалось всего несколько секунд и исчезло навсегда, его не было и раньше, во время репетиций, но оно осталось зафиксированным на пленке. И тогда мне кажется, что дни и месяцы предугадываемой скрупулезности не пропали даром. Быть может, я и живу ради вот таких кратких мгновений. Как ловец жемчуга.

Шел 1944 год. Я назначен руководителем[19] Городского театра Хельсингборга. Перед этим я довольно долго обрабатывал сценарии в «Свенск Фильминдустри» (СФ) и по моему сценарию был снят фильм[20]. Я считался человеком одаренным, но с трудным характером. Между СФ и мною был заключен своеобразный «контракт на право обладания», который, не давая мне никаких экономических выгод, мешал моей работе на другие кинокомпании. Но риск был невелик. Несмотря на определенный успех «Травли», мною никто, кроме Лоренса Мармстедта[21], не интересовался. Тот же звонил мне время от времени и любезно-

издевательским тоном спрашивал, сколь долго я еще буду привязан к СФ и стоит ли овчинка выделки, говорил, что я там наверняка сгнию, зато он, Лоренс, смог бы сделать из меня приличного кинорежиссера. Я пребывал в нерешительности, на меня давили авторитеты, и я решил все-таки остаться у Карла Андерса Дюмлинга[22], относившегося ко мне по-отечески и чуть-чуть снисходительно.

Однажды на мой стол легла пьеса. Она называлась «Moderdyret»[23] и была написана одним легковесным датским сочинителем. Дюмлинг предложил мне сделать по этой пьесе сценарий. Если сценарий будет одобрен, я получу возможность поставить свой первый фильм. Я прочитал пьесу — она показалась мне ужасной. Но я был готов снимать фильм хоть по телефонному каталогу. За четырнадцать дней написал сценарий и получил «добро». От радости я несколько помешался и потому, естественно, не сознавал реального положения вещей. В результате чего очертя голову падал во все ямы, вырытые мною самим и другими.

Киногородок в Росунде представлял собой фабрику, производившую в 40-х годах от двадцати до тридцати фильмов в год. Там было в достатке всего — профессионализма и ремесленных традиций, рутины и богемы. Работая сценаристом-негром, я немало времени провел в студиях, киноархиве, лаборатории, монтажной, отделе звукозаписи и кафе и поэтому довольно прилично знал и помещения и людей. К тому же я был горячо убежден, что вскоре заявлю о себе как о лучшем режиссере мирового кино.

Одного я лишь не знал — по моему сценарию планировалось сделать дешевый второразрядный фильм, в котором можно было занять главным образом актеров, работавших в кинокомпании по контракту. После долгих нудных уговоров мне разрешили снять пробный фильм с Ингой Ландгре и Стигом Улином. Оператором был Гуннар Фишер. Мы с ним были ровесниками, оба преисполнены энтузиазма и хорошо сработались. Пробный фильм получился длинным. Мое воодушевление после просмотра не знало границ. Я позвонил жене, оставшейся в Хельсингборге, и в диком возбуждении заорал в трубку, что, мол, теперь время Шёберга, Муландера и Дрейера кончилось, идет Ингмар Бергман.

Воспользовавшись бившей из меня фонтаном самоуверенностью, Гуннара Фишера мне заменили Ёстой Рууслингом — покрытым шрамами самураем, известным своими короткометражками, в которых демонстрировались небесные просторы и красиво освещенные облака. Он был типичным документалистом и практически никогда не работал в студии. В

установке света разбирался плохо, презирал игровое кино и очень не любил снимать в помещении. Мы невзлюбили друг друга с первого взгляда. А поскольку мы оба чувствовали себя не слишком уверенно, то прятали эту неуверенность за сарказма-ми и дерзостью.

Первые съемочные дни [»Кризиса»] были кошмарным сном. Я весьма скоро уяснил, что попал в машину, с которой мне не совладать. Понял и то, что Дагни Линд, которой я скандалами добился на главную роль, не киноактриса и не обладает нужным опытом. С леденящей душу четкостью я осознал, что все видят мою некомпетентность. На их недоверие я отвечал оскорбительными вспышками ярости.

Результат наших усилий оказался прискорбным. Вдобавок из-за дефекта в кинокамере часть сцен была снята не в фокусе. Звук тоже был некачественный, разобрать реплики актеров можно было лишь с большим трудом.

За моей спиной шла активная деятельность. По мнению руководства студии следовало либо прекратить съемки вообще, либо сменить режиссера и исполнительницу главной роли. Мы надрывались уже три недели, когда я получил письмо от Карла Андерса Дюмлинга, находившегося в то время в отпуске. Он писал, что просмотрел отснятый материал и считает его перспективным, несмотря на все недостатки. И предложил начать сначала. Я с благодарностью принял предложение, не заметив западни, крышка которой пока еще выдерживала вес моего истощенного тела.

На моем пути стал — как бы случайно — попадаться Виктор Шёстрём[24]. Он цепко хватал меня за затылок, и так мы прогуливались по асфальтовой площадке возле студии. По большей части мы молчали, но внезапно он начинал говорить, просто и понятно:

— У тебя чересчур запутанные мизансцены, ни тебе, ни Рууслингу такие сложности не под силу. Работай проще. Снимай актеров спереди, они это любят, будет намного лучше. Не ругайся на своих сотрудников, их это только злит, и они хуже работают. Не старайся сделать каждый кадр главным, зритель подавится. Проходные сцены и надо делать как проходные, хотя они необязательно должны смотреться проходными.

Мы кружили по асфальту, туда и обратно. Шёстрём, не снимая руки с моего затылка, говорил конкретные, дельные вещи, спокойно, без раздражения, хотя я был весьма нелюбезен.

Лето стояло жаркое. Тягостно и безрадостно тянулись дни под стеклянной крышей студии. Я снимал комнату в Старом городе. Приходя домой, я валился на кровать, парализованный

стыдом и страхом. В сумерках отправлялся в молочный бар ужинать. Потом шел в кино, всегда в кино, смотрел американские фильмы и думал: «Вот этому мне нужно научиться, этот ракурс совсем простой, Рууслинг, пожалуй, справится. А здесь интересный монтаж, надо запомнить».

По субботам я напивался, прибивался к дурным компаниям, затевал ссоры и драки, меня вышвыривали на улицу. Как-то раз приехала жена, она была беременна, мы поругались, она уехала. А еще я читал пьесы, готовя репертуар будущего сезона в Городском театре Хельсингборга.

Нам предстояли съемки в Хедемуре. Почему из всех возможных мест я выбрал именно этот городишко, сказать не могу. Возможно, у меня была смутная потребность похвастаться перед родителями, которые то лето проводили в Воромсе, расположенном на несколько десятков километров севернее. Мы пустились в путь. В те годы это напоминало сафари: автомобили, аппаратура, тон-вагены, люди. Мы разместились в городской гостинице Хедемуры.

И тут произошло следующее. Погода резко переменилась. Зарядили дожди, нудные, безнадежные. Рууслинг, наконец-то вырвавшийся на натуру, вместо интересных облаков видел серое свинцовое небо. Он сидел у себя в комнате, пил и отказывался снимать. Я тоже вскоре понял, что там, в студии, руководитель я, конечно, никудышный, ну а уж здесь, в дождливой Хедемуре, я совсем пропал. Большинство членов съемочной группы не вылезало из гостиницы — они пьянствовали и играли в карты. Остальные впали в депрессию, тоскуя по теплу и солнцу. И все были убеждены, что в отвратительной погоде виноват режиссер. Одним режиссерам везет с погодой, а другим не везет. Наш — из этих последних.

Несколько раз мы устремлялись к месту съемки, укладывали рельсы, закрепляли наши несуразные софиты, подвозили аппаратуру и тон-ваген, устанавливали на штатив тяжеленную камеру Дебри, проводили репетицию, хлопала хлопушка—и начинался проливной дождь. Мы прятались в подворотни, усаживались в машины, забегали в кондитерскую — дождь лил как из ведра, свет убывал. Пора возвращаться в гостиницу на ужин. Если же нам все-таки удавалось снять одну сцену — за те короткие мгновения, когда проглядывало солнце, — я так терялся и приходил в такое возбуждение, что, по словам здравомыслящих очевидцев, вел себя как сумасшедший. Орал, бесновался, оскорблял находившихся поблизости и проклинал Хедемуру. Вечерами гостиница нередко наполнялась шумом и криками. Прибывала полиция. Директор грозился выставить нас вон.

Марианн Лёфгрен, танцуя на столе в ресторане канкан (очень ловко и смешно), упала и испортила паркет.

Через три недели отцам города все это надоело, и они связались с руководством «Свенск Фильминдустри», умоляя ради всего святого забрать этих ненормальных домой.

На следующий день мы получили приказ немедленно прервать съемки. За двадцать съемочных дней мы сняли четыре сцены из двадцати.

Меня вызвал Дюмлинг и дал хороший нагоняй. Он открыто угрожал забрать у меня картину. Может быть, вмешался Виктор Шёстрём, не знаю.

Но это были цветочки, ягодки ждали впереди. В фильме была сцена, происходившая в салоне красоты, а рядом с салоном, по сценарию, располагалось варьете. Вечером в салоне слышны музыка и смех из театра. Я настаивал на том, чтобы выстроить целую улицу, ибо не нашел во всем Стокгольме подходящего места. Строительство обойдется недешево, это я понимал, несмотря на состояние помешательства, в котором находился. Но мысленно я уже видел окровавленную голову Яка, прикрытую газетой, мигающую вывеску варьете, освещенные окна салона красоты с застывшими под причудливыми париками лицами, промытый дождем асфальт, кирпичную стену на заднем плане. Мне нужна улица во что бы то ни стало.

К моему изумлению, предложение было принято без обсуждений. Крупная строительная фирма тут же приступила к делу на пустыре в ста метрах от Главного павильона. Я частенько захаживал на стройку и чрезвычайно гордился тем, что мне удалось пробить такое дорогостоящее мероприятие. Очевидно, руководство, невзирая на все раздоры и неприятности, все-таки верит в мой фильм, полагал я, не видя, что моя улица должна была стать действенным оружием в руках стремившихся к власти руководителей студии, оружием, направленным против меня и против Дюмлинга, который все еще мне покровительствовал. Между Главной конторой, управлявшей единовластно, и Киногородком, производящим фильмы, всегда существовала напряженность. Дорогостоящую и абсолютно бессмысленную улицу предполагалось отнести к расходам на производство картины, в результате чего она никогда не покроет затраченных на нее средств. Все радовались и продолжали мостить тротуар. В один из съемочных дней случилось нечто ужасное. Первая сцена снималась осенним вечером, после наступления темноты. Шел крупный план. Камера стояла на трехметровом помосте. Мигала вывеска варьете, Як застрелился, Марианн Лёфгрен, распростершись на трупе, кричала так, что кровь стыла в жилах.

Подъехала машина «скорой помощи», блестел асфальт, из окна салона красоты таращились манекены. Я вцепился в помост, голова у меня кружилась, я был опьянен ощущением власти: все это — мое создание, мною задуманная, спланированная и осуществленная действительность.

Жестокий удар настоящей действительности не заставил себя долго ждать. Когда настало время спускать камеру с помоста, один из техников, встав на самый край, начал с помощью другого парня снимать ее со штатива. Она снялась неожиданно легко, и техник, не удержавшись, упал навзничь на землю, придавленный тяжелой камерой. Я не очень хорошо помню, что произошло. Благо «скорая» была неподалеку, пострадавшего сразу же отвезли в Каролинскую больницу. Группа настаивала на прекращении съемок, поскольку все были уверены, что их коллега либо уже мертв, либо умирает.

Я запаниковал и отказался прекращать работу, я орал, что парень был пьян и вообще на вечерних съемках все всегда в подпитии (отчасти это было правдой), что меня окружают сволочи, сброд, что съемка будет продолжаться до тех пор, пока из больницы не сообщат о смерти потерпевшего. Я обвинял моих сотрудников в халатности, лени и разгильдяйстве. В ответ — ни звука, глухое, шведское молчание. Съемки были продолжены, программа выполнена, но жившими в моем воображении ракурсами лиц, предметов, жестов пришлось пожертвовать. У меня не было сил, я заполз в темный угол и плакал от ярости и разочарования, — у меня просто не было сил! Дело потом замяли, повреждения у парня оказались не слишком серьезными, к тому же он был нетрезв.

Медленно тянулись дни. Рууслинг был теперь настроен откровенно враждебно и высмеивал любые исходившие от меня предложения, касавшиеся выбора угла съемки. Лаборатория при проявке либо недодерживала, либо передерживала пленку. Второй режиссер хихикал, похлопывая меня по спине. Он был мой ровесник и уже сделал самостоятельно один фильм. Я постоянно ругался с бригадиром электриков по поводу продолжительности рабочего дня и перерывов. От трудовой дисциплины не осталось и следа, люди приходили и уходили когда им вздумается. Мне был объявлен негласный бойкот.

И все-таки один друг, отказавшийся выть по-волчьи вместе со всеми, у меня был — монтажер Оскар Русандер. Он и внешне напоминал ножницы, весь как бы составленный из острых углов. Благородно картавил и был по-английски тщеславен, высказывая снисходительное презрение режиссерам, руководству студии и корифеям из Главной конторы. Человек начитанный, он в то же

время обладал внушительным собранием порнографических изданий. Самые знаменательные моменты в его жизни наступали, когда ему доводилось работать с принцем Вильхельмом, делавшим иногда короткометражки в СФ. Оскара немного побаивались, ибо невозможно было предугадать, будет ли он в следующую минуту любезен или уничтожит вас какой-нибудь презрительной репликой. К женщинам Русандер относился со старомодной рыцарской вежливостью, но держал их на расстоянии. Говорили, будто он вот уже двадцать три года ходит к одной и той же проститутке, два раза в неделю, в любое время года.

Когда я пришел к нему, закончив съемки, разуверившийся, истекающий кровью, дрожащий от ярости, он встретил меня с порывисто-дружелюбной объективностью. Безжалостно указал на то, что было плохо, ужасно, неприемлемо, но зато похвалил то, что ему понравилось. Он же посвятил меня в тайны монтажа, раскрыв одну фундаментальную истину: монтаж начинается во время съемки, ритм создается в сценарии. Я знаю, что многие режиссеры поступают наоборот. Для меня же это правило Оскара Русандера стало основополагающим.

Ритм моих фильмов закладывается в сценарии, за письменным столом, и рождается на свет перед камерой. Мне чужды любые формы импровизации. Если обстоятельства вынуждают меня принять не продуманное заранее решение, я весь покрываюсь потом и цепенею от ужаса. Для меня фильм — это спланированная до мельчайших деталей иллюзия, отражение той действительности, которая чем дольше я живу на свете, тем больше представляется мне иллюзорной.

Фильм, если это не документ, — сон, греза. Поэтому Тарковский — самый великий из всех. Для него сновидения самоочевидны, он ничего не объясняет, да и что, кстати сказать, ему объяснять? Он — ясновидец, сумевший воплотить свои видения в наиболее трудоемком и в то же время наиболее податливом жанре искусства. Всю свою жизнь я стучался в дверь, ведущую в то пространство, где он движется с такой самоочевидной естественностью. Лишь раз или два мне удалось туда проскользнуть. Большинство же сознательных попыток закончилось позорной неудачей: «Змеиное яйцо», «Прикосновение», «Лицом к лицу» и так далее.

Феллини, Куросава и Бунюэль обитают в том же пространстве, что и Тарковский. Антониони был на пути, но погиб, задохнувшись от собственной тоскливости. Мельес жил там всегда, не размышляя: он ведь был по профессии волшебник.

Фильм — как сон, фильм — как музыка. Ни один другой вид

искусства не воздействует в такой степени непосредственно на наши чувства, не проникает так глубоко в тайники души, скользя мимо нашего повседневного сознания, как кино. Крохотный изъян зрительного нерва, шоковый эффект: двадцать четыре освещенных квадратика в секунду, между ними темнота, зрительный нерв ее не регистрирует. До сих пор, когда я за монтажным столом просматриваю отснятые кадры, у меня, как в детстве, захватывает дух от ощущения волшебства происходящего: во мраке гардеробной я медленно кручу ручку аппарата, на стене одна за другой появляются картинки, я отмечаю почти незаметные изменения, потом начинаю крутить быстрее — возникает движение.

Немые или говорящие тени проникают прямо в сокровенные тайники моей души. Запах нагретого металла, прыгающее, мигающее изображение, звяканье мальтийского креста, ладонь, сжимающая ручку.

* * *

Еще до того, как на меня опустился кровавый мрак половой зрелости, смутив тело и душу, я пережил счастливую любовь. Это случилось в то лето, когда я жил один у бабушки в Воромсе.

Почему меня отправили одного, не помню, помню лишь чувство удовольствия, надежности, уюта. Временами появлялись гости и, пожив два-три дня, уезжали. Это только усиливало блаженство. Несмотря на то, что я все еще был ребенком, выглядел по-детски, у меня даже голос еще не ломался, бабушка и Лалла считали меня молодым человеком и обращались со мной соответственно. Помимо обязательных хозяйственных поручений (нарубить дрова, собрать шишки, вытереть посуду, принести воды), я был свободен и гулял где хотел. В основном я проводил время в одиночестве, мне нравилось быть одному. Бабушка оставила меня и мои мечтания в покое. Наши доверительные беседы и вечернее чтение вслух продолжались, но никакого принуждения не было. Мне была дана невиданная раньше свобода действий. Не слишком придирались и к опозданиям. Если я не приходил вовремя к столу, в кладовке всегда стоял наготове стакан молока и лежал бутерброд.

Единственным нерушимым пунктом распорядка дня были утра. Побудка в семь часов, и в будни и в воскресенье. За процедурой обтирания холодной водой бабушка наблюдала лично. Чистка ногтей и мытье ушей представляли собой покушение на свободу, которое я переносил стоически, но без понимания. По-моему, бабушка полагала, что внешняя чистоплотность сохранит и укрепит дух.

В моем случае такой проблемы еще не существовало. Мои представления о сексе были туманными, возможно, слегка окрашенными чувством вины. Ужасный юношеский грех меня еще не настиг. Я во всех отношениях был невинен. Покров лжи, давивший меня в пасторском доме, спал, дни мои текли беззаботно, без страха и мук совести. Мир был понятен, я был господином над своими грезами и своей действительностью. Бог молчал, Иисус Христос не терзал меня своей кровью и сомнительными намеками.

Я не совсем ясно представляю себе, как все это связано с появлением Мэрты. Уже несколько лет подряд второй этаж здания ордена добрых темплиеров[25], принадлежавшего на паях Дуфнесу и Юрму, снимала одна многодетная семья из Фалуна — зимой в этом помещении работали различные учебные кружки и показывались фильмы. Недалеко от дома проходила железная

дорога, на участке была небольшая запруда. У подножия холма расположилась крошечная лесопильня, работавшая от воды Йимона, как раз перед его впадением в реку. Был там глубокий пруд, где водились пиявки, — их ловили и продавали в ближайшую аптеку. В воздухе стоял упоительный запах прогретой солнцем свежераспиленной древесины, сложенной в штабеля вокруг ветхих сараев с машинами.

Брат давно уже нашел себе сверстников среди братьев Мэрты. Агрессивные, дерзкие, они были готовы в любую минуту затеять драку. Объединившись с миссионерскими детьми, жившими в южном конце поселка, они вызывали на бой деревенских драчунов на крутом холме, густо поросшем папоротником. Противники появлялись незаметно каждый со своей стороны, отыскивали врага и начинали драться — палками и камнями. Я избегал этих ритуальных побоищ, мне и без того хватало забот — защищаться от брата, который норовил вздуть меня при каждом удобном случае.

Как-то жарким днем в середине лета Лалла послала меня на другой берег реки, на пастбища, где в одном из сараев круглый год жила старуха по имени Лисс-Кюлла, хотя все ее звали Тетушкой. Это была таинственная личность, известная своими познаниями в медицине и сыроварении. Несколько лет она страдала душевным расстройством. Вместо того чтобы отправить ее в сумасшедший дом в Сэтер, что считалось позором для семьи, ее заперли в сарай во дворе. Иногда по деревне разносился ее вой. Однажды ранним утром она очутилась у входа в Воромс, держа в руках, как поднос, носовой платок, и потребовала, чтобы бабушка положила на платок 4 кроны. В противном случае она грозилась завалить дорогу кучами хвороста — это привлечет гадюк, и гадюки будут жалить детей в босые ноги. Бабушка, поговорив с Лисс-Кюллой, пригласила ее в дом и выставила угощение. После чего старуха получила деньги, призвала на нас Божье благословенье и, показав язык брату, засеменила прочь.

Как-то зимой она пыталась утопиться в Гродан, рядом с Бэсной. Ее заметили с парома и вытащили из воды. Потом она угомонилась, к ней вернулся рассудок, но говорила она мало. И переехала жить в сарай на пастбище — летом она смотрела за скотом, зимой ткала платки и готовила отвары из трав, которые, по общему мнению, превосходили своими лечебными свойствами лекарства местного врача.

День был жаркий. Я искупался в черной воде Черного озера — из глубины на извивающихся стеблях тянулись белые кувшинки. Вода в озере была всегда ледяная, оно считалось бездонным, и, по слухам, где-то там под землей проходил

неисследованный канал, ведший в реку. Одного мальчика, утонувшего в Черном озере, нашли спустя много месяцев висящим на запани у Сульбаккена. В животе у него было полно угрей — они торчали изо рта и из заднего прохода.

Я отправился через болото, что было запрещено, но я знал тропинку, коричневая вода пузырилась под ногами, издавая терпкий запах, вокруг головы вилось облачко мух и слепней.

Сарай стоял на лесной опушке под горой. К югу волнами уходили вниз пастбища. К северу вздымался на склоне горы девственный лес. Сараи, сеновалы, жилые постройки, выкрашенные в красный цвет, были обихожены, крыши недавно покрыты новой черепицей, клумбы в образцовом порядке. Родня Лисс-Кюллы была зажиточной, а теперь, когда Тетушка вновь обрела рассудок, ничто больше не задевало их крестьянской чести.

У старухи, рослой женщины с расчесанными на прямой пробор волосами с проседью, было выразительное лицо с крупными чертами — синие глаза, большой рот, большой нос, широкий лоб и торчащие уши. Босая, с обнаженными руками, она пилила во дворе дрова, Мэрта держала другой конец пилы.

Оказалось, что Мэрта поселилась здесь на пастбищенских угодьях, чтобы за скромное вознаграждение помогать Лисс-Кюлле присматривать за скотиной и выполнять разные другие дела.

Я, получив черносмородиновый сок и бутерброд, уселся за откидным столиком у окна. Лисс-Кюлла и Мэрта, стоя у плиты, прихлебывали из блюдечек кофе. В тесной, жаркой комнате пахло кислым молоком, кругом ползали и летали мухи. Липучки почернели от тихо шевелящейся живой массы.

Лисс-Кюлла спросила, как чувствуют себя фрекен Нильссон и фру Окерблюм. Хорошо, ответил я. Мне в ранец положили огромную головку сыра, я пожал руки хозяевам, отвесил поклон и, поблагодарив за угощение, попрощался. Мэрта почему-то пошла меня проводить.

Мэрта была на полголовы выше меня, хотя мы с ней и были однолетками. Ширококостная, костлявая фигура, коротко остриженные волосы, выбеленные солнцем и водой, длинные узкие губы — когда она смеялась, мне казалось, что они растягиваются до ушей, обнажая крепкие белые зубы. Светлые голубые глаза с удивленным выражением, белесые, как волосы, брови, прямой длинный нос с небольшим утолщением на кончике. Сильные плечи, узкие бедра, длинные загорелые ноги и руки, покрытые золотистым пушком. От нее пахло хлевом — терпкий, как на болоте, запах. Застиранное рваное платье когда-то синего цвета под мышками и на спине потемнело от пота.

Любовь поразила нас мгновенно — как Ромео и Джульетту, с той только разницей, что нам и в голову не приходило касаться друг друга, а тем более целоваться. Ссылаясь на разные дела, которые требовали много времени, я рано утром исчезал из Воромса и возвращался в сумерках. Так продолжалось несколько дней. В конце концов бабушка прямо спросила меня, что происходит, и я признался. Будучи женщиной мудрой, она предоставила мне неограниченный отпуск с девяти утра до девяти вечера ежедневно, добавив, что всегда будет рада видеть Мэрту в Воромсе — милость, которой мы пользовались очень редко, потому что младшие братья Мэрты незамедлительно узнали о нашей страсти. Как-то раз, когда мы осмелились спуститься к Йимону половить рыбу и сидели рядом, не касаясь друг друга, из кустов вылезла орда сорванцов и запела: «Тили-тили тесто, жених и невеста...», а дальше совсем неприличное. Я кинулся на них с кулаками, досталось мне крепко. Мэрта не пришла на выручку: очевидно, ей хотелось посмотреть, справлюсь ли я сам.

Мэрта обычно молчала, говорил я. Мы не касались друг друга, но все время были рядом — сидели ли, стояли ли, лежали ли, вылизывали ли наши ссадины, расчесывали ли комариные укусы, купались ли в любую погоду, стыдливо отвернувшись друг от друга, чтобы не видеть наготы другого. Я помогал по мере сил и на пастбище — правда, коровы приводили меня в легкий трепет. Да и пес ревниво следил за мной, то и дело хватая за ноги. Порой Мэрте доставалось от Тетушки, которая требовала неукоснительного выполнения всех заданий, — однажды она вкатила Мэрте пощечину, та безутешно рыдала, а я не мог утешить ее.

Мэрта молчала, а я говорил. Рассказал ей, что мой отец — не настоящий отец, что я — сын известного артиста Андерса де Валя. Пастор Бергман ненавидит и преследует меня, и это можно понять. Мать по-прежнему любит Андерса де Валя и ходит на все его премьеры. Я видел его вне стен театра всего один раз, он посмотрел на меня со слезами на глазах и поцеловал в лоб, а потом красивым голосом произнес: «Да благословит тебя Господь, дитя мое». Знаешь, Мэрта, ты можешь его услышать по радио, когда он читает «Новогодние колокола»! Андерс де Валь — мой отец, и я тоже стану артистом Драматического театра, как только окончу школу.

Я взял старый бабушкин велосипед и, ведя его за руль, перетащил через железнодорожный мост. Выписывая вензеля, мы катим по тропинкам и извилистым дорожкам ниже границы лесного массива. Мэрта крутит педали, я сижу на багажнике,

вцепившись онемевшими пальцами в пружины седла. Мы едем на сектантское молельное собрание в Лэннхедене. Мэрта верующая, звонким сильным голосом поет она елейные песнопения. Я не могу сдержать отвращения, я ненавижу Бога и Иисуса, особенно Иисуса — мне противны его елей, гадкое причастие и его кровь. Бога нет, никто не в состоянии доказать, что он существует. А если он есть, то это очень даже противный бог, мелочный, злопамятный, пристрастный. Полюбуйтесь! Почитайте Ветхий завет, там он предстает во всем своем блеске! И такого зовут богом любви, богом, который любит людей. Мир — дерьмовая дыра, как говорит Стриндберг!

Над горным хребтом сияет белая луна. Неподвижно завис туман над лесным озером. Тишина была бы полной, если бы я не болтал так много, мне просто необходимо рассказать Мэрте, как я боюсь Смерти. В приходе внезапно умер старик священник. В день похорон он лежал в открытом гробу, а в соседней комнате пили вино и хрустели печеньем гости. Было жарко. Над трупом кружились мухи. Лицо покойного было прикрыто белым платком, так как болезнью у него разъело нижнюю челюсть и верхнюю губу. Сквозь тяжелый аромат цветов пробивался сладковатый запах. Вдруг этот чертов священник садится в гробу, срывает запачканный платок и обнажает свое сгнившее лицо, после чего падает на бок, гроб с телом переворачивается и летит на пол. И все видят, что жена пастора надела ему на член золотое кольцо, а задний проход заткнула наперстком. Истинная правда, Мэрта, я сам был там, а ежели ты мне не веришь, спроси моего брата, он тоже был там, но, конечно же, упал в обморок. Да, Смерть отвратительна, не знаешь, что будет потом. Тому же, что говорит Иисус — «В доме Отца моего обителей много», — я не верю. И вообще, благодарю покорно. Когда я наконец-то сбегу из обители *моего* отца, то уж предпочту, конечно, переселиться не к тому, кто будет, наверное, еще хуже. Смерть — это непостижимый ужас не потому, что она причиняет боль, а потому, что она заполнена кошмарами, от которых нельзя пробудиться.

Дождливым днем — моросящий хлюпающий дождь зарядил с утра — Тетушка ушла навестить соседку, мучавшуюся животом. Мы одни в тесной жаркой комнатушке. В оконца, исполосованные дождем, сочится серый свет, с чердака слышится завывание ветра. Вот увидишь, говорит Мэрта, после этого дождя начнется настоящая осень. Я вдруг понимаю, что дни сочтены, что бесконечность тоже имеет конец, скоро предстоит разлука. Мэрта перегибается через стол, обдавая меня запахом сладкого молока. В четверть восьмого из Борленге идет товарняк, говорит она. Я слышу, когда он отправляется. И тогда я буду думать о тебе. А ты

услышишь и увидишь его, когда он будет проходить мимо Воромса. И тогда ты

думай обо мне.

Она протягивает широкую загорелую ладошку с грязными обкусанными ногтями. Я кладу сверху свою руку, Мэрта сжимает мои пальцы. Наконец-то я молчу, ибо неизбывная грусть лишила меня слов.

Наступила осень, нам пришлось надеть башмаки и чулки. Мы помогали собирать репу, поспели яблоки, начались заморозки, воздух и земля превратились в стекло. Запруду рядом с домом добрых темплиеров затянуло тонкой корочкой льда, мать Мэрты стала собираться в дорогу. Днем еще жарко светило солнце, вечерами холод пронизывал до костей. Поля были запаханы, на гумнах грохотали молотилки. Мы иногда помогали по хозяйству, но предпочитали почаще исчезать. Однажды, выпросив лодку у Берглюнда, мы отправились ловить щук. Поймали большую рыбину, которая тяпнула меня за палец. Когда Лалла чистила щуку, она обнаружила у нее в желудке обручальное кольцо. Под лупой бабушка разглядела гравировку — Карин. Несколько лет назад отец потерял свое кольцо у Йимона. Но это отнюдь не значило, что это было то самое кольцо.

В одно промозглое утро бабушка велела нам съездить в лавку, которая находилась на полпути между Дуфнесом и Юрму. Нас подбросит туда сын Берглюнда — он едет в ту же сторону продавать лошадь. Мы трясемся на телеге, медленно, с трудом преодолевающей разбитую дождями дорогу. Считаем встречные и обгоняющие нас автомобили. За два часа насчитали всего три. В лавке набиваем ранцы и направляемся домой — пешком. Подойдя к паромной переправе, усаживаемся на выброшенное рекой бревно, пьем яблочный напиток «Поммак» и едим бутерброды. Я беседую с Мэртой о сущности любви. Заявляю, что не верю в вечную любовь, человеческая любовь эгоистична, так говорит Стриндберг в «Пеликане». Любовь между мужчиной и женщиной, доказываю я, — в основном распутство. Рассказываю о красивой, но толстой даме, которая занимается любовью с моим отцом в ризнице вечером по четвергам после причащения. «Поммак» выпит, Мэрта бросает бутылку в реку. Я рассказываю о трагических любовных парах мировой литературы, слегка рисуясь своей начитанностью. И вдруг прихожу в замешательство, кружится голова, я смущенно спрашиваю, не кажется ли Мэрте, будто я чересчур разболтался. Вовсе нет, отвечает она, с серьезным видом качая головой. Я надолго замолкаю, раздумывая, не развлечь ли ее басней о моих собственных эротических переживаниях, но тут мне становится совсем

нехорошо — может, «Поммак» был отравлен? Я вынужден лечь на лужайку возле дороги. Начинается мелкий, ледяной дождик. Крутой берег реки на той стороне растворяется в дымке.

Ночью выпал снег. Река еще больше почернела, зелень и желтизна исчезли совсем. Ветер стих, воцарилась всепоглощающая тишина. Белизна слепила, несмотря на сумеречный свет, ибо шла снизу, попадая на незащищенный участок глаза. Мы шли по железнодорожной насыпи к дому добрых темплиеров. Серая лесопилка одиноко сгибалась под тяжестью белизны. Приглушенно журчала вода плотины, рядом с закрытыми затворами образовалась тонкая корка льда.

Мы не могли разговаривать, не осмеливались даже смотреть друг на друга: слишком сильна была боль. Пожав руки, мы попрощались, сказав, что, может быть, увидимся следующим летом.

Потом Мэрта сразу же повернулась и побежала к дому. Я пошел по насыпи обратно к Воромсу, размышляя о том, не стоит ли — появись сейчас поезд — броситься под колеса.

* * *

В пятницу 30 января 1976 года возобновились репетиции «Пляски смерти» Стриндберга. Долго болевший Андерс Эк, по его собственным словам, совершенно поправился.

В те неожиданно выдавшиеся свободные дни писательница Улла Исакссон, режиссер Гуннель Линдблум[26] и я работали над сценарием фильма «Райская площадь» по роману Уллы. Производство картины планировалось поручить моей кинокомпании «Синематограф», съемки должны были начаться в мает. Мы были по уши заняты подготовкой — подписывали контракты, выбирали натуру. Только что завершилась работа над моим телесериалом «Лицом к лицу». На конец недели был назначен просмотр киноварианта этого фильма для приезжих американских финансистов. Несколькими месяцами раньше я закончил сценарий «Змеиного яйца», продюсером которого изъявил желание стать Дино Де Лаурентис.

Постепенно, испытывая определенные сомнения, я начал ориентироваться на США. Причина заключалась, естественно, в получении более широких экономических ресурсов — как для меня лично, так и для «Синематографа». Возможность на американские деньги делать качественные фильмы, привлекая других режиссеров, резко возросла. Меня весьма тешила роль продюсера, роль, которую, как мне кажется теперь, я исполнял не слишком удачно. «Синематограф» покоился, однако, на двух стальных опорах — моих близких друзьях и давних соратниках: Ларе-Уве Карлберг (наше сотрудничество началось в 1953 году на съемках фильма «Вечер шутов») держал в руках наш немаленький административный аппарат, а Катинка Фараго (»Женские грезы», 1954) занималась нашим все более оживленным кинематографическим производством. Мы арендовали верхний этаж красивого особняка XVIII века у фирмы «Сандревс» и оборудовали там уютные кабинеты, просмотровый зал, несколько монтажных и кухню.

Через месяц-другой нам нанесли визит два вежливых, молчаливых господина из Налогового управления. Разместившись в одном из временно пустующих кабинетов, они занялись проверкой наших счетов, а также выразили желание ознакомиться с документацией моей швейцарской фирмы «Персонафильм». Мы немедленно затребовали все бухгалтерские книги и предоставили их в распоряжение этих господ.

Ни у кого из нас не было времени заниматься молчаливыми господами, сидевшими в пустом кабинете. По своим дневниковым

записям я вижу, что в четверг 22 января на нас внезапно свалился объемистый меморандум из Налогового управления. Я, не читая, препроводил его моему адвокату.

Несколькими годами раньше — думаю, это было в 1967 году, когда мои доходы начали расти с приятной, но лавинообразной скоростью, — я попросил моего друга Харри Шайна[27] подыскать мне кристально честного адвоката, который взялся бы быть моим экономическим «опекуном». Выбор пал на сравнительно молодого, имевшего хорошую репутацию Свена Харальда Бауэра, который ко всем прочим заслугам был высокопоставленной фигурой в Международной организации скаутов. Он обязался вести мои финансовые дела.

Мы прекрасно ладили друг с другом, и сотрудничество наше было безупречным. Контакт со швейцарским адвокатом, ведшим дела «Персонафильм», тоже был налажен. Деятельность становилась все оживленнее: «Шепоты и крики», «Сцены из супружеской жизни», «Слово безумца в свою защиту» Челя Греде[28], «Волшебная флейта».

В дневниковой записи от 22 января меня не так беспокоит меморандум Налогового управления, как болезненная экзема, поразившая безымянный палец левой руки.

Мы с Ингрид были женаты уже пять лет. Жили в новом доме на Карлаплан, 10 (там, где стоял когда-то дом, в котором жил Стриндберг), тихой буржуазной жизнью, общались с друзьями, ходили на концерты и в театр, смотрели фильмы, с удовольствием работали.

Все описанное мною выше составляет предысторию событий 30 января и всего, что случилось дальше.

Следующие месяцы никак не отражены в моем дневнике. Я возобновил свои записи — спорадические, неполные — лишь год спустя. Поэтому мои воспоминания того времени будут как бы моментальными снимками, резкими в середине и нечеткими по краям.

Итак, мы приступили к репетиции «Пляски смерти», как обычно, в половине одиннадцатого. Мы — это Андерс Эк, Маргарета Круук, Ян-Улоф Страндберг, ассистент режиссера, суфлер, ведущий спектакля и я сам. Мы находимся в светлом и уютном зале на самой верхотуре, под крышей Драматена.

Работа идет раскованно и легко, как почти всегда бывает в начале репетиционного периода. Открывается дверь, входит секретарша директора театра Маргот Вирстрём и просит меня немедленно спуститься в ее кабинет, где ждут два полицейских, которые хотели бы со мной побеседовать. Я отвечаю, что, может, они пока выпьют по чашке кофе, а я подойду в час, в обеденный

перерыв. Они желают видеть меня немедленно, говорит Маргот Вирстрём. Я спрашиваю, что случилось, но Маргот не знает. Мы ошарашенно смеемся, я прошу артистов продолжать репетицию и говорю, что встретимся после обеда в половине второго.

Мы с Маргот спускаемся в ее комнату, рядом с кабинетом директора. Там сидит господин в темном пальто. Он поднимается, пожимает мне руку, произнося мою фамилию. Я интересуюсь, в чем дело, почему такая спешка. Он, глядя в сторону, бормочет, что это, мол, налоговые дела и мне надо немедленно поехать с ним на допрос. Я глазею на него как ненормальный и отвечаю, что, по правде говоря, ничего не понимаю. И тут я вспоминаю, что в моем положении (в американских фильмах) обычно зовут адвоката. На допросе обязательно должен присутствовать мой адвокат, говорю я, я желаю позвонить ему. Полицейский, по-прежнему глядя в сторону, отвечает, что это невозможно, поскольку адвокат сам замешан и уже вызван на допрос. Я беспомощно спрашиваю, можно ли мне сходить в кабинет и взять пальто. «Идемте вместе», — говорит полицейский. И мы идем. По дороге нам попадаются несколько человек, они с удивлением провожают взглядом следующего за мной по пятам незнакомца, В коридоре, по обеим сторонам которого расположены комнаты режиссеров, я наталкиваюсь на собрата по профессии. «Ты разве не на репетиции?» — изумленно вопрошает он. «Меня загребли в полицию», — отвечаю я. Собрат смеется.

Уже надев пальто, я чувствую сильнейшие спазмы в желудке и говорю, что мне надо в уборную. Полицейский, предварительно осмотрев туалет, запрещает мне запирать дверь. Спазмы накатывают один за другим, я издаю протяжные и громкие звуки. Полицейский уселся прямо перед приоткрытой дверью.

Наконец мы готовы к выходу из театра. Мне совсем нехорошо, и я мысленно сожалею, что не обладаю талантом падать в обморок. Мы встречаем актеров, других сотрудников, направляющихся в кафе обедать. Я здороваюсь едва слышно. За стеклом кабинки коммутатора мелькает любопытное лицо девушки-телефонистки. Выходим на Нюбругатан. Подходит еще один полицейский, здоровается. Его поставили дежурить на перекрестке Нюбругатан и Альмлёфсгатан, чтобы, согласно приказу, не дать мне сбежать.

Перед зданием театра стоит машина налогового сыщика Кента Карлссона (а может, его коллеги, я никогда не мог различить этих двух господ: оба — с брюшком, оба — в цветастых рубашках, у обоих — нечистая кожа и грязь под ногтями). Мы садимся в машину и трогаемся в путь. Я сижу на заднем сиденье

между двумя полицейскими. Налоговый сыщик Кент Карлссон (или его коллега) — за рулем. Один из полицейских — добрая душа — болтает, смеется, рассказывает анекдоты. Я прошу его, если можно, замолчать. Он отвечает чуть оскорбленно, что хотел, дескать, немного разрядить обстановку.

Комиссар полиции протирает штаны в конторе на Кунгсхольмсторгет, правда, за точность не ручаюсь — с этого времени картина расплывается, реплики становятся все более неразборчивыми.

Ко мне подходит вполне приличного вида немолодой мужчина, представляется. На столе у него выложены бумаги, он хотел бы, чтобы я их просмотрел. Я прошу дать мне стакан воды — во рту пересохло, язык прилип к гортани. Я пью, рука дрожит, трудно дышать. В другом конце комнаты (которая вдруг кажется бесконечной) сидят какие-то неопределенные личности, человек пять-шесть, может, больше. Комиссар говорит, что я указал неверные сведения в налоговой декларации и что «Персонафильм» — фикция. Я отвечаю — как и есть на самом деле, — что никогда не читаю своих деклараций, что у меня никогда и в мыслях не было скрывать от государства свои доходы. Комиссар задает разные вопросы. Я поручил заниматься моими финансами другим людям, повторяю я, поскольку сам совершенно некомпетентен в этих вопросах, но я никогда не позволил бы себе ввязаться в какие бы то ни было авантюры, это чуждо моей природе. И охотно признаюсь, что подписывал бумаги, не читая их, а если и прочел когда-нибудь, то не понял.

В этой невыносимой истории, тянувшейся несколько лет, истории, которая причинила сильную боль мне и моим близким, стоила целого состояния на оплату адвокатов, вынудила меня уехать за границу на целых девять лет и которая в конце концов завершилась выплатой 180 тысяч крон в счет погашения налоговой задолженности (без штрафа или каких-либо других оговорок), — так вот, во всей этой истории я признаю себя виновным лишь в одной — но важной — вещи: я подписывал бумаги, которые не читал, а еще меньше понимал. Тем самым одобрял финансовые операции, в которых не только не разбирался, но о которых даже не мог составить себе представления. Меня заверили в законности этих операций, в том, что все делалось по правилам. Чем я и позволил себе удовлетвориться. Мне и в голову не приходило, что мой милый адвокат, руководитель Международной организации скаутов, тоже не сознавал, во что он ввязался. Поэтому кое-какие сделки были оформлены неправильно или же не оформлены вовсе. Это в свою очередь вызвало — вполне справедливо — подозрения со

стороны налоговых властей. Налоговый сыщик Карлссон и его коллега, почуяв громкое дело, получили полную свободу действий с помощью нерешительного и несведущего прокурора, напуганного тем, что я могу покинуть страну и оставить власти с носом.

Проходят часы. Господа в другом конце этой странной вытянутой комнаты исчезают один за другим. Я в основном молчу и только иногда каким-то далеким голосом твержу, что это — жизненная катастрофа. И еще объясняю комиссару, какая это будет находка для средств массовой информации. Он успокаивает меня — беседа, мол, сугубо конфиденциальная. Его отдел потому и посадили на Кунгсхольмсторгет, подальше от Управления полиции, чтобы не привлекать ненужного внимания. Спрашиваю, можно ли позвонить домой жене. Оказывается, нельзя — в нашей квартире как раз сейчас идет обыск. В ту же секунду раздается звонок. Звонят из «Свенска Дагбладет», к ним просочилась кое-какая информация. Добросердечный полицейский, растерявшись, заклинает журналиста ничего не писать. После чего заявляет мне, что я не имею права покидать город. К тому же у меня заберут паспорт. Составляется протокол допроса. Я подписываю, не зная, о чем идет речь, ибо уже не понимаю обращенных ко мне слов.

Мы встаем. Полицейский дружески похлопывает меня по спине и убеждает продолжать жить и работать как прежде. Я снова повторяю, что это — жизненная катастрофа, неужели он не может понять, что это жизненная катастрофа.

И вот я стою на улице. Смеркается, идет небольшой снежок. Все вокруг, как на ксерокопии — грубо, четко, черно-белые тона, полное отсутствие красок. У меня стучат зубы, мысли и чувства атрофированы. Я беру такси и еду к театру, где у заднего входа оставил машину. По дороге домой проезжаю мимо казарм лейб-гвардии. Крыша в огне — высокие языки пламени на фоне темнеющего неба. Сейчас я спрашиваю себя, не пригрезилось ли это мне — я не видел ни пожарных машин, ни толпы. Стояла полная тишина, падал снег, и горели казармы лейб-гвардии.

Наконец добираюсь до квартиры. Ингрид дома. Обыск застал ее врасплох: она ведь ничего не знала. Полицейские вели себя вежливо, не слишком усердствовали. Забрали несколько папок, больше для вида. Потом она села ждать меня. Время тянулось так медленно, что она решила испечь печенье.

Я звоню Харри Шайну и Свену Харальду Бауэру. Оба растерянны и потрясены. Что еще происходит в этот вечер, не знаю. Обедаем? Наверное. Смотрим телевизор? Возможно.

Поздно вечером, когда мы уже легли спать, меня внезапно озаряет — завтра утром журналисты устроят здесь, на Карла-

план, 10, осаду. Я упаковываю самые необходимые вещи и отправляюсь в крохотную квартирку на Гревтурегатан, куда мы с Гун[29] переехали, сбежав из Парижа осенью 1949 года. С тех пор каждый раз, когда меня настигает катастрофа, терпит крах очередной брак или возникают другие осложнения, я переселяюсь на Гревтурегатан.

На этот раз я появляюсь там ночью. Безликость комнаты создает чувство безопасности. Приняв снотворное, я засыпаю.

Что было в субботу и воскресенье, забыл. Я сижу, запершись, на Гревтурегатан, появляясь дома на два-три часа вечером. Выхожу через гараж, не встречая ни души.

Газеты, телевидение, радио стараются вовсю — кричащие заголовки на первых страницах, комментарии в программах новостей. Мой двенадцатилетний сын Даниэль отказывается ходить в школу. Он до того перепуган, что отсиживается в будке кинотеатра «Рёда кварн» у своего друга киномеханика по прозвищу Щепоть, который очень ему помог в это трудное время. Какова была реакция остальных моих детей, не имею понятия, я с ними тогда почти не общался. Большинство из них к тому же придерживалось левых взглядов и, как я выяснил потом, считало, что так, мол, папаше и надо. Кое-кто сразу же зачислил меня в преступники.

В понедельник утром наступил кризис. Я сижу в гостиной на верхнем этаже, читаю книгу, слушаю музыку. Ингрид ушла на встречу с адвокатами. Я ничего не чувствую, внутренне собран, но несколько оглушен снотворными, — обычно я ими никогда не пользуюсь.

Музыка замолкает, раздается легкий щелчок, пленка останавливается. Воцаряется тишина. Неспешно падает снег, крыши на другой стороне улицы совсем белые. Закрываю книгу — все равно я с трудом понимаю, о чем читаю. Комната освещена резким дневным светом, без теней. Бьют часы. Может, я сплю, может, просто перешагнул из подвластной органам чувств реальности в другую реальность. Не знаю, только я погрузился в глубину неподвижной пустоты — безболезненной, бесчувственной. Закрываю глаза — мне кажется, что я закрываю глаза, — ощущаю присутствие в комнате постороннего и вновь открываю глаза: в двух-трех метрах в резком свете дня стою я сам и рассматриваю фигуру в кресле. Переживание конкретно, неопровержимо. Я стою на желтом ковре и рассматриваю себя, сидящего в кресле. Я сижу в кресле и рассматриваю себя, стоящего на желтом ковре. Я, сидящий в кресле, пока еще управляю своими реакциями. Это конец, возврата нет. Я слышу свой громкий жалобный крик.

В своей жизни я несколько раз тешился мыслью о самоубийстве, как-то раз в юности даже инсценировал неуклюжую попытку. Но никогда не помышлял о том, чтобы превратить игру в реальность. Чересчур велико было мое любопытство, желание жить слишком сильно, а страх смерти по-детски слишком стоек.

Подобная жизненная позиция предполагает тем не менее четкий и надежный контроль своего отношения к действительности, фантазиям, снам. Если контроль не срабатывает, чего со мной никогда, даже в раннем детстве, не случалось, механизм взрывается, грозя уничтожить личность. Я слышу свой жалобный, как у побитой собаки, голос и встаю, намереваясь выйти через окно.

Я не знал, что Ингрид уже вернулась домой. И вдруг появляется мой лучший друг и врач Стюре Хеландер. Через час я — в психиатрическом отделении Каролинской больницы. Меня помещают одного в большую палату, где стоят еще четыре кровати. Во время обхода ко мне приветливо обращается профессор, я говорю что-то про стыд, привожу свою любимую цитату насчет того, что страх облекает в плоть и кровь причину страха, каменею от горя. Мне делают укол — и я засыпаю.

Три недели в больнице проходят весьма приятно. Мы — непритязательное сборище бедняг, оглушенных наркотическими лекарствами, — без возражений следуем неутомительному распорядку дня. Я принимаю пять голубых таблеток валиума в день и две таблетки могадона на ночь. Если я чувствую хоть малейшие признаки дурного настроения, иду к медсестре и получаю дополнительную порцию. Ночами я сплю глубоким сном без сновидений и по нескольку часов дремлю днем.

В промежутках с жалким остатком профессионального любопытства изучаю окружающую меня обстановку. Я обитаю за ширмой в большой пустой палате, время провожу, в основном, за чтением, не запоминая прочитанного. Едим мы в маленькой столовой, разговоры вежливые, ни к чему не обязывающие. Взрывов чувств не наблюдается. Единственное исключение — знаменитый скульптор, который однажды вечером, придя в дурное расположение духа, раскрошил себе почти все зубы. В остальном же вспоминаю одну грустную девушку, которой все время надо было мыть руки, и приветливого молодого человека двухметрового роста, страдавшего желтухой, — его пытались отучить от наркотиков с помощью метадона и с этой целью раз в неделю возили в психиатрическую клинику Уллерокер, где проводят этот вызвавший оживленные дискуссии эксперимент. Есть в отделении один пожилой молчаливый господин,

пытавшийся покончить с собой — перерезал себе запястья ножовкой. Средних лет женщина с красивым строгим лицом страдает возбуждением двигательных нервов и преодолевает километр за километром по коридору.

По вечерам мы собираемся перед телевизором и смотрим передачи с чемпионата мира по фигурному катанию. Телевизор черно-белый, дышит на ладан, изображение двоится, звук плохой, но это не имеет значения и не вызывает протестов.

Ингрид навещает меня два-три раза в день, мы мирно и дружески беседуем. Иногда после обеда ходим в кино, как-то раз «Сандревс» устроил показ фильма у себя в просмотровом зале, и тогда «метадонщику» тоже разрешили пойти с нами.

Газет я не читаю, не слушаю и не смотрю программы новостей. Постепенно, незаметно улетучивается самый верный спутник моей жизни — унаследованное от родителей беспокойство, составлявшее ядро моей личности, мой демон и в то же время друг и подгоняла. Не только боль, страх и чувство неотмщенного унижения бледнеют, уходят — тает, выветривается и движущая сила моего творчества.

Наверное, я мог бы остаться пациентом на всю жизнь — настолько грустно-приятно мое существование, ничего от меня не требующее, заботливо защищенное. Реальности больше нет, желаний никаких, ничего уже не волнует, не причиняет боль. Движения осторожны, реакции замедленны или вовсе отсутствуют, чувственность умерла; жизнь — элегия, звучащая где-нибудь под гулкими сводами в исполнении многоголосого средневекового хора, горят окна-розетки, рассказывая старинные сказки, которые ко мне больше не имеют никакого отношения.

Однажды я спрашиваю любезного профессора, вылечил ли он когда-нибудь в жизни хоть одного человека. Он серьезно задумывается и говорит: «Вылечить — великое слово», — потом качает головой и ободряюще улыбается. Идут минуты, дни, недели.

Не знаю, что заставляет меня нарушить это герметически надежное существование. Я прошу профессора разрешить мне перебраться в Софияхеммет, на пробу. Он соглашается, но предупреждает, что нельзя сразу прерывать курс валиума. Я благодарю его за участие и заботу, прощаюсь с пациентами и дарю отделению цветной телевизор.

И вот в конце февраля я — в удобной и тихой комнате в больнице Софияхеммет. Окно выходит в сад. На холме я вижу желтый пасторский особняк, дом моего детства. Каждое утро я целый час гуляю по парку. Рядом со мной идет тень восьмилетнего мальчика — это поднимает дух и в то же время

немного жутковато.

В остальном же — это время тяжких страданий. Не послушавшись наставлений профессора, я сразу же прекращаю принимать и валиум, и могадон. Результат дает себя знать немедленно. Подавленное чувство страха разгорается ярким пламенем, бессонница не знает жалости, демоны бушуют, кажется, я вот-вот разлечусь на куски от сотрясающих меня внутри взрывов. Читаю газеты, знакомлюсь со всем, что было написано в мое отсутствие, читаю скопившиеся письма — милые и не очень, говорю с адвокатами, общаюсь с друзьями.

Это — не мужество и не отчаяние, это — инстинкт самосохранения, который — несмотря на или, скорее, благодаря полному отключению сознания в психиатрической клинике — накопил силы для сопротивления.

Я иду в атаку на демонов, используя метод, оправдавший себя в прежних кризисных ситуациях: поделив день и ночь на определенные отрезки времени, заполняю их заранее намеченными делами или отдыхом. Лишь неукоснительно следуя составленной мною дневной и ночной программе, я могу спасти рассудок от страданий — настолько мучительных, что они даже вызывают интерес. Короче говоря, я возвращаюсь к старой привычке тщательно планировать и инсценировать жизнь.

Благодаря выработанной мною схеме я довольно быстро привожу в порядок мое профессиональное «я» и могу с любопытством изучать грозящие разорвать меня на куски собственные терзания. Начинаю вести записи и вскоре обретаю силы приблизиться к пасторскому дому на холме. Какой-то спокойный голос утверждает, будто моя реакция на происшедшее гипертрофирована и носит явно невротический характер, я, мол, вел себя на удивление смиренно вместо того, чтобы дать волю гневу. Признал все же свою вину, не будучи виновным, жажду наказания, чтобы как можно быстрее получить прощение и свободу. Голос дружески издевается. Кто должен тебя простить: Налоговое управление? Налоговый сыщик Карлссон в своей цветастой рубахе и с грязными ногтями? Кто? Твои недруги? Твои критики? Господь Бог простит тебя и даст отпущение грехов? Как ты себе это представляешь? Может быть, Улоф Пальме или король выпустят коммюнике — ты, мол, понес наказание, попросил прощения и теперь прощен? (Позже, в Париже, я как-то включил телевизор. Показывали Улофа Пальме, который на блестящем французском языке заверял, что история с налогами была раздута, что это не было следствием налоговой политики социал-демократов и что он является моим другом. В тот момент я испытал к нему чувство презрения.)

Глухой гнев, задавленный, лишенный долгое время права голоса, вновь начинает шевелиться в глубине, во мраке коридоров. Что же, давайте без гипертрофии! С виду я жалок, вечно недоволен и раздражителен, принимаю ласку и заботу как нечто само собой разумеющееся, но хнычу точно избалованный ребенок. За пределами привычного распорядка и самодисциплины беспомощен и нерешителен, сегодня не знаю, что принесет день завтрашний, не умею планировать на неделю вперед. Как сложится моя жизнь, работа в театре и в кино? Что ждет «Синематограф», мое любимое детище? Что будет с моими сотрудниками? Ночами, когда у меня нет сил читать, передо мной выстраивается готовый к атаке взвод демонов. Днем, за стеной видимого порядка, царит хаос — словно в разбомбленном городе.

В середине марта мы переезжаем на Форё. Весна только-только вступила в длительную борьбу с зимой: один день — яркое солнце и теплый ветерок, блистающие зеркальца воды и новорожденные ягнята, резвящиеся на проталинах, на другой — штормовой ветер из тундры, стеной падает снег, море бушует, вновь утепляются двери и окна, гаснет электричество. Камины, керосинки, транзисторы.

Все это действует успокаивающе. Я усердно тружусь над своим исследованием под рабочим названием «Замкнутое пространство». Ощупью бреду незнакомыми тропами, почти всегда ведущими в неизвестность и молчание. Пока еще терпение мое не иссякло, к тому же эта работа — часть каждодневной дисциплины.

На ночь, если я чувствую, что угроза уничтожения слишком сильна, принимаю могадон и валиум. Теперь я могу уже регулировать прием лекарств. Но завоеванное равновесие весьма зыбко.

Ингрид нужно по делам в Стокгольм. Она предлагает мне поехать вместе, я не хочу. Она предлагает пригласить кого-нибудь на те дни, пока ее не будет, — этого мне хочется еще меньше.

Я отвожу ее на аэродром. По дороге между Форёсундом и Бунге нам попадается навстречу полицейская машина — необычное явление в северной части Готланда. Меня охватывает паника: я уверен, они приехали за мной. Ингрид уверяет, что я ошибаюсь, я успокаиваюсь и высаживаю ее на аэродроме в Висбю. Возвратившись домой в Хаммарс, замечаю, что недавно прошел снег. Около дома видны свежие отпечатки шин и ног. Теперь я твердо убежден, что полиция искала меня. Запираю все двери, заряжаю ружье и усаживаюсь на кухне, откуда просматривается подъездная дорога к дому и стоянка. Жду много часов, во рту

пересохло. Выпиваю стакан минеральной воды и спокойно, но обреченно говорю себе: это конец. Бесшумно и внезапно спускаются мартовские сумерки. Полицейских не видно. Постепенно я осознаю, что веду себя как смертельно опасный сумасшедший, разряжаю ружье, запираю его и начинаю готовить обед. Писать становится все тяжелее. Тревога не покидает ни на минуту. Кстати, ходят слухи, будто обвинение в налоговом мошенничестве с меня снимают. Таким образом, вся история превращается в банальный налоговый вопрос. Мы ждем, ничего не происходит. Читаю «Иерусалим» Сельмы Лагерлёф и с трудом восстанавливаю ежедневный распорядок жизни. Среда 24 марта — тихий, серый день, оттепель, капель с крыш. Из своей комнаты я слышу телефонный звонок, Ингрид отвечает. Бросает трубку и вбегает в комнату, на ней будничное платье в голубую клетку, в котором она обычно ходит на Форё. Она хлопает себя по бедру правой рукой и восклицает: «Дело закрыто!»

Сперва я ничего не ощущаю, потом наваливается усталость, и я, наплевав на распорядок, ложусь спать. Сплю несколько часов. Таким изнеможенным я чувствовал себя последний раз, выйдя из самолета, у которого в воздухе загорелся один двигатель, и он был вынужден много часов кружить на Эресундом, чтобы сжечь топливо.

Вечером раздается стук в дверь. Это наша соседка и добрый друг. Она поспешно протягивает мне цветок и говорит, что хотела только поздравить и сказать, как она рада.

Ночь проходит без сна. Множество всяческих проектов и планов не дает мне заснуть. Испробовав все, что можно — снотворное, музыку, Сельму, шоколад, печенье, — я встаю и сажусь за письменный стол. Быстро записываю сюжет фильма, который я называю «Мать и дочь и мать». На главные роли намечаю Ингрид Бергман и Лив Ульман.

30 марта мы возвращаемся в Стокгольм, где меня ждет куча дел. Начинаю — осторожно, преодолевая невыносимую усталость, — с самых важных: прежде всего запуск в производство «Райской площади» Уллы Исакссон и Гуннель Линдблум.

Второго апреля Налоговое управление, перезарядив орудия, открывает огонь по борту. В час дня мы встречаемся с адвокатом Рольфом Магреллем. Не сразу, с большим трудом я постигаю смысл переданного им сообщения Налогового управления. Спустя какое-то время я написал статью об этом деле и его последствиях. Статья была следующего содержания:

«В пятницу 2 апреля мой юридический поверенный "был приглашен" в Государственное налоговое управление для беседы с налоговым инспектором Бенгтом Челленом и начальником

отдела Хансом Свенссоном. Информация, сообщенная этими господами, оказалась головоломной. Несмотря на неоднократные терпеливые попытки, Магреллю не удалось объяснить мне всех деталей. Но смысл я все-таки понял.

Чтобы опередить весьма проворный отдел печати Налогового управления, работающий, судя по всему, в тесном контакте со средствами массовой информации, я собираюсь сейчас сам рассказать, чем были озабочены налоговый инспектор и начальник отдела.

Пусть тот, кого я лишаю возможности передать эту информацию прессе и получить гонорар, воспримет это с должным спокойствием. На так называемом «деле Бергмана», как я понимаю, уже заработано немало денег. Кстати, один вопрос: в какую статью расхода записывают газеты подобные выплаты и как указывает получатель свой доход в налоговой декларации? А теперь я постараюсь вкратце изложить содержание сообщения, сделанного господами Свенссоном и Челленом. Прошу читателя немного запастись терпением, поскольку суть исключительно интересна.

Итак, Налоговое управление, как было заявлено, не может согласиться с тем, что, в соответствии с новым требованием, выдвинутым налоговым инспектором Дальстрандом, прежние притязания Налогового управления утрачивают силу. Дальстранд требует, чтобы я заплатил налог с суммы 2,5 миллиона крон по налогообложению 1975 г. (дивиденды моей бывшей швейцарской фирмы «Персона»). Господа же из Налогового управления желают обложить налогом и мою шведскую фирму «Синематограф» на ту же сумму дохода, ибо они считают швейцарскую фирму «фикцией». Тот факт, что один и тот же доход будет обложен налогом дважды (в размере 85 + 24%, или 109%), их мало волнует, поскольку это ошибка Дальстранда.

(Пока понятно?)

Если же мы с налоговым инспектором Дальстрандом согласимся, чтобы с меня взяли тот налог, который изначально требовало Налоговое управление, то в таком случае можно избежать налогообложения моей шведской фирмы.

Выражаясь проще: угрозами и шантажом меня и Дальстранда хотят заставить признать, что Налоговое управление было право с самого начала.

Мне доставляет огромное удовольствие сообщить через эту газету налоговому инспектору Бенгту Челлену и начальнику отдела Хансу Свенссону, что я не принимаю их методов и отказываюсь вступать в какие-либо сделки. Естественно, теперь я вынужден немного поразмышлять над теми причинами, которые,

как можно предположить, заставили Налоговое управление пойти на подобный поразительный шаг.

Вот несколько объяснений: решение прокурора Нурденадлера о снятии обвинения кое-кого в Налоговом управлении больно ударило по престижу. Налоговый сыщик Кент Карлссон со своим помощником потратили на это дело, завершившееся пресловутым задержанием в Драматене, много месяцев. Когда же выясняется, что все затраченные усилия были напрасны, возникает настоятельная необходимость найти еще какую-нибудь зацепку, дабы хоть ненадолго сгладить то отрицательное впечатление, которое сложилось о Налоговом управлении как внутри страны, так и за ее пределами. Расчет был при этом, вероятно, на то, что я, испугавшись еще одного скандала, поддамся на шантаж, в результате чего Налоговое управление в любом случае выйдет победителем из игры!

Я не участвую в подобной игре.

Хочу тут же добавить, что желал бы крепко прижать к груди как налогового инспектора, так и начальника отдела.

Этим господам удалось то, чего ни психиатрическая наука, ни я сам не могли добиться за два месяца моей болезни.

Попросту говоря — я так рассвирепел, что немедленно выздоровел. Ощущение ужаса и неизгладимого унижения, мучившее меня днем и ночью, улетучилось за несколько часов и больше не давало о себе знать, ибо я понял, что мой противник — не справедливый, объективный, рассудительный орган власти, а группа помешанных на престиже игроков в покер.

Разумеется, я и раньше подозревал что-то в этом роде, особенно разглядев вблизи налогового сыщика Кента Карлссона, который присутствовал на допросе в полиции и буквально дрожал от возбуждения, предвидя приближающийся триумф.

Должен признаться, что потом, когда губернский прокурор Нурденадлер, проявив нравственное мужество, скрестил копья с могучими силами, уже вынесшими мне приговор, я начал сомневаться в обоснованности своих подозрений. (Я решил все забыть и вернуться к работе, полностью доверив вести процесс о налогах специалистам. Я равнодушен к деньгам и вещам, всегда был и буду равнодушен. И нисколько не боюсь потерять то, чем владею, при возможном неблагоприятном исходе процесса. Я не считаю свои доходы в денежном выражении. Безусловно, я полагал, что со мной обошлись по-свински, но чувствовал, что для того, чтобы вновь обрести почву под ногами, я должен все это забыть, я полагал также, что конец этой удручающей истории может быть достойным и справедливым.)

Однако налоговый инспектор Челлен и начальник отдела

Свенссон восстановили — угрозой шантажа — порядок, подтвердив тем самым мои самые что ни на есть параноидные мысли. В то же время я избавился от состояния творческого кризиса и полной инертности, поразившего меня впервые в жизни.

Итак, посоветовавшись с самим собой и с близкими мне людьми, я принял несколько решений, которые сейчас и изложу, ибо в противном случае немедленно поползут всяческого рода идеи, слухи, инсинуации, и опровергнуть их задним числом будет нелегко.

Первое. Поскольку для того, чтобы исполнять свои профессиональные задачи, мне необходима определенная гарантия спокойного существования и поскольку, по всей видимости, в обозримом будущем такая гарантия мне предоставлена не будет, я вынужден ее искать в какой-нибудь другой стране. Хорошо сознаю, на какой риск иду. Вполне возможно, моя профессия настолько прочно связана со средой и языком, что я, на пятьдесят восьмом году жизни, не сумею приспособиться к новой обстановке. Тем не менее я обязан попытаться. Необходимо покончить с тем парализующим чувством зыбкости существования, с которым я жил все последние месяцы. Без работы моя жизнь бессмысленна.

Второе. Чтобы «честный шведский налогоплательщик» не подумал, будто я сбегаю от суда, я помещаю все свое состояние на закрытый счет и предоставляю его в распоряжение Налогового управления в случае, если я проиграю процесс. Оставлена также соответствующая сумма в случае проигрыша процесса «Синематографом». Если я останусь должным еще какие-то деньги, то выплачу все до последнего эре. У меня уже есть немало предложений, и я не собираюсь утаивать от родной страны ни единого эре.

Третье. За последние годы я выплатил 2 миллиона крон налогов, предоставил работу многим людям, с болезненной щепетильностью старался, чтобы все сделки были честными. Так как я не разбираюсь в цифрах и боюсь денег, я попросил знающих и честных людей взять на себя решение всех этих вопросов. Форё было для меня надежным прибежищем, я чувствовал себя там спокойно, словно во чреве матери, даже не помышляя, что когда-нибудь буду вынужден уехать. Я был убежденным социал-демократом. С искренней страстностью придерживался этой идеологии серых компромиссов. Я считал свою страну лучшей в мире и считаю так до сих пор, может быть, потому, что видел слишком мало других стран.

Прозрев, я испытал тяжелое потрясение, отчасти из-за

невыносимого унижения, отчасти из-за того, что понял — в этой стране ни один человек не защищен от нападок и унижений со стороны особого рода бюрократии, расползающейся подобно раковой опухоли, бюрократии, которая ни в малейшей степени не подготовлена к выполнению своих трудных и щепетильных задач и которую общество снабдило такими полномочиями власти, до коих отдельные исполнители этой власти абсолютно не доросли.

Когда представители Налогового управления во главе с налоговым сыщиком Кентом Карлссоном вдруг появились в конторе «Синематографа» и потребовали предъявить им наши счета, меня немного покоробило их поведение, но потом мне разъяснили, что это нормально и в порядке вещей. Их в особенности интересовали сделки «Персонафильм». Мы подчинились требованию и предоставили в их распоряжение бухгалтерские книги фирмы.

И я, и мой адвокат спокойно ждали, когда господа ревизоры пригласят нас на беседу.

Не тут-то было. У сыщика Кента Карлссона и его ребят были другие планы. Они решили устроить демонстрацию силы, которая бы прогремела на весь мир, а им самим позволила бы набрать некоторое количество очков в таблице, существующей у этой особой бюрократии.

(Кстати, довольно-таки плохо продуманная операция: с начала ревизии до задержания меня и моего адвоката, имевшего целью «не дать нам уничтожить доказательства», прошло несколько месяцев. Если бы нам было что скрывать, мы бы за эти месяцы замели все следы. Это даже полицейскому Паулю-су Бергстрёму[30] было бы под силу вычислить. Если бы меня грызла совесть, я успел бы за это время эмигрировать. И наконец, если бы я не был так отчаянно привязан к этой стране и к тому же до отвращения честен, я сегодня обладал бы огромным состоянием — за границей.)

Но ни налоговому сыщику Карлссону, ни прокурору Дрейфальдту ни один из этих доводов не пришел в голову. Карлссоновский заговор был совершившимся фактом, и через 14 минут после того, как меня вывели из Драматена, следователю позвонила первая газета, желая узнать подробности о сенсационном задержании.

Теперь, когда эта грандиозно задуманная демонстрация силы провалилась, решили применить странную окопную тактику с примесью угроз и шантажа. Боюсь, подобная стратегия рассчитана на необозримо долгое время.

У меня не хватит ни рассудка, ни нервов, чтобы выдержать такого рода войну. Ни времени.

Поэтому я уезжаю. Уезжаю, чтобы сделать свой первый фильм за границей, на чужом языке. У меня нет причин жаловаться. Для всех, кроме меня самого и моих близких, это пустяк или, как бы выразились в Налоговом управлении, «фикция».

Мне посоветовали обжаловать действия «Афтонбладет» за то, что она писала обо мне и моем деле. Это бессмысленно, ответил я. Газета, кичащаяся своими инсинуациями, неприкрытыми оскорблениями, полуправдой и низкопробным преследованием личности, собирает критические замечания прессомбудсмана[31] с такой же страстью, как индеец — скальпы. В любом обществе, вероятно, есть потребность в клоачном стоке, подобном «Афтонбладет». Но меня не перестает удивлять, что этот клоачный сток является флагманом социал-демократической прессы и что в этом разлагающемся клеточном скоплении работает много приличных, достойных уважения профессионалов.

Мне посоветовали также подать в суд на прокурора Дрейфальдта и потребовать возмещения убытков (две загубленные постановки по 45 тысяч крон каждая, остановка производства фильма — приблизительно 3 миллиона, психические страдания — одна крона и поруганная честь — еще одна крона, итого три миллиона девяносто тысяч две кроны). Но и это я считаю бессмысленным. Дилетантство, чувство долга и топорность в данном случае шли рука об руку. Это надо понять. Это по-шведски. Возможно, я когда-нибудь напишу на эту тему фарс. Я говорю, как говорил Стриндберг, рассердившись на что-нибудь: *Берегись, сволочь, мы встретимся в моей следующей пьесе».*

О статье позаботится Бьёрн Нильссон из «Экспрессена». Мы с Ингрид навещаем ее сестру и свояка в Лешёфорсе. На обратном пути в Стокгольм делаем крюк и проезжаем Воромс — усадьба тиха и молчалива в сером свете дня на исходе зимы, чернеет река, над холмами туман. Проезжаем Стура Тюна, где похоронена мать Ингрид. Останавливаемся ненадолго в Уппсале, я показываю бабушкин дом на Трэдгордсгатан, слушаем мощный шум порогов Фюрисон. Сантименты… и прощание.

Потом мы на несколько дней едем на Форё. Больно, но необходимо. Я информирую Ларса-Уве Карлберга и Катинку Фараго. Они обещают по мере сил поддерживать жизнь «Синематографа». В Страстную пятницу я пишу статью, переписываю, пишу заново, удивляюсь про себя, за каким дьяволом я трачу столько усилий, но бешенство, державшее меня на плаву последние недели, заставляет действовать, вырабатывая необходимый адреналин.

20 апреля Ингрид с сестрой уезжают в Париж. Я провожу вечер с моим другом Стюре Хеландером. Мы познакомились в

1955 году, когда я с непрекращающимся поносом и рвотой попал к нему в отделение в Каролинскую больницу. Несмотря на то, что мы с ним очень разные люди, мы стали друзьями и дружбой этой дорожим до сих пор.

В среду 21 апреля в 16.50 я отбываю в Париж. Когда самолет поднимается в воздух, меня охватывает безудержное веселье, и я читаю сказки сидящей рядом в кресле девчушке.

То, что произошло потом, не представляет особого интереса. Моя статья была напечатана в «Экспрессен» на следующий день после отъезда и вызвала немалый переполох. Журналисты взяли в осаду нашу гостиницу в Париже, а один фотограф, преследуя нас на мотоцикле по пути в шведское посольство, чуть не попал в аварию. Я обещал Дино Де Лаурентису держать язык за зубами, так как мы планировали через несколько дней провести пресс-конференцию в Голливуде. Мероприятие было бурным. Я понял, что мы выиграли второй раунд, но задавался вопросом, не слишком ли дорогой ценой.

Мы с Ингрид намеревались поселиться в Париже, куда вернулись через неделю. Лето думали провести в Лос-Анджелесе — подготовка к съемкам «Змеиного яйца» затягивалась. В Париже было жарко. В нашей шикарной гостинице имелся кондиционер — колоссальных размеров агрегат, который, гремя и стеная, давал лишь тонкую струйку холодного воздуха где-то на уровне пола. Мы сидели голые под этой струйкой и пили шампанское, не в силах пошевелиться. В переулке неподалеку взорвались две бомбы, полностью разрушив помещения, принадлежавшие западногерманским учреждениям.

Жара усиливалась, и мы сбежали в Копенгаген, где, взяв напрокат машину, отправились осматривать сельские пейзажи Дании. Однажды вечером, зафрахтовав частный самолет, полетели в Висбю. На Форё приехали поздно, хотя на улице все еще было светло. Возле старого дома в Дэмбе вовсю цвела сирень. Мы до рассвета просидели на крыльце, одурманенные тяжелым запахом, а рано утром улетели обратно в Копенгаген. Мы договорились с Дино Де Лаурентисом, что фильм будет сниматься в Мюнхене — вполне логично, хотя действие происходит в 20-х годах в Берлине. Я ездил в Берлин выбирать место съемок, но ничего подходящего не нашел, кроме района под названием Крёйцберг, вплотную прилегающего к Стене. Это — город-призрак, в котором с конца войны ничего не восстанавливалось. На фасадах по-прежнему следы пуль и взрывов гранат. Руины разрушенных при бомбардировке зданий, правда, снесены, но оставшиеся на их месте пустыри зияют точно гнойные раны между серыми блоками домов. В этом районе

горделивой когда-то столицы нет ни одного немца. Кто-то сказал, что жилище может стать смертельным оружием, и здесь я вдруг понял смысл этой революционной риторики. Дома переполнены иностранцами, во дворах играют дети, воняют на жаре помойки, улицы не убирают, там и тут видны асфальтовые заплаты.

Убежден, что какой-нибудь орган власти тщательно следит за этой раковой опухолью на спине богатого Западного Берлина. Там наверняка существуют необходимые социальные учреждения и разработаны меры безопасности для того, чтобы никто не пострадал и тем самым не привел в смущение немецкую совесть и с грехом пополам усмиренную расовую ненависть. Говорят в открытую: этим сволочам в любом случае здесь живется лучше, чем у себя дома. У Банхоф Цу собираются молодые наркоманы — время от времени на них устраивают запланированную облаву и разгоняют. Никогда прежде не приходилось мне наблюдать подобной неприкрытой телесной и духовной нищеты. Немцы этого не видят либо же приходят в бешенство — следовало бы создать лагеря. Расчет, оправдывающий существование Крёйцберга, столь же прост, сколь и циничен: если враг по ту сторону Стены захочет напасть на Запад, ему придется пробиваться через заслон из ненемецких тел.

Киностудия «Бавария» оказалась внушительным сооружением с двенадцатью павильонами и 4 тысячами служащих. В Мюнхене есть два оперных здания, тридцать два театра, три симфонических оркестра, несчетное число музеев, огромные парки и чистенькие улицы, вдоль которых теснятся универмаги — их витрины кричат об изысканной роскоши, подобной которой вряд ли можно сыскать в другом крупном европейском городе. Люди были приветливы и гостеприимны, и мы решили обосноваться в Мюнхене, тем более что мне предложили поставить «Игру снов» в Резиденцтеатер, баварском варианте Драматена.

Кроме того, я получил престижную награду — так называемую премию Гете, церемония награждения должна была состояться осенью во Франкфурте. После непродолжительных поисков мы нашли светлую, просторную квартиру в безобразной на вид многоэтажке рядом с Энглишер Гартен. С террасы открывался вид на Альпы и шпили старого Мюнхена.

Квартира освобождалась только в сентябре, поэтому мы на лето уехали в Лос-Анджелес. В Калифорнии стояла небывалая за последние десять лет жара. Приехав за два дня до Иванова дня, мы сидели в могильном холоде гостиничного номера, снабженного кондиционером, и смотрели по телевизору соревнования по боксу. Вечером сделали попытку прогуляться в

расположенный поблизости кинотеатр. Жара придавила нас точно бетонной стеной.

На следующее утро позвонила Барбра Стрейзанд и предложила, захватив купальные костюмы, приехать на вечеринку «у бассейна». Я поблагодарил за гостеприимство, положил трубку и, повернувшись к Ингрид, сказал: «Сейчас же едем на Форё, там и проведем лето. Насмешки вытерпим». Через несколько часов мы уже были в пути. В Стокгольм мы прибыли вечером в канун Иванова дня. Ингрид позвонила отцу, у которого, как выяснилось, собрались родственники и друзья, — он жил неподалеку от Норртелье. Он велел нам приезжать немедленно. Время приближалось к двенадцати. Вечер был теплый и мягкий. Вокруг все цвело и пахло в полную силу. И было светло.

Ближе к утру я лежал на белой кровати в комнате, пахнувшей дачей и свежевымытым дощатым полом. Высокая береза за окном отбрасывала колеблющуюся узорчатую тень на светлую штору, шумела и что-то шептала, шептала.

Длительное путешествие было забыто, жизненная катастрофа превратилась в сон, приснившийся кому-то другому. Мы с Ингрид тихо беседовали о трудностях нашей новой жизни. Я сказал: «Либо я умру, либо получу чертовски сильный заряд энергии».

* * *

Воскресный день в пасторском доме. Я один дома, с глазу на глаз с неразрешимой задачей по математике. Колокола церкви Энгельбректа возвестили об отпевании, брат — в кино, сестра — в больнице с аппендицитом, родители и горничные отправились в часовню отметить память королевы Софии, основательницы больницы. Весеннее солнце горит на письменном столе, престарелые сестры милосердия из Сульхеммета в черных одеждах гуськом, держась в тени деревьев, пересекают дорогу. Мне — тринадцать лет, в кино идти запрещено из-за невыполненного урока по математике, поскольку накануне вечером я, вместо того чтобы сделать задание, предпочел отправиться на «Гибель богов». Одолеваемый тоской, в растерянных чувствах, я рисую в тетради голую женщину. Рисовальщик из меня никакой, поэтому и женщина получается соответственной. С огромными грудями и широко раздвинутыми ногами.

О женщинах я знал очень мало, о сексе — ничего. Брат иногда отпускал кое-какие насмешливые намеки, родители и учителя молчали. Обнаженных женщин можно было увидеть в Национальном музее или в «Истории искусств» Лаурина. Летом изредка удавалось углядеть чьи-либо обнаженные ягодицы или грудь. Подобное отсутствие информации не создавало особой проблемы, я был избавлен от искушений и не мучился чрезмерным любопытством. Один незначительный эпизод произвел, однако, определенное впечатление. Наша семья общалась с Аллой Петреус, вдовой средних лет, родом из финских шведов: она принимала активное участие в церковных делах. Из-за какой-то эпидемии, затронувшей пасторскую усадьбу, мне пришлось две-три недели прожить у тети Аллы. Она обитала в необъятной квартире на Страндвеген с видом на Шеппсхольмен и бесчисленные дровяные баржи. Уличный шум не проникал в солнечные комнаты, утопавшие в захватывающей дух и возбуждавшей фантазию роскоши в стиле модерн.

Алла Петреус не отличалась красотой. На носу очки с толстенными стеклами, походка мужеподобная. Когда она смеялась, а смеялась она часто, в углах рта выступала слюна. Одевалась элегантно и обожала шляпы с широченными полями, которые в кинотеатре приходилось снимать. Гладкая кожа, добрые карие глаза, мягкие руки, на шее — родимые пятна разной формы. От нее хорошо пахло какими-то экзотическими духами. Голос у нее был низкий, почти мужской. Мне нравилось

жить у нее, да и дорога в школу сокращалась наполовину. Горничная Аллы и ее кухарка говорили только по-фински, но зато всячески баловали меня и то и дело щипали то за щеки, то за зад.

Как-то вечером меня должны были купать. Горничная наполнила ванну, добавив в воду что-то для аромата. Я погрузился в горячую воду и с наслаждением закрыл глаза. Алла Петреус постучала в дверь и поинтересовалась, не заснул ли я. Поскольку я не ответил, она вошла в ванную. На ней был зеленый халат, который она тут же и сбросила.

Алла объяснила, что хочет потереть мне спину, я перевернулся на живот, она залезла в ванну, намылила меня, потерла жесткой щеткой и мягкими руками стала смывать мыло. Потом взяла мою ладошку и сунула ее себе между ног. Сердце мое готово было выпрыгнуть из груди. Она раздвинула мои пальцы и прижала их к своему лону, захватив другой рукой мой стручок, отреагировавший незамедлительно. Осторожно оттянув кожицу, она сняла с него белую массу. Было приятно и совсем не больно. Алла сжимала меня своими крепкими ногами, и я, не сопротивляясь, без малейшего страха, испытал тяжелое, почти болезненное наслаждение.

Было мне в ту пору восемь или девять лет. Позднее я часто встречал тетю Аллу в пасторском доме, но мы никогда не заговаривали о случившемся. Иногда она взглядывала на меня через толстые стекла своих очков и издавала смешок. У нас с ней была общая тайна.

Теперь, пять лет спустя, воспоминание это почти стерлось, но впоследствии превратилось в мучительную, исполненную стыда и наслаждения, регулярно возникавшую картину, что-то вроде бесконечной ленты в кинопроекторе, прокручиваемой каким-то демоном, который, движимый ненавистью, старался причинить мне как можно больше мучений и неприятностей.

И вот я сидел и рисовал женщину в голубой тетрадке, грело солнце, шли гуськом сестры милосердия из Сульхеммет. Рука моя скользнула вниз и выпустила на свободу посиневшего, подрагивающего пленника. Я ласкал его время от времени, получая необычное, пугающее наслаждение. И продолжал рисовать — на бумаге появилась еще одна голая женская фигура, на этот раз в чуть более бесстыдном виде, чем первая. Дополнив рисунок изображением мужских атрибутов, я вырезал их, проделал дырку между нарисованными женскими ногами и сунул туда этот кусочек бумаги.

Внезапно я почувствовал, что сейчас взорвусь, что из меня вот-вот извергнется нечто, над чем я потерял всякую власть. Я кинулся со всех ног в другой конец холла и заперся там.

Наслаждение переросло в физическую боль, непритязательный отросток, вызывавший раньше рассеянный, но вполне дружелюбный интерес, неожиданно превратился в пульсирующего беса, болезненно бившегося и толкавшегося внизу живота и в бедрах. Совершенно не соображая, как мне совладать с этим грозным врагом, я крепко сжал его, и в ту же секунду произошел взрыв. К моему ужасу, какая-то невесть откуда взявшаяся жидкость залила руки, штанину, унитаз, сетку на окне, стены и махровый коврик на полу. В том состоянии замешательства, в какой я находился, мне показалось, что эта извергшаяся из меня гадость запачкала меня с ног до головы, покрыла все вокруг. Я ничего не знал, ничего не соображал, у меня никогда не было ночных поллюций, эрекция возникала неожиданно и практически моментально проходила.

Чувственность, непонятная, враждебная, мучительная, поразила меня словно удар молнии. И по сей день я не в состоянии уразуметь, каким образом могло так случиться, почему подобная глубинная физическая перемена наступила без всякого предупреждения, почему она оказалась настолько болезненной и с самого начала сопровождалась чувством вины? Быть может, страх перед чувственностью проник в нас, детей, через кожу? Или воздух нашей детской был пропитан этим ядовитым невидимым газом? Нам никто ничего не рассказывал, никто ни о чем не предупреждал и уж тем более не пугал.

Болезнь — или одержимость? — не знала жалости, приступы ее повторялись с почти навязчивым постоянством.

Не видя иного выхода, я обратился за помощью к брату, стараясь вызнать у него, испытывал ли и он нечто подобное. Брат, которому уже исполнилось семнадцать, дружески ухмыльнулся и сказал, что живет здоровой половой жизнью, удовлетворяющей его эротические потребности, с учительницей немецкого языка — он брал у нее дополнительные уроки — и не желает ничего слышать о моих болезненных непристойностях, а ежели мне необходима более подробная информация, то я могу ее почерпнуть, прочитав статью «Мастурбация» в медицинском справочнике. Что я и сделал.

Там четко и ясно было написано, что мастурбация иначе называется рукоблудие, что это юношеский грех, с которым надо всячески бороться, что он вызывает бледность, потливость, дрожь, черные круги под глазами, рассеянность и нарушения чувства физического равновесия. В более тяжелых случаях болезнь приводит к размягчению мозга, поражению спинного мозга, приступам эпилепсии, потере сознания и ранней смерти. Имея перед собой такие перспективы, я продолжал с ужасом и

наслаждением свои занятия. Мне не с кем было поговорить, некого спросить, я был вынужден постоянно быть начеку, скрывая свою ужасную тайну.

В отчаянии я воззвал к Иисусу и попросил отца разрешить мне принять участие в предконфирмационной подготовке на год раньше положенного. Просьба была удовлетворена, и теперь я пытался с помощью духовных упражнений и молитв освободиться от своего проклятия. В ночь перед первым причастием я приложил все силы, чтобы одолеть демона. Я боролся с ним чуть ли не до утра, но битву все же проиграл.

Иисус наказал меня огромным воспаленным прыщом на бледном лбу. Во время причащения милостей Господних у меня начались желудочные спазмы и едва не стошнило.

Все это сегодня кажется смешным, тогда же было горькой реальностью. И последствия не заставили себя ждать! Стена, разделявшая мою реальную жизнь от тайной, росла, став вскоре непреодолимой. Отчуждение от истины делалось все необходимее. В моем придуманном мире произошло короткое замыкание, и потребовалось немало лет и множество тактичных друзей-помощников, чтобы исправить повреждение. Я жил в полной изоляции, подозревая, что схожу с ума. Некоторое утешение я обрел в анархически насмешливом тоне стриндберговских новелл «Браки». Его рассуждения о причастии подарили благодать, а рассказ о жизнерадостном кутиле, пережившем своего благопристойного брата, оказал благотворное действие. Но как, черт побери, найти женщину — какую угодно? Это удавалось всем, кроме меня. Я же со своим рукоблудием был бледен, потел, ходил с черными кругами под глазами и никак не мог сконцентрировать внимание.

Помимо всего прочего я был худ, печален, легко раздражался, то и дело, снедаемый бешенством, затевал скандалы, ругался и орал, получал плохие отметки и многочисленные пощечины. Единственным прибежищем были кинотеатры и боковые места на третьем ярусе Драматена.

В то лето мы жили не в Воромсе, как обычно, а в желтом доме на живописном заливе острова Смодаларё. Таков был результат длительного отчаянного поединка, происходившего за все больше трескавшимся фасадом пасторского жилища. Отец ненавидел Воромс, бабушку и удушливую жару средней полосы. Мать питала отвращение к морю, шхерам и ветрам, вызывавшим у нее ревматические боли в плечевых суставах. По какой-то неизвестной причине она наконец сдалась: Экебу на Смодаларё на многие годы стало нашим идиллическим прибежищем.

Меня шхеры сбили с толку совершенно. Множество дачников

с детьми, среди которых было немало моих ровесников — отважных, красивых и жестоких. Я был прыщав, не так одет, заикался, громко и беспричинно хохотал, не приучен к спорту, не решался нырять вниз головой и любил заводить беседы о Ницше — манера общаться, вряд ли пригодная на прибрежных скалах.

У девочек были груди, бедра, ягодицы и веселый презрительный смех. Я мысленно переспал с ними со всеми в своей жаркой тесной мансарде, пытая и презирая их.

В субботу вечером на гумне главной усадьбы устраивались танцы. Там было все точь-в-точь как в стриндберговской «Фрекен Жюли»: ночное освещение, возбуждение, дурманящие запахи черемухи и сирени, пиликание скрипки, отталкивание и притяжение, игры и жестокость. Поскольку кавалеров не хватало, меня милостиво приняли в круг, но я не осмеливался коснуться своих партнерш по причине немедленного возбуждения, да и танцевал хуже некуда и посему вскоре вышел из игры. Ожесточенный и исступленный. Оскорбленный и смешной. Объятый страхом и замкнувшийся. Отталкивающий и прыщавый. Буржуазный вариант полового созревания образца лета 1932 года.

Читал я без передышки, чаще всего не понимая прочитанного, но хорошо воспринимая интонацию: Достоевский, Толстой, Бальзак, Дефо, Свифт, Флобер, Ницше и, конечно, Стриндберг.

Я растерял все слова, начал заикаться, грыз ногти. Задыхался от ненависти к самому себе и к жизни вообще. Ходил на полусогнутых, выставив вперед голову, навлекая на себя тем самым постоянные выговоры. Самое удивительное, что я ни разу не усомнился в этом своем жалком существовании. Был уверен, что так и должно быть.

* * *

С Анной Линдберг мы были одногодки. Учились в так называемом девятом классе, являвшемся последней ступенью перед гимназией. Школа называлась Пальмгренской совместной школой и располагалась на углу Шеппаргатан и Коммендёрсгатан. Триста пятьдесят учащихся помещались в уютных, хотя и тесных комнатах частного дома. Учителя, как считалось, представляли более современную и передовую педагогическую науку, чем та, которой пользовались в обычных учебных заведениях. Вряд ли это соответствовало истине, так как большинство из них работало по совместительству и в средней школе Эстермальма в пяти минутах ходьбы от Пальмгренской.

И тут и там преподавали одни и те же дерьмовые учителя, и тут и там властвовала та же дерьмовая зубрежка. Единственным отличием была, пожалуй, значительно более высока плата за обучение в Пальмгренской школе. И еще — это была школа с совместным обучением. В нашем классе учились двадцать один мальчик и восемь девочек. Одной из них была Анна.

Ученики сидели по двое за старомодными партами. Учитель занимал кафедру, стоявшую на возвышении в углу класса. Перед нами простиралась черная доска. Снаружи, за тремя окнами, всегда шел дождь. В классе царил полумрак. Шесть электрических шаров вяло боролись с колеблющимся дневным светом. В стены и мебель навечно въелся запах мокрой обуви, грязного белья, пота и мочи. Это был склад, учреждение, основанное на осквернённом союзе властей и семьи. Хорошо различимая вонь омерзения порой становилась всепроникающей, иногда удушающей. Класс был как бы миниатюрным отражением предвоенного общества: тупость, равнодушие, оппортунизм, подхалимаж, чванство с робкими всплесками бунта, идеализм и любопытство. Анархистов быстренько ставили на место — и общество, и школа, и семья наказывали образцово, нередко тем самым определяя всю дальнейшую судьбу правонарушителя. Методы обучения заключались главным образом в наказании, вознаграждении и насаждении чувства вины. Многие из учителей были национал-социалистами, одни — по глупости или ожесточенные неудавшейся академической карьерой, другие — из-за идеализма и восхищения перед старой Германией, «народом поэтов и мыслителей».

На этом фоне серой покорности за партами и кафедрой встречались, разумеется, и исключения — одаренные, несгибаемые люди, распахивавшие двери и впускавшие воздух и

свет. Но таких было немного. Наш директор — льстивый деспот, махинатор из махинаторов Миссионерского союза — обожал читать утренние молитвы, липкие проповеди, состоявшие из сентиментальных ламентаций на тему о том, как бы сокрушался Иисус, если бы именно сегодня он посетил Пальмгренскую школу, или же из адских проклятий в адрес политики, дорожного движения и эпидемического распространения джазовой культуры.

Невыученные уроки, обман, жульничество, лесть, подавляемое бешенство и зловонный треск нарочно выпускаемых газов составляли непременную программу безнадежно тянувшегося дня. Девчонки собирались кучками, заговорщицки перешептываясь и хихикая. Мальчишки орали ломающимися голосами, дрались, гоняли мяч, планировали жульнические проделки или договаривались о невыученных уроках.

Я сидел приблизительно в середине класса. Анна — наискосок впереди меня, у окна. Я считал ее уродиной. Так считали все. Высокая толстуха с округлыми плечами, плохой осанкой, большой грудью, мощными бедрами и колышущимся задом. Коротко остриженные рыжие волосы зачесаны на косой пробор, глаза — один голубой, другой карий — косят, высокие скулы, полные вывернутые губы, по-детски округлые щеки, на благородном подбородке — ямочка. Из-под волос сбегал к правой брови шрам, наливавшийся кровью, когда она плакала или злилась. Ладони широкие, с короткими толстыми пальцами, красивые длинные ноги, маленькие стопы с высоким подъемом — на одной ноге не хватало мизинца. От нее шел типичный девчачий запах и еще аромат детского мыла. Носила Анна обычно коричневые или голубые блузки из шелка-сырца. Девочка она была умная, находчивая и добрая. Злые языки утверждали, будто ее отец сбежал с дамой легкого поведения. Добавлю также, что у ее матери был сожитель, рыжеволосый коммивояжер, который частенько бивал и мать и дочь, и что плата за обучение для Анны была снижена.

И Анна и я были в классе изгоями. Я — по причине странностей моего характера, Анна — из-за своей непривлекательности. Но к нам не приставали и над нами не издевались.

Как-то в воскресенье мы столкнулись с ней на утреннем сеансе в кинотеатре «Карла». Выяснилось, что мы оба обожаем кино. В отличие от меня Анна располагала довольно значительными карманными деньгами, и я не мог устоять от соблазна ходить в кино за ее счет. Вскоре она пригласила меня к себе домой. Просторная, но запущенная квартира находилась на втором этаже дома, выходившего фасадом на Нюбругатан, на углу

Валхаллавеген.

В темной, похожей на пенал комнате Анны, обогреваемой кафельной печью, стояла разномастная мебель, на полу лежал вытертый ковер. У окна — белый письменный стол, доставшийся ей по наследству от бабушки. На выдвижной кровати покрывало и подушки с турецким орнаментом. Мать встретила меня приветливо, но без всякой сердечности. Внешне она была похожа на свою дочь, только вот губы сурово сжаты, кожа отливает желтизной, а седые жидкие волосы взбиты и зачесаны назад. Рыжий коммивояжер не появился.

Мы с Анной начали вместе учить уроки, я представил ее в пасторском доме, и, как ни странно, протестов не последовало. Скорее всего, ее посчитали слишком уродливой, чтобы угрожать моей добродетели. Анну доброжелательно приняли в семью, по воскресеньям она обедала с нами — на обед подавалось жаркое из телятины и огурцы, брат бросал на нее презрительно-иронические взгляды, она быстро и раскованно отвечала на вопросы и принимала участие в представлениях кукольного театра.

Добродушие Анны способствовало уменьшению напряженности в моих отношениях с остальным семейством. Но одного обстоятельства члены моей семьи не знали, а именно того, что мать Анны редко бывала дома по вечерам, и наши занятия плавно перешли в беспорядочные, но упорные упражнения на испускавшей громкие жалобные стоны кровати.

Мы были одни, изголодавшиеся, полные любопытства и абсолютно неопытные. Девственность Анны сопротивлялась изо всех сил, а провисшая сетка кровати еще больше затрудняла всю операцию. Раздеваться мы не решались и практиковались в полном облачении, если не считать ее шерстяных панталон. Мы были беспечны, но осторожны. Однако как-то раз храбрая и хитрая Анна предложила устроиться на полу перед печью (она видела такую сцену в каком-то фильме). Мы разожгли печь, напихав в нее полешек и газет, сорвали с себя мешавшую одежду, Анна кричала и смеялась, а я погружался в таинственную глубину. Анна вскрикнула (ей было больно), но меня не отпустила. Я добросовестно пытался высвободиться. Она плакала, лицо ее было мокро от слез и соплей, мы целовались сжатыми губами. «Я забеременела, — шептала Анна, — я знаю, что забеременела». Она смеялась и плакала, *а* меня охватил леденящий ужас, я пытался привести ее в себя: «Тебе надо пойти и помыться, вымыть ковер». В крови мы были оба, ковер тоже.

В этот момент в прихожей открылась дверь, и на пороге комнаты появилась мать Анны. Пока Анна, сидя на полу,

натягивала панталоны и старалась запихать в рубашку свою огромную грудь, я всячески тянул вниз свитер, дабы закрыть пятно на брюках.

Фру Линдберг, закатив мне оплеуху, схватила за ухо и протащила два раза по комнате, потом остановилась, дала еще одну оплеуху и, грозно улыбаясь, сказала, чтобы я, дьявол меня задери, поостерегся наградить ее дочь ребенком. «В остальном же занимайтесь чем хотите, только меня не впутывайте». Проговорив это, она повернулась ко мне спиной и с грохотом захлопнула за собой дверь.

Я не любил Анну, ибо там, где я жил и дышал, не было любви. Наверняка в детстве я купался в любви, но теперь забыл ее вкус. Я не любил никого и ничего, меньше всего самого себя. Чувства Анны, возможно, были в меньшей степени разъедены ржавчиной. У нее был кто-то, кого она могла обнимать, целовать, с кем могла играть — беспокойная, капризная, злая кукла, которая беспрерывно говорила и говорила, иногда забавно, иногда глупо или настолько наивно, что возникало сомнение — а правда ли ему четырнадцать лет. Иногда он отказывался идти рядом с ней по улице под тем предлогом, что она чересчур толстая, а он чересчур худой, и они смешно выглядят вместе.

Порой, когда гнет пасторского дома становился совсем невыносимым, я прибегал к кулакам, Анна давала сдачи, и хотя силы наши были равны, я был злее, поэтому драки зачастую кончались ее слезами и моим уходом. Потом мы всегда мирились. Один раз я поставил ей синяк под глазом, другой — разбил губу. Анне доставляло удовольствие щеголять своими синяками в школе. На вопрос, кто ее избил, она отвечала г— любовник, чем вызывала всеобщий смех, ибо никто не верил, что пасторский сынок, этот тощий заика, способен на подобные взрывы мужественности и темперамента.

Однажды в воскресенье перед мессой Анна позвонила и заорала, что Палле убивает ее мать. Я ринулся на выручку, Анна открыла дверь, и в ту же минуту, оглушенный сильнейшим ударом в лицо, рухнул на галошную полку. Рыжий коммивояжер, в ночной рубахе и носках, расправлялся с матерью и дочерью, вопя, что укокошит всех нас, с него хватит вранья, ему надоело содержать шлюху и шлюхину дочь. Руки его сомкнулись на горле старшей из женщин. Лицо ее побагровело, рот широко раскрылся. Мы с Анной пытались оторвать его от матери. В конце концов Анна кинулась в кухню, схватила нож и пригрозила зарезать его. Он тут же отпустил мать и еще раз ударил меня в лицо. Я ответил, но промахнулся. После чего он молча оделся, нахлобучил набекрень котелок, сунул руки в рукава черного

пальто, бросил на пол ключ от подъезда и исчез.

Мама Анны угостила нас кофе с бутербродами, в дверь позвонил сосед, поинтересовался, что случилось. Анна, затащив меня к себе в комнату, осмотрела мои рану — от переднего зуба откололся маленький кусочек (я пишу это и трогаю языком щербинку).

Все, что произошло, было интересно, но нереально. Вообще, происходившее вокруг напоминало бессвязные обрывки фильма, отчасти непонятные или же скучные. Я с удивлением обнаружил, что хотя мои органы чувств регистрировали внешнюю действительность, но посылаемые ими импульсы не затрагивали сами чувства, жившие в замкнутом пространстве и использовавшиеся по приказу, но никогда спонтанно. Действительность моя раздвоилась настолько, что потеряла сознание. Я присутствовал при драке в запущенной квартире на Нюбругатан, ибо помню каждое мгновение, каждое движение, крики и реплики, блики света с другой стороны улицы на окне, запах чада, грязи, помаду на липких рыжих волосах мужчины. Я помню все вместе и каждую деталь по отдельности. Но чувства не подключены к внешним впечатлениям. Был ли я испуган, зол, смущен, преисполнен любопытства или же просто бился в истерике? Не знаю.

Сегодня, подводя итоги, я знаю, что потребовалось более сорока лет, прежде чем мои чувства, запертые в непроницаемом пространстве, смогли выйти на свободу. Я существовал воспоминаниями о чувствах, неплохо умел их воспроизводить, но спонтанное их выражение никогда не бывало спонтанным, между интуитивным переживанием и его чувственным выражением всегда существовал зазор в тысячную долю секунды.

Сегодня, когда мне представляется, будто я более или менее выздоровел, очень хотелось бы знать, изобретен ли уже или будет когда-нибудь изобретен прибор, способный измерить и выявить невроз, который так эффективно-издевательски упредил иллюзорную нормальность.

Анна была приглашена на мое пятнадцатилетие, отмечавшееся в желтом доме на Смодаларё. Ее поместили в одну из мансард вместе с моей сестрой. На восходе солнца я разбудил ее, мы потихоньку спустились к бухте, сели в лодку и поплыли к Юнгфруфьёрден, мимо Рэдудд и Стендёррен. Лодка вышла в открытое море, и мы попали в замерший, блистающий на солнце мир, в ленивую зыбь Балтийского моря, беззвучно катящего свои утренние воды от Утэ к Даларё.

Домой мы поспели вовремя — к завтраку и вручению подарков. У нас сгорели плечи и спины, губы стянуло от соли,

глаза почти ослепли от света.

Прожив вместе более полугода, мы впервые увидели друг друга обнаженными.

* * *

В то лето, когда мне исполнилось шестнадцать, меня отправили в Германию в качестве Austauschkind[32]. Это означало, что шесть недель я буду жить в немецкой семье, где был мальчик моего возраста, который потом в свою очередь поедет на летние каникулы со мной в Швецию и проживет у нас такое же время.

Я попал в пасторскую семью, обитавшую в маленьком местечке Хайна между Веймаром и Айзенахом в Тюрингии. Деревушка, окруженная зажиточными поселениями, располагалась в ложбине. Между домами извивалась ленивая мутная речушка. В деревне имелись также внушительных размеров церковь, площадь с памятником жертвам войны и автобусная станция.

Семья была большая: шестеро сыновей, три дочери, пастор, его жена и престарелая родственница — дьяконица, или dienende Schwester[33]. Усатая, обильно потевшая старуха железной рукой правила семейством. Глава семьи — хрупкий мужчина с козлиной бородкой, добрыми голубыми глазами, ватными затычками в ушах — ходил в надвинутом на лоб черном берете. Он был начитан и музыкален, играл на нескольких инструментах и обладал мягким тенором. Жена, помятая жизнью, покорная толстуха, пребывала чаще всего на кухне. Иногда она застенчиво похлопывала меня по щеке, может быть, как бы прося прощение за их бедность.

Мой товарищ Ханнес точно сошел со страниц национал-социалистического пропагандистского журнала: рослый блондин с голубыми глазами, бодрой улыбкой, крошечными ушами и первыми признаками растительности на лице. Мы оба прилагали всяческие усилия, чтобы понять друг друга, но это оказалось не так-то просто — мой немецкий был результатом тогдашней грамматической методы обучения: учебные планы не предусматривали возможность разговора на данном языке.

Дни тянулись тягостно. В семь часов дети отправлялись в школу, и я оставался один на один со старшими. Читал, бродил по окрестностям, тосковал по дому, но предпочитал сидеть в кабинете пастора или сопровождать его, когда он навещал паству. Пастор ездил на допотопной развалюхе с откидным верхом, в перегретом неподвижном воздухе висела дорожная пыль, кругом расхаживали жирные, злобные гуси.

Я спросил пастора, надо ли мне тоже вытягивать руку и говорить «хайль Гитлер», на что он ответил: «Lieber Ingmar, das

wird als mehr als eine Höflichkeit betrachtet[34]». Я вытянул руку и произнес: «Хайль Гитлер!» — Показалось смешно.

Вскоре Ханнес предложил мне пойти с ним в школу, посидеть на уроках. Хрен редьки не слаще, но я все-таки выбрал школу, находившуюся в местечке покрупнее в нескольких километрах от Хайны, преодолевавшихся на велосипеде.

Меня приняли с преувеличенной сердечностью и разрешили сидеть рядом с Ханнесом. В просторном, запущенном классе царил влажный холод, несмотря на летнюю жару за высокими окнами. Был урок Religionskunde[35], однако на партах лежала гитлеровская «Майн Кампф». Учитель читал что-то из газеты, называвшейся «Der Sturmer»[36]. Помню лишь одну фразу, которая показалась мне странной, — учитель то и дело деловито повторял: «Von den Juden vergiftet»[37]. Позднее я попросил объяснить, о чем шла речь. Ханнес засмеялся: «Ach, Ingmar, das allés ist nicht fur Ausländer!»[38].

В воскресенье семейство отправлялось на мессу. Проповеди пастора удивляли меня — он ссылался не на Евангелие, а на «Майн Кампф». После богослужения пили кофе в приходском доме. На многих была форма, и я получил возможность неоднократно вытягивать руку и говорить «хайль Гитлер».

Пасторские дети все состояли в какой-нибудь организации: мальчики — в Гитлерюгенд, девочки — в «Bund Deutscher Mädel»[39]. После обеда проводилась военная подготовка — с лопатами вместо ружей — или спортивные занятия на стадионе, вечерами мы слушали лекции, сопровождавшиеся показом фильмов, или пели и танцевали. Умудрялись купаться в речушке — дно было илистое, а вода воняла. В примитивной умывальне, где не было ни горячей воды, ни других удобств, сушились на веревке девчоночьи гигиенические прокладки, связанные крючком из толстых хлопчатобумажных ниток.

В Веймаре проводился День партии — грандиозное мероприятие во главе с Гитлером. В пасторском доме царила суматоха, стирали и гладили рубашки, чистили сапоги и ремни. Молодежь отправилась в путь на рассвете. Я со взрослыми должен был приехать позже, на машине. Семейство не скрывало гордости, получив билеты поблизости от почетной трибуны. Кто-то пошутил, что причиной столь выгодного размещения было мое присутствие.

В это беспокойное утро раздался телефонный звонок. Звонили из дома. В трубке я услышал далекий звучный голос тети Анны: со своим беспредельным богатством она могла позволить себе такой дорогостоящий разговор. Она и не думала торопиться и лишь спустя долгое время подошла к цели своего

звонка. Тетя Анна сказала, что в Веймаре живет ее подруга, она замужем за директором банка, и когда она, тетя Анна, узнала от матери, что я живу поблизости, то она, тетя Анна, немедленно позвонила этой своей подруге и предложила, чтобы я нанес им визит. Затем тетя Анна, поговорив с пастором на хорошем немецком языке, снова попросила меня к телефону и сообщила, как ей приятно, что я смогу повидать ее подругу и подругиных прелестных детей.

Мы прибыли в Веймар около двенадцати. Парад и речь Гитлера были намечены на три часа. Город уже бурлил от праздничного возбуждения, на улицах полно народу — кто в выходных нарядах, кто в форме. Повсюду играли оркестры, дома были украшены цветочными гирляндами и транспарантами. Звонили церковные колокола: протестантские — мрачно, католические — весело. На одной из старинных площадей построили «тиволи» — аттракционы и увеселительные павильоны. Опера отмечала торжественное событие вечерним спектаклем «Риенци» Вагнера и последующим ночным фейерверком.

Пасторское семейство — и я тоже — сидело рядом с почетной трибуной в ожидании начала праздника, в предгрозовой духоте, пило пиво и поглощало бутерброды из промасленного пакета, который пасторша во время всей поездки крепко прижимала к своей пышной груди.

Пробило три часа, и тут послышалось что-то, напоминавшее приближающуюся бурю. Глухой, наводящий ужас гул разлился по улицам, ударяясь о стены домов: вдалеке на площадь вползал кортеж черных открытых автомобилей. Гул усилился, перекрывая шум разразившейся грозы, в воздухе повисла прозрачная пелена дождя, громовые раскаты сотрясали место празднества.

Никто не обращал внимания на непогоду, все благоговение, восторг, все блаженство толпы было сосредоточено на одной-единственной личности. Он стоял неподвижно в громадной черной машине, медленно въезжавшей на площадь. Вот он повернулся, окидывая взглядом вопящих, плачущих, одержимых людей. Дождь заливал его лицо, форма потемнела от влаги. Неторопливо сошел он на красную ковровую дорожку и не спеша двинулся к трибуне. Его спутники держались на расстоянии.

Внезапно наступила полная тишина, только дождь стегал мостовые и балюстрады. Фюрер заговорил. Речь была короткой, я мало что понял, но голос звучал то торжественно, то шутливо и подкреплялся точно выверенной жестикуляцией. По окончании речи толпа проорала «Хайль!», дождь перестал, в разрывах между черными тучами засияло жаркое солнце. Заиграл исполинский

оркестр, и на площадь *с* боковых улиц, огибая почетную трибуну и дальше мимо театра и Домского собора, хлынул парад.

Ни разу в жизни я не видел ничего похожего на эту демонстрацию беспредельной силы. Как все, я орал, как все, вытягивал руку, как все, выл, как все, был преисполнен обожания.

Ханнес в наших ночных беседах объяснял мне суть войны в Абиссинии, важность того, что Муссолини наконец-то проявил заботу о туземцах, которые до той поры пребывали во мраке, и щедрой рукой одарил их благами древней итальянской культуры. Он утверждал, будто мы там, в далекой Скандинавии, даже не представляем себе, как после краха Германии евреи эксплуатировали немецкий народ, рассказывал, как немцы создают оплот против коммунизма, а евреи всячески подрывают этот оплот, говорил, как все мы должны любить человека, определившего нашу общую судьбу и решительно сплотившего нас в единую волю, единую силу, единый народ. На день рождения мне преподнесли подарок — фотографию Гитлера. Ханнес повесил ее над моей кроватью, чтобы «он все время был у тебя перед глазами», чтобы я научился любить его столь же сильно, как любили его Ханнес и вся семья Хайдов. И я любил его. Немало лет я был сторонником Гитлера, радовался его успехам и переживал его поражения.

Мой брат был одним из учредителей и организаторов Шведской национал-социалистической партии, мой отец несколько лет подряд голосовал на выборах за национал-социалистов. Наш учитель истории преклонялся перед «старой Германией», преподаватель физкультуры каждое лето ездил на офицерские собрания в Баварии, некоторые из приходских священников были тайными нацистами, ближайшие друзья нашей семьи открыто симпатизировали «новой Германии».

Когда до меня дошли свидетельства из концентрационных лагерей, мой разум вначале отказывался принимать то, что видели глаза. Как и многие другие, я считал эти фотографии сфабрикованной пропагандистской ложью. Когда же истина в конце концов одолела внутреннее сопротивление, меня охватило отчаяние, а презрение к самому себе, мучившее меня и без того, стало и вовсе невыносимым. Лишь много позднее я понял, что моя вина, несмотря ни на что, была не столь уж велика.

Austauschkind, неподготовленный, не получивший должной прививки, я попал в блистающий мир идеалов и преклонения перед героями, оказался беззащитным перед агрессивностью, настроенной в высшей степени на ту же волну, что и моя собственная. Внешний блеск ослепил меня. Я не замечал мрака.

Через артистическое фойе Городского театра Гётеборга, куда

я приехал через год после окончания войны, шла глубокая кровавая трещина. По одну сторону сидели диктор «Киножурнала УФА»[40], организаторы шведского варианта Имперской кинопалаты[41] и обычные попутчики. По другую — евреи, приверженцы Сегерстедта[42], актеры, имевшие норвежских и датских друзей. Все жевали принесенные с собой бутерброды, запивая их отвратительным напитком из буфета. Ненависть, наполнявшую помещение, можно было резать ножом.

Звенел звонок, актеры выходили на сцену и превращались в лучший театральный ансамбль страны.

Я скрывал свои заблуждения и свое отчаяние. Постепенно созревало поразительное решение — больше никакой политики! Разумеется, мне следовало принять совсем другое решение.

Празднества в Веймаре продолжались весь вечер и всю ночь. Пастор отвез меня в особняк директора банка — внушительное здание в стиле модерн, облицованное мрамором, окруженное ароматной парковой зеленью. Тихая, благопристойная улица была вся застроена такими домами. Поднявшись по широкой лестнице, я позвонил в дверь. Открыла мне горничная в черном платье с кружевной наколкой на искусно уложенных волосах. Я, заикаясь, сказал свое имя и по какому я делу, и она, смеясь, ввела меня в холл.

Подруга тети Анны, высокая блондинка, выказала безыскусную сердечность. Звали ее Анни, мать ее была шведкой, отец — американцем, по-шведски она говорила с акцентом. Анни была в исключительно элегантном туалете — они с мужем собирались вечером на торжественный спектакль в Оперу. Меня проводили в столовую, где семейство собралось за вечерним чаем с kalter Aufschnitt[43]. Вокруг нарядного стола сидели люди, красивее которых мне видеть не доводилось. Директор банка — высокий, темноволосый господин с ухоженной бородкой и приветливо-ироничным взглядом скрытых очками глаз. Рядом с ним — младшая дочь, Клара, которую все называли Клэрхен. Она была похожа на отца, высокая, темноволосая, с белой кожей, карими, почти черными глазами и бледными полными губами. Она чуточку косила, что необъяснимым образом только усиливало ее привлекательность.

Братья были постарше, тоже темноволосые, но голубоглазые в отличие от Клэрхен, длинноногие, стройные, элегантные, в английских клубных пиджаках с эмблемой какого-то университета на кармашке.

Я опустился на стул рядом с тетей Анни, которая налила мне чай и подала бисквиты. Вокруг — картины, серебро, мягкие ковры на необозримом паркете, резные мраморные колонны, тяжелые

занавеси, медальоны над дверями. В парадной столовой горели в лучах заходящего солнца окна-розетки.

После трапезы меня отвели в мою комнату на втором этаже, расположенную анфиладой вместе с покоями мальчиков, состоявшими из двух комнат каждый. В нашем распоряжении была ванная комната с несколькими умывальниками и утопленной в пол ванной. Показав мне всю эту роскошь, Анни распрощалась. В холле стоял навытяжку шофер, директор банка ждал на лестнице.

Появилась Клэрхен — в туфлях на высоких каблуках (поэтому она казалась выше меня) и домашнем платье приглушейного красного цвета, волосы распущены по плечам. Шутливым таинственным жестом она прижала палец к губам и, взяв меня за руку, повела по длинному коридору в помещение, находившееся в башенке дома. Комната, очевидно, была нежилая — мебель в чехлах, хрустальная люстра укутана тюлем. В больших зеркалах отражались зажженные свечи. Там уже сидели братья Клэрхен, они курили плоские турецкие сигареты, то и дело пригубливая коньяк. На позолоченном столике стоял заведенный, в полной готовности патефон. Младший из братьев, Давид, сунул в трубу патефона пару носков...

На пластинку с голубой этикеткой «Телефункен» поставили адаптер, из черного ящика полились суровые приглушенные звуки увертюры к «Трехгрошовой опере». За саркастическим объяснением диктора, почему эта опера носит такое название, последовала песня о Мэкки («А у Мэкки — нож и только, / Да и тот укрыт от глаз»), солдатская песня (Kannonsong), Баллада о приятной жизни (Ballade vom angenehm Leben) и «Пиратка Дженни» в исполнении Лотты Лениа. Голос ее сперва звучит оскорбленно, потом презрительно-высокомерно и наконец мягко и шутливо: «И под возгласы «гопля» и прибаутки / Будут головы катиться с плеч».

Незнакомый мне мир, о существовании которого я и не подозревал: отчаяние без слез, смеющаяся безысходность — «Увы, своею головою / прокормишь только вошь».

Я прихлебывал коньяк, курил турецкие сигареты и чувствовал легкую дурноту. Почему такая таинственность — концерты по ночам, запертая дверь, специальная иголка в адаптере, носки в рупоре? «Эта музыка запрещена, — говорит Хорст. — Брехт и Вайль запрещены, пластинки мы достали в Лондоне и тайком привезли сюда, чтобы Клэрхен могла слушать».

Она ставит следующую пластинку. Грохочет оркестр Льюиса Рута. Первый трехгрошовый финал:

Что мне нужно? Лишь одно: Замуж выйти, стать женою.

Неужели и такое Человеку не дано?

Вступает звучный загробный бас:

Стать добрым! Кто не хочет добрым стать? Мы плаваем в клубах пряного, пахнущего парфюмерией табачного дыма. Луна высвечивает деревья парка. Чуть повернув голову, Клэрхен пристально глядит в зеркало, висящее в простенке между окнами. Закрывает ладонью один глаз. Давид наполняет мою рюмку. Мгновение рвется, как тонкая пленка, и я, не сопротивляясь, переношусь в следующее, которое в свою очередь рвется, и так все дальше и дальше.

Трехгрошовый финал:

Ведь одни во мраке скрыты, На других направлен свет, И вторых обычно видят, Но не видят первых, нет[44].

Я не понимал слов, а если и понимал, то очень немного, но, точно умное животное, я обычно улавливаю интонацию. И сейчас тоже уловил ее, проникшую в самую глубь моего сознания, чтобы остаться там навсегда, превратившись в часть моего «я».

Через двадцать лет мне удалось — наконец-то — поставить «Трехгрошовую оперу» на шведской сцене. И какой же получился ужасающий компромисс, какая пародия на великий замысел, какое малодушие, какая измена обретенному осмыслению! В мое распоряжение были предоставлены все ресурсы — и художественные и материальные, а я потерпел поражение, ибо был глуп и высокомерен — непробиваемое сочетание в режиссуре. Мне и в голову не пришло вспомнить тускло освещенное лицо Клэрхен, резкий лунный свет, турецкие сигареты и склонившегося над черным патефоном Давида.

У нас была возможность прослушать поцарапанные пластинки «Телефункен», но слушали мы рассеянно и пришли к заключению, что необходимо сделать новую инструментовку. Провинциальные идиоты, гении от сохи. Так было тогда, а как сейчас?

Концерт продолжался — звучали Луис Армстронг, Фэтс Уоллер и Дюк Эллингтон. От возбуждения и коньяка я задремал, но через минуту очнулся, уже лежа в своей огромной кровати. За окном занимался рассвет, в ногах сидела Клэрхен, закутанная в широкий халат, волосы в папильотках, и пристально, с любопытством смотрела на меня. Увидев, что я проснулся, она с улыбкой кивнула и бесшумно исчезла.

Спустя полгода я получил письмо, на конверте, надписанном прямым размашистым почерком Клэрхен, стоял швейцарский штемпель. В шутливых выражениях она напоминала мне об обещании писать друг другу, которое я, вероятно, забыл. Она писала, что опять вернулась в пансион, родители уехали к

друзьям в Канаду, она, окончив школу, собирается поступать в Школу искусств в Париже. Братьям, благодаря содействию английского посла, удалось вернуться в свои университеты. По ее мнению, никто из семьи не собирался возвращаться в Веймар. Все это излагалось на первой странице письма, вторую я привожу целиком:

«На самом деле меня зовут не Клара, а Теа, но это имя в паспорте не записано. Как я тебе уже рассказывала, воспитывали меня в строгом религиозном духе, и я полностью соответствую представлению моих родителей о том, какой должна быть хорошая дочь.

Мне пришлось испытать немало физических страданий. Самым тяжелым недугом была чесотка, преследовавшая меня два года как кошмарный сон. Другая мучительная хворь — повышенная чувствительность. Я болезненно реагирую на неожиданные звуки, яркий свет (я слепа на один глаз) и неприятные запахи. Прикосновение ткани платья к телу, к примеру, заставляет меня порой сходить с ума от боли. В пятнадцать лет я вышла замуж за актера-австрийца, сама собиралась стать актрисой, но брак оказался неудачным, я родила, но ребенок умер, и я вернулась в пансион в Швейцарии. Сухие сумерки, потрескивая, опускаются над детской головкой, не могу продолжать. Я плачу, и из эмалевого глаза тоже текут слезы.

Я воображаю себя святой или мученицей. Часами могу сидеть за большим столом, запершись в комнате (там, где мы слушали запрещенные пластинки), часами сидеть и рассматривать тыльную сторону ладоней. Однажды левая ладонь сильно покраснела, но кровь не выступила. Я представляю себе, как приношу себя в жертву, чтобы спасти братьев от смертельной опасности. Играю в экстаз и мысленно беседую со святой девой Марией. Играю в веру и неверие, бунт и сомнения. Представляю себя отверженной грешницей, страдающей от чувства неизбывной вины. И вдруг отбрасываю грех и прощаю саму себя. Все — игра. Я играю. Но за пределами игры, внутри, я все время одна и та же, иногда — до ужаса трагична, иногда — безгранично весела. И то и другое достигается одинаковым незначительным усилием. Я пожаловалась врачу (у скольких же врачей я перебывала!). Он объяснил, что на мою психику вредно влияют мечтательность и лень, и прописал режим, который вынудит меня выйти из тюрьмы моего эгоцентризма. Порядок. Самодисциплина. Задания. Корсет. Отец — такой мягкий, умный и такой холодно-расчетливый человек — говорит, что не стоит волноваться, во всем есть всё, жизнь — это мучение, которое следует преодолевать со смирением и лучше без цинизма. Подобные усилия мне не по

вкусу, поэтому я собираюсь еще глубже уйти в свои игры, относиться к ним более серьезно, если ты понимаешь, что я имею в виду.

Напиши мне незамедлительно обо всем, на любом языке, кроме шведского, который мне, может быть, когда-нибудь придется выучить. Напиши о себе, мой младший братишка, я так по тебе скучаю!»

Затем следуют указания относительно ее будущих адресов и милая, но формальная концовка с подписью: «Mein lieber Ingmar, ich umarme Dich fest, bist Du noch so schreklich dunn?

Clara»[45].

Я так и не ответил на ее письмо. Языковые трудности оказались непреодолимыми, а мне очень не хотелось выглядеть в ее глазах смешным. Зато письмо ее я сохранил, использовав его почти дословно в фильме «Ритуал» 1969 года.

Проведя еще несколько дней в Веймаре и ужасную неделю в Хайне, я ввязался в религиозный спор с «сестрой-прислужницей». Дело в том, что она обнаружила, что я читаю Стриндберга, этого, как она выяснила, подстрекателя, женоненавистника и осквернителя Бога. Указав на предосудительность подобного чтения, она поставила под сомнение целесообразность пребывания их Ханнеса в семье, допускавшей подобное чтение. Я на плохом немецком объяснил, что на моей родине пока еще существует свобода вероисповедания и мнений (в этот момент демократия вдруг стала хороша). Буря улеглась, и мы с Ханнесом отправились домой. Все собрались в Берлине, откуда дополнительный поезд должен был доставить нас в Стокгольм. Мы разместились в громадном Доме путешественников на окраине города. Снабженный украдкой переданным мне тетей Анни пополнением к моей дорожной кассе, я улизнул с запланированной экскурсии к памятникам и другим достопримечательностям.

Я сел на автобус возле Дома путешественника и доехал до конечной остановки. Было шесть часов жаркого июльского полудня. Беспомощный и растерянный, стоял я посреди грохота и движения, парализовавших все мои чувства. Наудачу свернул на поперечную улицу с еще более интенсивным движением и, следуя за людским потоком, вышел к величественному мосту Курфюрстенбрюкке. На другом берегу красовался замок. Не один час простоял я у перил, глядя, как опускаются сумерки, как чернеют тени над бегущей вонючей рекой. Шум усилился.

Я миновал еще один мост, перекинутый через речку поуже, с полузатопленным деревянным причалом. С адским грохотом забивала сваи машина. На стоявшей неподалеку на якоре барже

расположились в плетеных креслах двое мужчин, они пили пиво и удили рыбу. Все глубже втягивало меня в перегруженное городское движение. Ничего не происходило, даже проститутки, уже занимавшие свои ночные посты, не приставали ко мне. Я сильно проголодался, хотелось пить, но зайти в какое-нибудь заведение не осмелился.

Наступила ночь. По-прежнему ничего не происходило. Разочарованный, измученный, я вернулся в Дом путешественника на такси, что полностью опустошило мою кассу. Прибыл как раз в тот момент, когда пасторское семейство собиралось звонить в полицию.

На следующее утро на длиннющем дополнительном поезде, составленном из допотопных вагонов с деревянными скамьями и открытыми площадками, мы двинулись в Швецию. Лило как из ведра. Я, стоя под дождем, оглушенный грохотом, орал и бесновался, стараясь обратить на себя хоть чье-нибудь внимание, предпочтительно какой-нибудь девицы. Бесновался я несколько часов. На пароме мне вздумалось было прыгнуть в море, но я испугался, что меня затянет в винты. Ближе к ночи, притворившись пьяным, упал и начал изображать рвотные движения. В конце концов вмешалась круглолицая веснушчатая девушка, которая, схватив меня за волосы, сильно встряхнула и суровым голосом велела прекратить фиглярничать. Я незамедлительно послушался, уселся в углу и, съев апельсин, заснул. Когда я проснулся, мы были уже в Сёдертелье.

По ночам мне часто снится Берлин. Но это не настоящий Берлин, а инсценировка: бесконечный гнетущий город с покрытыми сажей монументальными зданиями, церковными шпилями и памятниками. Я бреду среди нескончаемого транспортного потока, кругом неизвестный и все-таки хорошо знакомый мир. Испытывая одновременно ужас и наслаждение, я прекрасно сознаю, куда направляюсь: ищу кварталы по ту сторону мостов, ту часть города, где что-то должно случиться. Взбираюсь на крутой пригорок, между домами угрожающе пролетает самолет, я наконец выхожу к реке. Из воды, заливающей тротуар, лебедкой вытягивают труп огромной, размером с кита, лошади.

Любопытство и страх гонят меня дальше, необходимо поспеть к началу публичных казней. Тут я встречаю свою умершую жену, мы нежно обнимаемся и направляемся в гостиницу утолять любовный голод. Она танцующим шагом идет рядом, моя рука покоится на ее бедре. Улица ярко освещена, хотя солнце в дымке. По черному небу быстро бегут облака. Теперь я понимаю, что наконец-то попал в запретные кварталы, где находится Театр со своим непостижимым спектаклем.

Три раза я пытался воссоздать город моего сна. Сперва написал радиопьесу под названием «Город». В ней рассказывалось о большом, пришедшем в упадок городе, с разрушающимися домами и подмытыми улицами. Несколько лет спустя поставил «Молчание», фильм, в котором две сестры и маленький мальчик попадают в огромный воинственный город, где говорят на непонятном языке. Последняя попытка — «Змеиное яйцо». Художественная неудача его связана главным образом с тем, что я назвал город Берлином и отнес действие к 1920 году. Это было неразумно и глупо. Если бы я воссоздал Город своего сна, Город, которого нет и который тем не менее пронзительно реален со своим запахом и своим гулом, если бы я воссоздал *такой* Город, то, с одной стороны, обрел бы абсолютную свободу и чувствовал себя как дома, а с другой — и это важнее всего — сумел бы ввести зрителя в чужой, но тем не менее таинственно-знакомый мир. К несчастью, я соблазнился впечатлениями того летнего вечера в Берлине в середине 30-х годов, вечера, когда ничего не произошло. Показал в «Змеином яйце» Берлин, который никто не узнал, даже я сам.

* * *

После изнурительной борьбы отца назначили настоятелем прихода Хедвиг Элеоноры в Стокгольме, где он служил викарием с 1918 года. Семья переехала в служебную квартиру на четвертом этаже дома на Стургатан, 7, напротив церкви. Мне выделили большую комнату, выходившую на Юнгфругатан, с видом на Эстермальмские подвалы XVIII века, старинные дымоходы и площадь Эстермальм. Дорога в школу стала намного короче, у меня появился собственный вход и большая свобода.

Проповеди отца пользовались популярностью, во время его богослужений церковь бывала набита битком. Заботливый духовный наставник, он обладал бесценным даром — невероятной памятью. За многие годы он крестил, конфирмировал и отпел немало прихожан из своей сорокатысячной паствы и всех помнил в лицо, помнил их имена, обстоятельства их жизни. Каждый из них, окруженный заинтересованным, внимательным участием отца, чувствовал себя избранным, ибо знал, что о нем помнят. Прогулки с отцом представляли из себя весьма сложную процедуру. Он то и дело останавливался, здоровался, заводил разговоры, называл человека по имени, выслушивал рассказы про детей, внуков и родственников. Этот дар он не утерял и в глубокой старости.

Совершенно очевидно, что прихожане любили своего пастыря. Как администратор и начальник он был решителен, но гибок и дипломатичен. Возможности самому выбирать себе

помощников он не имел — кое-кто из них тоже претендовал на место настоятеля, а некоторые отличались ленью, ханжеством и покорностью, — тем не менее отцу удавалось почти полностью избегать открытых конфликтов и клерикальных интриг.

Дом настоятеля по традиции был открыт для всех. Мать, проделывая недюжинную организаторскую работу, держала ситуацию под контролем. Кроме того, она принимала участие в приходской жизни и была движущей силой различных обществ и благотворительных собраний. Верно исполняла представительские функции, в церкви всегда сидела на первой скамье, независимо от того, кто читал проповедь, участвовала в конференциях, устраивала обеды. Брат, которому было двадцать лет, учился в университете в Уппсале, сестре было двенадцать, мне — шестнадцать. Свобода наша целиком обусловливалась чрезмерной перегруженностью родителей, но это была отравленная свобода, отношения напряжены до предела, узлы не развязывались. Под внешней оболочкой безупречной семейной спаянности скрывались горе и душераздирающие конфликты. Отец, безусловно талантливый актер, вне «сцены» нервничал, раздражался, впадал в депрессию. Он боялся не справиться, страшился своих выступлений, вновь и вновь переписывал проповеди, плохо переносил возложенные на него многочисленные административные обязанности. Терзаемый постоянным страхом, он взрывался по малейшему поводу: не свистите, выньте руки из карманов. Вдруг решал проверить, как мы выучили уроки, — того, кто отвечал с запинками, ждало наказание. И ко всему прочему страдал повышенной слуховой чувствительностью: громкие звуки приводили его в ярость. Несмотря на то, что в его спальне и кабинете сделали дополнительную изоляцию, он безудержно жаловался на уличное движение, в то время весьма незначительное на Стургатан.

Мать с ее двойной нагрузкой находилась в диком напряжении, мучилась бессонницей и принимала какие-то сильнодействующие препараты, вызывавшие у нее состояние беспокойства и страха. Как и отца, ее преследовало ощущение скудости собственных возможностей по сравнению с необыкновенными, честолюбивыми замыслами. Но сильнее всего ее мучило, вероятно, сознание того, что она теряет контакт с нами, с детьми. В отчаянии она искала утешения у дочери, отвечавшей ей мягкостью и покорностью. Брат, после попытки самоубийства, переехал в Уппсалу, а я все глубже погружался в свое отчуждение.

Вполне может статься, что я чересчур сгущаю краски. Ведь никто из нас не ставил под сомнение распределение ролей или

абсурдность интриги: такова была доставшаяся нам в удел действительность, жизнь. И другой альтернативы не существовало или о ней просто не задумывались. Отец изредка говорил, что предпочел бы быть сельским священником, и, наверное, подобная стезя на самом деле подошла бы ему больше, принесла бы больше удовлетворения. Мать же записала в своем секретном дневнике, что хочет развестись и поселиться в Италии.

Как-то раз мать взяла меня с собой в гости к давнему другу дяде Пэру, директору издательства Правления диакониц. Дядя Пэр был в разводе и жил в просторной темноватой квартире в Васастан. К моему удивлению, там же я встретил дядю Торстена. Дядя Торстен — друг детства родителей, епископ, у него жена и много детей.

Мне поручили заняться громадным граммофоном в столовой, из которого льются мощные, гулкие звуки, в основном оперная музыка — Моцарт и Верди. Дядя Пэр удаляется в кабинет. Мать и дядя Торстен остаются одни в гостиной перед камином. Я вижу их через наполовину раздвинутые двери, они сидят в креслах, освещенные отблеском пламени. Дядя Торстен берет материну руку. Они о чем-то тихо говорят, слов я не разбираю, в ушах грохочет музыка. Я вижу, как мать начинает плакать, дядя Торстен наклоняется к ней, по-прежнему держа ее руку в своей.

Через какое-то время дядя Пэр отвез нас домой в большом черном лимузине с кожаными сиденьями и деревянными панелями внутри.

И зимой и летом мы обедаем в пять часов. При последнем ударе часов, умытые и причесанные, стоя рядом со стульями, читаем молитву, после чего рассаживаемся: отец и мать за противоположными концами стола, я и сестра — по одну сторону, брат и фрекен Агда — по другую. Фрекен Агда, добрая, длинная и потому несколько раскачивающаяся из стороны в сторону женщина, на самом деле учительница младших классов. Уже много летних месяцев подряд она терпеливо исполняет роль нашего репетитора, став маминой близкой подругой.

Электрические лампочки латунной люстры заливают стол грязно-желтым светом. У двери, ведущей в сервировочную, стоит массивный буфет, забитый серебром, напротив — фортепьяно с нотами, раскрытыми на ненавистном задании. Паркетный пол покрыт восточным ковром. На окнах — тяжелые гардины, на стенах — потемневшие картины Арборелиуса[46].

Трапеза начинается с закуски — маринованная селедка с картофелем, или маринованная салака с картофелем, или запеченная ветчина с картофелем. К этому блюду отец выпивает рюмку водки или стакан пива. Мать нажимает кнопку

электрического звонка, укрепленного под столешницей, и появляется одетая в черное горничная. Она собирает тарелки и приборы, после чего подается горячее, в лучшем случае — мясные фрикадельки, в худшем — макаронная запеканка. Голубцы или свиные сардельки вполне приемлемы, рыба ненавистна, но выказывать неудовольствия нельзя. Есть надо все, все должно быть съедено.

Под горячее отец допивает остатки водки, лоб у него слегка краснеет. Обед проходит в полном молчании. Дети за столом не разговаривают и отвечают лишь в том случае, если к ним обращаются. Следует обязательный вопрос, как прошел сегодня день в школе, на что следует столь же обязательный ответ — хорошо. Письменные уроки задали? Нет. Что тебя спрашивали? Ты ответил? Конечно, ответил. Я звонил твоему классному руководителю. По математике у тебя будет положительная оценка. Кто бы мог подумать.

Отец саркастически улыбается. Мать пьет лекарство. Ей сделали тяжелую операцию, и теперь ей все время надо принимать лекарство. Отец поворачивается к брату: изобрази-ка дурачка Нильссона. У брата, имеющего дар имитации, тут же отвисает челюсть, он дико вращает глазами, расплющивает нос и начинает что-то несвязно и шепеляво бормотать. Отец хохочет, мать неохотно улыбается. «Пэра Альбина Ханссона[47] следовало бы расстрелять, — внезапно говорит отец, — всю эту социалистическую сволочь надо бы перестрелять». «Ты не имеешь права так говорить», — сдержанно произносит мать. «Что именно я не имею права говорить? Не имею права говорить, что нами правят сволочи и бандиты?» — У отца чуть трясется голова. «Нам надо составить повестку дня заседания правления», — уходит в сторону мать. «Ты это повторяешь уже не в первый раз», — отвечает отец, лоб его багровеет. Мать, опустив глаза, ковыряет вилкой в тарелке. «Лилиан все еще болеет?» — спрашивает она ласково, обращаясь к сестре. «Завтра она придет в школу, — пискляво отвечает Маргарета. — можно пригласить ее к нам на обед в воскресенье?»

За столом вновь воцаряется тишина, мы жуем, стучат о тарелки ножи и вилки, струится желтый свет, сверкает серебро на буфете, тикают часы. «Бероииуса все-таки назначили в Альгорд, несмотря на рекомендацию соборного капитула, — нарушает молчание отец. — так было и так будет: некомпетентность, идиотизм». Мать качает головой, на лице у нее легкое презрение: «А это правда, что в Страстную пятницу проповедь будет читать Арбелиус? Он говорит так, что ничего не слышно». «Может, это и к лучшему», — смеется отец.

Сразу же после выпускного экзамена Анна Линдберг уехала во Францию совершенствовать язык. Несколько лет спустя она вышла там замуж, родила двоих детей и заболела полиомиелитом. Муж погиб на второй день после начала войны. Наша связь оборвалась насовсем. Взамен я стал ухаживать за другой девушкой из моего класса, Сесилией фон Готтард. Рыжеволосая, умная, она не лезла в карман за словом и была намного взрослее своего поклонника. Почему из всех кавалеров она выбрала меня, остается загадкой. Любовником я был никудышним, танцором — и того хуже, только беспрерывно болтал, и все о собственной персоне. Позже мы даже обручились, сразу же обоюдно изменив друг другу. Сесилия разорвала наши отношения под тем предлогом, что из меня, мол, ничего путного не получится — убеждение, вместе с ней разделявшееся моими родителями, мною самим и всем остальным моим окружением.

Сесилия жила с матерью в пустынных апартаментах на Эстермальме. Ее отец занимал какой-то важный административный пост. Однажды он пришел домой раньше обычного, лег в постель и отказался вставать. Проведя какое-то время в больнице для умалишенных, он заимел ребенка от молоденькой медсестры и переехал жить в небольшую крестьянскую усадьбу в Емтланде.

Мать Сесилии, сгорая от стыда из-за постигшей ее социальной катастрофы, укрылась в темной комнате для прислуги рядом с кухней и показывалась очень редко, по большей части после наступления темноты. Ярко накрашенное лицо под париком было обезображено страданием и страстями. Ее тихая речь, настолько тихая, что трудно было разобрать слова, напоминала кудахтанье, при этом у нее непроизвольно дергались голова и плечи. Под юной красотой Сесилии можно было разглядеть тень материнских черт. Позднее это навело меня на мысль о том, что роли Мумии и Фрекен в стриндберговской «Сонате призраков» должна исполнять одна и та же актриса.

Освободившись от железного корсета школы, я закусив удила понесся как взбесившийся конь и остановился лишь шесть лет спустя, став директором Городского театра Хельсинборга. Историей литературы занимался у Мартина Ламма[48]. Лекции о Стриндберге он читал в насмешливой манере, вызывавшей живой отклик у аудитории, но ранившей мое слепое обожание. Только через много лет я понял, насколько гениален был его анализ творчества писателя. Я активно участвовал в работе молодежного клуба под названием «Местер Улоф-горден» в Старом городе, где мне дали почетное поручение возглавить их быстро расширявшуюся театральную деятельность. К этому

присоединился студенческий театр. Вскоре занятия в университете приобрели чисто формальный характер, ибо все свое время я посвящал театру, за исключением тех часов, которые проводил в любовных утехах с Марией. Она играла Мать в «Пеликане» и была известной личностью в студенческой среде. Коренастая, с покатыми плечами, высокой грудью, мощными бедрами. Плоское лицо с длинным, красивой формы носом, широким лбом и выразительными синими глазами. Тонкие губы с утонченно опущенными уголками. Жидкие волосы, выкрашенные в пронзительно-рыжий цвет. Мария обладала незаурядным поэтическим даром и выпустила сборник стихов, получивший высокую оценку Артура Лундквиста. Вечера она проводила за угловым столиком в Студенческом кафе, пила коньяк и беспрерывно курила вирджинские сигареты «Голдфлейк» в темно-желтой жестяной коробочке с кроваво-красной сургучной печатью.

Мария многому меня научила, словно горелкой выжгла мою интеллектуальную лень, духовную неряшливость, конфузливую сентиментальность. И к тому же утоляла мой сексуальный голод — открыв решетку тюрьмы, выпустила на волю маньяка.

Мы обитали в тесной однокомнатной квартирке на Сёдере. Обстановка состояла из книжной полки, двух стульев, письменного стола с настольной лампой и двух застеленных матрацев. Еда готовилась в шкафу, умывальник использовался и для мытья посуды и для стирки. Мы работали, сидя каждый на своем матраце. Мария курила не переставая. Дабы не погибнуть, я открыл встречный огонь и очень скоро стал заядлым курильщиком.

Родители немедленно обнаружили, что я ночую не дома. Было проведено следствие. Правда выплыла наружу, меня призвали к ответу. Между мной и отцом началась бурная словесная перепалка. Я предупредил его, чтобы он не вздумал меня ударить. Он ударил, я ответил, он пошатнулся и, не удержавшись на ногах, сел на пол. Мать попеременно то плакала, то взывала к остаткам нашего разума. Я оттолкнул ее, она громко вскрикнула. В тот же вечер я написал родителям письмо, в котором распрощался с ними навсегда. Пасторский дом я покинул с чувством облегчения и много лет там не появлялся. Брат пытался покончить с собой, сестра, по семейным соображениям, была вынуждена сделать аборт, я сбежал из дому. Родители жили в постоянном — без начала и конца — изматывающем состоянии кризиса. Они исполняли свой долг, напрягали все силы, молили Бога о милосердии. Их нормы, оценки, традиции не помогали, ничто не помогало. Наша драма

разыгрывалась на глазах у всех, на ярко освещенной сцене пасторского дома. Страх облек в плоть и кровь причину страха.

У меня появились кое-какие профессиональные задания: Брита фон Хури и ее Драматическая студия пригласили работать с профессиональными актерами, организация народных парков поручила ставить детские спектакли, сам я открыл маленький театрик в Гражданском доме. Играли мы в основном для детей, но сделали попытку поставить и «Сонату призраков» Стриндберга. Артисты были профессионалами, им полагалось платить по 10 крон за вечер. После семи спектаклей предприятие лопнуло.

Как-то меня разыскал один бродячий актер и предложил поставить «Отца» Стриндберга с ним в главной роли. Я должен был отправиться с труппой в турне в качестве реквизитора и осветителя. Вообще-то, я намеревался сдавать просроченный экзамен по истории литературы, но искушение было слишком велико: поставив крест на учебе, порвав с Марией, я отправился в путь с труппой Юнатана Эсбьёрнссона. Премьера состоялась в маленьком южношведском городке. На наш призыв откликнулось 17 человек, заплативших деньги за билеты. Рецензия в местной газете была уничтожающей. На следующее утро труппа распалась. Домой каждый должен был добираться как сможет. У меня было в наличии одно сваренное вкрутую яйцо, полбатона и 6 крон.

Более жалкого возвращения трудно было себе представить. Мария не скрывала торжества: она не советовала мне ехать. Не скрывала она и своего нового любовника. Несколько ночей мы провели все втроем в ее тесной квартирке. После чего меня выставили вон с синяком под глазом и поврежденным большим пальцем. Марии надоел наш импровизированный «брак втроем», а соперник мой был сильнее.

В то время я работал в Оперном театре ассистентом режиссера — практически бесплатно. Одна милая девушка из кордебалета приютила меня у себя и кормила несколько недель. Ее мать готовила еду и стирала мое белье. Язва желудка зарубцевалась, меня взяли суфлером на спектакль «Орфей в аду», платили 13 крон за вечер, и я смог снять комнату на Лилль-Янсплан и раз в день досыта есть.

Совершенно неожиданно я сочинил двенадцать пьес и одну оперу. Клас Хуугланд, руководитель Студенческого театра, прочитал все и решил поставить «Смерть Каспера» (бесстыдный плагиат стриндберговской пьесы «Каспер и последний день масленицы» и старинной драмы «Энвар» — обстоятельство, меня ничуть не смущавшее).

Премьера прошла удачно, появилась даже рецензия в

«Свенска Дагбладет». На последнем спектакле в партере сидели Карл Андерс Дюмлинг, новый шеф «Свенск Фильминдустри», и Стина Бергман, вдова Яльмара Бергмана[49] и заведующая сценарным отделением. На следующий день Стина пригласила меня к себе, и я получил контракт на год, собственный кабинет, письменный стол, стул, телефон и вид на городские крыши в районе Кунгсгатан, 30. Жалование — 500 крон в месяц.

Я стал уважаемым человеком, имевшим постоянное место работы, который каждый день пунктуально садился за стол, правил сценарии, писал диалоги и сочинял заявки на будущие фильмы. Под компетентным материнским руководством Стины работало пять сценаристов-»негров». Иногда к нам заглядывал какой-нибудь режиссер, чаще всего Густав Муландер[50], всегда приветливый на расстоянии. Я сдал сценарий о своих школьных годах. Муландер прочитал и рекомендовал к производству. «Свенск Фильминдустри» купила сценарий, заплатив 5 тысяч крон — огромную сумму! Режиссером был назначен Альф Шёберг, которым я восхищался. Мне удалось получить разрешение участвовать в съемках — я предложил взять меня в качестве помрежа. Со стороны Альфа Шёберга было очень благородно согласиться на мое предложение, поскольку я никогда прежде не принимал участия в съемках и не имел понятия, в чем заключаются функции помрежа. Естественно, я только путался под ногами. Частенько, забыв о своих обязанностях, вмешивался в работу режиссера. На меня шикали, я запирался в чулан и рыдал от бешенства, но не сдавался: возможность учиться у мастера была неограниченной.

Я женился на Эльсе Фишер, приятельнице из труппы бродячих актеров. Она считалась весьма талантливой танцовщицей и хореографом — милая, умная женщина с чувством юмора. Мы жили в двухкомнатной квартире в Абрахамсберге. За неделю до свадьбы я сбежал, но вернулся. За день до Сочельника 1943 года у нас родилась дочь.

Во время съемок «Травли» я получил предложение возглавить Городской театр Хельсингборга. История была такова. В Хельсингборге имелся самый старый в стране Городской театр. Теперь его предполагалось закрыть, а ассигнования передать только что открытому театру в Мальме. Это возмутило местных патриотов, которые решили по возможности продолжать работать. Разослали приглашения некоторым деятелям театра, но те, узнав об условиях, в том числе финансовых, ответили отказом. Будучи в безвыходном положении, правление театра обратилось к почтенному театральному критику «Стокхольмс-Тиднинген» Херберту Гревениусу, который ответил, что если им нужен

театральный маньяк, способный и обладающий определенным административным талантом (я один год возглавлял детский театр в Гражданском доме), то пусть спросят Бергмана. После некоторых колебаний они последовали этому совету.

Я купил первую в своей жизни шляпу, дабы произвести впечатление человека, уверенного в себе — качество, коим я не обладал, и поехал в Хельсингборг знакомиться с театром. Он был в ужасном состоянии. Помещения обшарпанные и грязные, спектакли игрались в среднем два раза в неделю, а количество проданных билетов на каждое представление не превышало двадцати восьми.

Несмотря на все это, я полюбил театр с первого взгляда, но выдвинул множество требований: труппу необходимо сменить, здание отремонтировать, количество спектаклей увеличить, ввести систему абонементов. К моему удивлению, правление не возражало. Я стал самым молодым в истории страны руководителем театра и получил возможность выбирать актеров и других сотрудников. Наши контракты были действительны на восемь месяцев, дальше предстояло выворачиваться самим.

В театре водились коричневые собачьи блохи. У прежних актеров, очевидно, выработался к ним иммунитет, вновь пришедших же — с молодой свежей кровью — они кусали немилосердно. Канализационная труба из театрального ресторана проходила через мужскую гримерную, и на батареи отопления непрерывно капала моча. По старому зданию гуляли сквозняки. С темных высоких колосников доносились слабые стоны, словно там поселились неприкаянные демоны. Отопление работало отвратительно. Когда вскрыли пол в зрительном зале, обнаружили сотни угоревших крыс. Выжившие же особи отличались солидностью и бесстрашием, охотно выходили из укрытий. Жирный кот нашего машиниста, подвергшись нападению, предпочитал прятаться.

Не хотел бы опускаться до ностальгии, но для меня это был материализовавшийся рай. Просторная сцена — правда, грязная и продуваемая насквозь, зато с легким уклоном к рампе, занавес — залатанный и обветшавший, но в красно-бело-золотых тонах. Примитивные, тесные артистические уборные с четырьмя умывальниками. На восемнадцать человек — два туалета.

И тем не менее возможность каждый вечер приходить в свой собственный театр, садиться на свое место в гримерной и вместе с товарищами готовиться к спектаклю перевешивала все неудобства.

Мы играли и репетировали без устали. В первый год за восемь месяцев сделали девять программ. На второй год —

десять. Три недели репетиций, на четвертую — премьера. Ни один спектакль не шел больше двадцати раз, кроме нашего второго новогоднего ревю, имевшего огромный успех и игравшегося тридцать пять раз. Наша жизнь с 9 утра и до 11 вечера принадлежала театру. Кутили мы тоже немало, но пиршества жестко ограничивались скудными финансами. Доступ в элегантный зал «Гранда» был для нас закрыт, зато мы были желанными гостями в закутке возле черного входа, где нам подавали особо приготовленную «пюттипанну»[51], пиво и шнапс. Щедро отпускали в долг, снисходительно относясь к должникам. По субботам после репетиции угощали шоколадом с настоящими (время было тяжелое) взбитыми сливками и тортом в кондитерской Фальмана на Стурторгет.

Хельсингборжцы выказывали бьющее через край дружелюбие и гостеприимство. Нередко нас приглашали на ужин к какому-нибудь богачу. Актеры приходили после спектакля, и остальные гости, уже к тому времени завершившие трапезу, веселились, наблюдая, как оголодавшая актерская братия насыщается за накрытыми по новой, ломящимися от еды и напитков столами.

Напротив театра наискосок был расположен магазин, принадлежавший одному богатому бакалейщику. Там готовили дежурное блюдо ценой в одну крону и сдавали комнаты и квартиры в стоявшем во дворе ветхом доме XVIII века. Через оконные рамы и щели в стенах пробивался дикий виноград, уборная находилась на лестничной площадке, а вода — в колонке на вымощенном булыжником дворе.

Самое высокое жалованье составляло 800 крон, самое низкое — 300. Мы перебивались как умели, занимали, брали авансы. Никому не приходило в голову протестовать против таких жалких условий, мы были преисполнены благодарности за счастье каждый вечер играть, каждый день репетировать. Наше усердие было вознаграждено. В первый год на наших спектаклях побывало 60 тысяч зрителей, от городских властей вновь стали поступать ассигнования — это была несомненная победа. Столичные газеты начали уделять внимание нашей работе, у нас росла уверенность в собственных силах.

Весна в том году была ранняя, и мы решили съездить на природу, в Арильд. Расположившись на опушке букового леса с видом на море, по-весеннему спокойное, мы опустошали съестные запасы, запивая их дешевым красным вином. Я опьянел и произнес путаную речь, в которой в туманных выражениях утверждал, что, дескать, именно мы, люди театра, живем на раскрытой ладони Бога и избраны нести боль и радость. Кто-то наигрывал песенку Марлен Дитрих «Wenn Du Geburtstag hast, bin

ich bei Dir zu Gast die ganze Nacht»[52]. Меня никто не слушал, постепенно завязался общий разговор, кто-то танцевал. Посчитав себя непонятым, я отошел в сторонку, и меня стошнило. В Хельсингборг я приехал без семьи. Весной у Эльсы и у нашей новорожденной дочки Лены обнаружили туберкулез. Эльсу отправили в частный санаторий неподалеку от Альвесты. Плата за пребывание в этом санатории равнялась моему месячному заработку. Лена попала в Сахскую детскую больницу. Я продолжал «чистить» сценарии для «Свенск Фильминдустри» и таким образом мог с грехом пополам обеспечивать семью.

Мое одиночество усугублялось еще и тем, что я был начальником, руководителем. Правда, у меня был помощник, экономический директор — примечательный человек, владелец нескольких магазинов швейных принадлежностей в Стокгольме. Много лет он возглавлял Булевардтеатерн на Рингвеген, где я поставил несколько пьес, и немедленно откликнулся на мое предложение приехать в Хельсингборг. Способный актер-любитель, он охотно играл небольшие роли, был холостяк, любил молоденьких девушек и обладал отталкивающей внешностью, отчасти скрывавшей его добрую душу. Он следил за тем, чтобы театр имел деньги. Если касса пустела, он взимал дань со своих магазинов. Меня он считал ненормальным, но только улыбался и говорил: «Последнее слово за тобой». Чем я и пользовался, зачастую беззастенчиво и жестоко. И оставался в одиночестве.

Эльса Фишер, которая должна была стать в театре хореографом и танцовщицей, порекомендовала взять на это место свою приятельницу, тоже учившуюся у Мари Вигман[53]. Ее звали Эллен Лундстрём, она только что вышла замуж за фотографа, в то время почти неизвестного, Кристера Стрёмблада. Эллен поехала в Хельсингборг, а Кристер — в Африку. Это была красивая девушка, чувственная, талантливая, оригинальная и эмоциональная.

Нашу труппу поразила эпидемия промискуитета. Вскоре у всех завелась лобковая вошь, и время от времени разыгрывались сцены ревности. Безусловно, нашим домом был театр, в остальном же мы были сбиты с толку и жаждали общения.

Без долгих размышлений мы с Эллен бросились в объятия друг другу. Последствия не заставили себя ждать — она забеременела. На Рождество Эльсе разрешили ненадолго приехать домой. Мы встретились в Стокгольме у ее матери. Я рассказал о случившемся и объявил, что хочу развестись и жить с Эллен. Я увидел, как лицо Эльсы окаменело от боли. Она сидела за обеденным столом в кухне — на щеках болезненный румянец, детские губы плотно сжаты. Наконец она спокойно проговорила: «Тебе ведь придется платить алименты, бедняга, выдержишь?» Я

зло ответил: «Если я мог платить по 800 крон в месяц за твой чертов санаторий, смогу наскрести и на алименты, не беспокойся».

Я не узнаю того человека, каким был сорок лет назад. Отвращение мое так глубоко, а механизм подавления работал настолько эффективно, что мне с огромным трудом удается вызвать в памяти этот образ. Фотографии здесь помогают мало. На них изображен лишь маскарад — пустивший корни маскарад. Если мне казалось, что на меня нападают, я огрызался как испуганный пес. Никому не доверял, никого не любил, мне никто не был нужен. Был одержим сексом, заставлявшим меня нарушать верность и совершать вынужденные поступки, постоянно мучился вожделением, боязнью, страхом и совестью.

Итак, я был одинок и разъярен. Работа в театре давала определенный отдых напряжению, отпускавшему лишь в краткие мгновения алкогольного опьянения или оргазма. Я знал, что обладаю способностью уговаривать, заставлять людей делать то, чего хочу я, что у меня есть какое-то внешнее обаяние, которое я мог включать и выключать по собственному желанию. Мне было известно, что у меня есть талант нагонять страх и вызывать душевные муки, ибо я с детских лет был хорошо знаком с механизмом страха и совести. Короче говоря, я обладал властью, не умея ею наслаждаться.

Мы весьма смутно осознавали, что где-то совсем рядом бушует мировая война. Когда американские армады летели над Проливом[54], шум моторов перекрывал голоса актеров. Бегло проглядев жирные заголовки газет, мы углублялись в театральную хронику. Поток беженцев, переправлявшихся через Пролив, вызывал лишь рассеянный интерес.

Иногда я задаюсь вопросом — а что, собственно, представляли собой наши спектакли? В моем распоряжении — лишь тоненькая пачка фотографий да пожелтевшие газетные вырезки. Репетиционный период был краток, подготовка — незначительна. В итоге из наших рук выходила наспех изготовленнал массовая продукция. Но мне думается, это неплохо, даже полезно. Молодежь должна постоянно сталкиваться с новыми задачами. Инструмент необходимо все время испытывать и закаливать. Техника оттачивается благодаря тесному и прочному контакту со зрителями. За первый год я поставил пять пьес. И хотя результат, возможно, был сомнительный, зато не без пользы. Ни у меня, ни у моих товарищей не было, по вполне понятным причинам, достаточно человеческого опыта, чтобы до конца разобраться в проблематике драмы Макбета.

Как-то поздно ночью я возвращался из театра. И вдруг сообразил, как нужно сделать сцену с ведьмами в конце трагедии. Макбет и леди Макбет лежат в постели, она погружена в глубокий сон, он — в полудреме. По стене лихорадочно пляшут тени. Из-под пола в изножье кровати появляются ведьмы, сплетясь в клубок, они перешептываются и хихикают. Тела их извиваются, как водоросли в реке. За сценой кто-то ударяет по струнам расстроенного пианино. Макбет, отвернувшись, стоит на коленях в кровати, он не видит ведьм.

Остановившись посередине тихой улицы, я застыл в неподвижности, повторяя про себя: я талантлив, черт побери, может, даже гениален. От переполнявших меня чувств закружилась голова, сделалось жарко. Среди всех моих злосчастий жила уверенность в себе — стальная опора, удерживавшая руины моей души.

По большей части я пытался подражать своим учителям Альфу Шёбергу и Улофу Муландеру, крал все, что можно было украсть, латая собственные творения. О теории театра не имел никакого или почти никакого понятия. Читал, естественно, кое-что из Станиславского, в то время модного в актерской среде, но мало что понял, а может, не хотел понимать. У меня не было возможности познакомиться с зарубежным театральным искусством, я был самоучкой в самом прямом смысле этого слова, этаким гением от сохи.

Если бы кому-нибудь пришло в голову спросить меня и моих товарищей, чем объяснить наше рвение, мы бы ответить не смогли. Мы играли просто потому, что играли. Кто-то должен был стоять на сцене, лицом к людям, сидящим в темном зале. И что этими «кем-то» оказались мы — чистое везение. То, чем мы занимались, было великолепной школой. Результаты же — наверняка в высшей степени спорные. Горячо желая быть Просперо, я чаще всего рычал, как Калибан. Через два года неистовой борьбы меня пригласили в Гёте-борг, и я отбыл, преисполненный энтузиазма и непоколебимой уверенности в себе.

* * *

Торстен Хаммарен[55], которому было шестьдесят два года, возглавлял Городской театр Гётеборга со дня его основания, с 1934 года. До этого он руководил театром Лоренсберга и был признанным исполнителем характерных ролей.

Торстен пользовался большим авторитетом, а актерский ансамбль считался лучшим в стране. Первый режиссер театра Кнут Стрём, старый революционер, был учеником Райнхардта. Хельге Вальгрен, немногословный, резкий, точный, предпочитал ставить спектакли на студийной сцене. Актеры за десять лет сумели образовать хорошо сыгранную труппу, но это отнюдь не означало, что они все обожали друг друга.

Ранней осенью 1946 года мы с Эллен и двумя детьми перебрались в Гётеборг. В театре шла генеральная репетиция «Сонаты призраков» Стриндберга в постановке приглашенного для этой цели Улофа Муландера. Я проскользнул на огромную, утопавшую во мраке сцену. Издалека — спереди и сзади — доносились голоса актеров, время от времени мелькавших в лучах прожекторов. Замерев, я внимательно слушал: большой театр со всеми мыслимыми ресурсами, великие актеры, высокие требования. Не буду утверждать, будто я уж очень сильно боялся, но трепет ощущал.

Внезапно мое одиночество было нарушено — возле меня возникло крошечное существо, а может, привидение: grand old lady[56] театра, Мария Шильдкнехт, в химерическом наряде Мумии — попугайном платье и страшной белой маске. «Как я понимаю, вы — господин Бергман», — прошептала она с приветливой и жутковатой улыбкой. Подтвердив правильность предположения, я неловко поклонился. Мы ненадолго замолчали. «Ну, и как вам это нравится?» — спросила крошка-призрак строго и требовательно «Я считаю это величайшим произведением мировой драматургии», — ответил я совершенно искренне. Мумия взглянула на меня с холодным презрением: «Э, это дерьмо Стриндберг сварганил только для того, чтобы нам было что играть в его «Интимном театре», — сказала она и удалилась, милостиво кивнув. Через минуту она уже выходила на сцену: появлялась из гардероба, заслоняясь от солнца и тряся своим длинным платьем, как попугай, расправляющий перья, — неувядаемая в роли, которая была ей ненавистна, осуществляя замысел режиссера, которого она ненавидела.

Мне, расщедрившись, дали для дебюта «Калигулу» Камю. Заглавную роль исполнял мой ровесник и друг с трудных

стокгольмских лет Андерс Эк, тоже дебютант.

Его окружала целая гвардия выдающихся актеров, смотревших на нас, новичков, подозрительно и без всякой благожелательности. В мое распоряжение были предоставлены все технические и материальные ресурсы театра.

В один прекрасный день в середине репетиционного периода в зал без предупреждения вошел Торстен Хаммарен. Усевшись, он приготовился лицезреть наши усилия. Момент был неудачный: Андерс Эк делал какие-то пометки, другие актеры читали вслух по тетрадке. Я по неопытности утратил контроль за ходом работы и слышал, как сопит Хаммарен, как ерзает ногами. В конце концов он не выдержал и взревел: «Что это у вас тут, черт подери, происходит? Вы что, молитесь, занимаетесь духовным онанизмом или в бирюльки играете? Что вы, черт возьми, делаете?»

Ругаясь, и чертыхаясь, он ринулся на сцену и принялся честить первого попавшегося под руку актера за то, что тот не выпускает из рук тетрадки. Обвиняемый, косясь в мою сторону, заикаясь, бормотал что-то насчет новых методов и импровизации. Хаммарен, грубо оборвав его, начал перестраивать мизансцену. Я пришел в бешенство и закричал из зала, что я этого так не оставлю, это посягательство и деспотизм. Хаммарен, стоя ко мне спиной, рявкнул: «Сядь и заткнись, может, чему-нибудь научишься». Кровь бросилась мне в голову, и я завопил, что не собираюсь с этим мириться. Хаммарен, благодушно рассмеявшись, крикнул: «Тогда можешь убираться к черту, провинциальный гений». Я бросился к двери и, распахнув ее после нескольких неудачных попыток, покинул театр. Рано утром на следующий день позвонила секретарша Хаммарена и сообщила, что если я не явлюсь на сегодняшнюю репетицию, мой контракт будет расторгнут.

Заглохшая было во мне злоба взыграла с новой силой, и я понесся в театр с намерением прикончить Хаммарена. Мы столкнулись с ним совершенно неожиданно в коридоре, буквально налетели друг на друга. И обоим показалось это настолько смешным, что мы расхохотались. Торстен обнял меня, а я тут же принял его в свое сердце как отца, которого мне так не хватало с тех пор, когда от меня отвернулся Господь. И он добросовестно исполнял эту роль все годы моего пребывания в его театре.

«Любовь» Кая Мунка начинается с того, что местный пастор приглашает к себе домой на чашечку шоколада прихожан, чтобы обсудить строительство дамбы. На сцене двадцать три актера пьют шоколад, перебрасываются репликами, некоторые вообще сидят без дела... Хаммарен тщательно распределил все роли,

даже немые. Указания его были убийственно детальными и требовали громадного терпения. Произнеся свою реплику о зимней погоде, Кольбьёрн берет печенье, потом помешивает шоколад, пожалуйста, поупражняйся. Кольбьёрн упражняется. Режиссер вносит изменения. Ванда наливает шоколад из левого кофейника и, мило улыбаясь, говорит Бенкту-Оке: «Тебе поистину надо подкрепиться». Пожалуйста! Артисты репетируют. Режиссер поправляет.

Меня гложет нетерпение: он — могильщик театра, это распад театрального искусства. Хаммарен же стоически продолжает: «Туре тянется за булочкой, качает головой, обернувшись к Эббе, они перебросились какими-то словами, которых мы не слышим, пожалуйста, и придумайте какую-нибудь подходящую тему для разговора». Эбба и Туре предлагают тему. Хаммарен одобряет. Они репетируют. Ну, теперь этот замшелый престарелый диктатор окончательно выдавил из этой сцены все оживление и спонтанность, она мертва, мертвее не бывает. Пожалуй, пора уходить с кладбища. Но почему-то я остаюсь, возможно, из злорадного любопытства. Отмечают или убирают паузы, движения приводятся в соответствие с интонацией, *а* интонация — с движениями, фиксируются передышки. Я зеваю, как злющий кот. После бесконечных повторов, перерывов, исправлений, пинков и толчков Хаммарен решает, что настало время сыграть всю сцену с начала до конца.

И тут происходит чудо.

Начинается свободный, непринужденный, занимательный разговор со всеми полагающимися в обществе по такому случаю жестами, взглядами, подтекстом и сознательно-бессознательным поведением. Артисты, уверенно чувствующие себя в своих тщательно обозначенных владениях, получили свободу создавать образы. Они фантазируют неожиданно и с юмором, никак не мешают друг другу, уважительно соблюдая целостность и ритм.

Моим первым уроком было вмешательство Хаммарена в постановку «Калигулы». Мизансцена должна строиться четко и целенаправленно. Расплывчатость чувств и намерений недопустима. Сигналы, посылаемые актером зрителю, должны быть простыми и понятными, идти по одному, желательно с кратчайшим, секундным интервалом; пожалуйста, импульсы могут противоречить друг другу, но обязательно *намеренно,* тогда возникает иллюзия одновременности и глубины, стереоэффект. Каждое мгновение происходящего на сцене должно дойти до зрителя, потом уже можно думать о правдивости изображения; хороший артист, кстати, всегда имеет возможность донести отображаемую правду.

Вторым уроком была сцена питься шоколада в «Любви» Кая Мунка. Истинная свобода складывается из сотканного сообща узора, из филигранного взаимопроникновения ритмов. Актерское искусство к тому же еще и искусство повторения. Поэтому в основе любого действия должны лежать добровольные совместные усилия партнеров. Режиссер может навязать свою волю актеру во время репетиций. Но вот он уходит, и артист — вольно или невольно — начинает корректировать игру по своему вкусу. Его партнер тоже незамедлительно меняет рисунок роли — по тем же причинам. И так далее. Через пять вечеров вымуштрованный спектакль разваливается — если, конечно, режиссер все время не присматривает за своими тиграми. Внешне сцена питья шоколада выглядела дрессурой. Но это было не так. Актеры осознавали свои возможности в четко очерченных пределах, радостно ожидая момента, когда смогут проявить собственное творчество. Эта сцена ни разу не распалась.

Как-то я застал Торстена Хаммарена за проглядыванием моего режиссерского дневника, где не было ни одной пометки, ни единой мизансцены. «Вот как, — с сарказмом сказал он, — ты, значит, не вычерчиваешь мизансцены». «Нет, — ответил я, — предпочитаю создавать их прямо на сцене вместе с артистами». «Интересно, насколько тебя хватит», — проговорил Хаммарен и захлопнул тетрадь.

Его пророчество сбылось очень скоро. Теперь я продумываю мельчайшие детали, вычерчиваю все мизансцены. Придя на репетицию, я обязан иметь четко представление о каждом моменте будущего спектакля. Мои указания должны быть ясными, выполнимыми и предпочтительно стимулирующими. Только тот, кто тщательно подготовился, имеет возможность импровизировать.

Наша семья росла. Весной 1948 года родились близнецы. Мы перебрались в пятикомнатную квартиру в новостройке недалеко от города. Помимо этого у меня еще был небольшой спартанский кабинет в театре под самой крышей, где я просиживал вечера, правя рукописи, сочиняя пьесы и сценарии.

Отчим Эллен покончил с собой, оставив крупные долги. Теща с малолетним сыном переехала к нам. Они обосновались в моем кабинете по соседству с нашей спальней. По ночам новоиспеченная вдова частенько плакала. К тому же с нами жила Лена, моя старшая дочь, так как Эльса все еще болела. Всего нас было десять человек, включая милую, но мрачноватую домработницу. Эллен разрывалась на части, лишь от случая к случаю находя время для профессиональной работы. Семейные отношения все больше пропитывались ядом. Супружеская

близость, бывшая нашим спасением, прекратилась из-за тесного соседства с тещей и ее сыном.

Мне было тридцать лет, из «Свенск Фильминдустри» меня выгнали после провала «Кризиса». Семейство едва сводило концы с концами. Ко всем прочим проблемам прибавились ожесточенные скандалы по поводу денег. Ни Эллен, ни я не отличались бережливостью, швыряя деньги направо и налево.

Мой четвертый фильм благодаря заботам, уму и терпению Лоренса Мармстедта принес скромный успех. Лоренс был настоящим продюсером, жившим и боровшимся за свои фильмы от сценария до выхода на экраны.

Он и научил меня делать фильмы. Я стал все чаще ездить в Стокгольм и потому снял комнату в пансионе фрекен Нюландер на углу Брахегатан и Хумлегордсгатан. Фрекен Нюландер была благородной пожилой дамой или, скорее, крохотным существом с бледным, умело накрашенным лицом, искрящимися белыми волосами и черными глазами. В ее пансионе жило множество актеров, и заботилась она о нас по-матерински. Я обитал в солнечной комнате окном во двор, ставшей моим надежным прибежищем. Фрекен Нюландер благожелательно закрывала глаза на беспорядочность жизни и финансов своих беспокойных жильцов. В Гётеборге я чувствовал себя неуютно: застегнутый на все пуговицы город, ограниченный мир театра, сотрудники которого общались друг с другом лишь по работе, сотрясавшийся от детского крика дом, пеленки, рыдающие женщины, бешеные сцены ревности, нередко вполне оправданные. Выхода не было, измены стали навязчивым правилом.

Эллен знала о моей склонности ко лжи. Ее снедало отчаяние, она умоляла меня хоть один раз сказать ей правду, но я был не способен говорить правду, уже не представлял себе, где она, эта правда. Во время кратких передышек между боями мы оба ощущали глубокую взаимную привязанность, тела наши понимали и прощали друг друга.

Эллен, в принципе, была хорошим, надежным товарищем. При других, более благоприятных обстоятельствах наша совместная жизнь сложилась бы наверняка вполне нормально, но мы мало что знали про самих себя и полагали, что жизнь и должна быть такой, какой она была. Не жаловались на обстоятельства, не роптали на обстановку.

Мы боролись, скованные одной цепью, и вместе шли ко дну.

Торстен Хаммарен предоставил мне возможность поставить две мои собственные пьесы в Студии — поступок мужественный и не безболезненный. Некоторые из сочиненных мною вещей игрались и раньше. Критики были довольно единодушны:

Бергман — хороший, даже способный режиссер, но плохой писатель. Под словом «плохой» подразумевалось: наивный, по-школьному незрелый, прыщавый, потливый, сентиментальный, смехотворный, потешный, никуда не годный, без чувства юмора, противный и так далее.

Меня начал преследовать уважаемый мною в высшей степени Улоф Лагеркранц[57]. Когда он позднее стал этаким «гуру» по вопросам культуры в «Дагенс Нюхетер», нападки его приобрели просто гротескный характер. Об «Улыбках летней ночи» он, например, писал следующее: «Скверная фантазия прыщавого юнца, бесстыдные мечтания незрелой души, безграничное презрение к художественной и человеческой правде — вот силы, создавшие эту «комедию». Мне стыдно, что я ее посмотрел». Сегодня это представляется забавным курьезом. В то время это была отравленная стрела, причинившая горе и страдания.

Торстен Хаммарен, мужественный, веселый человек, много лет подвергался преследованиям одного гётеборгского критика. И вот во время представления «Бишон», смешного, пользовавшегося большой популярностью спектакля, у Тор-стена появился шанс отомстить. В антракте, когда публика, изнемогшая от смеха, уже собиралась выходить из зала, он вышел на сцену и попросил минуту внимания. После чего не спеша, делая неожиданные паузы и принимая нужное выражение лица, зачитал убийственную рецензию. Зрители наградили его бурными выражениями симпатии. Открытое преследование прекратилось, но взамен началось более утонченное: оскорбленный критик принялся поносить жену Хаммарена, актрису, и его ближайших друзей в театре.

Ныне я занимаю вежливую, разве что не подхалимскую позицию по отношению к моим судьям. Однажды я чуть не избил одного из самых вредных из них. Только я размахнулся, намереваясь нанести удар, как он сел на пол среди нотных пюпитров. Пришлось заплатить штраф в 5 тысяч крон, но я считал, что деньги пропали не зря, ибо газета, конечно, больше не позволит ему рецензировать мои спектакли. И, разумеется, ошибся. Он исчез всего на несколько лет, а теперь опять вернулся и продолжает изливать свою иссякающую желчь на плоды моих преклонных лет.

Этот критик даже в Мюнхен приехал, дабы, оставаясь верным долгу, исполнить там свои палаческие обязанности. Весенним вечером я увидел его на Максимилианштрассе, пьяного в стельку, в легкой майке и чересчур тесных бархатных брюках. Его бритая голова безутешно моталась из стороны в сторону, он приставал к прохожим, желая завязать разговор, но те с отвращением

отвергали его попытки. Ему, наверное, было очень холодно и хотелось блевать.

Меня пронзило какое-то секундное побуждение подойти к бедняге и протянуть ему руку — может, помиримся наконец, мы ведь квиты, к чему такая взаимная ненависть спустя столько лет после того происшествия? Но я тут же раскаялся в этом сентиментальном намерении. Вот идет Смертельный враг. Его следует уничтожить. Правда, сейчас он сам себя уничтожает своими отвратительными писаниями, но я еще станцую на его могиле, пожелав вечного пребывания в аду, где он сможет проводить время за чтением собственных рецензий. Поскольку жизнь состоит из сплошных противоречий, хочу сразу же сказать, что театральный критик Херберт Гревениус — один из моих самых любимых друзей. Почти каждый день встречаемся мы с ним в Драматене: сейчас, когда пишутся эти строки, ему восемьдесят шесть лет, он по-прежнему любезно-насмешлив и по-прежнему выкуривает свои непременные 50 сигарет в день.

У истоков моего творческого пути стоят два неподкупно-строгих ангела — Торстен Хаммарен и Херберт Гревениус. У Хаммарена я научился ремеслу, у Гревениуса — известной ясности мышления. Они терзали меня, формировали, наставляли.

Я безмерно страдал из-за уничижительной критики и прочих публичных унижений. Гревениус сказал: «Представь себе меловую черту. По одну сторону стоишь ты, по другую — критик. И оба вы развлекаете публику». Помогло. В одной постановке у меня был занят спившийся, но гениальный актер. Хаммарен, высморкавшись, изрек: «Подумай, как часто у падали из задницы растут лилии». Гревениус, посмотрев один из моих ранних фильмов, сердито пожаловался на провал в середине. Я объяснил, защищаясь, что актер должен был изобразить посредственность. На это Гревениус ответствовал: «Нельзя давать посредственности играть посредственность, вульгарной женщине — вульгарную женщину, надутой примадонне — надутую примадонну». Хаммарен говорил: «Чертовщина какая-то с этими артистами. Приобретя за годы пьянства собственное лицо, они теряют память».

* * *

Кроме тех шести недель в Германии, я за границей не бывал. Как и мой друг и соратник по кино Биргер Мальмстен. И мы решили восполнить этот пробел. Остановились в Каньсюр-Мэр, крохотном городишке, запрятанном высоко в горах между Каннами и Ниццей. В те времена туристам он был неизвестен, зато сюда охотно наведывались художники и прочие люди искусства. Эллен удалось получить ангажемент на работу в качестве хореографа в Лисеберге, дети остались под присмотром бабушки, все было относительно спокойно. Финансовые дела временно поправились благодаря тому, что я только что закончил один фильм и подписал контракт на другой — на конец лета. В Кань я прибыл в конце апреля и поселился в солнечной комнате с красным кирпичным полом, видом на гвоздичные плантации в долине и на море, изредка окрашиваемое в цвет вина, как говорит Гомер.

Биргера Мальмстена сразу же прибрала к рукам красивая чахоточная англичанка, которая сочиняла стихи и вела бурную жизнь. Я же, предоставленный самому себе, расположился на террасе писать сценарий фильма, съемки которого должны были начаться в августе. В то время решения принимались быстро, подготовка была короткой — не успевал испугаться, что было большим преимуществом. Фильм повествовал о молодой паре — музыкантах симфонического оркестра Хельсингборга. Маскировка практически формальная, речь шла там обо мне и Эллен, об условиях творчества, о вероломстве и верности. И все это — на фоне музыки[58].

Я остался в полнейшем одиночестве, ни с кем не разговаривал, ни с кем не встречался. Каждый вечер я напивался, и до постели добирался с помощью la patronne[59], женщины, по-матерински озабоченной моим пристрастием к алкоголю. Каждое утро в девять часов я тем не менее уже сидел за письменным столом, а изрядное похмелье пришпоривало мою творческую активность.

Мы с Эллен начали потихоньку обмениваться нежными любовными посланиями. Под влиянием робкой надежды на возможное светлое будущее нашего истерзанного брака образ героини превращался в чудо красоты, верности, ума и человеческого достоинства. Герой же, наоборот, выходил надутой бездарью — вероломным, лживым, напыщенным.

Ко мне проявляла застенчивый, но упорный интерес одна художница, наполовину американка, наполовину русская,

атлетического сложения, но с хорошей фигурой, черными как ночь волосами, сверкающим взглядом и щедрым ртом. Классическая амазонка, излучавшая неудержимую чувственность. Выдерживаемая мною верность жене придавала особую остроту нашим отношениям. Она рисовала, я писал — две одинокие души в неожиданном творческом союзе.

Конец фильма получился ужасно трагическим: героиня погибала при взрыве примуса (возможно, потаенное желание), нещадно эксплуатировался финал Девятой симфонии Бетховена, и герой осознавал, что существует «радость, которая превыше радости». Эту истину сам я осознал лишь спустя тридцать лет.

Забрав Биргера Мальмстена с «венериной горы», я со слезами на глазах распрощался с la patronne и с моей amitié passionnée[60] и уехал домой. Сценарий с определенными колебаниями был одобрен.

Свидание с Эллен было недолгим и малоудачным: я обнаружил, что моя жена общается с художницей-лесбиянкой, и это вызвало у меня дикий приступ ревности. Все-таки мы кое-как помирились, я отправился в Стокгольм и приступил к съемкам. Мои приятели Биргер Мальмстен и Стиг Улин играли двух бедолаг, а Май-Бритт Нильссон в роли жены удалось придать этому чудовищно идеализированному образу некоторое подобие достоверности, что только подтверждало ее гениальность.

Натурные съемки проходили в Хельсингборге. Как-то в начале августа мы снимали сцену бракосочетания главных героев в ратуше, там же, где несколько лет назад совершали эту процедуру мы с Эллен. Еженедельник «Фильмжурнален» решил сделать репортаж, посвященный фильму и его создателям. Эту честь нам оказала очаровательный главный редактор Гунилла Хольгер, приехавшая в сопровождении другой журналистки, Гун Хагберг. Руководство съемочной группы, чувствуя себя обязанным и донельзя очарованное главным редактором, наскребло последние представительские деньги и устроило обед в «Гранде».

После обеда я и Гун пошли прогуляться вдоль Пролива. Стояла теплая безветренная ночь. Мы с удовольствием целовались, договорившись — в состоянии некоторой прострации — увидеться по возвращении группы в Стокгольм. Корреспонденты «Фильмжурналена» отбыли, и я все это выкинул из головы.

Вернулись мы в середине августа. Вдруг позвонила Гун и предложила пообедать в ресторане «Каттелен», а потом сходить в кино. Преодолев минутное замешательство, я с радостью согласился.

Далее события разворачивались с необыкновенной

быстротой. В конце следующей недели мы поехали в Трусу, сняли номер в гостинице, легли в постель и встали только утром в понедельник, успев принять решение сбежать в Париж — каждый как бы сам по себе, а на самом деле тайно вместе. В Париже находился тогда в качестве стипендиата Вильгот Шёман[61]. По его первому роману собирался снимать фильм Густав Муландер, уже отвергший несколько вариантов сценариев. В поисках последней возможности спасти ситуацию мне было велено, бросив оставшиеся дела по моему только что законченному фильму, отправляться в Париж к закусившему удила Вильготу. Гун же, по заданию какого-то еженедельника, должна была написать о показах мод. Двух своих малолетних сынишек она оставила на компетентное попечение няни-финки. Ее законный супруг уже полгода как пребывал на семейной каучуковой плантации в Юго-Восточной Азии.

Я съездил в Гётеборг, чтобы поговорить с женой. Дело близилось к ночи, она уже легла, но обрадовалась неожиданному визиту. Не снимая плаща, я присел на край кровати и рассказал все, что можно было рассказать.

Тот, кому интересны дальнейшие события, может их узнать из третьей части «Сцен из супружеской жизни». Единственное отличие — образ любовницы Паулы. Гун была, скорее, ее противоположностью, что называется Девушкой с большой буквы: красивая, высокая, спортивная, с яркими синими глазами, сочными, красиво изогнутыми губами, искренним смехом, открытая, гордая, цельная, исполненная женской силы натура, но — лунатик.

Гун ничего про себя не знала, ее это не интересовало, в жизнь она вступила с открытым забралом, без защиты, без задних мыслей, правдивая и бесстрашная. Не обращала внимания на регулярно обострявшуюся язву желудка, только пару дней не пила кофе и принимала лекарства, и все опять было в порядке. Не заботили ее и плохие отношения с супругом: рано или поздно любой брак надоедает, а супружескую близость можно спасти с помощью мази. Она не задумывалась над периодически мучившими ее кошмарами — наверное, просто что-то не то съела или выпила лишнего. Жизнь — конкретна и великолепна, Гун — неотразима. Наша влюбленность была душераздирающей и с самого начала несла в себе всевозможные несчастья.

Мы выехали рано утром 1 сентября 1949 года и к вечеру были в Париже. Поселились в респектабельной семейной гостинице на рю Сент-Анн, узенькой улочке, пересекавшей авеню де ла Опера. В узкой точно гроб комнате кровати стояли не рядом, а друг за дружкой, окно выходило в тесный дворик. Высунувшись из окна,

можно было шестью этажами выше различить лоскут раскаленного добела летнего неба. В помещении же было холодно, сыро и затхло. В асфальте были проделаны окна, пропускавшие дневной свет в кухню гостиницы. Там в глубине шевелились похожие на трупных червей люди в белом. Из этой преисподни поднимался отвратительный запах отбросов и чада. Желающих получить более подробную информацию отсылаю к кадрам, показывающим комнату любовников в «Молчании».

Измученные, перепуганные, мы сидели каждый на своей кровати. Я сразу же понял, что это Бог меня наказал за последнее предательство: радость Эллен по поводу моего неожиданного появления, ее улыбка — вся картина всплыла перед глазами с безжалостной четкостью. И будет всплывать снова и снова, как ни сопротивляйся.

На следующее утро Гун, переговорив по-французски с могучим портье гостиницы, протянула ему купюру в 10 тысяч франков (тысяча франков тогда равнялась 15 кронам), и мы перебрались в удобную, окнами на улицу комнату, к которой примыкала огромная, размером с церковь, ванная с цветными стеклами, обогревательным змеевиком в полу и внушительными умывальниками. Одновременно на самой верхотуре я снял чуланчик, где стояли шаткий письменный стол, скрипучая кровать, биде и откуда открывалась величественная панорама парижских крыш на фоне Эйфелевой башни.

В Париже мы провели три месяца, время, во всех смыслах определившее нашу дальнейшую жизнь — и ее и мою.

Летом 1949 года мне исполнился тридцать один год. До сих я трудился, в общем-то, тяжко, без перерывов. Поэтому встреча с по-осеннему теплым Парижем произвела на меня ошеломляющее впечатление. Влюбленность, расцветавшая на благоприятной почве, не подгоняемая временем, пробила брешь в запертых комнатах, стены рухнули, я свободно дышал. Предательство по отношению к Эллен и детям затянулось дымкой, и хотя я чувствовал его постоянное присутствие, оно оказывало, как ни странно, какое-то стимулирующее действие.

Эти месяцы я жил и дышал в центре дерзкого спектакля, неподкупно правдивого и потому столь необходимого. Расплачиваться за это, как оказалось, пришлось дорогой ценой.

Письма из дома не радовали. Эллен писала, что дети болеют, а у нее экзема на руках и ногах, выпадают волосы. Уезжая, я оставил ей значительную по тому времени сумму денег. Теперь она жаловалась, что деньги кончаются. Муж Гун спешно возвратился в Швецию. Его семья направила к ней адвоката, угрожавшего судебным процессом: часть фамильного состояния

была записана на Гун.

Но мы старались не давать этим заботам одолевать нас. Как из рога изобилия сыпались на наши головы впечатления и переживания.

Самым важным из них было знакомство с Мольером. На семинарах по истории литературы я с трудом одолел кое-какие его пьесы, но ни черта не понял и отнесся к ним с полным равнодушием, как к чему-то безнадежно устаревшему.

И вот провинциальный самородок из Скандинавии попадает в «Комеди Франсэз» на «Минзантропа» в исполнении красивой, молодой, эмоциональной труппы. Впечатление не поддается описанию. Сухой александрийский стих расцвел и заиграл. Люди на сцене проникли — через мои чувства — в самую душу. Так все и было, знаю, что это звучит смешно, но так это и было: вместе со своими толкователями Мольер проник в мое сердце, чтобы остаться там навсегда. В моем духовном кровообращении, подключенном ранее к Стриндбергу, открылась артерия для Мольера.

В одно из воскресений мы побывали в «Одеоне», филиале Национальной сцены, где давали «Арлезианку» на музыку Бизе. Пьеса — французский вариант «Вермландцев»[62], только хуже.

Театр был набит битком — родители с детьми, бабушки, тетки и дядья. Публика бурлила в предвкушении, умытые круглые лица, опрятные люди, в желудках переваривается воскресный «coq au vin»[63]: мелкая буржуазия Франции на экскурсии в мир театра. Поднялся занавес, открыв жуткие декорации времен Грабова[64]. Роль юной героини исполняла знаменитая сосьетерка, перевалившая пенсионный возраст. Играла она с какой-то хрупкой силой, кричаще-желтый парик подчеркивал острый носик на размалеванном старушечьем лице. Декламация то шла шагом, то пускалась галопом, героиня бросалась на половицы возле освещенной на полную мощь рампы. Оркестр из 35 человек играл, не особенно напрягаясь, чувствительную музыку, пропуская повторы, оркестранты входили и выходили, непринужденно переговаривались, гобоист пил вино. Героиня, издав душераздирающий крик, еще раз грохнулась на пол.

И тут в темном зале послышался странный звук. Я оглянулся и, к своему изумлению, обнаружил, что все плачут — некоторые потихоньку, закрываясь носовыми платками, другие открыто, с наслаждением. Мсье Лебрэн, сидевший рядом со мной господин с гладко зачесанными на пробор волосами и ухоженными усами, трясся точно в лихорадке, из черных круглых глаз катились на розовые выбритые щеки прозрачные слезы, пухлые ручонки

беспомощно елозили по безукоризненно отглаженным брюкам.

Упал занавес, и разразилась буря аплодисментов. На авансцену вышла пожилая девушка в съехавшем набок парике и, приложив узкую руку к костистой груди, замерла, рассматривая публику темными, бездонными глазами — она все еще пребывала в трансе. Но вот она наконец очнулась, выведенная из транса восторженными криками верных поклонников — тех, кто прожил целую жизнь вместе с Арлезианкой, тех, кто каждое божье воскресенье совершал паломничество в театр, сперва держась за бабушкину руку, а теперь с собственными внуками. То, что мадам Герлэн год за годом на той же самой сцене в определенное время бросалась на пол рядом с рампой, горько жалуясь на жестокость жизни, давало им ощущение устойчивости бытия.

Зрители орали, старушка, стоявшая на безжалостно освещенной площадке, еще раз тронула сердца своих верных обожателей: театр как чудо. Я глазел с молодым беспощадным любопытством на этот спектакль в спектакле. «Холодным людям присуща сентиментальность», — сказал я Гун, после чего мы поднялись на Эйфелеву башню, чтобы уж заодно побывать и там.

Перед театром мы поели в изысканном ресторанчике напротив «Одеона». В последующие часы подогретые в вине почки успели миновать несколько промежуточных станций, и вот, когда мы находились на самой вершине Башни, любуясь знаменитой панорамой, бесчисленная армада кишечных бактерий, обитающих в почках, пошла в атаку. И у меня и у Гун начались ужасающие спазмы, и мы ринулись к лифтам. Большие щиты оповещали, что лифты в течение двух часов работать не будут в связи с забастовкой в поддержку длительной борьбы мусорщиков. Пришлось спускаться спиральной лестницей — предотвратить катастрофу не было никакой возможности. Немыслимо услужливый таксист постелил на заднее сиденье газеты и отвез воняющую, находившуюся в полубессознательном состоянии пару в гостиницу, где мы провели последующие сутки в обнимку — по очереди и вместе — со стульчаком, добираясь до него ползком. До этого стыдливость нашей любви не позволяла нам пользоваться этим удобством ванной комнаты. При надобности мы на цыпочках пробирались в гораздо менее роскошное заведение в коридоре. Теперь скромность одним ударом была отброшена в сторону. Эти физические мучения определенно сблизили нас еще больше.

Сценарий Вильгота Шёмана был закончен, он уехал домой. Нам, предоставленным теперь самим себе, его сильно не хватало. Фактического повода нашего пребывания в Париже больше не существовало. Похолодало. С равнин стлался туман, лишая меня

возможности видеть с моего наблюдательного пункта под крышей гостиницы Эйфелеву башню. Я написал пьесу под названием «Юаким Обнаженный». Главный герой — режиссер немого кино, последователь Мельеса. Под окнами его скверной студии течет бездонный канал. Герой ловит говорящую рыбку, порывает с семьей и рассказывает сказку о том, как однажды Эйфелевой башне надоело быть Эйфелевой башней, и она, покинув свое прежнее место, переместилась в Ла-Манш. Потом башню начинает мучить совесть, и она возвращается. А Юаким становится членом святого братства, превратившего самоубийство в осмысленный ритуал.

Единственный имевшийся экземпляр пьесы я отдал — в какой-то безумной надежде — в Драматен, где он бесследно исчез, может, и к лучшему. Мы бесцельно бродили по городу, плутали, отыскивали знакомые места и вновь забредали неизвестно куда. Забирались к шлюзам в Марне, Порт-Оретей и Ла Пи. Отыскали Отель дю Норд и небольшой увеселительный парк в Венсенском лесу.

Выставка импрессионистов. «Кармен» Ролана Пети. Барро в роли господина К. в «Процессе»: антипсихологический стиль игры, чуждый, но привлекательный. Серж Лифарь, престарелое чудище в «Послеполуденном отдыхе фавна» — жирный распутник с полуоткрытым мокрым ртом, бесстыдно источающий все грехи 20-х годов. Концерт Равеля для левой руки субботним вечером в Театре Елисейских полей. Могу продолжить: «Федра» Расина — тихая, но все же фурия; «Осуждение Фауста» — Берлиоз в «Гранд-опера» с использованием всех средств; балеты Баланчина; Синематека — удивительный мсье Ланглуа с полоской грязи на белоснежном воротничке. Показывали «Травлю» и «Тюрьму», приняли дружелюбно; я посмотрел фильмы Мельеса и французские немые фарсы, «Жюдекса» Фёйада и «Страницы из книги Сатаны» Дрейера. Впечатления накладывались на впечатления. Неутолимый голод.

Как-то вечером мы отправились в «Атеней» посмотреть Луи Жуве в пьесе Жироду. В ряду перед нами, чуть наискосок, сидела Эллен. Она обернулась с улыбкой на губах. Мы сбежали. Прибыл адвокат — в голубом костюме и красном галстуке, посланный родственниками наставить Гун на путь истинный. Они договорились вместе пообедать. Стоя у окна нашего номера, я смотрел, как они удаляются по рю Сент-Анн. Гун была в туфлях на высоченных каблуках, рядом с ней оживленно жестикулировавший адвокат казался коротышкой. Черное легкое платье плотно обтягивало ее бедра, рука коснулась стриженых пепельных волос. Я не надеялся на ее возвращение. И когда она

появилась к вечеру, расстроенная, напряженная, я задал ей лишь один вопрос, повторяя его с бешенством маньяка: «Ты спала с адвокатом? Ты спала с ним? Признайся, ведь ты спала с ним! Я знаю, ты с ним спала».

Вскоре страх облечет в плоть и кровь причину страха.

Студено-хмурым декабрьским днем мы поселились в пансионе на Страндвеген, причем, в соответствии со шведским гостиничным уставом, занять один номер нам не разрешили. Гун под угрозой лишиться детей очень скоро пала духом и вернулась в свою виллу на Лидингё, к мужу, у которого было достаточно времени, чтобы придумать действенный способ мщения. Мне же предстояла поездка в Гётеберг — завершить последнюю по контракту постановку.

Нам запретили встречаться, говорить по телефону, писать письма. Любая попытка контакта увеличивала для Гун риск потерять детей. В те времена закон был строг по отношению к матери, «сбежавшей из дома». Мне удалось снять крохотную квартирку (я до сих пор ее снимаю), куда я и перебрался — с четырьмя пластинками, грязным нижним бельем и треснутой чашкой. С горя написал сценарий фильма под названием «Летняя игра», либретто еще одного сценария и пьесу, впоследствии утерянную. Ходили слухи, что производство фильмов вскоре будет прекращено в знак протеста продюсеров против государственного налога на увеселения. Для меня подобная акция означала бы финансовую катастрофу, поскольку я содержал две семьи.

Вскоре после Рождества Гун вырвалась из цепей унижения, отказавшись дальше жить по мужниным правилам. Мы сняли — за бешеные деньги — четырехкомнатную меблированную квартиру на последнем этаже красивого старинного особняка на Эстермальме и переехали туда всей компанией — я, Гун, ее два сынишки и нянька-финка. Гун сидела без работы, и теперь я должен был содержать три семьи.

Последующие события можно изложить в нескольких словах. Гун забеременела, в конце лета было остановлено производство фильмов, меня уволили из «Свенск Фильминдустри», а после двух неудачных постановок подряд во вновь созданном театре Лоренса Мармстедта, куда меня прочили на место художественного руководителя, выгнали и оттуда.

Осенним вечером позвонил муж Гун и предложил, вместо того чтобы затевать процесс, примириться и решить дело мирным путем. Он попросил разрешения поговорить с ней с глазу на глаз — в случае, если соглашение будет достигнуто, они вместе посетят адвоката для составления контракта. Я запретил Гун

встречаться с мужем наедине. Но она была неумолима: он так ласково и униженно говорил по телефону, чуть не плакал. Вечером он заехал за Гун на своей машине. Она пришла домой в четыре утра — лицо каменное, ответы уклончивые. Смертельно хочется спать, поговорим завтра утром и во все другие дни. Я отказался оставить ее в покое и потребовал, чтобы она объяснила, что случилось. Гун рассказала, что муж отвез ее в лес Лилль-Яне и там изнасиловал. Бросив ее одну, я выбежал из дому и помчался куда глаза глядят.

Я так никогда и не узнал, что же произошло в действительности. Никакого изнасилования в физическом смысле наверняка не было. Возможно, он использовал метод психологического насилия: переспишь со мной, получишь детей.

Не знаю, как было на самом деле. Гун была на четвертом месяце. Я вел себя как ревнивый ребенок, оставив ее в одиночестве, без помощи. Есть живые картины, обладающие цветом и звуком, навечно вставленные в проектор души, извивающейся лентой тянутся они через всю жизнь, сохраняя неизменную резкость, неизменно объективную четкость. И лишь собственное восприятие неумолимо и безжалостно движется навстречу истине.

Возможность совместными усилиями преодолеть кризис испарилась меньше чем за час. Было ясно, что это начало конца, хотя мы и цеплялись друг за друга в отчаянной попытке примирения.

В то утро, когда должно было начаться судебное разбирательство, процесс отменили, так как адвокат Гун грозился обнародовать финансовые махинации супруга. Не знаю подробностей, но процесс дематериализовался. Развод прошел вполне безболезненно, и Комиссия по охране детства, проведя унизительное расследование, вынесла решение, согласно которому Гун получала право на воспитание детей.

Таким образом, драма благополучно завершена, любви нанесена кровоточащая рана, а на первый план выдвинулась экономическая проблема, затмившая все остальное. Деньги подошли к концу, запрет на производство фильмов по-прежнему оставался в силе, с меня ежемесячно требовали значительные суммы для выплаты алиментов двум женам и пятерым детям. Стоило задержать деньги хоть на два дня, тут же как из-под земли вырастала на пороге разгневанная дама из Комиссии по охране детства и читала мне мораль по поводу моей распутной жизни. Каждое посещение семьи в Гётеборге, начинавшееся вежливо-формально, заканчивалось дикими сценами, рукоприкладством и детскими воплями ужаса.

В конце концов я пошел на унижение и обратился в «Свенск Фильминдустри» с просьбой о займе. Заем мне предоставили, вынудив одновременно подписать контракт на пять фильмов, по которому я получал и за сценарий и за режиссуру всего две трети обычного гонорара. Кроме того, долг должен был погашаться частями, в течение трех лет, включая проценты. Сумма автоматически вычиталась из моих доходов в фирме. Я был временно спасен от экономического краха, но связан по рукам и ногам на необозримое время.

Наш сын родился в канун Вальпургиевой ночи[65] 1951 года. Перед этим, чтобы активизировать схватки, мы пили шампанское и катались в моем стареньком «Форде» по пересеченной местности Ладугордсйердет. Оставив Гун на попечении акушерки, выдворенный из отделения, я поехал домой, добавил к выпитому еще порядочно, распаковал старую детскую железную дорогу и тихо и упорно играл с ней, пока сон не сморил меня прямо на ковре.

Запрет на производство фильмов был снят, Гун получила временную работу в вечерней газете и еще делала переводы. Мне предстояло немедленно приступить к съемке двух фильмов подряд: «Женщины ждут» по собственному сценарию и «Лето с Моникой» — по роману Пэра Андреса Фогельстрёма. На роль Моники взяли молодую актрису кабаре, игравшую в театре «Скала» в сетчатых чулках и выразительных декольте. Она имела кое-какой опыт работы в кино и была помолвлена с молодым актером. В конце июля мы выехали на натурные съемки в шхеры.

Предполагалось, что «Лето с Моникой» будет низкозатратным фильмом, с ограниченными ресурсами и сведенным к минимуму персоналом. Жили мы в Клоккаргорден на острове Урнё, каждое утро отправляясь в рыбацких лодках на экзотическую группу островов во внешних шхерах. Дорога занимала несколько часов.

Я тут же впал в беззаботную эйфорию. Профессиональные, экономические и супружеские проблемы скрылись за горизонтом. Жизнь проходила в относительно сносных условиях на открытом воздухе, мы работали днем, вечером, на рассвете, в любую погоду. Ночи были короткие, сон — без сновидений. Через три недели плоды нашего упорного труда были отосланы на проявку. Лаборатория из-за неисправности аппарата умудрилась поцарапать тысячи метров пленки, почти все надо было снимать заново. Мы для виду поплакали крокодиловыми слезами, в душе радуясь продлению свободы.

Работе в кино сопутствуют сильные эротические переживания. Ничем не сдерживаемая близость к актерам, полнейшее взаимное обнажение. Интимность, преданность,

зависимость, нежность, доверие и доверчивость перед магическим глазом камеры создают теплое, возможно иллюзорное, чувство надежности. Напряжение, расслабление, совместное дыхание, моменты триумфа, моменты спада. Атмосфера заряжена эротизмом, сопротивление бесполезно. Прошли годы, прежде чем я уяснил себе, что в один прекрасный день камера остановится, софиты погаснут.

С Харриет Андерссон мы проработали бок о бок много лет. Она — на редкость сильный, но легкоранимый человек, а талант ее отмечен признаками гениальности. Отношения с камерой искренние и чувственные. Харриет обладает поразительной техникой, переходы от глубочайших переживаний к трезвой наблюдательности происходят мгновенно. Юмор резковатый, но без малейшего цинизма. Одним словом, женщина, всячески достойная любви, один из самых моих близких друзей.

Вернувшись домой после приключений в шхерах, я рассказал Гун о том, что произошло, и попросил несколько месяцев отсрочки, ибо и я и Харриет понимали недолговечность нашей связи. Гун пришла в ярость и послала меня куда подальше. Удивившись невиданному ранее величественному гневу, я почувствовал большое облегчение, упаковал кое-какое имущество и опять перебрался в свою однокомнатную квартирку.

Мы встретились через несколько лет — без горечи, без взаимных обвинений. После развода Гун начала изучать славянские языки, поставив себе цель получить докторскую степень, и цели этой достигла. Да и переводческая деятельность развивалась успешно — ей поручали все более престижные переводы.

Мало-помалу она стала жить совершенно самостоятельной, независимой жизнью со своим кругом друзей, любовников, заграничными поездками.

Радуясь вновь обретенной близости, мы показали себя настоящими эгоистами, ибо не замечали, как болезненно и ревниво реагирует на это наш сын.

Когда Гун погибла в автомобильной катастрофе, мы с Ингмаром-младшим встретились у меня в квартире на Гревтурегатан, откуда нам предстояло вместе пойти на похороны. Красивый девятнадцатилетний юноша, с которым я не виделся много лет. Он выше меня ростом. На нем тесноватый, одолженный у брата черный костюм. Мы молчали, оба желая ускорить бег времени, но тщетно. Он спросил, не найдутся ли у меня иголки и нитки — пришить пуговицу. Я принес то, что он просил, и мы устроились друг против друга у окна. Ингмар-младший склонился над шитьем, смущенно шмыгая носом.

Светлые густые волосы падали на лоб, сильные красные руки ловко управлялись с иголкой и ниткой. Он был поразительно похож на студенческую фотографию своего деда. Такие же синие глаза, тот же цвет волос, лоб, чувственный рот. Та же бергмановская манера соблюдать дистанцию: не трогай меня, не приближайся, не прикасайся ко мне, я — Бергман, черт подери.

Моя неловкая попытка заговорить о матери встретила резкий отпор. Я настаивал, но он взглянул на меня с таким холодным презрением, что мне пришлось заткнуться.

Гун была прообразом многих героинь моих фильмов: Карин Лобелиус в «Женщины ждут», Анда в «Вечере шутов», Марианна Эгерман в «Уроке любви», Сюзанна в «Женских грезах» и Дезирэ Армфельдт в «Улыбках летней ночи».

Несравненная Эва Дальбек[66] оказалась великолепной истолковательницей ее образа. Этим двум женщинам удалось совместными усилиями облечь в плоть в кровь мои зачастую расплывчатые тексты и тем самым воплотить непобедимую женственность так, как я и представить себе не мог.

* * *

У меня есть повторяющиеся раз за разом сны. Один из самых частых — сон профессиональный: я — в студии, предстоит снять какую-то сцену. Там же и все остальные: актеры, операторы, техники, электрики, статисты. Почему-то я напрочь забыл текст и вынужден беспрерывно заглядывать в свою режиссерскую тетрадь, но записи совершенно непонятны. Тогда, возвратившись к актерам, я решаюсь на блеф, говорю что-то насчет пауз. Сделай здесь паузу и повернись лицом к камере, потом произнеси реплику, подожди-ка, говори тихо. Артист смотрит на меня недоверчиво, но послушно выполняет указание. Я гляжу на него через объектив камеры, вижу половину лица и уставившийся на меня глаз. Этого не может быть — я поворачиваюсь к Свену Нюквисту, который склоняется над видоискателем, устанавливает резкость и пускает камеру. За это время актер исчез, кто-то говорит, что у него перекур.

Нужно решить, как сыграть сцену. Из-за моей неумелости масса артистов и статистов толпятся в углу, прижимаясь к светлым стенам с бьющим в глаза узором. Понимаю, что будет чрезвычайно трудно сделать освещение, вижу вежливо-недовольное лицо Свена — он ненавидит прямой верхний свет и двойные тени.

Приказываю убрать стену. Это даст нам свободу действия и возможность подступиться к мизансцене с другой стороны. Один из рабочих, глядя в сторону, замечает, что перенести стену, конечно, можно, но на это потребуется два часа, так как именно эта стена — двойная, пристроенная к прочной внешней кирпичной стене, начнешь ее переносить, может обвалиться штукатурка. Я изрыгаю приглушенные проклятия, испытывая тягостное чувство, что соединить внутреннюю и наружную стены было моей идеей.

Приказываю передвинуть камеру к двери и смотрю в видоискатель. Статисты загораживают актера. Чтобы попасть в кадр, ему надо повернуться направо. Помощник режиссера деликатно замечает, что в предыдущем дубле он двигался налево.

В студии стоит полная тишина. Все ждут — терпеливо и покорно. Я в отчаянии гляжу в видоискатель. Видны половина лица и уставившийся на меня глаз. Мелькает мысль, что получится необыкновенный кадр, о котором будут с восхищением писать критики всех стран, но тут же отбрасываю ее как нечестную

Внезапно нахожу решение: съемка с движения. Вокруг

актеров, мимо статистов, проезд. Тарковский непрерывно движется, в каждой сцене — камера парит и летает. Вообще-то, с моей точки зрения, никуда не годная техника, но она решает мою проблему. Время идет.

Сердце колотится, я задыхаюсь. Съемка с движения невозможна, произносит Свен Нюквист. Чего это Свен раскапризничался? Ну, естественно, боится сложных движений камеры, постарел, стал трусоват. Смотрю на него с безысходной тоской, он печально указывает рукой на что-то за моей спиной. Оборачиваюсь — там ни одной декорации, лишь стена студии. Он прав, съемка с движения невозможна.

От отчаяния решаюсь обратиться ко всем присутствующим с речью. Сказать им, что работаю в кино уже сорок лет, сделал сорок пять фильмов, что ищу новые пути, стремлюсь обновить свой образный язык, ведь необходимо постоянно сомневаться в достигнутом. Подчеркнуть, что я человек с большим опытом, знаю свое дело и возникшая проблема — пустяк. Если бы я захотел, то мог бы, отъехав, снять общий план сверху, по диагонали, это было бы превосходным решением. Я, конечно, в Бога не верю, но дело обстоит не так просто, каждый из нас носит в себе Бога, во всем есть своя закономерность, которую мы иногда прозреваем, особенно в смертный час. Вот что мне хочется сказать им, но это ни к чему. Они уже отошли в глубь сумрачной студии, сбились в тесный кружок, стоят и спорят. Я не слышу слов, вижу только их спины.

Лечу в огромном самолете, я — единственный пассажир. Самолет отрывается от взлетной полосы, но не может набрать высоту и с грохотом несется над городскими проспектами на уровне верхних этажей. Я заглядываю в окна, там движутся, жестикулируют люди; свинцовое, предгрозовое небо. Я полагаюсь на искусство пилота и тем не менее сознаю, что конец близок.

И вот уже я парю сам, без самолета, машу особым образом руками и легко взлетаю, удивляюсь, почему никогда раньше не пробовал летать, ведь это так просто. В то же время понимаю, что это — редкий дар, не все умеют летать. А некоторым из тех, кто умеет, приходится до изнеможения напрягать скрюченные руки и шею, я же парю свободно, как птица.

Лечу над равнинной местностью, очевидно степью, это, наверное, Россия. Парю над величественной рекой, через которую перекинут высоченный мост. Под мостом в реку выдается кирпичное здание, из труб клубится дым, слышится скрежет машин. Это — фабрика.

Река изгибается гигантской лукой. Берега поросли лесом, панорама безгранична. Солнце скрылось в облаках, но все

пронизано резким, не отбрасывающим тени светом. По широкому руслу стремительно несется зеленоватая, прозрачная вода, по камням в глубине то и дело мелькают тени — огромные сверкающие рыбины. Я спокоен и преисполнен доверия. В молодости, когда сон был крепок, меня мучили отвратительные кошмары: убийства, пытки, удушье, инцест, разрушение, сумасшедший гнев. В старости сны стали далекими от действительности, но зато добрыми, зачастую утешительными.

Иногда мне снится блестящий спектакль с огромным количеством участников, музыкой, красочными декорациями. И я шепчу про себя с глубочайшим удовлетворением: это — моя постановка, это создал я.

* * *

Меня обещали взять в Драматен, я не скрывал своей радости, но тут произошла смена руководства. Новый директор, не считавший себя связанным какими-либо обещаниями, сообщил мне в уничижительных выражениях, что моя квалификация вряд ли соответствует требованиям национальной сцены. Чтобы хоть как-то утешиться, я написал несколько пьес, из которых ни одна не была принята к постановке. Харриет продолжала выступать в сетчатых чулках и декольте в театре «Скала», где ее заставляли петь куплеты с таким припевом: «Я разденусь, никуда не денусь, если Бергман позовет».

Между тем над нашими отношениями нависли тучи: демоны ревности к ее прошлому делали свое ядовитое дело. Я переехал в маленькую гостиницу, расположенную на верхних этажах «Сёдра театерн», с видом на просторы Ладугорд и лес Лилль-Яне, и там в приступе необычно глубокой мизантропии сочинил сценарий фильма, получившего название «Вечер шутов».

Поскольку ни один из столичных директоров театра не пожелал воспользоваться моими услугами, я принял предложение Городского театра Мальме, куда пригласили и Харриет. Без малейших сожалений мы въехали в трехкомнатную квартиру в недавно застроенном районе по дороге в Лимхамн и, свалив в кучу купленную мебель, появились в театре.

Городской театр Мальме внешне производил импозантное впечатление: опера, балет, оперетта и драма мирно уживались на двух сценах: одна — чересчур большая (с залом на 1700 мест) называлась «Дурищей». Это театральное здание явилось результатом так и не разрешенной коллизии между идеей Пэра Линдберга о монументальном народном театре со сценой-ареной и демократически расположенными местами для зрителей и мечтой Кнута Стрёма об изобразительном театре для сценографических видений в духе Мейерхольда и Райнхардта. Акустические проблемы были также неразрешимы. Оркестровые концерты страдали от полного отсутствия резонанса, драматические постановки — от широченной (22 метра) арки просцениума, опера и оперетта — удаленностью от зрителей, балет — от утопленных в пол сцены железных рельс. Это чудовище располагало сравнительно многочисленной, но плохо оплачиваемой труппой, которая осуществляла по двадцать постановок в год. Директор — самодержец Ларс-Леви Лаэстадиус — по прямой нисходящей линии происходил от великого сектантского проповедника. Он был начитан, опытен, отважен и

маниакально высокомерен — нешуточное сочетание для директора театра.

Восемь лет, проведенных в Городском театре Мальме, были лучшими годами прожитой мною до того времени жизни. Зимой я ставил три спектакля, летом делал один или два фильма. У меня были развязаны руки, личной жизни практически никакой. Я жил целиком коллективными усилиями, направленными на то, чтобы обеспечить наше чудовище приличными театральными постановками. Не обремененный административными обязанностями, я имел возможность полностью посвятить себя изучению тайн своей профессии.

Театр начал привлекать все больший интерес, крупные актеры осознали преимущество играть зимой хорошие спектакли, а летом сниматься в бергмановских фильмах. Ансамбль наливался силой, и мы осмеливались все глубже забираться в мировую драматургию.

Если бы кому-нибудь пришло в голову спросить нас, почему мы занимаемся этим или какие преследуем цели, ответить мы, наверное бы, не сумели.

Что-то не могу припомнить ни единой политической, религиозной и интеллектуальной задачи, которую я бы ставил себе в тринадцати спектаклях, сделанных мною в Мальме. Я знал, что театру требуется репертуар и что на большой сцене бесполезно угощать зрителя «икрой для бедных». Репертуар должен был состоять из ударных, убедительных вещей.

Необходимо было также сделать помещение пригодным для игры. Экспериментируя, мы обнаружили в сценическом пространстве акустически и оптически выгодную точку, приблизительно в метре от суфлерской будки. От этой точки можно было продвинуться на несколько метров в сторону и на два-три метра вглубь: получился прямоугольник шириной около 6 метров и глубиной около 4 метров. За пределами этой игровой площадки возможность актера воздействовать на зрителя уменьшалась с катастрофической быстротой. Таким образом, на сцене, ширина которой составляла 22 метра, а глубина — 36 («поворотный круг доходит наполовину до Устала»), имелось игровое пространство размером в 24 квадратных метра.

Передвижными ширмами нам пришлось отгородить и боковые места партера. Теперь зал во время драматических спектаклей вмещал чуть меньше тысячи человек. Изношенное машинное оборудование никуда не годилось, современная осветительная аппаратура, покоившаяся на дне Балтийского моря в трюме торпедированного немецкого грузового корабля, временно была заменена пультом 1914 года. Технический

персонал был немногочислен, перегружен работой и страдал запоями, хотя среди них, разумеется, имелись исключения — люди, буквально жертвовавшие жизнью и здоровьем ради того, чтобы наш Голем работал нормально.

Каждое утро ровно в половине девятого я приходил в театр, съедал в буфете завтрак, состоявший из шести печеньиц и чашки чая, с половины одиннадцатого до часу дня репетировал, перекусывал ветчиной и яйцами, выпивал чашку крепкого кофе, продолжал репетицию до четырех, заседал, преподавал в театральной школе, писал сценарии, вкушал кратковременный сон в своем анатомическом кресле, обедал в буфете — непременно кусок мяса с кровью и картошка, готовился к завтрашнему дню, зубрил урок либо проходил заново спектакль.

После того как Харриет смывала грим и переодевалась, мы уезжали домой и ложились спать. Довольно часто я ездил в Стокгольм — работать над уже готовыми или только намеченными фильмами, жил в своей однокомнатной квартире на Гревтурегатан, обедал в Киногородке, ужинал в одном и том же ресторанчике. Мое имущество состояло из двух пар брюк, нескольких фланелевых рубашек, постепенно приходившего в негодность нижнего белья, трех свитеров и двух пар туфель. Это была практичная, нетребовательная жизнь. Про себя я решил, что муки совести — кокетство, ибо мои мучения не в силах искупить нанесенное мною зло. Внутри же, очевидно, шел какой-то непостижимый процесс. Я страдал хроническим катаром желудка, гастритом, язвой желудка, язвой кишки, рвотой и желудочными спазмами, сопровождавшимися поносом. Осенью 1955 года, после завершения съемок «Улыбки летней ночи», я весил 56 килограммов. Меня положили в Каролинскую больницу, подозревая рак. Доцент Стюре Хеландер провел тщательное обследование. Как-то в конце дня он пришел в палату, держа в руках рентгеновские снимки, сел и начал подробно и терпеливо объяснять. Мои недуги он назвал «психосоматическими», сказав, что ученые лишь недавно всерьез приступили к исследованиям этой плохо изученной области медицины, пограничной полосы между телом и душой. Он посоветовал мне есть простоквашу, совет, который я с тех пор свято выполняю. По его мнению, я страдал определенными аллергическими реакциями, и потому мне следовало проверить, что я переношу, а что — нет. Он излучал компетентность, дружелюбие и ум. Мы подружились на всю жизнь.

Я уговорил Виктора Шёстрёма сыграть главную роль в «Земляничной поляне». Мы с ним сотрудничали и раньше, в картине «К радости», не ощутив тогда особо настоятельной

потребности в продолжении. Виктору, больному, измученному, требовались определенные условия для работы, приходилось принимать во внимание то одно, то другое. Например, я должен был ему обещать, что ровно в половине пятого он уже будет дома, чтобы выпить привычную порцию грога с виски.

Совместная работа началась нелегко. Виктор нервничал, я находился в напряжении. Он переигрывал, и я обратил на это его внимание, сказав, что он играет для галерки. Он же, заявив, что наверняка можно найти кого-нибудь другого, кто сможет сыграть роль так, как этого хочу я, и что врач в любой день освободит его от работы, замкнулся в кислой отрешенности.

Атмосфера несколько разрядилась, когда на съемочной площадке появились девушки. Старый ловелас наслаждался любезно-шутливым ухаживанием со стороны дам, напропалую флиртовал, покупал им цветы и подарки. Я незаметно, для себя, заснял момент, когда Биби Андерссон в слегка декольтированном платье начала века сидит на пригорке и кормит Виктора земляникой. Он облизывает ее пальцы, оба хохочут, молодая женщина явно польщена, старый лев совершенно очарован.

В перерывах между съемками мы окружали Виктора кольцом и точно любопытные дети просили рассказать о давних временах, о своей работе, о других режиссерах, о Стиллере, Чарлесе Магнуссоне, об актерах, о прежнем Киногородке. Он рассказывал охотно и забавно. Признался, что нередко на него накатывало отчаяние, и тогда он замыкался в себе, куда-нибудь уходил и колотился головой о стену. Когда напряжение спадало, он возвращался на съемочную площадку — зачастую с шишкой на затылке или на лбу. Фильмы «Ингеборг Хольм», «Возница» или «Тот, кто получает пощечины» он считал ничем не примечательными, видел в основном просчеты и сердился на собственную беспомощность и небрежность; постоянно восхищался дерзкой гениальностью Стиллера и даже не мечтал тягаться с ним. Виктор говорил, как настойчиво он добивался, чтобы актеры произносили слова, появлявшиеся затем в субтитрах. Глухонемых, умевших читать по губам, очень раздражало несовпадение субтитров и того, что говорили актера.

Шёстрём, не скрывая своей любви к жене, поведал о драме, разыгравшейся в связи с фильмом «Горный Эйвинд и его жена». Внезапно он замолк, замкнулся, ушел в себя, лицо исказилось от боли.

Съемки продолжались, наступил день, когда должна была сниматься заключительная сцена: возлюбленная Исака Борга, его юношеская любовь, ведет его на освещенный солнцем холм. Вдалеке он видит призывно машущих ему родителей. Место мы

выбрали на территории Киногородка. В пять часов вечера солнечные лучи заскользили по траве, лес потемнел. Виктор начал злиться. Напомнил мне про обещание: ровно половина пятого, дом, грог. Я умоляю. Никакого эффекта. Виктор отбывает. Через четверть часа возвращается: «Ну, будем снимать эти чертовы сцены?»

Настроение его не улучшилось ни на йоту, но он выполнял долг. Общий план — Виктор идет вместе с Биби по освещенной солнцем траве, недовольно бурча и отвергая любые попытки подольститься к нему. Перед съемкой крупного плана Виктор сидит в сторонке, втянув голову в плечи, предложение приготовить ему грог здесь, прямо на месте, с негодованием отвергается. Наконец, можно снимать. Он подходит, с трудом волоча ноги, опираясь на руку ассистента режиссера, дурное настроение лишило его последних сил. Заработала камера, раздался звук хлопушки. И вдруг лицо Виктора раскрылось, черты смягчились, он преисполнился покоем и кротостью, мгновение благодати. И камера на месте. Работает. И лаборатория не подкачала.

Много времени спустя меня озарило, что весь этот театр Виктора с обещанием, грогом, половиной пятого, его старческая злоба объяснялась лишь диким страхом обнаружить свою несостоятельность, усталость, нежелание или просто бесталанность: не хочу, не могу, не имеешь права требовать, не желаю играть эту роль, меня обманули, уговорили, больше ни единого раза, нет, не страх, не несостоятельность, никогда больше, я сказал «нет» раз и навсегда, больше не хочу, ничего я не должен, меня никто не может заставить, я стар и измучен, все это бесполезно, зачем вы меня мучаете? Черт возьми вас всех, оставьте меня в покое, я уже сделал свой кусок, бессовестно мучить больного человека, я не справлюсь, нет, больше ни разу, мне плевать на ваши чертовы съемки. Впрочем... пойду попробую. Пусть пеняют на себя. Получится ужасно, хорошо просто не может получиться. Пойду сыграю и докажу, что я больше не могу, у меня нет сил. Докажу этому проклятому щенку, что нельзя обходиться со старыми, больными людьми как взбредет в голову. Он получит железное подтверждение моей неспособности, которую я, по его мнению, продемонстрировал уже в первый день.

Возможно, именно так он и рассуждал, старый лицедей. Настолько типично, что я не понимал причину его раздражения вплоть до сегодняшнего дня, когда оказался почти в такой же ситуации. Время беззаботных забав миновало навсегда, скука и омерзение ухмыляются в лицо. Страх оказаться неспособным подтачивает и разъедает способность. В прошлом я летал без

помех и отрывал от земли других. Теперь же мне самому необходимы доверие и желание других, теперь другие должны оторвать меня от земли, чтобы у меня возникло желание летать.

Когда мы начали во второй раз работать над «Пляской смерти», у Андерса Эка была твердо установлена лейкемия. Невыносимые боли облегчались с помощью сильнодействующих препаратов. Каждое движение причиняло ему страдания, кульминацию драмы — танец с саблей — он сыграть не мог, и мы отодвинули работу над этим эпизодом на будущее, поскольку врач дал неопределенное обещание, что боли постепенно, по мере лечения, отступят. Репетиции проходили необычно, время тянулось медленно. Все мы сознавали безнадежность этой затеи, но мне, по вполне понятным причинам, хотелось, чтобы Лидере Эк сам отказался от роли. Он этого не делал.

Мы работали с ним бок о бок с начала 40-х годов, ругались и оскорбляли друг друга, мирились, опять ссорились, в гневе расходились, раскаивались с вновь начинали сначала. «Пляска смерти» должна была стать венцом нашей совместной работы, в которой принимали участие актеры высшей пробы: Маргарет Круук и Ян-Улоф Страндберг.

Со смешанным чувством неприязни и грусти наблюдал я, как Андерс Эк вкладывал свой собственный страх смерти в уста Капитана, полностью отождествляя себя с этим персонажем. Слова Стриндберга, рисующие образ жалкого, немного смешного ипохондрика, превращались в толковании Андерса Эка в стоически сдерживаемый и все-таки прорывающийся ужас самурая. Это было кошмарно, непристойно, безнадежно, театр оборачивался клоунадой.

Как-то утром мне передали просьбу Андерса Эка зайти к нему в уборную. Он сидел, положив руки на гримерный столик. На лицо, серое от бессонницы и боли, падал резкий свет осеннего дня. Андерс заявил, что складывает оружие, что постоянное потребление болеутоляющих таблеток отрицательно сказалось на его способности здраво мыслить, но теперь он понял, что использовал собственный страх смерти для воплощения сходных ощущений Капитана. И печально упрекнул меня за мое молчание.

Мы с актерами собрались в помещении «Синематографа» на последнем этаже старинного особняка в глубине двора. Предстояло вместе пройти сценарий «Осенней сонаты». Ингрид Бергман читала свою роль громовым голосом, подкрепляя ее мимикой и жестами, — все определено и отработано перед зеркалом. Все были в шоке, у меня разболелась голова, а помощник режиссера вышла на лестницу и зарыдала от ужаса: с 30-х годов никто из нас не слышал таких фальшивых интонаций.

«Кинозвезда» самостоятельно сделала кое-какие купюры и отказывалась произносить неприличные слова.

Она заявила, что сюжет довольно скучный, поэтому его надо бы оживить какими-нибудь шутками: «Почему это ты становишься такой занудой, Ингмар, когда пишешь? В жизни ты бываешь по-настоящему забавным». Прослушала прелюдию Шопена — кульминацию первой части фильма, сначала ее играет дочь, а потом мать: «Господи, помилуй, неужто этакую скучищу будут играть два раза? Ингмар, ты ненормальный, публика уснет, нашел бы что-нибудь красивое и покороче, это будет так тоскливо, я вся изевaюсь». Ингрид Бергман исполняет роль известной пианистки. Все пианисты мучаются от болей в спине, может быть, за исключением Рубинштейна. Пианист, у которого болит спина, любит лечь на пол и вытянуться во всю длину. Мне хотелось, чтобы в одном из важных для нее эпизодов Ингрид лежала на полу. Она засмеялась: «Ингмар, дорогой, ты совсем сошел с ума. Ведь это серьезная сцена. Не могу же я играть серьезную сцену, лежа на полу. Это будет нелепо. Зрители будут смеяться. Разумеется, в этой жуткой истории мало что может вызвать смех, но почему тебе непременно надо заставить публику смеяться в самом неподходящем месте, можешь ты мне это объяснить?»

Наши чрезвычайно сложные съемки начались с дурных предзнаменований. Страховая компания отказалась выдать страховку на Ингрид Бергман, так как она перенесла операцию по поводу рака. Через неделю после начала съемок из Лондона, куда Ингрид ездила на очередное обследование, сообщили, что обнаружены новые метастазы и ей немедленно следует лечь на операцию и облучение. Ингрид ответила, что сперва закончит фильм, и деловито поинтересовалась, не сможем ли мы ужать на несколько дней съемки с ее участием. Если это окажется невозможным, она останется на все запланированное время.

Она продолжала работать, как будто ничего не произошло. Неразбериха первых дней сменилась мужественным профессиональным штурмом. Обвинив меня в недостатке искренности, она вынудила выложить все мои претензии. Я сказал то, что думаю, мы поругались, а потом просматривали заснятые куски столько, сколько ей этого хотелось.

Одновременно Ингрид обнаружила феномен, с которым ей никогда не приходилось сталкиваться в ее профессии. Среди многочисленных женщин съемочной группы, сильных, самостоятельных, умудренных опытом и в профессиональном и в личном плане, — среди этих женщин существовала сплоченность, некое братство: Катинка Фараго, руководитель съемочной группы,

Ингер Перссон, ответственная за костюмы, Силла Дротт, гример, Сильвия Ингмарссон, монтажер, Анна Асп, художник-декоратор, Черстин Эрикстдоттер, помощник режиссера, Ингрид, моя жена и администратор, и Лив Ульман, актриса. Ингрид Бергман с благодарностью влилась в это крепкое содружество, обретая краткие мгновения покоя в лишенной всякой сентиментальности сестринской преданности. Ингрид таскала с собой по всему миру ржавую коробку, где хранились обрывки пленки с кадрами, запечатлевшими ее детские и юношеские годы. Ее отец был фотографом, изредка он брал напрокат кинокамеру. На протяжении четырнадцати минут кинолента показывала нам крохотную девчушку на коленях красавицы матери, одетую в траур девочку у могилы матери, худющего подростка, хохочущего и поющего за роялем, мило улыбающуюся юную девушку, поливающую розы в оранжерее. Ингрид берегла фильм как зеницу ока. С немалым трудом мне удалось заполучить у нее ленту, чтобы сделать новый негатив и новую копию с изношенной и опасной нитратной пленки.

Свою хворь Ингрид восприняла с гневом и нетерпением, но болезнь разрушала ее сильный организм, разъедала мозг. В студии Ингрид вела себя исключительно дисциплинированно. Выразив свое несогласие, она потом обычно подчинялась, а то обстоятельство, что решение принимал кто-то другой, оказывало на нее стимулирующее действие. Однажды утром она стремительно обернулась и залепила мне пощечину (в шутку?), пригрозив отколошматить меня, если я тут же, немедленно, не объясню ей, как нужно сделать сцену. Дрожа от бешенства из-за неожиданного нападения, я ответил, что, мол, тысячу раз просил ее вообще ничего не делать, только одни дерьмовые любителя воображают, будто они каждую минуту должны что-то делать. Она шутливо, но достаточно резко высмеяла мою репутацию режиссера, умеющего работать с актером. Я в том же тоне выразил сочувствие в адрес тех режиссеров, которым приходилось иметь с ней дело в дни ее славы. Обменявшись еще парой реплик в том же духе, мы рассмеялись и пошли в студию, где нас уже ждали с известной долей любопытства. Ингрид умолкла, веки набухли словно от сдерживаемых слез, черты смягчились — на пленке запечатлелось страдающее человеческое лицо.

Мы сделали документальный фильм — почти на пять часов в готовом виде, — запечатлевший работу над картиной. Полгода спустя Ингрид, приехав погостить к нам на Форё, настояла на том, чтобы посмотреть этот фильм, хотя местами он был для нее не совсем лестным. По окончании просмотра она несколько минут посидела молча, что было весьма на нее непохоже, а потом

сказала с неподражаемой интонацией: «Посмотреть бы мне этот фильм до начала съемок». Как-то раз мы с Ингрид, расположившись на потертом кожаном диване — каждый в своем углу — за декорацией, дожидались, пока установят свет. В помещении царил полумрак. Ингрид несколько раз провела рукой по лицу — жест, необычный для актрисы, — глубоко вздохнула и посмотрела на меня без улыбки, не ища сочувствия: «Ты ведь знаешь, что я живу взаймы» — и неожиданно улыбнулась.

У одного из самых наших великих актеров прошлого и настоящего, гениального создателя нескончаемого числа образов королей, героев, мошенников, лжецов, уморительных дурачков, персонажей Стриндберга и вновь королей — за ним тянулась целая вереница величественных теней — на семьдесят седьмом году жизни нарушилось кровообращение левой ноги. Необходима была операция. Он отказался, но в душе у него поселился страх смерти.

Для него театр был жизнью, а Драматен — надежной опорой существования. Теперь между ним и смертью возникла пустота. Преодолевая мучительные боли, он продолжал играть. После премьеры я поблагодарил его за великолепное исполнение. Он сидел в своей уборной, неразгримированный, в грязном халате, положив больную ногу на стул. Взглянув на меня с холодным презрением в зеркало, он произнес: «Убирайся к черту со своей проклятой лестью. Я знаю, что у тебя на уме».

Короли, мошенники, стриндберговские персонажи, лжецы и уморительные дурачки, знакомые с детских лет, молча толпились вокруг. Ненависть артиста была кристально прозрачной. Я был для него не руководителем театра, выражавшим свой восторг, а лицемерной свиньей, которая превратила его артистическое фойе в кафе, которая сослала его с Большой сцены на Малую, которая отказалась дать ему роль короля Лира. Я нес вину за боли в его почерневшей ноге, я выпустил Смерть со склада реквизита.

Мало-помалу лишившись всех ролей и спектаклей, он по-прежнему волочился в театр и занимал пост у доски объявлений, так, чтобы быть на виду у всех проходящих мимо. Небритый, немытый, под хмельком, он бушевал, точно Филоктет. В гипнотическом взгляде синих глаз светился ужас, актер хватал проходящих и, держа их за воротник, извергал ненависть к «Гитлеру-Бергману». Тишина уплотнялась, тени остались без глаз, зеркало разбито, осколки отражали пустоту. Эхо знакомого бархатного голоса разносилось по лестнице, все терзались, немели, ему никто не отвечал. День за днем он играл свой последний чудовищный спектакль в том самом театре, где был королем из королей, в кольце молчаливых, но узнаваемых теней.

Неизвестный. Гамлет. Ричард III. Эландер. Хиккори. Отец. Брендель. Капитан Эдгар. Орин. Джеймс Тайрон. Эдип. Пий VII. Офицер. Густав Васа. Ёран Перссон. Старик Хуммель. Густав III. Карл XII.

* * *

Придя в Драматен непосредственно из Городского театра Мальме, я исхитрился, несмотря на прекрасный актерский ансамбль, поставить отвратительный спектакль по «Чайке» и попросил отпуск, чтобы посвятить себя кино. Неожиданный, принесший деньги успех избавил меня от невроза по поводу экономического обеспечения семей.

Устав от богемной жизни, я женился на Кэби Ларетеи, пианистке в расцвете славы. Мы переехали в роскошную виллу в Юрсхольме, где я собирался начать упорядоченное буржуазное существование. Все это было новым, героическим спектаклем, который вскоре закончился новой, героической катастрофой. Два человека, желая обрести собственное «я» и точку опоры, пишут друг для друга роли, принимая их из-за сильнейшей потребности угодить друг другу. Маски очень скоро начинают трескаться и спадают при первой же буре. Ни у одного не хватает терпения всмотреться в лицо другого. Оба, отводя глаза, кричат: посмотри на меня, посмотри на меня. Но ни один не глядит. Усилия бесполезны. Две одинокие души — свершившийся факт, неудача — непризнанная реальность. Пианистка уезжает на гастроли, режиссер режиссирует, ребенок отдан в умелые руки. Внешне брак выглядит как прочный союз двух удачливых партнеров. Декорация выполнена со вкусом, удачно сделано освещение.

Однажды в монтажную позвонил министр просвещения и спросил, не хочу ли я возглавить Драматен. При личной встрече он быстро изложил свои пожелания: сделать из Драматена современный театр, Драматен, конечно, прекрасный театр, но в организационном и административном плане он устарел. Я заметил, что это будет стоить денег. Министр ответил, что если я выполню задачу, то он оплатит все расходы. Понятия не имея о том, насколько прочны обещания политиков, я не попросил письменного подтверждения и только заверил, что приложу все старания, но что шуму будет много. Министр счел это заявление превосходной программой действий, и я возглавил Драматен.

Охотно допускаю, что первая реакция обитателей Драматена была сравнительно положительной. Правление, правда, отнеслось к этому неблагосклонно, поскольку оно вместе с бывшим шефом уже само выбрало преемника, но, проглотив раздражение, встретило меня с непроницаемой вежливостью.

Бывший руководитель из тактических соображений держал в тайне свой уход до последней минуты. Посему на подготовку своего первого сезона у меня оставалось всего полгода. К тому же

весной мне предстояла крупная постановка на телевидении, а летом — съемки фильма.

Организация, предоставленная в мое распоряжение, не работала. Художественного совета не существовало. Шестеро штатных режиссеров держались выжидающе. Мне пришлось в одиночку заниматься чтением пьес, подготовкой репертуара, подписанием контрактов и планированием (нудное занятие).

Одним из первых шагов, предпринятых мною в новой должности, была демократизация процесса принятия решений. По примеру Венской филармонии был создан выборный актерский совет из пяти человек. Совместно с руководителем театра этот совет должен был осуществлять руководство, отвечать за репертуар, приглашать артистов, участвовать в распределении ролей, иметь полное представление о финансовом положении и административном управлении театра. В случае разногласий вопрос ставился на голосование, причем каждый, включая шефа, имел один голос. Совет в свою очередь был ответствен перед труппой. Таким путем предполагалось покончить с «коридорной политикой», фальшивыми слухами и интригами.

Артисты восприняли мой проект с известным сомнением. Ведь намного удобнее, оставаясь в стороне, жаловаться, что, мол, решения принимаются через нашу голову, чем разделять общую ответственность. Многие высказывали опасения в отношении актерского совета, опасения, развеявшиеся очень скоро. Совет исправно нес груз ответственности и всерьез принимал участие в жизни театра. Появилась возможность на удивление объективно, отбросив собственные выгоды и узкоэгоистические мнения, сочетать строгость и понимание в отношении к коллегам. Руководитель, обладавший достаточной силой, чтобы сработаться с советом, извлекал огромную пользу из его поддержки — или критики.

Административный аппарат, из-за малочисленности своего состава, был перегружен работой. Секретарь директора осуществляла одновременно контакты с прессой. Костюмерные мастерские находились в плачевном состоянии. Из штатных художников-декораторов кто болел, кто спился. Телефонная связь была понятием неизвестным.

В здании Драматена располагался громадный ресторан, печально известный своей отвратительной кухней и сомнительной клиентурой. Вместе с министром мы осмотрели его помещения. В разделочной засорился слив, пол на сантиметр был залит сточной водой, а кафельные стены заляпаны серыми жирными червяками тошнотворной консистенции.

Ресторан выселили, мы заняли их помещение. Все было

запущено, грязно, неудобно. Произведенная ранее реконструкция ненамного улучшила ситуацию. Когда кончились деньги, строительное управление прервало работы. В результате вентиляционные трубы из туалетов первого яруса обрывались прямо за фойе второго яруса, вместо того чтобы, снабженные вытяжкой, доходить до крыши. При определенном направлении ветра вонь била в нос.

Да и художественная часть не избежала болезненных проблем. Самую серьезную из них звали Улоф Муландер. Десятки лет он пребывал в роли Мастера, постоянно соперничая с Альфом Шёбергом. Сейчас ему было за семьдесят. Старость еще больше обострила его беспокойство, стремление к совершенству, требовательность к актерам и сотрудникам. Измученный человек, причинявший мучения другим.

Его постановки сметали все временные барьеры. Из-за прихотей его нрава театр лихорадило, но это была не созидательная лихорадка, а разрушительная. Никто не оспаривал его гениальности, но все чаще с ним отказывались работать. Правление поручило мне сообщить Улофу Муландеру, что его деятельность в Драматене завершена.

Я письмом попросил его о встрече. Он предпочел явиться ко мне в кабинет.

Как всегда, элегантный, в отутюженном костюме, ослепительно белой сорочке, темном галстуке, вычищенных туфлях. На одном из пальцев холеной белой руки сломался ноготь, это слегка раздражало его. Ледяной взгляд ясных глаз прикован к какой-то точке за моим правым ухом, тяжелая голова Цезаря чуть склонилась набок, на губах — едва заметная улыбка.

Ситуация гротескная. Улоф Муландер — человек, посвятивший меня в святая святых магии театра, давший мне самые первые и самые сильные творческие импульсы. Поручение правления показалось мне вдруг невыполнимым. А тут он еще заговорил о своих планах на следующий сезон: «На пути в Дамаск», все три части на Малой сцене, малое число актеров, единственная декорация — скамья. Говоря, Муландер то и дело трогал сломанный ноготь, улыбался, взгляд устремлен на стену. Внезапно у меня мелькнула мысль о том, что он догадывается о предстоящем и разыгрывает сейчас спектакль, чтобы сделать положение еще более мучительным: «Доктор Муландер, у меня поручение правления». Впервые посмотрев на меня, он перебил: «Поручение правления, говорите? Что же, собственного мнения у вас нет?» Я ответил, что разделяю мнение правления. «Ну и каково же ваше мнение и мнение правления?» Улыбка стала чуть сердечнее. «Вынужден сообщить вам, доктор Муландер, что в

следующем сезоне ваших постановок в этом театре не будет». Улыбка погасла, крупная голова повернулась направо, белоснежная рука по-прежнему была занята сломанным ногтем. «Вот как». И замолчал. Это ужасно, думал я, я делаю чудовищную ошибку. Этот человек должен остаться в Драматене, даже если в результате театр развалится. Я совершаю ошибку, ужасную, непоправимую ошибку. «Ваше решение принесет вам немало неприятностей, господин Бергман, вы об этом подумали?» «Вы сами возглавляли театр, доктор Муландер. И, насколько я знаком с историей театра, принимали множество неприятных решений». Он кивнул и улыбнулся: «Пресса не оценит вашей смелой инициативы, господин Бергман». «Я не боюсь прессы. Я вообще не из боязливых, доктор Муландер». «Значит, не боитесь? — спросил он спокойно, глядя на меня. — Поздравляю. В таком случае ваши фильмы — весьма умелые фантазии».

Он стремительно встал: «Нам больше не о чем говорить, не так ли?» Можно ли начать все сначала, забыть о нанесенной обиде? — пронеслось у меня в голове. Нет, слишком поздно, я совершил свою первую чудовищную ошибку на посту директора театра. Я протянул на прощание руку. Он не взял ее. «Я напишу в правление», — сказал он и вышел.

По традиции без участия руководителя Драматена не принимается ни одно решение — от самых крупных до микроскопических. Так было и так есть до сих пор, несмотря на закон о праве голоса и непрерывный ураган собраний. Драматический театр — безнадежно авторитарное учреждение, а его глава имеет большие возможности формировать и внешнюю и внутреннюю деятельность. Мне нравилась власть, она была приятна на вкус, стимулировала. Личная же жизнь, напротив, переросла в изощренную катастрофу, наблюдать которую я избегал, пребывая в театре с восьми утра до одиннадцати вечера. За сорок два месяца на посту руководителя я поставил семь спектаклей, снял два фильма и написал четыре сценария.

Трудились прилежно все. За сезон мы сделали двадцать два спектакля, девятнадцать на Большой и Малой сценах и три в Чинатеатерн — для юных зрителей.

Зарплаты у актеров были низкими, я повысил их в среднем на 40 процентов, считая, что польза от актеров уж никак не меньше, чем от викария или епископа. Ввел свободный день — ни репетиций, ни спектаклей. Трудившиеся в поте лица актеры, обрадовавшись, использовали этот день для приработка на стороне.

Сперва все наши мероприятия были встречены молчаливым замешательством, однако вскоре начало организовываться

сопротивление, типично шведское, угрюмое сопротивление. Руководители других театров страны собрались в ресторане «Золотая Выдра» для выработки плана действий. Бурно развивающийся театр, естественно, всегда подвергается критике изнутри — и критика эта просочилась в вечерние газеты. Наш школьный театр ругали за то, что он играет в Чинатеатерн, детский — за то, что он играет на Большой сцене. Выражалось недовольство тем, что мы играем слишком много, слишком мало, слишком часто, слишком редко, ставим слишком много классики, слишком много новых пьес. Обвиняли в пренебрежении современной шведской драматургией, а когда мы ставили спектакли современных шведских драматургов, их разносили в пух и прах. Такова уж судьба национального театра на протяжении веков, и с этим ничего не поделаешь.

Не знаю, как там было на самом деле, но мне кажется, было безумно весело, и жутко и весело. Помню страх, страх до тошноты, и в то же время жгучее любопытство перед каждым новым днем. Помню, как карабкался на свой капитанский мостик по узкой деревянной лесенке, ведущей в комнату секретаря и кабинет директора, со смешанным чувством паники и радости. Я усвоил, что речь всегда шла о жизни и смерти, и тем не менее особой важности все эти проблемы не представляли, что здравомыслие и недоразумения были неразлучны, как сиамские близнецы, что в общем результате процент неудач преобладает, что самое опасное — неверие в свои силы, что капитулянтские настроения поражают чаще всего сильнейшего, что жужжание повседневного нытья, проникая сквозь стены и потолки, дает ощущение надежности: мы ругаемся, ноем и хнычем — и смеемся.

Со строго профессиональной точки зрения годы моего пребывания на посту директора театра прошли впустую. Я не развивался, не успевал подумать и хватался за испытанные решения. Когда я в половине одиннадцатого появлялся на сцене, голова была забита неотложными театральными делами. После репетиции меня ждали разговоры и заседания, тянувшиеся до позднего вечера.

«Гедда Габлер» Ибсена была, по-моему, единственной постановкой, принесшей мне удовлетворение. Все остальное — лишь поделки на скорую руку, лоскутное одеяло. За «Гедду» я взялся, вообще-то, потому, что Гертруда Фрид, одна из многих гениальных актрис шведского театра, осталась осенью без крупной роли. С известной долей отвращения принялся я работать над пьесой и обнаружил за маской натужно-блистательного архитектора лицо поэта. Увидел, как запутался Ибсен в своих интерьерах, своих объяснениях, искусно, но

педантично выстроенных сценах, в своих репликах под занавес, своих ариях и дуэтах. Но за всем этим внешним нагромождением скрывалась одержимость саморазоблачения, бездонность которой превосходила стриндберговскую.

К концу первого сезона дали о себе знать неудачи. Премьера «Трех ножей из Вэй» Харри Мартинсона, приуроченная к какому-то непонятному фестивалю в Стокгольме, обернулась сокрушительным провалом. Вскоре состоялась премьера моей комедии «Не говоря уж обо всех этих женщинах» и тоже потерпела убедительное и вполне заслуженное фиаско.

Лето стояло жаркое, но ни у меня, ни у моей жены не было ни времени, ни желания подыскать какую-нибудь дачу. Мы жили в Юрсхольме, парализованные тяжелой, предгрозовой жарой и собственным дурным настроением.

В дневнике, который я вел довольно нерегулярно, появилась запись: «Жизнь обладает той ценностью, которую ты сам в нее вкладываешь», — мысль, безусловно, не отличающаяся оригинальностью, но для меня настолько захватывающе новая, что я не смог ее воплотить.

У моего постоянного помощника Тима лето выдалось нелегкое. Раньше он входил в балетную труппу Городского театра Мальме, но из-за малого роста крупных партий не получал, хотя танцором был способным. В сорок два года он вышел на пенсию, и я взял его к себе помощником. Международное признание осложнило мою жизнь. Кому-то нужно было отвечать по телефону, писать письма, кто-то должен был заниматься выплатами и бухгалтерией, организационными вопросами, кто-то должен был взвалить на себя обязанность стать моей правой рукой.

Тим, опрятный, с высоким лбом, крашеными волосами, узким благородным носом, широко распахнутыми детскими синими глазами, бледной узкой полоской вместо рта, но без горьких складок, был человеком услужливым, приятным, за словом в карман не лез, одержим театром и ненавидел посредственность.

Он наслаждался счастьем в обществе друга, имевшего жену и детей. Жена, как умная женщина, не только не препятствовала их связи, но даже поощряла ее. Для меня Тим стал незаменим. Наши дружеские отношения складывались без особых осложнений. Трагедия разыгралась внезапно, неожиданно. Друг Тима влюбился, Тим, лишившись надежного семейного оплота и регулярного общения, стремглав скатился в болото алкоголизма, токсикомании и самого безудержного разврата. Нежность и близость сменились распутством, проституцией и неприкрытой эксплуатацией. Этот опрятный, пунктуальный, преданный

человек запустил работу и открыто появлялся в компании диковинных типов, от которых ему частенько крепко доставалось.

Иногда он исчезал на несколько дней, иногда звонил и ссылался на желудочный грипп, всегда желудочный грипп. Я уговорил его обратиться к психиатру — не помогло. Широко распахнутые глаза под покрасневшими веками потускнели, вокруг узкого рта собрались горькие складки, грим накладывался все более небрежно, краска на волосах сошла, одежда пропиталась запахом табака и духов.

«Мы не отличаемся верностью, ибо не можем иметь детей. Тебе не кажется, что я был бы хорошей матерью? Приходится жить по уши в дерьме — просто-таки дышать нечем! Вряд ли именно это и называется нежностью или близостью, не так ли? В спасение я не верю. Нет, мое евангелие — полный рот и сзади малую толику. Пожалуй, оно и хорошо, что между нами нет физической близости — она привела бы лишь к ревности и ссорам. Хотя и жаль, что ты даже попытаться не хочешь. Кстати, из нас двоих я в лучшем положении: ведь я и женщина и мужчина. Да и, черт возьми, куда смышленее тебя!»

Тим умер утром в воскресенье, готовя завтрак. На нем был игривый костюм и фартук, украшенный фигурками утенка Дональда. Упал и умер, очевидно, почти мгновенно. Прекрасная смерть для маленького храброго человечка, гораздо больше боявшегося милосердной Смерти, чем свирепой Жизни.

Альф Шёберг подобрал для хора в «Альцесте» рослых молодых актрис, среди которых была многообещающая Маргарета Бюстрём, недавно закончившая театральную школу. Другой режиссер хотел ее занять в крупной роли. Самовольно, не спросив Шёберга, я произвел перемещение. Мое решение было одобрено актерским советом, и список ролей вывесили на доске объяснений. Через пару часов послышался рев, проникавший через двойные двери и метровые, хорошо изолированные стены директорского кабинета, потом грохот и опять вопль. В кабинет ворвался побледневший от гнева Альф Шёберг и потребовал немедленно вернуть ему Маргарету Бюстрём. Я объяснил, что это невозможно, ей наконец-то выпал хороший случай проявить себя, и к тому же я не позволю мне диктовать. Шёберг выразил намерение тут же набить мне морду. Я, ретировавшись под защиту стола заседаний, бросил что-то насчет мужицких замашек. Взбешенный режиссер обвинял меня в том, что с первого же дня я вставлял палки ему в колеса, но теперь чаша его терпения переполнена. Тогда я подошел к нему и предложил немедленно выполнить свое намерение, если такого рода аргументация, по его мнению, принесет пользу. На дергавшемся

лице Шёберга появилась испуганная улыбка, его всего трясло, мы оба тяжело дышали. «Ты у меня сейчас костей не соберешь», — произнес он, и в это мгновение и он и я осознали умопомрачительный комизм ситуации, хотя до смеха было еще далеко.

Опустившись на первый попавшийся стул, Шёберг недоуменно спросил, как два относительно хорошо воспитанных человека могут так по-идиотски вести себя. Я пообещал вернуть ему Маргарету Бюстрём, если актерский совет даст согласие. Презрительно отмахнувшись, он вышел из комнаты. При следующей нашей встрече мы больше об этом деле не говорили. И в дальнейшем мы по многим вопросам — и художественным и личным — круто расходились во мнениях, но спорили вежливо, без злобы.

Первый раз я посетил Драматен на Рождество 1930 года. Давали сказку Гейерстама «Клас Большой и Клас Маленький» в постановке двадцатисемилетнего Альфа Шёберга. Это была его вторая работа. Я помню спектакль до мелочей: свет, декорации, восход солнца, крошечных лесных фей в национальных костюмах, лодку на реке, старинную церквушку с привратником — святым Петром, ажурный дом. Я сидел сбоку, во втором ряду второго яруса, рядом с дверью. Иногда, когда на час-другой между репетициями и вечерним спектаклем в театре наступает тишина, я сажусь на свое прежнее место и каждой клеточкой своего тела ощущаю, что это неудобное, дряхлое помещение и есть мой истинный дом. Этот огромный, погруженный в тишину и полумрак зал суть... Тут я после длительных колебаний хотел написать: «начало и конец и почти все между ними». Выраженное обычными словами, это звучит смешно и напыщенно, но я не могу найти лучшей формулировки, поэтому пусть так и останется: суть начало и конец и почти все между ними.

Альф Шёберг как-то рассказал, что когда он вычерчивал сценическую площадку, набрасывая какую-нибудь мизансцену, ему не требовались ни линейки, ни размеры — рука точно знала масштабы.

Так и остался он в Драматене, начав карьеру молодым, страстным актером (его преподаватель Мария Шильдкнехт говорила: он был очень способным артистом, но слишком ленивым, потому и стал режиссером). Остался до самой смерти — сделав два или три спектакля в других театрах, остался в Драматене — властелином и пленником. Мне кажется, я никогда не встречал человека столь противоречивого в своей сути. На лице — маска Каспера, где все подчинено воле и беззастенчивому обаянию. А за решительным, искусным фасадом боролись — или

мирно уживались — социальная неуверенность, интеллектуальные страсти, самопознание, самообман, мужество и трусость, черный юмор и гробовая серьезность, мягкость и жестокость, нетерпение и бесконечное терпение. Как и все другие режиссеры, он тоже играл роль режиссера, а поскольку был талантливым актером, исполнение получалось убедительным: ясновидец и практик.

Я никогда не соперничал с Шёбергом. В театре равного ему не было — факт, воспринимавшийся мною без всякой горечи. Его интерпретации Шекспира я считал совершенными, мне нечего было добавить, он знал больше меня, видел глубже и увиденное воплотил на сцене.

Его великодушие нередко вызывало мелочную, бесцветную критику. Я и не подозревал, что это серенькое нытье задевало его.

Больнее всего на Шёберга подействовала, по всей видимости, наша провинциальная культурная революция. В отличие от меня он был вовлечен в политическую жизнь и произносил пламенные речи о театре как оружии. Подули новые ветры и в Драматене, и Шёберг собрался вместе с молодежью на баррикады. Велико же было его огорчение, когда ему пришлось прочитать призывы сжечь Драматен, а Шёберга и Бергмана повесить на часах Турнберг на Нюбруплан.

Возможно, какой-нибудь храбрый ученый наберется когда-нибудь духу и изучит, какой вред — прямой и косвенный — нанесло нашей культурной жизни движение 68-го года. Возможно, хотя вероятность ничтожна. Разочарованный революционеры до сих пор сидят в редакциях, вцепившись в письменные столы, и талдычат о «сбившемся с пути обновлении». Они не понимают (да и как им понять!), что своими действиями нанесли смертельный удар по развитию, которое ни в коем случае нельзя отрывать от его корней. В других странах, где дозволено многообразие идейных течений, традиции и образование не подверглись разрушению. Лишь в Китае и Швеции высмеивали и унижали своих художников и учителей.

Меня самого — на глазах сына — выставили из государственного театрального училища. В ответ на мои слова о том, что студентам, дабы донести до масс свои революционные идеи, необходимо овладеть актерской техникой, они засвистели, размахивая красной книжицей, вкрадчиво поощряемые тогдашним ректором Никласом Бруниусом. Молодежь, быстро и умело организовавшись, оккупировала средства массовой информации, оставив нас как использованное старье в жестокой изоляции. Лично мне работать практически не мешали. Мои зрители находились в других странах, обеспечивая мне средства к

существованию и поддерживая хорошее настроение. Я презирал фанатизм, знакомый с детства: та же эмоциональная тина, только с иными знаками альтерации. Вместо свежего ветра — деформация, сектантство, нетерпимость, боязливая угодливость и злоупотребление властью. Модель неизменна: идеи обюрокрачиваются и извращаются. Иногда процесс идет быстро, иногда занимает сто лет. В 1968 году он набрал стремительную скорость. За короткое время был нанесен потрясающий и трудно исправимый ущерб.

Последние годы жизни Альфа Шёберга отмечены великими свершениями. Он перевел и переработал «Послание к Марии» Клоделя, неувядаемое произведение. Поставил брехтовского «Галилея» — сооружение, сложенное из массивных глыб, к наконец, «Школу жен» — игривый, цельный, мрачный, лишенный сентиментальности спектакль.

Наши с ним кабинеты были расположены в одном коридоре на уровне второго яруса, и мы нередко встречались, спеша с репетиций, на репетиции или на собрания. Порой, усевшись на шаткие стулья, разговаривали, сплетничали или ругались. Почти никогда не заходили друг к другу, не общались вне работы — мы сидели на деревянных стульях иногда по многу часов, это стало ритуалом.

Сегодня, спеша к себе в кабинет по затхлому, лишенному окон, сонно освещенному коридору, я думаю — а вдруг встретимся!

В Эребру построили новый театр. Драматен пригласили на торжественное открытие. Мы выбрали не опубликованную ранее комедию Яльмара Бергмана, овеянного славой трудного сына города. В пьесе, называвшейся «Любовница его милости», изящно, но не слишком оригинально действовали герои из «Завещания его милости» плюс неожиданно появлявшаяся прелестная любовница. Я попросил неизменного «его милость» Улофа Сандборга вновь нацепить на себя форму и нос. Он с удовольствием принял предложение.

Незадолго до начала репетиций Улоф Сандборг заболел и был вынужден отказаться от роли. Я обратился к Хольгеру Лёвенадлеру, который согласился без всякого энтузиазма, ибо прекрасно знал, что Сандборг оставался несравненным и наши предприимчивые критики не преминут прибегнуть к уничижительным сравнениям. За несколько дней до поездки в Эребру режиссера Пэр-Акселя Браннера разбил радикулит, и ему пришлось остаться дома. Сам я уже неделю был сильно простужен, но посчитал все-таки необходимым присутствовать на торжествах, чтобы произнести речь и передать подарки.

Новый театр оказался отвратительным монстром из бетона, покоившимся на презрении к актерскому искусству. К этому следует добавить, что в Эребру имелся один из красивейших в стране театров, пришедший в полный упадок из-за шведского равнодушия к культурной традиции.

За день до премьеры мы провели репетицию и установили свет. У Андерса Хенриксона, игравшего Викберга, внезапно начались сильнейшие приступы головокружения и выпадения памяти. Он отказался вызывать врача, решив играть, поскольку иначе весь праздник пошел бы насмарку. В день премьеры у меня у самого температура подскочила до 40 градусов, к чему добавилась неудержимая рвота. Я прекратил сопротивление, возложив заботу о корабле на экономического директора.

И вот — торжественное открытие. Биби Андерссон, одетая в костюм Сказки, героини пьесы того же названия Яльмара Бергмана — ее коронная роль, — мастерски читает пролог, написанный Ларсом Форсселем. Только-только она начала, как во втором ряду внезапно замертво падает какой-то зритель. Его спешно выносят, и пролог повторяется с начала. Атмосфера сгущается. Андерс Хенриксон, хотя и чувствовал себя намного хуже, настоял на своем участии. Представление, где одну из главных ролей исполнял суфлер, превратилось в кошмар. Критика разнесла спектакль в пух и прах, а Андерсу Хенриксону за его храбрость достались одни тумаки.

Люди, связанные с театром, суеверны, что вполне понятно. Наше искусство иррационально, в известной мере необъяснимо и в высшей степени подвержено игре случая. И мы спрашивали себя (в шутку, разумеется), не вмешался ли в дело сам Яльмар Бергман. Наверное, он не хотел видеть свою пьесу на сцене и потому пытался нам помешать.

Мне не раз приходилось переживать подобное. В последнее время мне выражал свое неудовольствие Стриндберг. Я работал над «Пляской смерти» — меня забрала полиция. Во второй раз взялся за «Пляску смерти» — тяжело заболел Андерс Эк. Репетировал в Мюнхене «Игру снов» — Адвокат сошел с ума. Через несколько лет начал работать над «Фрекен Жюли» — Жюли сошла с ума. Собирался поставить «Фрекен Жюли» в Стокгольме — актриса, которую я намечал на роль Жюли, забеременела. Когда я приступил к работе над «Игрой снов», сценограф впал в депрессию, Дочь Индры забеременела, а я сам подцепил какую-то мистическую тяжелую инфекцию, которая окончательно поставила всю затею на грань провала. Столько неудач подряд не может быть случайностью. Стриндберг по какой-то непонятной причине отвергает меня. Мысль эта была огорчительной, потому

что я его люблю.

И все-таки как-то ночью он позвонил, и мы договорились встретиться на Карлавеген. Потрясенный, исполненный благоговения, я тем не менее не забывал правильно произносить его имя — Огуст. Он был приветлив, чуть ли не сердечен — он посмотрел «Игру снов» на Малой сцене, но ни словом не обмолвился о любовно-пародийной сцене в пещере Фингала.

На следующее утро я понял, что, имея дело со Стриндбергом, надо рассчитывать на периоды немилости, но на этот раз недоразумение было исчерпано.

Я рассказываю все это как забавный анекдот, но в глубине своего наивного сознания вовсе не считаю это анекдотом. Меня с детства окружали призраки, демоны и другие создания без имени и родины.

Однажды, в десятилетнем возрасте, я оказался запертым в морге Софияхеммет. Больничного сторожа звали Альгот. Он был здоровенный, неуклюжий, с круглой головой, желтовато-белесыми постриженными ежиком волосами, узкими ярко-синими глазками под белыми бровями и с красными, отливавшими синевой жирными руками. Альгот перевозил трупы и охотно рассказывал о смерти, мертвецах, агонии и летаргическом сне. Морг состоял из двух помещений — часовни, где родственники прощались со своими дорогими покойниками, и внутренней комнаты, где приводили в порядок трупы после вскрытия.

Солнечным весенним днем Альгот, заманив меня во внутреннюю комнату, откинул простыню с только что поступившего трупа. Это была молодая женщина с длинными черными волосами, пухлыми губами и округлым подбородком. Я долго разглядывал ее, пока Альгот занимался своими делами. Вдруг я услышал грохот — наружная дверь захлопнулась, оставив меня наедине с покойниками: красивой молодой женщиной и еще пятью-шестью трупами, сложенными на тянувшихся вдоль стен полках и едва прикрытыми простынями в желтых пятнах. Я колотил в дверь и звал Альгота — напрасно. Я был один на один с мертвецами или с людьми, заснувшими летаргическим сном, в любой момент кто-нибудь из них мог встать и вцепиться в меня. Сквозь молочно-белые стекла сочилось солнце, над моей головой набухала уходившим в поднебесье куполом тишина. Кровь стучала в ушах, было трудно дышать, ледяной холод сковал желудок, опалил кожу.

Я присел на скамеечку в часовне и закрыл глаза. Стало жутко, ведь надо следить, что происходит у тебя за спиной или там, куда ты не смотришь. Тишину нарушило глухое ворчание. Я знал, что это было. Альгот говорил, что мертвецы чертовски громко

пукают, звук особого страха не наводил. Мимо часовни прошли какие-то люди, я слышал их голоса, различал их фигуры через застекленные окна. К своему удивлению, я не закричал, а продолжал сидеть, молча и неподвижно. Через какое-то время люди исчезли, голоса стихли.

Внезапно возникшее жгучее, щекочущее желание заставило меня встать и направиться в комнату с покойниками. Девушка, недавно прошедшая обработку, лежала на деревянном столе посреди комнаты. Я стянул с нее простыню, обнажив тело — от горла до лобка тянулась полоска пластыря, — поднял руку и дотронулся до ее плеча. Я слышал о смертном холоде, но кожа девушки была не холодная, а горячая, я передвинул руку на ее маленькую, обвисшую грудь с черным, торчащим соском. Живот покрыт мягким темным пушком, она дышит, нет, не дышит, открыла рот? За изгибом губ белеют зубы. Перехожу на другое место, чтобы видеть холмик между ногами — дотронуться до него я не решаюсь.

Теперь я отчетливо понимаю, что она глядит на меня из-под полуопущенных век. Все мешается, время замирает, резкий свет усиливается. Альгот рассказывал, как один его коллега, решив подшутить над молоденькой медсестрой, положил ампутированный обрубок руки ей под одеяло. Когда медсестра не явилась к утренней молитве, ее стали искать и пошли к ней в комнату. Она сидела голая на кровати, вцепившись зубами в обрубок руки, оторвав от нее большой палец и засунув его себе между ног. Вот и я сейчас сойду с ума точно так же. Я бросился к двери, которая отворилась сама собой. Молодая женщина позволила мне убежать. Я пытался отобразить этот эпизод еще в «Часе волка», но неудачно, и вырезал его. Он возвращается в прологе «Персоны», а окончательно завершение получает в «Шепотах и криках», где покойница не может умереть и вынуждена тревожить живых.

Привидения, черти и демоны — добрые, злые или просто надоедливые, — они дули мне в лицо, пихались, кололи иголками, дергали за свитер. Говорили, шипели, шептали — отчетливые голоса, не слишком разборчивые, но игнорировать их было невозможно.

Двадцать лет назад мне делали операцию — весьма простую, тем не менее под общим наркозом. По ошибке дали чересчур большую дозу. Шести часов жизни как не бывало! Не помню, чтобы мне что-нибудь снилось, время перестало существовать: шесть часов, шесть микросекунд — или вечность.

Операция прошла успешно. Всю сознательную жизнь я боролся со своим отношением к Богу — мучительным и

безрадостным. Вера и неверие, вина, наказание, милосердие и осуждение были неизбежной реальностью. Мои молитвы смердели страхом, мольбой, проклятием, благодарностью, надеждой, отвращением и отчаянием: Бог говорил, Бог молчал. *Не отвращай от меня лика Твоего.*

Исчезнувшие во время операции часы принесли успокоение: ты появляешься на свет без всякой цели, живешь без всякого смысла. Смысл заключен в самой жизни, а умирая, угасаешь. Из «быть» превращаешься в «не быть». И Богу вовсе не обязательно пребывать среди наших все более капризных атомов.

Это озарение вселило в меня чувство определенной уверенности, которое решительно изгнало страх и сумятицу. Но зато я никогда не отрицал существование моей второй (или первой) жизни, моей духовной жизни.

Я вернулся из Эребру с температурой 41 градус, почти в бессознательном состоянии. Врач определил двустороннее воспаление легких. Накачиваемый антибиотиками, я лежал в постели и читал пьесы.

Мало-помалу я встал на ноги, но полностью не оправился, так как у меня регулярно повышалась температура, держась по нескольку дней. В конце концов меня положили в София-хеммет на обследования. Из окон палаты, выходивших в парк, видны были желтый пасторский особняк на холме и часовня, около которой сновали одетые в черное фигуры с гробами и без оных. Я вновь оказался в исходной точке. Я старался как можно чаще ходить в театр, дабы развеять слухи о моей предстоящей кончине. Кстати, состояние мое ухудшилось, добавилось нарушение чувства равновесия. Приходилось, замирая в неподвижности, фиксировать взгляд на какой-нибудь точке. Стоило пошевелить головой — и на меня валились стены и мебель, начиналась рвота. Я превратился в глубокого старика, осторожно переставлял ноги, держался за дверные косяки и еле-еле ворочал языком.

В один прекрасный день болезнь отпустила, я чувствовал себя почти нормально. Ингрид фон Русен, мой близкий друг, погрузила меня в свою машину и отвезла на Смодаларё. Был ветреный солнечный апрельский день, на северных склонах еще белели островки снега, а с подветренной стороны уже пригревало. Мы, расположившись на крыльце дачи рядом со старым дубом, принялись уплетать бутерброды, запивая их пивом. Говорить нам с Ингрид, которую я знал уже семь лет, особенно было не о чем, но мы любили общество друг друга.

Я придерживался больничного распорядка: рано вставал, завтракал, совершал, если мог, короткую прогулку по парку, звонил в театр, чтобы обсудить последние катастрофы, читал

газеты и усаживался за письменный стол проверить, способен ли я, несмотря ни на что, еще творить.

Целый месяц, а может, и больше, пришлось мне ждать, пока образы, бесконечно неохотно высвобождаясь из моего сознания, стали формироваться в сомнительные слова и неуклюжие фразы.

По контракту, заключенному со «Свенск Фильминдустри», я должен был в июне приступить к съемкам фильма под названием «Каннибалы». Предприятие задумывалось грандиозное. Уже в конце марта мне стала ясна его нереальность, поэтому я предложил сделать *небольшой* фильм с двумя героинями. Когда директор компании вежливо поинтересовался, о чем будет этот фильм, я уклончиво ответил, что речь идет о двух молодых женщинах, они сидят на берегу в огромных шляпах и пристально изучают руки друг друга. Директор, сохраняя невозмутимость, с энтузиазмом приветствовал столь блестящий замысел. Итак, в конце апреля я, сидя за письменным столом в больничной палате, отмечал приход весны вокруг пасторского особняка и морга.

Женщины все еще занимались сравнением своих ладоней. Однажды я обнаружил, что одна из них нема, как и я. Вторая — разговорчива, суетлива и заботлива, как и я. Писать обычный сценарий у меня не было сил. Сцены рождались в невыносимых муках, сформулировать мысль в словах и фразах было почти невозможно. Связь между механизмом воображения и шестеренками его материализации была нарушена или сильно повреждена. Я знал, что хочу сказать, но сказать не мог.

Работа продвигалась черепашьими шагами, день за днем, прерываемая вспышками температуры, нарушением равновесия и усталостью от безнадежности. Время поджимало. Надо подыскивать исполнителей. Но тут у меня уже был план действий. Раз или два в неделю я обедал у своего врача и друга Стюре Хеландера. Он был страстным фотолюбителем. В окрестностях Луфутена снимали фильм по «Пану» Гамсуна под многообещающим названием «Лето коротко». Будучи близкими друзьями Биби Андерссон, Хеландер с женой побывали на съемках. Доктор сделал множество фотографий, а так как я люблю их рассматривать, он показал мне свой улов. В основном на них были запечатлены его жена и горы, но два снимка приковали мое внимание :Биби Андерссон, сидящая на фоне темно-красной деревянной стены, а рядом с ней — молодая актриса, которая была и похожа и в то же время не похожа на Биби. Я узнал актрису, она входила в состав норвежской делегации, посетившей год назад Драматен. На нее возлагали большие надежды, она уже сыграла и Джульетту и Маргариту. Звали ее Лив Ульман.

Обеих женщин разыскали — после окончания съемок они отправились отдохнуть в Югославию вместе с законными супругами.

Сезон в Драматене закончился, я наконец-то завершил работу над сценарием и встретился с актрисами — и довольными и напуганными поставленной перед ними задачей.

На пресс-конференции настойчиво дали о себе знать нарушения вестибулярного аппарата. На уговоры репортеров сфотографироваться вместе с дамами под какой-нибудь березкой мне, конечно, следовало бы ответить отказом — я не мог пошевелиться. На снимке изображены три бледные, несколько испуганные фигуры, все почему-то повернувшие головы влево. Увидев этот снимок, Чель Греде прокомментировал: «Старая дива прогуливает своих борзых».

Определили день начала съемок, выбрали место — Форё. Сделать выбор не составило труда: Форё с давних пор был моей тайной любовью. Вообще-то, удивительно. Я вырос в Даларна, ландшафт этого края, его реки, горы, леса, вересковые пустоши глубоко укоренились в моем сознании. И все-таки — Форё.

Дело было так: в 1960 году мне предстояло снимать фильм «Как в зеркале» о четырех людях, попавших на остров. В первой же сцене они появляются из сумеречного бурного моря. Мне почему-то захотелось снимать на Оркнейских островах, хотя я никогда там не был. Производственное начальство, ломая руки от предстоящих расходов, выделило в мое распоряжение вертолет, чтобы я быстренько смог изучить шведское побережье. Осмотр еще больше укрепил мою решимость провести съемки на Оркнейских островах. Доведенное до отчаяния руководство предложило Форё. Остров напоминает Оркнейские острова, зато намного дешевле. Практичнее. Доступнее.

Чтобы покончить со всеми спорами, мы отправились штормовым апрельским днем на Готланд — скоренько осмотреть Форё и принять окончательное решение насчет Оркнейских островов. Ветхое такси, встретив нас в Висбю, доставило сквозь снег и дождь к парому. Вдоволь накачавшись на волнах, мы оказались на Форё и, громыхая, потащились по скользким извилистым дорогам вдоль побережья.

В фильме есть кадр: выброшенный на берег остов корабля. Мы обогнули скалу и увидели его, остов русского рыболовного судна, точно с том виде, в какой я его изобразил. Старый дом должен был стоять в небольшом саду со старыми яблонями. Мы нашли сад, дом можно построить. Нужен был каменистый берег. Мы нашли каменистый берег, тянувшийся в бесконечность.

Наконец, такси добралось до причудливых скальных уступов

на северной оконечности острова. Сгибаясь под шквальным ветром, мы со слезами на глазах рассматривали этих таинственных идолов, устремивших свои тяжелые лбы навстречу прибою и темнеющему горизонту.

В общем-то, я так и не знаю, что произошло. Выражаясь высокопарно, можно сказать, что я обрел свой край, свой истинный дом. А желая быть остроумным, можно говорить о любви с первого взгляда.

Я признался Свену Нюквисту, что хотел бы прожить на острове всю оставшуюся жизнь, построить дом на том месте, где стоял дом-декорация из фильма. Свен предложил поискать место на километр-два южнее. Там и стоит сейчас мой дом. Он был построен в 1966—1967 годах. Привязанность к Форё объясняется несколькими причинами. Первая — чисто интуитивная: это — твой край, Бергман, твой ландшафт. Он соответствует твоим глубинным представлениям о форме, пропорциях, красках, горизонтах, звуках, тишине, свете, отражениях. Здесь есть надежность. Не спрашивай почему — любые объяснения будут рациональными, сформулированным задним числом. Ну например, в таком духе: ты в своей профессии стремишься к упрощению, пропорциональности, напряженности, расслаблению, дыханию. Ландшафт Форё предоставляет тебе все это в полной мере.

Вторая причина. Мне необходим какой-то противовес театру. На берегу я могу дать волю гневу, могу выть от бешенства. В лучшем случае взлетит в небо чайка. На сцене же произойдет катастрофа.

Сентиментальные причины. Я смогу уйти от мира, читать книги, которые я не читал, предаваться медитации, очиститься душой. (Уже спустя два-три месяца я безнадежно погряз в проблемах островитян, в результате чего появился фильм «Форё — документ 69».)

Еще сентиментальные причины. Во время съемок «Персоны» нас с Лив захлестнула любовная страсть. Основательно обманувшись в оценке наших отношений, я построил дом в расчете на совместную жизнь на острове. Забыв спросить мнение Лив. Позднее я узнал его из ее книги «Изменения». Ее свидетельства, как мне кажется, в основном любяще-правдивы. Она прожила на острове несколько лет. Мы по мере сил боролись с нашими демонами. А потом она получила роль Кристины в «Эмигрантах». Это увело ее в дальние края. Когда она уезжала, мы уже все знали.

Одиночество, если оно добровольное, можно переносить. Я. пустил корни, выработал педантичный порядок: рано вставал,

гулял, работал, читал. В пять часов приходила соседка, готовила обед, мыла посуду и уходила. В семь я вновь был один. Появился повод разобрать всю машину и проверить детали. Я был недоволен своими последними фильмами и постановками, но недовольство это возникало задним числом. Пока шла работа, я защищал и себя и свои творения от разрушительной самокритики. И только потом был в состоянии правильно оценить недостатки и слабые места.

* * *

Весной 1939 года я отправился к Паулине Бруниус, возглавлявшей тогда Драматен, и попросил принять меня в театр на любую работу, лишь бы мне позволили находиться там и учиться мастерству. Фру Бруниус, изящная, красивая дама с бледным лицом, ярко-голубыми, чуть навыкате глазами и хорошо поставленным голосом, за три минуты объяснила, что с *огромным* удовольствием возьмет меня, как только я закончу учебу. Она рассуждала об образовании как о наилучшем пути к овладению театральным искусством, особенно для того, кто замахнулся на профессию режиссера. Увидев мое искреннее отчаяние, она похлопала меня по руке и сказала: «Мы будем вас иметь в виду, господин Бергман». Через четыре минуты я стоял на улице с разбитыми мечтами. Надежды, которые я возлагал на свою встречу с фру Бруниус, были беспредельны.

Только много времени спустя я узнал, что отец связался с фру Директором — он был с ней знаком по служебным делам — и высказал свои пожелания относительно моей учебы. Может, это было и к лучшему.

От безысходности я обратился в Оперу, изъявив желание работать кем угодно — бесплатно. Директором недавно был назначен Харальд Андре — высокий усатый человек с красным, обветренным лицом и белоснежными волосами. Сквозь узенькие щелки прищуренных глаз он наблюдал, как я дрожу от страха, а потом что-то благожелательно пробормотал, я не расслышал что. Неожиданно я оказался принятым на должность ассистента режиссера. Согласно какому-то постановлению середины прошлого века мне полагалось вознаграждение в сумме 94 риксдалера в год.

Харальд Андре был выдающимся режиссером и умелым руководителем. Оркестром дирижировали Лео Блех, Нильс Гревиллиус и Исай Добровейн. Театр располагал постоянной, высококвалифицированной труппой, довольно приличным хором, ужасающим балетом, целой армией рабочих сцены и администрацией в духе Кафки. Репертуар — обширный и разнообразный, от «Миньон» до «Кольца Нибелунга». Немногочисленная публика отличалась верностью и консерватизмом, ценила своих любимцев и не пропускала ни одного спектакля. Центром вселенной была сценическая контора, где распоряжался маленький человечек, похожий на доктора Мабузе[67], — он всегда был на месте.

Сцена — просторная, но сложная для работы, пол спускался

под уклон к рампе, кулисы отсутствовали, зато имелось четыре трюма и громадные колосники.

Автором внушительного количества декораций был Турольф Янссон. Они представляли собой величественную театральную живопись старой школы: незабываемая живая береза посреди емтландского ландшафта Арнъёта, жуткий лес с порожистой речкой и пастбищенскими постройками для стриндберговской «Невесты-девственницы» и весенний пейзаж для состязания «мейстерзингеров». Вдохновение и знание. Задники и боковины. Акустически выигрышные, хорошо выполненные декорации, которые легко менять и хранить.

Контраст этой слегка ветхой красоте составлял исполненный юмора экспрессионизм немецкого толка Йон-Анда[68]: «Кармен», «Сказки Гофмана», «Отелло».

Осветительная аппаратура — непостижимый антиквариат 1908 года — находилась в руках благородного старика, которого величали Пожарных дел мастером, и его сына, немногословного юнца средних лет. Работали они в узком, напоминавшем коридор помещении слева от сцены и наблюдать за происходящим практически не могли.

В балетном зале, грязном помещении с отвратительной вентиляцией, где гуляли сквозняки, пол имел такой же уклон, что и на сцене. Артистические уборные, расположенные на уровне сцены, были просторны, снабжены окнами, но чем выше, тем непригляднее они становились, санитарные условия ограничены до крайности.

Солидная рабочая сила строила, разбирала, грузила, транспортировала, разгружала декорации. Вообще, все это сплошная мистика. Современные электронные изыски с автомагическим управлением работают хуже, чем неуклюжие механизмы 30-х годов.

У этой мистики есть только одно объяснение: на сцене день и ночь работала постоянная, несколько престарелая, немного спившаяся армия решительных индивидуальностей, понимающих завсегдатаев. У них была ответственность. Они умели работать, они знали свое дело. Возможно, они работали посменно, не знаю. Мне-то, конечно, казалось, что за канаты держатся одни и те же старики, и днем и вечером, год за годом. Трезвость, может, и подвергалась испытанию во время длиннющих пассажей Вагнера и обстоятельного умирания Изольды, но детали декорации появлялись и исчезали на нужный такт, задник поднимался и опускался с нужной скоростью, занавес взлетал и падал с той утонченной артистичностью, которую не заменит никакой мотор с градуированными скоростями. Плыл по морю Летучий

Голландец, серебрился в лунном свете Нил, Самсон рушил храм, скользила по венецианским каналам гондола Баркаролы, летали феи, весенняя буря крушила стены дома Хундинга, за шестнадцать тактов до конца действия давая дорогу брату и сестре, запятнанным кровосмесительной связью.

Изредка случались и осечки. Играли «Лоэнгрина» с Эйнаром Бейроном и Бритой Херцберг в главных ролях. Я находился в осветительской, чтобы следить за световыми моментами в соответствии с режиссерскими указаниями в партитуре. Все шло по программе вплоть до финала. Лоэнгрин пропел свое «Сказание о Граале». Хор на узком, вдающемся в реку мысу звонкими голосами сообщает, что приближается лебедь, впряженный в роскошную раковину, он заберет героя-блондина. Эльза в белом одеянии разбита горем. (Я тайно сгорал от любви к Брите Херцберг.) Лебедь — великолепное творение, созданное совместным вдохновением Турольфа Янссона и начальника производственного цеха — скользил, плыл, изгибал изящную шею и мог даже шевелить крыльями.

За несколько метров до берега лебедь с раковиной вдруг за что-то зацепился. Он дергал и рвался, но не двигался с места. Раковина застряла, сошла с рельс. Лебедь продолжал выгибать длинную шею и подрагивать крыльями, словно катастрофа, постигшая экипаж, его нисколько не волновала. У Вагнера есть указание, что птица на определенный такт ныряет и вместо нее появляется младший брат Эльзы, заколдованный злым Ортрудом. Освобожденный от чар, он бросается в объятия умирающей сестры. Нырнуть лебедь, поскольку он застрял, не мог, но брат Эльзы все же появился. И тут среди обслуживающей братии первого трюма началась паника. А где же, черт возьми, лебедь? Поспешили мы с парнем, надо его опять спустить вниз.

Брат Эльзы исчез, не успев отойти от люка. Теперь они сильно запаздывали по партитуре, юношу еще раз доставили наверх, он, не удержав равновесия, споткнулся об Эльзу, находившуюся в полуобморочном состоянии. По Вагнеру, с колосников спускается голубь, который с помощью золотой нити швартует раковину. После того как Лоэнгрин под элегическое прощальное пение хора займет свое место в раковине, голубю полагается отбуксировать ее в левую кулису. Но так как сейчас лебедь не трогался с места, а раковина села на мель, Лоэнгрин с отчаяния схватился за золотой шнур и покинул сцену под все больше придушенные прощальные звуки хора. Лебедь изогнул свою красивую шею и помахал крыльями. Эльза в полном изнеможении сотрясалась в объятиях брата. Медленно, медленно опустился занавес.

Не одну неделю я бродил по театру, словно невидимка. Никто не обращал на меня внимания. Я пытался осторожно завязать разговор, но от меня пренебрежительно отмахивались. Вечерами я сидел в углу сценической конторы. Это была большая комната с низким потолком и арочным окном до пола. Звонили телефоны, приходили и уходили люди, принимали и давали указания, время от времени в дверях появлялась «звезда». Я вставал и здоровался, на меня бросали рассеянный взгляд, звонок возвещал окончание антракта, гасились сигареты, и все занимали свои места.

Как-то доктор Мабузе, взяв меня за воротник, проговорил: «Некоторым не нравится, что ты сидишь тут в антрактах, иди в проход за сценой». Глотая слезы унижения, я спрятался за дверью балетного зала, где и был обнаружен красивой танцовщицей с итальянской фамилией, неожиданно включившей свет в зале. «Уж больно ты интересуешься балетом. Нам не нравится, что ты смотришь, как мы работаем», — сказала она.

Так я проболтался два-три месяца в этой ничейной стране безнадежности, после чего меня отправили к Рагнару Хюльтен-Каваллиусу, который трудился над постановкой «Фауста» Гуно. Этого длинного, худого человека с чересчур благородными чертами лица прозвали Фьяметтой.

Для меня Рагнар, несмотря ни на что, был фигурой. Я знал, что он сделал много фильмов, написал множество сценариев и поставил бесчисленное количество опер. Видел, как он работает на сцене с певцами и хористами. Хриплый, чуть шепелявый голос, голова выдвинута вперед, плечи вздернуты, длинные пальцы подрагивают. Знающий, темпераментный и старомодный. Со «звездами» он был мягок, любезен, шутлив, с остальными — саркастичен, язвителен, бесцеремонен. С узких губ никогда не сходила улыбка — был ли он приветлив или зол.

Очень скоро разглядев мою полнейшую некомпетентность, он разжаловал меня в мальчики на побегушках, с которым обращались хуже некуда. Иногда он щипал меня за щеку, чаще же всего я бывал благодарной жертвой его сарказма. Несмотря на презрение и страх, я многое почерпнул из его тщательно, до мелочей продуманных указаний. Вместе с гениальным художником Драматена Свеном Эриком Скавониусом он методично создавал пронизанный настроением спектакль из старой популярной оперы Гуно.

Великолепный певец-бас Леон Бьёркер, не умевший читать нот, сказал мне однажды: «Почему это вы так надменны? «Задница», что ли?» Я глядел на него во все глаза, ничего не соображая, — надменен? А Бьёркер продолжал: «В этом театре

принято здороваться друг с другом, мы с вами встречаемся ежедневно, а вы ни разу не соизволили поздороваться. Вы и вправду «задница»?» Я ничего не мог ответить, ибо не понимал, о чем он говорит, не подозревая о пущенной кем-то сплетне: новая «задница» Фьяметты.

Фьяметта бывал нагл, ироничен, мог обидеть, но никогда не приставал. В общем-то, он мне даже нравился, я восхищался его преданностью и неисчерпаемым упорством — жеманный, злобный, ожесточившийся пожилой господин посредственных способностей, которому в юности предсказывали блестящее будущее.

Как-то после репетиции мы остались в зале вдвоем — я отмечал мизансцены в партитуре, он, грустный и печальный, сидел, опершись о мой стол. «Господин Бергман, — сказал он тихо, с мольбой, — что мне делать? Ёрдис упрямится, настаивает на косах. Это же смешно. Ведь у нее же голова словно водянкой раздута!» он умолк, покачиваясь на стуле? «Странную вы выбрали metier[69], господин Бергман. В старости она может привести к большому разочарованию». Исай Добровейн должен был ставить «Хованщину» Мусоргского и сам же дирижировать. С ним прибыли его собственные ассистенты. Вокруг вился рой помощников. Я воспользовался возможностью тайком следить за его работой — впечатление было ошеломляющее.

Добровейн был по происхождению русским евреем из Москвы, с огромным послужным списком и, по слухам, с тяжелым характером. Мы же увидели импозантного вежливого человека небольшого роста, с красивым лицом и седыми висками, которые ему очень шли. Выходя на сцену или становясь за дирижерский пульт, он преображался. Перед нами был выдающийся европеец, решительно и невзирая на лица поднимавший художественный уровень театра. Это вызывало — по очереди — просто удивление (что? разве можно такое говорить? Я такой же человек, как он!), сдерживаемое бешенство (я ему когда-нибудь врежу!), покорность (он, конечно, дьявол, но Дьявол с большой буквы!) и, наконец, полное обожание (потрясающе! Подобного ни мы, ни театр еще не переживали!).

С тихой радостью я наблюдал, как этот небольшой человечек гонял Бьёркера по сцене — не один, не два раза, а тридцать. Наша великая певица-альт, прелестная черноволосая Гертруда Польсон-Веттерген, влюбившись без памяти, пела как никогда раньше. Эйнару Бейрону ежедневно доставались оскорбления — заслуженно. Медленно, но верно решительные меры делали свое дело, и из злобного провинциального премьера рождался — нет, не певец (чудеса тоже не беспредельны), но хороший актер.

Быстро разобравшись, что хор хоть и превосходен, но плохо обучен, Добровейн начал работать с ним — любовно и с величайшим тщанием. Лучшие свои часы он проводил с хором.

Мне удалось пару раз поговорить с Добровейном, и хотя мой пиетет и языковой барьер сильно затрудняли общение, кое-что все-таки я понял. Он сказал, что боится «Волшебной флейты» — как ее сценического воплощения, так и музыкального. Жаловался на глубокомысленные, перегруженные декорации художников: сцена, на которой состоялось самое первое представление, не могла быть большой, представьте себе только Тамино и три двери — ведь музыка указывает количество шагов от двери до двери, сцены меняли просто и быстро, только задники и кулисы, без пауз на возведение новых декораций. «Волшебная флейта» родилась в интимном деревянном театрике с самым элементарным оборудованием и фантастической акустикой. Хор поет пианиссимо за сценой: «Pamina lebt noch»[70]. Добровейн мечтал о молодых певцах, молодых виртуозах. Большие арии — медальонная ария, ария до минор, колоратуры Королевы Ночи — обычно исполнялись чересчур замшелыми «шишками». Молодой огонь, молодая страсть, молодая резвость — иначе получится нелепо, совсем нелепо.

В фильме «Час волка» я попытался изобразить сцену, затронувшую меня глубже всего: Тамино — один у дворца. Темно, он охвачен сомнением и отчаянием, кричит: «О, темная ночь! Когда ты исчезнешь? Когда обрету я свет в этой мгле?» Хор отвечает пианиссимо из храма: «Скоро, скоро или никогда!» Тамино: «Скоро? Скоро? Или никогда. О вы, таинственные создания, дайте мне ответ — жива ли еще Памина?» Хор отвечает издалека: «Памина, Памина еще жива!»

В этих двенадцати тактах содержатся два вопроса — у последней черты жизни — и два ответа. Когда Моцарт писал оперу, он был уже болен, его коснулось дыхание смерти. В миг нетерпеливого отчаяния он восклицает: «О темная ночь! Когда ты исчезнешь? Когда обрету я свет в этой мгле?» Хор отвечает двусмысленно: «Скоро, скоро или никогда». Смертельно больной Моцарт посылает вопрос в темноту. Из этой темноты он сам отвечает на свой вопрос — *или получает ответ?*

Теперь второй вопрос: «Жива ли еще Памина?» Музыка превращает незамысловатые слова в вопрос вопросов: жива ил Любовь? Существует ли Любовь? Ответ нерешителен, но дает надежду благодаря странному делению имени: «Па-ми-на еще жива!» Здесь речь уже идет не об имени привлекательной женщины, это слово — символ любви: Па-ми-на еще жива! Любовь есть. В человеческом мире существует любовь!

В «Часе волка» камера панорамирует на демонов, получивших благодаря власти музыки несколько мгновений отдыха, и останавливается на лице Лив Ульман. Двойное объяснение в любви, нежное, но безнадежное.

Спустя несколько лет я предложил Шведскому радио поставить «Волшебную флейту». Предложение было воспринято с сомнением и растерянностью. Если бы не властное вмешательство и энтузиазм Магнуса Энхёрнинга, фильм никогда бы не появился на свет. За свою профессиональную жизнь я сделал очень немного музыкально-драматических постановок. По весьма досадной причине: моя любовь к музыке практически безответна. Я страдаю полнейшей неспособностью запомнить или воспроизвести мелодию. Узнаю мгновенно, но с трудом вспоминаю откуда и не могу ни напеть ее, ни просвистеть. Для меня выучить более или менее наизусть музыкальное произведение — точно гору свернуть. День за днем сижу я с магнитофоном и партитурой — иногда эта неспособность парализует меня, иногда кажется нелепой.

В этой ожесточенной борьбе есть, быть может, один положительный момент — я вынужден до бесконечности просиживать над произведением и потому успеваю основательно вслушаться в каждый такт, каждый удар пульса, каждый миг.

Мое творение рождается из музыки. Я не способен идти другим путем, мешает этот мой физический недостаток.

Кэби Ларетеи любила театр, я любил музыку. Своим браком мы взаимно разрушили эту наивную и спонтанно-эмоциональную любовь. На одном концерте я повернулся к Кэби, преисполненный счастья сопереживания, она скептически взглянула на меня: «Неужели тебе *это действительно* понравилось?» В театре происходила та же чертовщина — ей нравилось, мне нет, или наоборот.

Теперь, став просто хорошими друзьями, мы вернулись к своим дилетантским оценкам. Однако не буду отрицать, что за годы жизни с Кэби я приобрел немалые познания в области музыки.

Особенно неизгладимое впечатление произвела на меня учительница Кэби (у всех музыкантов есть учительницы) — своей педагогической гениальностью и удивительной судьбой.

* * *

Андреа Корелли происходила из состоятельной аристократической туринской семьи, воспитывалась, по обычаю того времени, в монастырском пансионате и, получив основательное классическое и языковое образование, поступила в Римскую музыкальную академию, где считалась многообещающей пианисткой. Андреа была привязана к семье, глубоко религиозна и жила под надежной защитой условностей итальянской крупной буржуазии. Красивая, веселая, несколько мечтательная девушка, жадная до интеллектуальной пищи, была окружена поклонниками и вздыхателями — не только из-за своей привлекательности, но еще и потому, что была «хорошей партией». В Академии давал уроки скрипач-виртуоз средних лет из Берлина Иона-тан Фоглер — слегка вяловатый человек в возрасте с седыми висками и огромными черными, сильно косящими глазами. Его игра и демонические чары разбудили страсти.

Андреа, аккомпанировавшая ему на нескольких концертах, влюбилась по уши, порвала с семьей и Академией, вышла замуж за скрипача и стала сопровождать его в кругосветных турне. Позднее Фоглер организовал струнный квартет, получивший мировую известность. Андреа тоже выступала — когда исполнялись фортепьянные квинтеты. Родилась дочь — ее отдали на воспитание сначала родственникам, а потом в интернат.

Вскоре Андреа обнаружила, что Фоглер ей изменяет. Его аппетит на женщин самого разного сорта оказался непомерным. Низенький, косящий господин с круглым животиком, слабым сердцем и одышкой, гениальный музыкант был по-гаргантюански падок на всяческие жизненные удовольствия. Андреа бросила его, он поклялся покончить с собой, она вернулась, и все пошло по-старому.

Она поняла, что любит его без оглядки, и, отбросив всякие условности, стала не только администратором и менеджером квартета, но и твердо, с юмором принялась наводить порядок в амурных похождениях мужа. Подружилась с любовницами, регулируя движение словно некий стрелочник Эроса, сделалась верным другом и советчиком мужа. Врать он не перестал, ибо был не способен говорить правду, но ему больше не надо было камуфлировать свое распутство. Решительной рукой, выказывая большой организаторский талант, Андреа вела корабль с музыкантами по бесконечному морю гастролей — и дома и за границей.

Каждое довоенное лето их приглашали в замок неподалеку от Штуттгарта, расположенный в изумительном по красоте местечке с великолепными видами на горы и реку. Владелица замка, несколько эксцентричная старуха Матильда фон Меркенс, была вдовой промышленного магната. Время не пощадило ни замок, ни его хозяйку.

Тем не менее она продолжала год за годом собирать у себя самых выдающихся музыкантов Европы: Казальса, Рубинштейна, Фишера, Крейслера, Фуртвенглера, Менухина, Фоглера. И каждое лето они откликались на приглашение, ели за ее ценившимся всеми столом, пили прекрасные вина, спали с собственными и чужими женами и создавали великую музыку.

Андреа сохранила талант грубовато-соленого итальянского искусства рассказа, приправленного задорным смехом. Ее умопомрачительные, жуткие, скабрезные, смешные истории взывали к созданию кинофильма, и я решил — с согласия Андреа — сделать из всего этого комедию.

К несчастью, я неправильно расставил акценты — мне стало это ясно слишком поздно, когда фильм был уже непоправимо завершен.

Как-то навещая нас с Кэби в Юрсхольме, Андреа привезла с собой фотографии, запечатлевшие события одного лета в замке Матильды фон Меркенс. Одна из этих фотографий заставила меня взвыть от горя. На ней представлено общество, собравшееся на террасе, очевидно, после обильной трапезы. Пышная зелень захлестнула балюстраду и каменную лестницу, взорвала изнутри мозаику, вскарабкалась на статуи и лепнину. В расставленных там и сам на потрескавшемся полу террасы рваных плетеных креслах отдыхает горстка музыкальных гениев Европы. Потные, слегка заросшие, они курят сигареты. Кто-то так бурно веселится, что его изображение смазалось — это Альфред Корто. Жак Тибо, наклонившись вперед, хочет что-то сказать, шляпа сдвинута на нос. Эдвин Фишер опирается животом на балюстраду. У Матильды фон Меркенс в одной руке чашка кофе, в другой — сигарета. Фоглер сидит с закрытыми глазами, жилет застегнут наглухо. Фуртвенглер, заметив фотоаппарат, успевает растянуть губы в демонической улыбке. В высоких окнах мелькают какие-то женские лица — старческие, раздутые, желчные. Немного в стороне стоит молодая, изысканно одетая и причесанная женщина, ее красота носит восточный характер. Это — Андреа Фоглер-Корелли. Она держит за руку пятилетнюю дочь.

Со стены частично обвалилась штукатурка, в одной оконной раме вместо стекла вставлена фанерка, у купидона отлетела голова. Снимок излучает ощущение вкусного обеда, потной жары,

распутства и тихого запустения. Отрыгавшись, облегчившись, подкрепившись послеобеденным кофе и чем-нибудь покрепче, эти господа соберутся, наверное, в огромной, пропахшей плесенью гостиной Матильды фон Меркенс. Там они творят музыку. Там они безгрешны, как ангелы. Мне было мучительно стыдно за свою поверхностную, надуманную комедию. Полезно, но неприятно. Слишком много было у меня дел, я недавно возглавил Драматен, находился в преддверии первого театрального сезона, был не в силах целиком посвятить себя фильму и пошел наипростейшим путем. Больше всего мне хотелось отказаться от задуманного, но я дал обещание. Контракты были подписаны, все подготовлено до мелочей. Да и сценарий получился веселым, все были довольны.

Порой требуется гораздо больше мужества, чтобы нажать на тормоза, чем запустить ракету. Мне такого мужества не хватило, и я слишком поздно понял, какого рода фильм должен был бы сделать.

Наказание не заставило себя ждать. Фильм потерпел скучное фиаско — зрительское и финансовое[71].

Началась война. Квартет Фоглера продолжал разъезжать по свету. Страна перешла на военное положение, закрылись театры и концертные залы. Но квартет наряду с немногими другими театральными и музыкальными ансамблями получил специальное разрешение на продолжение гастролей.

Осенью Андреа с музыкантами оказались в Восточной Пруссии, недалеко от Кенигсберга. Они жили в маленькой курортной гостинице на берегу моря и давали концерты в близлежащих городках.

Однажды вечером Андреа гуляла одна по берегу. Солнце погружалось в огненную дымку, море было неподвижно. Вдалеке слышались артиллерийские залпы. Вдруг Андреа остановилась, потрясенная сразу двумя сильнейшими ощущениями — она поняла, что беременна и что у нее есть ангел-хранитель.

Спустя несколько дней города вокруг Кенигсберга были заняты русскими войсками. Андреа, ее дочь, мужа и всех музыкантов согнали на сборный пункт. Специальное разрешение на гастроли показалось подозрительным. Их заперли в подвале. Через окошки под самым потолком виднелся кусок асфальтированного школьного двора. У музыкантов отобрали инструменты. Йонатану Фоглеру приказали раздеться догола, после чего его вместе с другими заключенными повели во двор на расстрел. По какой-то нерешительности начальства они простояли у стены несколько часов. А затем получили приказ возвращаться в подвал. На следующий день повторилась та же процедура. Охрана насиловала заключенных женщин. Андреа,

чтобы не пугать дочь, добровольно предоставила себя в распоряжение мужчин. По ее подсчетам, ее изнасиловали двадцать три или двадцать четыре раза.

Вскоре в город прибыли русские элитные соединения, была образована комендатура, нескольких русских солдат расстреляли для устрашения: Красная Армия не грабит нищих и не насилует беззащитных.

Подвал из тюрьмы переделали в жилье. Фоглеру вернули одежду. У него началось нервное расстройство, он лежал и трясся в углу, но вел себя тихо. Андреа с музыкантами отправлялись на поиски еды.

Во время одной из таких вылазок она встретила директора местного театра и нескольких актеров. Они решили вместе обратиться к коменданту с предложением возродить в какой-нибудь форме театрально-музыкальную жизнь. Полковник, которому Андреа, говорившая по-русски, изложила этот план, высказал определенный интерес. По какой-то необъяснимой организационной прихоти музыкантам отдали обратно их инструменты — целые и невредимые.

Вскоре Андреа и директор театра объявили о проведении званого вечера-концерта в большом зале Ратуши. Верхний этаж здания сгорел, а главный зал практически не пострадал. В восемь часов помещение заполнили местные жители, беженцы и русские завоеватели. Исполнялись произведения Баха, Шуберта и Брамса. Директор театра с остатками труппы показал сцены из «Фауста». Концерт продолжался долго, пока проливной дождь, беспрепятственно проникавший сквозь поврежденные потолочные перекрытия, не положил конец празднеству. Концерт повторили, успех был колоссальный, входной платой служили кусок угля, яйцо, пакетик масла или что-нибудь еще из предметов первой необходимости. Андреа занималась организационной стороной дела и заставляла мужа и музыкантов проводить регулярные репетиции.

После войны Йонатан Фоглер бросил жену и получил профессуру в какой-то немецкой академии. Белая как лунь голова, лицо — будто присыпано мелом, черные глаза как горящие угольки, смешной выпяченный животик, систематические сердечные приступы — и три постоянные любовницы.

Андреа, обосновавшись в Штуттгарте, стала давать уроки игры на фортепьяно. К Кэби Ларетеи, своей преданной ученице, она относилась с лишенной сентиментальности нежностью и железной твердостью.

У Кэби были серьезные проблемы. Она сумела сделать

карьеру благодаря щедрой музыкальной одаренности, внутреннему огню и темпераменту в сочетании с красотой и обаянием. Трудность заключалась в том, что это изысканное сооружение покоилось на шатком фундаменте: ей недоставало стабильной техники. За сверкающим фасадом уверенности в своих силах скрывалась опасная неуверенность. В зависимости от бесчисленных обстоятельств ее концерты бывали либо блистательными, либо ужасающими.

Кэби Ларетеи обратилась к Андреа Фоглер-Корелли, чтобы та подвела солидное основание под прекрасное здание. Задача оказалась изматывающей, требующей терпения и растянулась на многие годы, но за это время между двумя женщинами окрепла настоящая искренняя дружба.

Мне иногда дозволялось присутствовать на уроках, где в ход шли те же жесткие педагогические приемы, что и у Торсте-на Хаммарена. Музыкальная фраза разбивалась на составные части, которые отрабатывали часами, педантично следя за каждым пальцем, и, когда наступало время, собирали в единое целое.

Андреа нравились крупные руки Кэби, ее желание и музыкальная одаренность, но она жаловалась на лень своей ученицы и была безжалостна, как сенокосилка. Кэби взбрыкивала, но подчинялась. Основательная аналитическая работа затрагивала, в основном, технические проблемы, но по ходу дела все больше превращалась в душевное общение.

Пальцы, кисть, локоть, плечо, спина, посадка, постановка руки, не жульничай, если не знаешь, не спеши, остановись и подумай, этот такт поможет тебе справиться с целой фразой, вот видишь, здесь переведи дух, почему ты все время задерживаешь дыхание, милая, осталось всего полчаса, потерпи, скоро получишь свой чай, если второй сустав пальца не слушается, значит, что-то не в порядке здесь (украшенный кольцом указательный палец утыкается между лопаток ученицы). Теперь сыграй фа-диез двадцать раз, нет, тридцать, но *думай, что делаешь!* Сперва указательным, потом средним, откуда этот удар, вот именно: сила идет из живота, не жульничай, помни о посадке. Нет таких инструментов — и не будет, — чтобы передать весь тот динамизм, который Бетховен воображал себе в своем беззвучном мире. Видишь, как сейчас красиво звучит, у тебя в душе так много красоты, надо научиться показывать ее. Идем дальше, здесь намек на то, что настигнет нас через двадцать девять тактов, это почти незаметно, но важно. У Бетховена не существует проходных моментов, он говорит трогательно, возмущенно, печально, весело, с болью, но никогда не бормочет, не бормочи, *ни в коем случае не опускайся до среднего уровня!* Ты должна знать, чего хочешь, даже

если ты не права. Смысл и взаимосвязь, понятно? Но это не значит, что нужно все акцентировать, акцент и значение — две разные вещи. Теперь идем дальше, потерпи, тренируйся в терпении, когда хочется все бросить, подключи особую батарею, она удвоит твои усилия. В искусстве нет ничего хуже больной совести. Остановись здесь. До. Мой друг Горовиц каждое утро после завтрака подходил к роялю и брал несколько до-мажорных аккордов. Говорил, что это прочищает уши.

Я слушал Андреа и думал о театре, о себе, об актерах. О нашей небрежности, о нашем невежестве. О проклятой массовой продукции, производимой нами за деньги.

В нашей культурной глухомани были, конечно, выдающиеся актеры, лишенные элементарных технических навыков. Полностью полагаясь на свое неоспоримое обаяние, они выходили на сцену и завязывали своего рода эротические отношения со зрителями. Если же этих отношений не возникало, они терялись, забывали текст (который никогда как следует не учили), впадали в рассеянность, бормотали невнятицу — кошмар для партнеров и суфлера. Это были гениальные любители на час, порой они демонстрировали ослепительное вдохновение целый вечер, а в промежутках — неравномерная серость, стимуляторы, наркотики, алкоголь.

Великий Ёста Экман — хороший тому пример. Ни опыт, ни волшебное обаяние, ни гениальность ему не помогли. Его провалы особенно заметны в фильмах.

Кинокамера разоблачает блеф, пустоту, неуверенность, отсутствие мужского начала.

Премьеры были наверняка великолепными. А пятый спектакль или пятнадцатый? Я видел его Гамлета в самый обычный четверг. Это было домашнее упражнение в высокомерии и необъяснимом кривляний на фоне усердного диалога с приходившим во все большее возбуждение суфлером.

Несколько лет подряд мы с Кэби снимали дачу в шхерах на северной оконечности острова Урнё. Громоздкий патрицианскии каменный дом стоял на мысу, откуда открывался вид на залив Юнгфрюфьёрден и подступы к Даларё. Мыс был отрезан от остальной части острова дремучим, труднопроходимым лесом, наступавшим на дом и уже вторгшимся на клубничные и картофельные грядки. Там царил влажный полумрак, в сумраке светились одичавшие орхидеи, бесились ядовитые комары.

В этой довольно-таки экзотической обстановке мы проводили лето: Кэби, ее мать, домработница-немка Рози и я. Кэби была беременна и страдала не опасным, но чрезвычайно мучительным недомоганием, которое поражает нервные окончания ног и

выражается в щекочущих ощущениях в коленях и пальцах, так что приходится беспрерывно двигать ногами. Хуже всего бывает ночами, бессонница гарантирована.

Кэби, охотно жалующаяся на различные мелочи, терпеливо переносила страдания с помощью толстых русских романов. Нескончаемо бродила она по спящему дому, иногда на ходу ненадолго засыпала, а очнувшись, обнаруживала, что делала вещи, о которых не имела ни малейшего понятия.

Как-то ночью я вскочил с постели, разбуженный грохотом и криком ужаса. Кэби лежала распростертая на полу — заснув на ходу, свалилась с лестницы. Отделалась она испугом и небольшими царапинами.

Для меня же дело обернулось гораздо хуже. От испытанного шока механизм сна разладился полностью. Бессонница, плохой сон стали хроническими. Я сплю обычно четыре-пять часов, это еще куда ни шло. Нередко меня словно по спирали выталкивает из глубокого забытья с непреодолимой силой (интересно, где она скрывается?). Что это — неясное чувство вины или неутолимая потребность держать под контролем действительность? Не знаю, да и, в общем-то, это безразлично. Самое главное — пережить ночь с помощью книг, музыки, печенья и минеральной воды. Тяжелее всего — «час волка», между тремя и пятью. В это время слетаются демоны: досада, тоска, страх, отвращение, бешенство. Пытаться задавить их бесполезно — становится еще хуже. Когда глаза устают от чтения, наступает черед музыки. Закрыв глаза, я сосредоточенно слушаю, давая демонам полную свободу действия: *вперед, я знаю вас, ваши повадки, беснуйтесь, пока не устанете, я не стану сопротивляться.* Демоны беснуются вовсю, потом вдруг испускают дух, становятся смешными и исчезают, а я засыпаю на пару часов. Даниэль Себастьян родился с помощью кесарева сечения 7 сентября 1962 года. Кэби и Андреа Фоглер неутомимо работали до последнего часа. Вечером, когда Кэби заснула после семи месяцев мучений, Андреа достала с полки партитуру «Волшебной флейты». Я рассказал ей о своей мечте поставить оперу, и она раскрыла ноты на хорале жрецов с факелами, отметив то удивительное обстоятельство, что католик Моцарт выбрал хорал в духе Баха для раскрытия своей мысли и мысли Шиканедера. Показав на ноты, она сказала: «Это, наверное, и есть киль корабля. Управлять «Волшебной флейтой» очень трудно. А без киля и вовсе невозможно. Баховский хорал — киль».

Мы пролистали партитуру назад и наткнулись на веселый побег Папагено и Памины от Моностатоса. «Посмотри-ка сюда, — сказала Андреа. — Вот еще одна мысль, как будто в скобках: любовь как высшее благо жизни. Любовь как внутренний смысл

всего живого».

Корни любой постановки уходят глубоко в века и грезы. Охотно верю, что они покоятся в особом уголке души. Лежат себе там уютно и зреют, словно роскошные сыры. Некоторые неохотно — или довольно охотно и часто — выходят наружу, другие не показываются вовсе, не видя надобности участвовать в беспрерывном производстве.

Запас лежащих под спудом идей и быстрых взлетов вдохновения начинает истощаться. Это не внушает мне ни чувства горечи, ни чувства потери.

* * *

Я сделал несколько сомнительных по качеству фильмов, но тем не менее заработал на них кое-какие деньги. После грандиозно задуманного, но неудавшегося проекта, где мне и Лив Ульман предназначались главные роли, а декорациями должны были служить причудливые камни Форё, я находился в жалком состоянии. Один из протагонистов сбежал, я остался на сцене. Поставил неплохой спектакль по «Игре снов», влюбился во влюбленность молоденькой актрисы, ужаснулся механике повторяемости, удалился на свой остров и в длительном приступе меланхолии написал фильм «Шепоты и крики».

Снял все свои сбережения, уговорил четырех исполнителей главных ролей внести будущие гонорары на правах пайщиков и занял полмиллиона у Киноинститута. Это немедленно вызвало негодование многих деятелей кино, которые жаловались, что Бергман вырывает кусок хлеба изо рта бедных шведских коллег — он, дескать, мог бы достать деньги за границей. Но такой возможности не было. После целого ряда не слишком удачных фильмов никто не хотел меня финансировать — ни дома, ни за рубежом. Это было вполне в порядке вещей. Мне всегда импонировала откровенная жестокость международного мира кино, избавляющая от сомнений в собственной рыночной стоимости. Моя тогда равнялась нулю. Пишущая братия во второй раз за мою жизнь начала говорить о конце моей карьеры. Как ни странно, замалчивание или высказываемое равнодушие никак на меня не повлияло.

Мы снимали фильм с настроением бодрой уверенности. Для съемок выбрали запущенное поместье недалеко от Мариефреда. Заросший в меру парк, красивые комнаты в ужасающем состоянии — мы могли делать с ними что захотим. Восемь недель мы жили и работали в этой усадьбе.

Временами я тоскую по кино — завершенному этапу моей жизни. Чувство естественное и скоропреходящее. Особенно не хватает мне Свена Нюквиста. Может быть, потому, что мы оба безраздельно захвачены проблематикой света. Мягкого, опасного, мечтательного, живого, мертвого, ясного, туманного, горячего, резкого, холодного, внезапного, мрачного, весеннего, льющегося, изливающегося, прямого, косого, чувственного, покоряющего, ограниченного, ядовитого, успокаивающего, светлого света. Свет.

Завершение «Шепотов и криков» заняло немало времени. Озвучивание и лабораторные пробы затянулись, требовали денег. Не дожидаясь конца, мы начали съемки «Сцен из супружеской

жизни». Делали его главным образом для развлечения. Где-то в середине съемок позвонил мой адвокат и заявил, что денег хватит еще на месяц. Я продал скандинавские права телевидению и спас наш шестичасовой фильм, находившийся на волоске от гибели.

Найти американского прокатчика для «Шепотов и криков» оказалось весьма сложно. Мой агент Пол Кохнер, немолодой опытный негоциант, старался впустую. Один известный прокатчик после просмотра повернулся к Кохнеру и заорал: «I will charge you for this damned screening!»[72] В конце концов маленькая прокатная фирма, специализировавшаяся на фильмах ужасов и легкой порнографии, сжалилась над нами. В респектабельном нью-йоркском кинотеатре возникла пауза — не вышел вовремя фильм Висконти. И за два дня до Рождества там устроили премьеру «Шепотов и криков».

Мы с Ингрид поженились в ноябре и переехали в дом на Карлаплан, по красоте не уступавший слоеной тянучке. Он был построен на том самом месте, где когда-то стоял Красный Дом, в котором жил Стриндберг с Харриет Боссе. В первую же ночь я проснулся от негромких звуков рояля, проникавших через перекрытия. Играли «Исчезновение» Шумана, одну из любимейших вещей Стриндберга. Быть может, дружеский привет?

Мы готовились к Рождеству, испытывая слабое беспокойство за будущее. Кэби любила повторять, что на деньги ей плевать, но они хорошо успокаивают нервы. Мне было чуточку грустно из-за того, что деятельности «Синематографа» пришел, по всей видимости, конец.

За день до Сочельника позвонил Пол Кохнер. Каким-то странным голосом он пробормотал: «It is a rave, Ingmar. It is a rave!»[73] Я не знал, что значит «rave» и не сразу осознал полный успех. Десять дней спустя фильм был куплен большинством стран, еще имеющих кинотеатры.

«Синематограф» перебрался в просторное помещение, где мы оборудовали великолепный, оснащенный по последнему слову техники просмотровый зал и офис, ставший уютным местом встреч и центром неторопливо расширяющейся деятельности. Я занялся — в качестве продюсера — производством фильмов с другими режиссерами.

Не думаю, чтобы я был хорошим продюсером, так как, стараясь не оказывать чрезмерного давления, я тем самым вел себя нечестно, подбадривая больше, чем нужно, и занижая требования. Не раз мне приходил на память продюсерский гений Лоренса Мармстедта: его твердость, бесцеремонность, искренность и воля к борьбе в сочетании с тактом, пониманием и чувствительностью. Если б у нас имелся хоть один продюсер,

обладающий способностями Мармстедта, нашим самым выдающимся кинорежиссерам — Яну Труэллю, Вильготу Шёману, Каю Поллаку, Рою Андерссону, Май Сеттерлинг, Марианн Арне, Челю Греде, Бу Видербергу — не пришлось бы влачить столь жалкое существование. Длительные бесплодные периоды неуверенности и зыбкости, переоценка собственной значимости и отвергнутые заявки. Внезапно — пара-другая миллионов, молчание, равнодушие, трусливая реклама. А при провале или осечке — серенькая улыбочка: ну, что мы говорили?

Удачный брак, добрые друзья, хорошо налаженная, пользующаяся уважением фирма. Ласковый ветер обвевал мои чуть оттопыренные уши, сладость жизни ощущалась сильнее, чем когда бы то ни было. «Сцены из супружеской жизни» принесли успех, равно как и «Волшебная флейта».

Чтобы хоть раз в жизни приобщиться к славе, мы с Ингрид поехали в Голливуд. Официально я был приглашен руководить семинаром в Киношколе Лос-Анджелеса. Исключительно удобно — внешне вполне безупречный повод, втайне — непривычное, чуть ли не запретное наслаждение.

Пребывание в Америке превзошло все ожидания: ядовито-желтое небо над Лос-Анджелесом, официальный обед с режиссерами и актерами, неописуемый ужин во дворце Дино Де Лаурентиса, откуда открывался вид на город и Тихий океан; его жена Сильвана Мангано, идеальная красавица 50-х годов, превратившаяся в ходячий скелет с тщательно накрашенным черепом и беспокойными, обиженными глазами, хорошенькая пятнадцатилетняя дочь, ни на шаг не отходящая от отца, ужасная еда, маслянистая, равнодушная приветливость.

Еще один ужин в другой вечер: мой агент Пол Кохнер, ветеран Голливуда, пригласил несколько престарелых режиссеров — Уильяма Уайлера, Билли Уайлдера, Уильяма Уэлмана. Задушевное настроение, раскованность. Говорили о четкой, неподражаемой драматургии американских фильмов. Уильям Уэлман рассказал, как он в начале 20-х годов овладевал профессией, снимая двухчастевки. Прежде всего следовало возможно быстрее расставить акценты. На экране — пылающая улица у дверей салуна. На крыльце сидит маленький песик. Из двери выходит герой, гладит песика, вскакивает на лошадь, уезжает. Выходит из той же двери негодяй, пинает собаку, вскакивает на лошадь, уезжает. Драма может начинаться. Зритель уже распределил все симпатии и антипатии.

Незадолго до этого я прочитал приведшую меня в восхищение книгу Артура Янова «Первичный крик», произведение весьма спорное и воинственное. В нем пропагандируется

психотерапия, предусматривающая активное участие пациентов и сравнительно пассивную роль врача. Теории автора отличались свежестью и смелостью. Изложение — четкое, захватывающее. Я загорелся идеей и приступил к созданию четырехсерийного телевизионного фильма, положив в основу главные мысли Янова. Поскольку клиника находилась в Лос-Анджелесе, я попросил Пола Кохнера устроить мне встречу с автором. Артур Янов пришел в офис Кохнера вместе с прелестной подругой. Это был стройный, почти хрупкий человек с вьющимися, подернутыми сединой волосами и привлекательным еврейским лицом. Мы мгновенно нашли общий язык и, преисполненные взаимного любопытства, не испытывая ни малейшего смущения, не обращая внимания на условности, сразу же перешли к главному.

Много лет назад меня навестили в Киногородке Джером Роббинс и его ослепительной красоты спутница восточного происхождения. Ощущение было сходное: естественный контакт, легкое, но обжигающее прикосновение, грусть при расставании, бурные заверения о скорой встрече.

Но ничего из этого не вышло, да и никогда ничего не выходит. Крестьянская, бергмановская стеснительность, робость перед неконтролируемыми чувствами: лучше уйти в сторону, промолчать, избежать. Жизнь и так штука рискованная, я говорю «спасибо» и осторожно пячусь назад, любопытство сменяется боязнью, лучше уж серые будни. Они поддаются контролю и режиссуре.

«Лицом к лицу» задумывался как фильм о снах и действительности. Сны становятся явью, реальностью, реальность растворяется, превращаясь в грезу, сон. Всего лишь два-три раза удавалось мне беспрепятственно парить между сном и реальностью: «Персона», «Вечер шутов», «Молчание», «Шепоты и крики». На этот раз задача оказалась сложнее. Вдохновение, требовавшееся для осуществления замысла, подвело меня. В чередовании снов видна искусственность, действительность расползлась по швам. Есть несколько прочно сделанных сцен, и Лив Ульман боролась как львица. Фильм не развалился только благодаря ее силе и таланту. Но даже она не смогла спасти кульминацию, первичный крик — плод увлеченного, но небрежного прочтения. Сквозь тонкую ткань скалилась художественная бесплодность.

Начало смеркаться, но я не замечал мрака. Итальянское телевидение вознамерилось сделать фильм о жизни Христа. Проект финансировался крупными магнатами. В Швецию прибыла делегация из пяти человек, чтобы передать заказ. В ответ я написал подробное либретто о последних сорока восьми часах

жизни Спасителя. В отдельных эпизодах рассказывалось о комнибудь из главных действующих лиц драмы: Пилате и его жене, отрекшемся Петре, матери Иисуса Марии, Марии Магдалине, Солдате, который сплел терновый венец, Симоне из Кириеи, который нес крест, предателе Иуде. У каждого был свой эпизод, в котором столкновение со страстями Господними безвозвратно уничтожало их мир и изменяло их жизнь. Я сообщил, что собираюсь снимать ленту на Форё. Крепостная стена Висбю должна была стать стеной вокруг Иерусалима. Море у подножия скал — Галилейским морем. На каменистом холме Лангхаммарена будет воздвигнут крест.

Итальянцы прочитали, подумали и мрачно отказались. Заплатив мне кругленькую сумму, они передали работу Франко Дзеффирелли. Получилась красивая книжка с картинками о жизни и смерти Христа, настоящая Библия для бедных.

Начало смеркаться, но я не замечал мрака. Жизнь была приятной, наконец-то свободной от душераздирающих конфликтов. Я научился справляться с демонами. И смог осуществить то, о чем мечтал в детстве. К отреставрированному особняку в Дэмба на Форё примыкал наполовину разрушенный скотный двор столетней давности. Мы его отстроили и использовали как примитивную студию для «Сцен из супружеской жизни». После окончания съемок студию переделали в просмотровую, изобретательно устроив монтажную на сеновале.

Завершив монтаж «Волшебной флейты», мы пригласили на премьеру кое-кого из участников фильма, нескольких жителей Форё и множество детей. Был август, полнолуние, над болотом Дэмба стлался туман. Холодным светом светились старинные постройки и мельница. В кустах сирени вздыхал домовой — Справедливый Судья.

В перерыве мы зажгли бенгальские огни и чокались шампанским и яблочным напитком «Поммак» за Дракона, за рваную варежку Рассказчика, за Папагено, у которого родилась дочь, и за счастливое окончание длившегося всю жизнь путешествия с «Волшебной флейтой» в багаже.

В старости потребность в развлечениях убывает. Я благодарен за все спокойные, бессобытийные дни и за не слишком бессонные ночи. Просмотровая на Форё доставляет мне неистощимое удовольствие. Благодаря дружескому расположению Синематеки Киноинститута я могу брать напрокат любые фильмы из их неисчерпаемого запаса. Удобное кресло, уютная комната, гаснет свет, на белой стене появляется первый прытающий кадр. Тишина. Слабо жужжит проектор в хорошо изолированной проекционной. Тени движутся, поворачиваются ко мне лицом,

призывая обратить внимание на их судьбу. Прошло шестьдесят лет, а лихорадка все не отпускает.

* * *

В 1970 году Лоренс Оливье уговорил меня поставить «Гедду Габлер» на сцене лондонского Национального театра с Мэгги Смит в заглавной роли. Я упаковал чемодан и отправился в путь, ощущая сильнейшее внутреннее сопротивление и полный дурных предчувствий. Им предстояло оправдаться. Комната в гостинице была мрачная и грязная, под окном бесновалось уличное движение: дом сотрясался, окна звенели, воняло сыростью и плесенью, справа от двери гудела батарея. В ванной ползали крошечные блестящие червячки, вполне красивые, но явно не к месту. Торжественный ужин в мою честь с новоиспеченным лордом и актерами не удался: яванские блюда были несъедобными, один из актеров пришел пьяный уже к аперитиву, с ходу заявив, что Ибсен и Стриндберг — динозавры, которых невозможно играть и которые лишь доказывают крах буржуазного театра. Я поинтересовался, за каким дьяволом он тогда собирается участвовать в «Гедде Габлер», на что он ответил, что в Лондоне и так уже пять тысяч безработных актеров. Лорд улыбнулся, чуть скривившись, и заверил: наш друг — прекрасный артист, а на его революционную болтовню в подпитии не следует обращать внимания. Разошлись мы рано.

Национальный театр временно, пока возводилось новое здание на берегу реки, играл в двух снятых внаем помещениях. Репетиционный зал представлял собой сарай из бетона и рифленого железа, стоявший в просторном дворе с вонючими мусорными баками. Когда солнце нагревало железо, жара становилась невыносимой, ибо окон там не было. Крыша покоилась на стальных опорах, расположенных на расстоянии пяти метров друг от друга. Мизансцены надо было выстраивать позади и впереди опор. В коротком коридорчике, разделявшем репетиционный зал и временный административный барак, имелось два вечно засоренных туалета, воняло мочой и тухлой рыбой.

Актеры были превосходны, некоторые просто великолепны. Их профессионализм и темпы меня даже напугали. Я сразу понял, что их методы работы отличаются от наших. К первой репетиции они уже выучили текст. Получив мизансцены, начали играть в быстром темпе. Я попросил их умерить пыл, они пытались, но это сбивало их с толку.

Руководитель театра[74] был болен раком, тем не менее каждое утро в девять часов он входил в административный барак, проводил за работой целый день и еще несколько раз в неделю

исполнял роль Шейлока, иногда по два спектакля в день. Как-то в субботу я зашел к нему в тесную и неудобную артистическую после первого спектакля. Он сидел в нижнем белье, накинув на плечи рваный халат, смертельно бледный, в холодном поту. В тарелки плавали неаппетитные бутерброды. Он пил шампанское — один бокал, второй, третий. Потом пришел гример, костюмер помог ему одеть поношенное платье Шейлока, он вставил полагавшуюся по роли ослепительно белую челюсть и взял в руки котелок.

Я невольно подумал о наших молодых шведских актерах, жалующихся, что им приходится днем репетировать, а вечером играть. Или еще хуже: играть утренний спектакль и вечерний! Как это изматывает! Так опасно для артистизма! Так тяжело на следующий день! Какие катастрофические последствия для семейной жизни!

Я самовольно переехал в гостиницу «Савой», клянясь, что готов оплатить расходы. Тогда лорд предложил мне пожить в его квартире, где он иногда ночевал, на последнем этаже многоэтажного дома в одном из шикарных районов города, заверив, что мне никто не будет мешать. Сам он с женой Джоан Плоурайт жил в Брайтоне. Может быть, изредка он будет вынужден переночевать в квартире, но нам нечего смущаться друг друга. Я поблагодарил за заботу и перебрался на новое место жительства, где меня встретила домоправительница, похожая на звонаря из «Собора Парижской богоматери» — ирландка, четыре фута ростом, передвигавшаяся боком. Вечерами она так громко читала молитвы, что я вначале решил, будто у нее в комнате есть громкоговоритель, по которому передают богослужение.

Квартира, на первый взгляд элегантная, как выяснилось, заросла грязью. Дорогие диваны в пятнах, обои порваны. На потолках потеки забавных конфигураций. Везде пыль и грязь. Плохо вымытые чашки, на бокалах отпечатки губ, ковры превратились в лохмотья, панорамные окна изуродованы следами клея. И практически ежедневно я встречался с лордом за завтраком.

Для меня это было поучительно. Лоренс Оливье проводил за чашкой кофе семинар на тему «Шекспир». Мое восхищение не знало границ. Я спрашивал, он отвечал, не жалея времени. Иногда, позвонив по телефону и отказавшись от какого-то утреннего заседания, вновь усаживался за стол и наливал себе еще чашку кофе.

Редкостный обволакивающий голос рассказывал о жизни с Шекспиром, об открытиях, неудачах, озарениях, опыте. Постепенно, но с радостью начинал я понимать глубокую

доверительность этих людей, их лишенное невротического привкуса практическое отношение к той природной мощи, которая могла бы их сокрушить или поработить. Они жили довольно свободно в рамках традиции: нежные, надменные, агрессивные, но ничем не связанные. Их театр — с коротким репетиционным периодом, жестким давлением извне, вынужденный бороться за зрителя — был театром непосредственным, безжалостным. Их связь с традицией — многомерной и анархической. Лоренс Оливье был носителем традиции и одновременно протестантом. Благодаря непрерывному общению с более молодыми коллегами и коллегами постарше, которые жили в таких же жестких, но дающих творческую свободу условиях, его отношение к этой все подавляющей силе непрерывно менялось: она становилась понятной, управляемой, хотя по-прежнему таила в себе опасность, вызов, неожиданности.

Через какое-то время нашим встречам пришел конец. Лорд снял фильм по своему спектаклю «Три сестры». Мне показалось, что сделан он небрежно. Неудачно смонтирован, отвратительная операторская работа. Да еще и без крупных планов. Я попытался высказать все это в самых что ни на есть вежливых выражениях, превозносил спектакль и актерскую игру, особенно Джоан Плоурайт — бесподобную Машу. Но это не помогло. Лоренс Оливье внезапно стал невероятно официален, прежняя сердечность и солидарность сменились взаимными ссорами и обвинениями по мелочам.

На генеральную репетицию «Гедды Габлер» он опоздал на полчаса, не извинился, зато поделился саркастическими (но справедливыми) соображениями по поводу слабостей постановки.

В день премьеры я уехал из Лондона, который ненавидел всей душой. В Стокгольме был светлый майский вечер. Я стоял у опор моста Норрбру и смотрел на рыбаков в лодках, ловивших рыбу зелеными сачками. В Королевском саду играл духовой оркестр. Никогда прежде я не видел таких красивых женщин. Воздух прозрачен, легко дышится. Благоухает черемуха, от стремительно бегущей воды веет пронзительным холодом.

Чарли Чаплин приехал в Стокгольм делать рекламу своей недавно вышедшей по-шведски автобиографии. Его издатель Лассе Бергстрём спросил, не хочу ли я встретиться с этим великим человеком в Гранд-Отеле. Я хотел. В десять утра мы постучали к нему в номер. Чаплин сам тут же распахнул дверь. Он был в темном безупречно сшитом костюме, на лацкане пиджака горел бутон Почетного легиона. Хриплым, богатым полутонами голосом он вежливо поприветствовал нас. Из

внутренних покоев появилась жена Уна и две юные, прелестные, как газели, дочки.

Мы сразу же заговорили о его книге. Я спросил, когда он впервые заметил, что вызывает смех, что люди смеются именно над ним. Кивнув, он с удовольствием приступил к рассказу. Он работал в «Кистоуне», в группе артистов, выступавших под именем «Keystone Cops» («Кистоуновские полицейские»). Исполняли головоломные трюки перед неподвижной камерой, получалось вроде концертного номера на сцене. Однажды им надо было ловить преступника — здоровенного бородатого детину с вымазанным белилами лицом. Это было, если можно так выразиться, будничное задание. После бесконечной беготни и падений они к обеду поймали негодяя. Он сидел на полу, окруженный полицейскими, лупившими его по голове дубинками. Тут Чаплину пришла мысль не лупить беспрерывно, как было велено, а разнообразить сцену. Позаботившись прежде всего о том, чтобы попасть в кадр, он начал долго и тщательно примериваться дубинкой, несколько раз замахивался, но в последний момент останавливался. Когда же после подобных тщательных приготовлений он все-таки нанес удар, то промахнулся и упал. Фильм незамедлительно показали в «Никельодеоне». Чаплин пошел посмотреть результат. Промах вызвал смех, публика впервые засмеялась трюкам Чарли Чаплина.

Грета Гарбо ненадолго приехала в Стокгольм, чтобы проконсультироваться у шведского врача. Одна знакомая позвонила мне и сообщила, что «кинозвезда» пожелала как-нибудь вечером посетить Киногородок. Она просила не организовывать ей пышного приема и интересовалась, не смогу ли я встретить ее и показать павильоны, в которых она когда-то работала.

Холодным вечером на исходе зимы в начале седьмого во двор Киногородка вкатил черный сверкающий лимузин. Я и мой помощник приветствовали гостей. После некоторого замешательства и несколько натянутого обмена репликами мы с Гретой Гарбо остались наедине в моем скромном кабинете. Помощник взял опеку над подругой, угощая ее коньяком и последними сплетнями.

Комната была тесной — письменный стол, стул и продавленный диван. Я сидел за столом, Грета Гарбо — на диване. Горела настольная лампа. «Это был кабинет Стиллера», — сказала она сразу же, обводя комнату взглядом. Об этом я и понятия не имел и потому ответил, что здесь до меня сидел Густаф Муландер. «Да, да, это — комната Стиллера, я точно знаю». Мы поговорили как-то неопределенно о Стиллере и

Шёстрёме, она рассказала, что снималась у Стиллера в одном голливудском фильме. «Он тогда практически уже был на улице, — добавила она. — На улице и болен. Я ничего не знала. Он никогда не жаловался, а у меня были собственные заботы».

Наступило молчание.

Внезапно она сняла огромные солнечные очки и проговорила: «Вот так я теперь выгляжу, господин Бергман». На губах мелькнула ослепительная, насмешливая улыбка.

Трудно сказать, обладают ли великие мифы неослабевающей волшебной силой именно потому, что они мифы, или же их магия — это иллюзия, создаваемая нами, потребителями. В тот момент сомнений не существовало. В полумраке тесной комнатки ее красота была вечной. Если бы передо мной сидел ангел из какого-нибудь евангелия, я бы сказал, что красота витала вокруг нее. Одухотворяла чистые крупные черты лица, лоб, разрез глаз, благородно вылепленный подбородок, чувственные крылья носа. Заметив мою реакцию, оживившись и повеселев, она принялась рассказывать о работе над «Сагой о Йосте Берлинге». Мы поднялись в Малую студию и осмотрели ее западный угол. Там до сих пор на полу было вздутие, оставшееся после пожара в Экебю. Гарбо называла имена техников и электриков — никого, кроме одного, уже не было на свете. Этого единственного Стиллер по какой-то необъяснимой причине как-то выгнал из студии. Пока продолжалась выволочка, тот стоял по стойке «смирно», потом круто повернулся и удалился. С тех пор нога его ни разу не ступала в помещения студии, он выполнял обязанности дворника и садовника. Встретив нравившегося ему режиссера, он вставал по стойке «смирно» и брал грабли «на караул», а иногда пел несколько тактов из Королевского гимна. Тот же, кто был садовнику не под душе, рисковал обнаружить кучи листьев или снега перед своей машиной.

Грета Гарбо рассмеялась — чистым, сухим смехом. Она вспомнила, как он угощал ее печеньем с корицей домашней выпечки, а она не осмеливалась отказаться.

Мы бегло осмотрели территорию. Гарбо была одета в элегантный брючный костюм, движения энергичные, тело живое, притягательное. На крутой дорожке были скользкие места, и поэтому она взяла меня под руку. Когда мы вернулись в мой кабинет, она была весела и раскованна. В соседней комнате шумели мой помощник со своей гостьей.

«Альф Шёберг хотел сделать фильм со мной, мы с ним просидели целую летнюю ночь в машине в Юргордене, он говорил так убедительно, было не устоять. Я согласилась, а на следующее утро передумала и отказалась. Ужасно глупо. Вы тоже

считаете, что я поступила глупо, господин Бергман?»

Она перегнулась через стол, и нижняя половина лица попала в круг света.

И тогда я увидел то, чего не видел раньше! У нее был некрасивый рот — бледная полоска в окружении поперечных морщин. Поразительно и возмутительно. Такая красота — а в центре этот режущий аккорд. Этот рот (и то, что он рассказывал) был не подвластен волшебству ни одного специалиста по пластическим операциям, ни одного гримера. Она мгновенно прочитала мои мысли и, поскучнев, замолчала. Через две-три минуты мы распрощались.

Я пристально вглядывался в облик Гарбо в последнем ее фильме. Ей тридцать шесть лет, лицо красиво, но напряжено, губам не хватает мягкости, взгляд по большей части рассеянный и грустный, несмотря на комедийность ситуаций. Может быть, зрители почувствовали нечто, о чем ей уже поведало зеркало[75].

* * *

Летом 1983 года я поставил «Дон Жуана» Мольера для фестиваля в Зальцбурге. Замысел возник во время медового месяца с руководителем Резиденцтеатер австрийцем Куртом Майзелем, которому предназначалась роль Сганареля. Подготовка заняла не меньше трех лет. Позднее Майзель вышвырнул меня из театра, но контракт с Зальцбургом оставался в силе. Я подобрал другого Сганареля — Хильмара Тате, его выжили из ГДР. Да и на остальные роли мне предоставили блестящих актеров во главе с Михаэлем Дегеном, игравшим постаревшего Дона Жуана.

Репетиции начались в Мюнхене, окончательную доводку спектакля мы сделали за четырнадцать дней в неприглядном и тесном Ховтеатер в Зальцбурге, обладавшем только одним преимуществом: прекрасно работавшими кондиционерами. А лето стояло жаркое, рекордно жаркое.

Я не верю в национальный характер, но австрийцы, по всей видимости, народ особенный, во всяком случае, те из них, кто взращен на фестивалях в городе Зальцбурге. Безграничная любезность в сочетании с бросающимися в глаза неэффективностью, заорганизованностью, лживостью, бюрократизмом и скользкой ленью.

Очень скоро администрация пришла к выводу, что моя постановка «Дона Жуана» для них — точно слон в посудной лавке. Улыбки стали холодней, но заметной прохлады в разгулявшейся жаре не приносили.

Меня пригласили посетить Герберта фон Караяна, готовившего во второй раз премьеру «Кавалера роз» в Большом фестивальном дворце, своем самом величественном творении.

Присланная Караяном машина доставила меня в его личный офис в глубине огромного здания. Он немножко опоздал, маленький стройный человек с непомерно большой головой. Полгода назад ему сделали тяжелую операцию на позвоночнике, и поэтому он волочил одну ногу, опираясь на своего помощника. Мы расположились в удобной дальней комнате, выдержанной в изысканно-серых тонах, симпатично нейтральной, прохладной и элегантной. Ассистенты, секретари и помощники оставили нас вдвоем. Через полчаса начиналась репетиция «Кавалера роз» с оркестром и солистами.

Маэстро сразу взял быка за рога. Он хотел бы сделать телевизионный фильм-оперу по «Турандот» и просил меня быть режиссером — на меня выжидающе смотрели светлые, холодные

глаза. (Вообще-то «Турандот» представляется мне гадкой, громоздкой, извращенной мешаниной, этаким дитятей своего времени.) Но тут, загипнотизированный прозрачным взглядом, я услышал собственный голос, говоривший, что это — большая честь, что я всегда восхищался «Турандот», что музыка загадочна, но проникновенна и что для меня не может существовать более сильного стимула, чем возможность работать с Гербертом фон Караяном.

Производство фильма запланировали на весну 1989 года. Караян назвал имена «звезд» мировой оперы, предложил сценографа и студию. В основу фильма будет положена граммофонная запись, которую он намеревался сделать осенью 1987 года.

Все вдруг потеряло реальные очертания, единственной реальностью стала «Турандот». Я знал, что сидящему передо мной человеку семьдесят пять лет, мне самому на десять лет меньше. Когда дирижеру исполнится восемьдесят один, а режиссеру — семьдесят один, им предстоит вдохнуть жизнь в эту мумифицированную диковину. Смехотворности задуманного я не видел. Я был безнадежно зачарован.

Обсудив предварительные наметки, Маэстро заговорил о Штраусе и «Кавалере роз». Первый раз он дирижировал оперой в двадцатилетнем возрасте и, прожив с ней всю жизнь, постоянно находил в ней новизну и вызов. Внезапно он переменил тему: «Я видел вашу постановку «Игры снов». Вы режиссируете так, словно вы — музыкант, вы обладаете чувством ритма, музыкальностью, точным выбором тональности. Все это есть и в «Волшебной флейте». Местами она очаровательна, но мне не понравилась. В конце вы переставили несколько сцен. С Моцартом так обращаться нельзя, у него все — органично».

В дверь уже заглядывал помощник, напоминая, что подошло время репетиции. Караян отмахнулся — пусть подождут. В конце концов он с трудом встал и схватился за палку. Возникший из ниоткуда ассистент повел нас по выложенному камнем коридору в Фестивальный зал — чудовищное помещение, вмещающее тысячи зрителей. Медленно продвигаясь вперед, мы превращались в процессию, в королевскую процессию из ассистентов, помощников, оперных певцов обоего пола, лебезящих критиков, кланяющихся журналистов и подавленного вида дочери. На сцене в полной готовности выстроились солисты на фоне ужасающих декораций 50-х годов («я велел до мелочей скопировать первоначальные декорации, сегодняшние сценографы — либо сумасшедшие, либо идиоты, либо и то и другое»). В оркестровой яме ожидали музыканты Венской

филармонии. В зале сидели сотни функционеров и неопределенных граждан этой империи. Когда появилась худенькая, волочащая ногу фигурка, все встали и продолжали стоять, пока Маэстро не перенесли по мостику через оркестровую яму и не водрузили на место.

Немедленно началась работа. И нас захлестнуло волной опустошающей, омерзительной красоты.

* * *

Мое самовольное изгнание началось в 1976 году в Париже. Изрядно покружив по миру, я случайно оказался в Мюнхене. И так же случайно попал в Резиденцтеатер, баварский Драматен: три сцены, приблизительно равная по величине труппа, одинаковые государственные дотации, то же число выпускаемых спектаклей. Там я сделал одиннадцать постановок, приобрел значительный опыт и натворил множество глупостей.

Само здание, вклинившееся между Оперой и Резиденцией [баварских герцогов] и обращенное фасадом на площадь Макс-Йозефплатц, производит впечатление того, что баварцы называют «Schnaps-idee»[76], что соответствует действительности. Сварганенное вскоре после войны, оно — в отличие от роскошной Оперы — представляет собой самое уродливое сооружение в мире, как снаружи, так и изнутри.

Зал вмещает чуть больше тысячи человек и, скорее всего, напоминает кинотеатр времен нацизма. Пол без наклона, поэтому видимость никудышная, кресла узкие, чересчур тесно сдвинутые и чудовищно неудобные. Человеку маленького роста сидеть удобнее, зато плохо видно, человеку повыше — нормальному шведу — лучше видно, зато он зажат как в тисках. Расстояние между залом и сценой ничтожно, где начинается сцена и кончается зал — или наоборот — непонятно. Преобладающие цвета — мышиный и кирпичный, оживляемые напыщенным золотым орнаментом по боковинам ярусов. На потолке мигает жуткая неоновая люстра, на стенах — неоновые бра, издающие громкое жужжание. Изношенное машинное оборудование отключено, поскольку власти признали его «опасным для жизни». Административные помещения и артистические уборные тесны и противны человеческому естеству. В воздухе витает запах немецких моющих препаратов, наводящий на мысль о дезинфекции или солдатском борделе.

В Западной Германии много городских театров, но лучшие силы сконцентрированы в двух-трех: частично потому, что там лучше платят, частично потому, что не рискуешь быть повешенным втихомолку. Директора театров и критики обладают большой подвижностью — приезжают с разных концов страны разузнать, что у тебя происходит. Отведенные культуре страницы крупных газет, в отличие от тех же страниц в других странах, проявляют подлинный интерес к театру, явно считая, что посвященные ему материалы не следует запихивать в разделы видео и поп-музыки. Практически не обходится ни дня без

подробного отчета о каком-нибудь театральном событии или статьи по ходу непрекращающейся бурной дискуссии о проблемах театра.

Штатных режиссеров и художников-декораторов почти не существует, что имеет свои плюсы. Актеры должны возобновлять контракт ежегодно и в любую минуту могут потерять место, только проработавших подряд пятнадцать лет нельзя уволить. Таким образом, налицо полнейшее отсутствие гарантированного существования, и здесь кроются как свои преимущества, так и свои недостатки. Преимущества очевидны и не нуждаются в комментариях. К недостаткам же относятся интриги, злоупотребление властью, агрессивность, подхалимаж, страх, невозможность пустить прочные корни. Если директор театра перебирается в другое место, он забирает с собой двадцать — тридцать человек, а другие (такое же количество людей) оказываются на улице. Подобная система принимается даже профсоюзами, а в ее правомерности и не пытаются усомниться.

Рабочий ритм напряженный. На Большой сцене ставят не меньше восьми спектаклей, на сцене Филиала — четыре, на Экспериментальной количество постановок варьируется. Играют ежедневно, без выходных, репетируют шесть раз в неделю, даже по вечерам. Позволяют себе иметь обширный репертуар, программа меняется ежедневно, около тридцати спектаклей держится в репертуаре по многу лет. Пользующийся успехом спектакль может идти свыше десяти лет. Профессионализм — высшей пробы, как и знания, умение, способность без жалоб переносить неудачи, преследования и неуверенность в будущем.

Итак, трудятся они, как я уже сказал, не покладая рук, репетиционный период редко когда затягивается дольше чем на восемь-десять недель. Для психотерапевтических сеансов с режиссерами и актерами, практикующихся в странах с более мягкими условиями и с более восторженным отношением к самодеятельности, нет экономических возможностей. Поэтому вся деятельность жестко направлена на достижение нужного результата, хотя в то же время другого такого анархического, все подвергающего сомнению театра, как немецкий, не существует. Может быть, только еще польский.

Приехав в Мюнхен, я был уверен, что вполне хорошо владею немецким. Очень скоро мне пришлось убедиться в обратном.

Первый раз я столкнулся с этой проблемой на общей читке «Игры снов» Стриндберга. Сорок четыре великолепных актера и актрисы смотрели на меня с надеждой, если не сказать с доброжелательностью. А я потерпел полное фиаско: заикался, забывал слова, путался в артиклях и синтаксисе, краснел и думал,

что если переживу этот позор, справлюсь с чем угодно. «Жалко людей!» будет по-немецки: «Es ist Schade urn die Menchen!» — это даже приблизительно не похоже на мягкое миролюбивое восклицание Стриндберга.

Первые годы были нелегкими. Чувствуя себя инвалидом, без рук и без ног, я впервые осознал, что нужное слово в нужный быстротечный момент было самым надежным инструментом в моей работе с актерами. Слово, не нарушающее рабочего ритма, не рассеивающее внимания актера, не мешающее мне самому слушать. Мгновенное, действенное слово, которое рождается интуитивно и попадает в точку. С гневом, горечью и нетерпением пришлось признать, что такое слово отказывалось появляться на свет из моего жалкого разговорного немецкого.

Через несколько лет я научился находить контакт с актерами, интуитивно понимавшими, что я хочу сказать. Мало-помалу нам удалось создать более или менее удовлетворительную сигнальную систему чувств и прикосновений. То, что, несмотря на подобное увечье, я сумел сделать в Мюнхене один из лучших моих спектаклей, целиком заслуга немецких актеров, итог их эмоциональной чуткости, способности понимать с полуслова, их терпения, а отнюдь не того «воляпюка», на котором я говорил. В моем возрасте выучить язык невозможно, приходится довольствоваться остатками былых знаний и случайными успехами.

Театральная публика Мюнхена изумительна. Преданная, вовлеченная, не признающая сословных различий, она бывает настроена весьма критически и охотно выражает свое неудовольствие свистом и выкриками. Но самое интересное заключается в том, что эта публика все равно идет в театр, независимо от того, стерли ли спектакль в порошок или же превознесли до небес. Не стану утверждать, будто мюнхенцы не доверяют мнению критиков, выступающих на страницах газет, — наверняка их рецензии читают, — но при этом оставляют за собой право самим решить, нравится им постановка или нет.

Залы заполняются в среднем на девяносто процентов, принимают сердечно, если считают, что вечер удачен. Расходятся не спеша, чуть ли с неохотой, собираясь группками и обмениваясь впечатлениями. Понемногу народ растекается по ресторанам на Максимиллианштрассе и маленьким кафе в близлежащих переулках. Вечер теплый, воздух насыщен влагой, где-то над горами погромыхивает гром, грохочут машины. Я, взволнованный и возбужденный, вдыхаю запахи еды, выхлопных газов и тяжелый аромат утонувшего в темноте парка, вслушиваюсь в тысячи и тысячи шагов, в звуки иностранной речи. И думаю: это

определенно заграница.

Вдруг меня охватывает тоска по дому, по моим собственным зрителям, так благожелательно вызывающим актеров четыре раза, а потом стремительно разбегающимся из театра, точно там бушует пожар. Я спускаюсь на Нюбруплан, поземка кружит вокруг молчаливого, обляпанного грязью мраморного дворца — ветер прилетел из тундры по ту сторону моря, — какие-то панки в рванье криками изливают свое одиночество в белую пустынность.

В Мюнхене меня приняли с большой помпой. Раскрывайте объятия — Бергман бежит из «социалистического ада»[77] где-то там, на севере, и находит прибежище в демократической благоденствующей Баварии, нежно прижимаемый к широкой медвежьей груди Франца-Йозефа Штрауса.

На званом вечере в мою честь меня сфотографировали с ним — с Самим. Он настолько беззастенчиво использовал эту фотографию в проходившей предвыборной кампании, что я был вынужден попросить избавить меня от подобных почестей. Приемы следовали один за другим. «Волшебная флейта» шла — под восторженный рев публики — в самом большом кинотеатре города. «Сцены из супружеской жизни» показали по телевидению — с последующим обсуждением и дискуссией. Гостеприимство и любопытство сметали все на своем пути. Я пытался всячески отвечать на эту доброжелательность, старался быть вежливым со всеми, слишком поздно уразумев, что баварское общество насквозь пропитано политикой, а барьеры между различными партиями и фракциями непреодолимы.

За короткое время мне удалось оскандалиться по всем направлениям.

С шумом и грохотом я ворвался в Резиденцтеатер, имея при себе принципы и идеи, выработанные за долгую профессиональную жизнь в достаточно защищенном уголке Земли. Я совершил фатальную глупость, пытаясь применить шведские модели в немецких условиях. И потому потратил немало времени и сил на демократизацию процесса принятия решений в театре.

Это было настоящим идиотизмом.

Я провел собрания труппы и сумел организовать актерский совет из пяти человек, наделенный функциями совещательного органа. Но вся эта затея буквально полетела к черту. В этой связи стоит, наверное, упомянуть, что в Национальном театре Баварии нет правления, он подчиняется непосредственно Баварскому министерству культуры, во главе которого стоит какой-то важный министр, играющий на органе, — получить у него аудиенцию труднее, чем у китайского императора. Поборов терзания труппы

и создав наконец этот совещательный орган, я осознал, какое чудовище произвел на свет. Копившаяся и бродившая годами ненависть выплеснулась наружу, лизание задниц и страх достигли невероятных размеров. Ярким пламенем вспыхнула вражда между фракциями. Интриги и махинации, подобных которым в Швеции — ни по размаху, ни по качеству — никогда не видели даже в церковных кругах, стали будничным блюдом в самой что ни на есть дерьмовой забегаловке. Нашему директору, выходцу из Вены, было за семьдесят. Блестящий актер, он, к сожалению, был женат на красивой, но значительно менее блестящей актрисе, отличавшейся взамен бешеным властолюбием, страстью к выступлению на сцене и интриганством. Директор со своей Клитемнестрой властвовали безраздельно, рука об руку пробившись сквозь унижения и величие немецкого театра.

Этот самый директор жил в обманчивом убеждении, будто он управляет театром с отеческой мудростью. Актерский совет безжалостно вывел его из этого заблуждения. Естественно, в его глазах я выглядел разрушителем любовных отношений между отцом и детьми. Он считал меня своим злейшим врагом, активно поддерживаемый женой, игравшей Ольгу в моем спектакле «Три сестры». Меня раздражала ее манера говорить утробным голосом — она, вероятно, думала, будто это придает ей сексапильности, — и я вполне серьезно посоветовал ей обратиться к педагогу по развитию речевой техники. Этого она мне не простила.

Разгоралась борьба между мной и моим шефом, труппа наблюдала, решая, на чью сторону встать. Наше оружие не блистало чистотой. Битва приняла трагический оттенок, отравленная тем фактом, что мы раньше совершенно искренне любили и восхищались друг другом. В результате всей этой свары театр подвергся огромному и ненужному напряжению. В своем рвении сделать как лучше я забыл одно решающее обстоятельство: эти актеры были лишены какой бы то ни было формы гарантированного существования. Их трусость была понятна, их мужество — непостижимо.

В июне 1981 года меня с треском выгнали. Мои постановки исключили из репертуара, вход в театр был заказан. Происходило это под аккомпанемент обвинений и оскорблений, переданных в прессу и Министерство культуры. Не собираюсь утверждать, будто я чувствовал себя невинно обиженным. Будь я директором театра, я, вероятно, действовал бы так же, но попроворней.

Через шесть месяцев я вернулся. Прежний директор ушел. Его место занял новый — в ходе грязнейшей политической и газетной кампании, немыслимой в более открытом обществе, чем

баварское.

Поучительно и чуточку волнующе для стороннего наблюдателя, кошмарно и унизительно для участников. Прочие глупости: я прервал все контакты с мюнхенской прессой, о чем и пришлось не раз пожалеть.

Отказался общаться с могущественными и не очень могущественными властелинами критики. Это было довольно неумно, поскольку определенная сыгранность между жертвой и палачами составляет важный элемент правил обставленной строжайшими ритуалами баварской игры в возвышения и

низвержения.

Мой друг Эрланд Юсефсон как-то сказал, что надо остерегаться слишком близкого знакомства с людьми, потому что тогда начинаешь их только любить. Так произошло, по крайней мере, со мной. Я привязался ко многим. Рвать связи было больно. По правде говоря, эти привязанности задержали мой отъезд не меньше чем на два года. Вот как иногда получается!

За всю свою жизнь не получал я такого количества разгромных рецензий, как за эти девять лет в Мюнхене. Спектакли, фильмы, интервью и другие выступления встречались презрением и брюзгливыми гнусностями, вызывавшими чуть ли не восхищение. Но были и исключения!

Несколько замечаний: первые мои постановки действительно были не особенно удачны. Неуверенные, скучно-традиционные. Это породило, естественно, полнейшее замешательство. Кроме того, я принципиально отказывался объяснять замысел своих спектаклей, что привело к еще большему раздражению.

Потом я стал работать лучше, иногда добивался и настоящих удач, но непоправимое уже произошло. Этот несносный скандинав, думающий, будто он что-то собой представляет, вызывал всеобщую досаду. И завизжала в ушах брань, а на премьере «Фрёкен Жюли» меня освистали — удивительно бодрящее переживание.

Режиссер обязан выходить на поклоны вместе с артистами, во всяком случае на премьере. В противном случае возникает раскол. Сначала выходят актеры, получая свою долю аплодисментов и криков «браво!» Затем выхожу я — и зал разражается оглушительным свистом и криками негодования. Что делать в таком случае? Ничего. Стоишь и глупо улыбаешься. Но мысль работает. Сейчас, Бергман, сейчас ты переживаешь нечто новое. Все-таки приятно, что люди могут так бесноваться. Ни из-за чего. Из-за Гекубы.

Пол сцены заляпан чудовищными соплями. Бедный призрак Ибсена с трудом отдирает ноги от липкой гадости. Сопли

символизируют, как ясно каждому, буржуазный декаданс. Под больничной койкой отец Гамлета тискает Призрака, конечно же, голого. Плановый спектакль «Венецианский купец» завершается на плацу в близлежащем концентрационном лагере Дахау, публику везут туда в автобусах. По окончании Шейлок остается в одиночестве, одетый в лагерную форму, освещенный прожекторами. Вагнеровский «Летучий Голландец» начинается в просторной бидермайеровской гостиной, куда с грохотом, ломая стены, въезжает корабль. В «Гибели «Титаника»» Энценсбергера посреди сцены установлен громадный аквариум, в котором плавает страшенный карп. По мере развития катастрофических событий актеры по одному присоединяются к карпу. В том же театре «Фрёкен Жюли» играют как трехчасовой фарс в стиле немого кино. У актеров лица вымазаны белилами, они непрерывно орут и жестикулируют словно ненормальные. И так далее. И так далее. Сперва немного удивляешься. Потом соображаешь, что это прекрасная немецкая традиция, упорная, живучая. Абсолютная свобода, постоянные сомнения во всем, приправленные профессиональным отчаянием.

Для варвара с севера, впитавшего с молоком матери верность слову, это чудовищно. Но забавно.

Публика беснуется от негодования или восторга, критики беснуются от негодования или восторга, у тебя же горит голова, земля уходит из-под ног: что же это я вижу, что же это я слышу, это я или...

Постепенно созревает решение — надо же, черт возьми, определиться, все так делают и прекрасно себя чувствуют, даже если на следующий день меняют точку зрения и утверждают противное. Итак: большая часть того, что обрушивается на мою голову с немецкой сцены, — никакая не абсолютная свобода, а абсолютный невроз.

Да и как иначе этим беднягам заставить зрителей и прежде всего критиков хоть бровью повести? Молодому режиссеру поручается ответственное задание — поставить «Разбитый кувшин». Сам он его видел в семи различных постановках. Он знает, что зрители с детских лет посмотрели двадцать один вариант, а раздираемые зевотой критики — пятьдесят восемь. Значит, чтобы показать свое собственное лицо, надо набраться наглости.

Это — не свобода. А посреди этого хаоса расцветают великие театральные переживания, гениальные интерпретации, смелые, взрывные находки.

Люди ходят в театр, сетуют или радуются. Или сетуют *и* радуются. Пресса не отстает. Без передышки разражаются

театральные кризисы местного значения, скандал следует за скандалом, насилуют критики, насилуют критиков, короче говоря — кромешный ад. Бесконечные кризисы, но подлинного кризиса, пожалуй, нет.

Рождаясь в пустынях Африки, горячий ветер проносится через Италию, взбирается на Альпы, отдавая им свою влагу, расплавленным металлом катится по высокогорью и обрушивается на Мюнхен. Утром может быть дождь пополам со снегом, два градуса мороза, днем, когда ты выползаешь из мрака театра на улицу, — температура перевалила за 20 градусов тепла, и воздух дрожит от прозрачного едкого жара. Альпийская гряда так близко, что, кажется, можно достать рукой. Люди и животные сходят слегка с ума, но, увы, не самым приятным образом. Увеличивается число дорожных происшествий, откладываются важные операции, растет кривая самоубийств, добродушные собаки кусаются, а кошки испускают молнии. Репетиции в театре больше, чем обычно, заряжены эмоциями. Город наэлектризован, меня же поражает бессонница и бешенство.

Ветер называется «фён», его справедливо боятся, вечерние газеты выходят с кричащими заголовками, мюнхенцы пьют пшеничное пиво из кружек, с сочной лимонной долькой на дне.

При воздушном налете зимой 1944 года центральную часть города с ее церквами, старинной застройкой и роскошным зданием Оперы сровняли с землей. Сразу же после войны было решено восстановить все в прежнем виде, так, как было до катастрофы. Оперу любовно восстановили до мельчайших деталей. Там по-прежнему есть двести мест, откуда ничего не видно, только слышно.

В этом примечательном здании раскаленным днем, когда дул фён, Карл Бём проводил генеральную репетицию «Фиделио». Я сидел в первом ряду, наискосок от дирижерского пульта, и мог следить за каждым движением и оттенком настроения престарелого маэстро. Слабо припоминаю, что постановка была убийственной, а сценография — тошнотворно современной, но это не важно. Карл Бём дирижировал своими избалованными, но виртуозными баварцами едва заметными движениями руки — как хор и солисты улавливали его указания, остается загадкой. Чуть мешковато сидя на стуле, он не поднимал рук, не вставал, ни разу не перевернул страницы партитуры.

Это нуднейшее, неудачное оперное чудище вдруг превратилось в прозрачный источник наслаждения. До меня дошло, что я слышу «Фиделио» впервые, что, попросту говоря, никогда эту оперу не понимал, не постигал, не добирался до сути. Впечатление — глубочайшее, ошеломительное; внутренняя

дрожь, эйфория, благодарность — целый набор неожиданных эмоций.

Выглядит все очень просто: ноты на месте, никаких особых трюков, никакого поражающего воображения, непривычного для слуха темпа. Интерпретация отличается тем, что немцы слегка иронически обозначают словом «Werktreu»[78]. А чудо все же происходит.

Давным-давно я видел мультипликацию Уолта Диснея о пингвине, мечтающем попасть в южные моря. В конце концов он отправляется в путь и попадает на пальмовый остров посреди теплой синей морской глади. Вешает на пальму фотографии Антарктиды и, тоскуя по дому, прилежно строит новый корабль, чтобы вернуться в родные края.

Я тоже как тот пингвин. Работая в Резиденцтеатер, я часто думал о Драматене, тосковал по дому, родному языку, друзьям, общению. И вот я дома — и тоскую по дерзким замыслам, дракам, кровавым баталиям и презирающим смерть артистам.

Человека в моем возрасте невозможное пришпоривает. Я вполне понимаю ибсеновского строителя Сольнеса, который лезет на церковный шпиль, несмотря на головокружение. Психоаналитики услужливо объясняют: тяга к невозможному, мол, связана с угасающей потенцией. А что еще может сказать психоаналитик?

Я же уверен, что мною движут другие мотивы. У неудачи бывает свежий терпкий привкус, препятствия пробуждают агрессивность, встряхивают цепенеющие творческие силы. Одолеть Эверест с северо-западной стороны увлекательно. Прежде чем навсегда замолчать по биологическим причинам, хочу, чтобы мне противоречили, чтобы во мне сомневались, и не только я сам — этого мне и так хватает ежедневно. Хочу быть человеком, вызывающим досаду, раздражение, человеком, не укладывающимся в привычные рамки. Невозможное слишком соблазнительно — мне ведь терять нечего. Но и выгод никаких, кроме разве что доброжелательной оценки в газетах. Оценки, которую читатели забудут через десять минут, а я — через десять дней.

Да и истинность нашей интерпретации привязана ко времени. Наши спектакли ушли во всепримиряющую мглу небытия, и только отдельные эпизоды величия или краха по-прежнему освещены мягким светом. А вот фильмы остаются, свидетельствуя о жестокой изменчивости художественной правды. Посреди размолотых в щебень модных течений возвышаются одинокие скальные камни.

В момент желчного прозрения я осознаю, что мой театр

остался в 50-х годах, мои учителя — в 20-х. Прозрение делает меня бдительным и нетерпеливым. Необходимо отделить привычные понятия от важного опыта, разрушить устаревшие решения, необязательно заменяя их новыми.

Эврипид, строитель-драматург, состарившись, жил в ссылке в Македонии. Писал «Вакханок». В исступлении клал кирпич на кирпич: противоречия сталкиваются с противоречиями, преклонение с богохульством, будни с ритуалом. Ему надоело читать мораль, он понимал, что игра с богами в конечном счете проиграна. Комментаторы говорят об усталости престарелого поэта. Наоборот. Массивная скульптурная группа Эврипида представляет людей, богов и весь мир в безжалостном и бессмысленном движении под пустынным небом.

«Вакханки» свидетельствуют о мужестве разбивать литейные формы.

* * *

Во вторник 27 декабря 1983 года Стокгольм погрузился во мрак. Мы репетировали «Короля Лира» в большом красивом зале на верхнем этаже Драматена — шестьдесят душ: актеры, статисты, помощники.

Сумасшедший король стоит посреди сцены в окружении всяческого сброда и утверждает, что жизнь — это арена для дураков. Гаснет свет, все смеются, поднимают жалюзи, подгоняемый ветром, оседает на окнах мокрый снег. Налитый свинцом дневной свет нерешительно проникает в репетиционный зал. По местному телефону кто-то сообщает, что театр, весь квартал, может, даже весь город погрузился в темноту.

Я предлагаю немного подождать, в большом городе перебои с электричеством не могут продолжаться долго. Мы рассаживаемся — кто на стулья, кто на пол, — тихо беседуем. Неисправимые курильщики выходят в фойе, но тут же возвращаются — там царит египетская тьма.

Идут минуты, сереет лишенный тени свет за окном, король стоит в сторонке, все еще одетый в широкую черную мантию и увенчанный растрепанным цветочным венком, когда-то, наверное, принадлежавшим Офелии, Анне или Сганарелю. Губы его шевелятся, рука отбивает такт, глаза закрыты. Глостер, сдвинув кровавую повязку с выколотых глаз, чуть заикаясь, уверяет, будто он мастерски готовит жареную салаку. Несколько хорошеньких статисток, собравшись в углу, слушают Олбани, выряженного в спортивный костюм, сапоги и при мече. Время от времени они благодарно смеются, правда приглушенно, поскольку в комнате — приглушенное, но не без приятности настроение.

Эдгар, наш уполномоченный по технике безопасности, настаивает на необходимости обнести площадку загородкой. Сняв очки, он с жаром что-то объясняет помрежу, тот записывает. Честнейший Кент вытянулся на полу во всю длину — начинается радикулит или еще какая-нибудь дрянь. Прелестная Корделия, найдя стеариновую свечу, отправляется через темный холл в уборную и покурить — две непреходящие назойливые потребности.

Прошло полчаса, метель усиливается, дальние углы зала утонули во мгле. В центре, сгрудившись вокруг пяти горящих свечей, поют мадригал дирижер и наш хор — музыкально одаренные мальчики и девочки с хорошими голосами.

Мы замолкаем и прислушиваемся: нежно льются голоса, гудит метель. Неработающее уличное освещение не может

рассеять все быстрее исчезающий, неуверенный, умирающий дневной свет. Песня проникает в душу, лица почти неразличимы. Время остановилось, сейчас мы в глубине того мира, который существует постоянно, совсем рядом. Только и нужно что мадригал, метель и погасший город, чтобы оказаться в хорошо знакомом и все-таки кажущемся недоступным пространстве. В своей профессиональной жизни мы ежедневно играем со временем: растягиваем его, укорачиваем, уничтожаем. Это происходит естественно, мы не задумываемся над этим феноменом. Время — хрупкая, внешняя конструкция, и сейчас оно исчезло совсем.

«Король Лир» — целый континент. Мы снаряжаем экспедиции, которые с переменной ловкостью и успехом наносят на карту вересковую пустошь, реку, какие-то берега, гору, леса. Все страны снаряжают экспедиции, иногда мы встречаемся во время наших блужданий, с горечью убеждаясь, что вчерашнее озеро сегодня превратилось в гору. Чертим карты, комментируем, описываем — ничего не сходится. Опытный толкователь разъясняет четвертый акт. Должно быть так: король весел, сумасшествие — в пределах допустимого. Тот же интерпретатор седеет от бессилия перед вулканическим извержением второго акта. Начало его нелепо — лучше все превратить в игру, наполненную смехом и праздничным настроением. Королю взбрела в голову заманчивая, но опасная идея, ему самому смешно. А трагедия бродяжничества? Превращение: кто обладает достаточной властью и физической выносливостью, чтобы отобразить крушение в его последней стадии? Сперва — порядок во всем; через секунду мир летит в тартарары — жизненная катастрофа.

Я знал, о чем идет речь, сам пережил подобную трагедию кожей души. Раны еще не затянулись. Как передать свой опыт так, чтобы мой король сумел взорвать созданную в тяжких муках оборону против беспорядка и унижения?

Но следует остерегаться и глубокомыслия. Надо играть быстро, открыто, понятно. У нас нет ни опыта, ни традиции, лишь плохое образование. Может ли желание заменить технику? Или же мы погибнем в трясине многословия? Мы, имеющие опыт работы лишь с прямым, твердо стоящим на ногах диалогом Стриндберга. Могут ли вообще нормально играющие актеры и актрисы выразить двойную боль Глостера, веселую ярость Кента, наигранное сумасшествие Эдгара, демоническую злобу Реганы?

Наша экспедиция преодолевает вересковую пустошь, жарко, течет пот. Внезапно солнце раскаленным камнем падает за горизонт, вокруг непроницаемая тьма, и мы понимаем, что

оказались в трясине, под которой — бездна. Один день не похож на другой: вот — момент истины, твердый островок, наконец-то теперь — спокойствие и методичность. Отсюда дотуда — два метра семнадцать сантиметров, так и запишем. Но лучше проверить еще раз. Получается 14 тысяч метров.

Зритель, режиссер, актер, критик. Каждый видит своего короля Лира, расплывчато, иллюзорно воспринимаемого интуицией и чувством. Любая попытка описать словами бесплодна, но заманчива. Пожалуйста, давайте вместе поиграем в понятия. Кто-то, повернувшись на северо-запад, ворожит на солнце. Кто-то, закрыв глаза и прижав подбородок к груди, бормочет, обратившись в южную сторону. Кто лучше всех опишет бетховенский струнный квартет си бемоль-мажор, опус 130, третья часть — andante con moto, ma non troppo? Можно почитать, можно послушать? Мне она нравится. Хотя и немножко однообразна. Но хороша! Макрокосмос, инверсия, контрапункт; структурна, диалектична, подражательна. Быстрее или медленнее? Быстрее *и* медленнее? Хотя, вообще-то, больше структурна. Я растрогался до слез, думая о том, что он ведь, черт возьми, был глух. Описывать музыку — словно рассказывать сказку, ибо звуковые волны затрагивают чувства. Описывать же театр считается вполне возможным, ибо слово, как говорят, воспринимается разумом. Подумать только!

Ибсен со своими лжецами, землетрясения Стриндберга, неистовство Мольера, скользящее коварным александрийским стихом, континенты Шекспира. Подумать только! Сюда бы абсурдистов, злободневных, изобретательных: все предсказуемо, легко воспроизводимо, щекочуще-забавно — эдакие ловкие щелчки, полуфабрикаты для нетерпеливых.

А сейчас, мой дорогой, мой милый друг, я возьму тебя за руку и осторожно встряхну, ты слышишь меня? Вот эти слова ты говоришь ежедневно по нескольку раз. Тебе следовало бы знать, что именно эти слова взывают к твоему опыту. Они оформились в муках или в сладострастии, с головокружительной быстротой или по крохам. Я трясу тебя за руку: ты сознаешь, я сознаю, я понимаю, ты понимаешь, миг триумфа, день прошел не напрасно, наши сомнительные жизни наконец-то приобрели смысл и окраску. Вялый разврат превратился в любовь. Подумать только! Ведь это подумать только!

* * *

Говорят, мне следует рассказать о друзьях. Но это невозможно, если только ты — не древний старик и твои друзья уже не покинули бренный мир. В любом другом случае приходится балансировать между бестактностью и утаиванием: успокойся, я дам тебе почитать написанное.

Один человек сочинил подробную исповедь. Естественно, дал почитать своей прежней любовнице. Та ушла в туалет, проблевалась а потом потребовала вычеркнуть ее имя. Автор подчинился, убрав одновременно все положительное и усилив отрицательное. Дружба, как и любовь, предельно проницательна. Сущность дружбы — в открытости, страсти к правде. Увидеть лицо друга или услышать по телефону его голос и высказать самое мучительное, самое неотложное — это освобождение. Либо же друг сам признается в чем-то, о чем он даже подумать не осмеливался. Дружба нередко окрашивается чувственностью. Фигура другая, его лицо, глаза, губы, голос, движения, интонация запечатлены в твоем сознании — секретный код, открывающий твою душу навстречу доверию и сопричастности. Любовные отношения сотрясаются взрывами конфликтов, это неизбежно, дружба же не так расточительна, у нее не так велика потребность в стычках и чистке. Изредка на нежных поверхностях контактов оседает песок, и это причиняет горе и трудности. Я думаю: обойдусь и без этого идиота! Но проходит какое-то время, и дает себя знать ощущение неблагополучия в самых разных областях, иногда явное, чаще — скрытое.

Я возобновляю общение, так больше продолжаться не может, надо беречь наше богатство. И мы разгребаем, расчищаем, восстанавливаем.

Результат неясный: лучше, хуже или как прежде. Не узнать. Дружба не зависима ни от клятв и уверений, ни от времени и пространства. Дружба не предъявляет никаких требований, кроме одного: искренности. Единственное, но нелегкое требование.

Один друг, занимавшийся активной публичной деятельностью, эмигрирует и поселяется на Ривьере. Снимает трехкомнатную квартиру и, сидя на балконе, плетет коврики. Его значительно более молодая подруга продолжает работать на родине, но на несколько месяцев в году приезжает навестить комфортабельный балкон. Друг замолкает, наша беседа пытается прорваться сквозь плотные заросли умолчаний, для поддержания общения надо затратить немало сил и времени. Его фразы становятся все загадочнее. Какого черта ты удрал на этот

средиземноморский балкон? Ты же медленно и деликатно умираешь, хотя трупных пятен и не видно. Мы беседуем, соблюдая ритуал, я знаю, что его гнетет какая-то забота, которой он не хочет поделиться со мной. Спасибо большое, все замечательно, пальмы, правда, в снегу, зато цветут магнолии.

Я не могу признаться, что знаю, что его гнетет, не хочу обижать его упреком в недостатке искренности.

Кстати, мы почти ровесники — вполне возможно, именно так и начинается настоящая старость. Мы блуждаем по сумеречным залам и захламленным извивающимся коридорам, забираясь все глубже и глубже. Говорим друг с другом по испорченным местным телефонам и беспомощно спотыкаемся о трудноразличимые оговорки.

Мой друг-актер написал увлекательную радиопьесу, и я попросил разрешения поставить ее. Через несколько месяцев я спросил его, не согласится ли он сыграть Призрака и Первого актера в моем «Гамлете». После мучительного колебания он отказался. Я в гневе заявил, что в таком случае не буду ставить его радиопьесу. Потрясенный, он ответил, что не видит связи — столь очевидной для меня. Путем долгих объяснений мы, не поколебав исходных позиций, разобрались в этом недоразумении. Но дружба дала трещину.

Друг, успешно работающий на общественном и политическом поприще, панически боится любой формы агрессивности. Себя он в шутку называет «Besserwisser»[79], и не без оснований. Я охотно слушаю его лекции, ибо у него есть чему поучиться. Много лет назад он усердно наставлял меня по поводу моего шаткого положения на мировом кинорынке — ситуации, знакомой мне лучше, чем кому бы то ни было. Семь раз принимался он читать наставления, на восьмой я взорвался и посоветовал ему заткнуться и убираться к черту (правда, не в таких изысканных выражениях). Прошло немало времени, прежде чем наша дружба восстановилась.

Я, впрочем, не строю себе никаких иллюзий относительно собственного таланта в дружбе. Вообще-то, я друг преданный, но до крайности подозрительный. Если мне кажется, будто меня предали, не задумываясь, предаю сам; если мне кажется, будто со мной порвали, порываю сам — сомнительный, весьма бергмановский талант.

С друзьями-женщинами мне легче. Откровенность — само собой разумеется (так я себе внушаю); отсутствие требований — полнейшее (так я считаю); лояльность непоколебима (так мне кажется). Интуиция работает четко, чувства ничем не затемнены, соображениям престижа нет места. Возникающие конфликты

разрешаются на основе взаимного доверия, не воспаляясь. Вместе мы протанцевали все мыслимые туры: страсть, нежность, вожделение, взбалмошность, предательство, гнев, комедии, отвращение, любовь, ложь, радость, рождения, грозы, лунный свет, мебель, хозяйство, ревность, широкие кровати, узкие кровати, внебрачные связи, нарушения границ, вера; сейчас будет еще: слезы, эротика, только эротика, катастрофы, триумфы, проблемы, оскорбления, драки, страх, тоска, яички, сперма, кровотечения, взрывы, трусы; сейчас будет еще — надо заканчивать, пока не кончилась пластинка: импотенция, распутство, ужас, близость смерти, черные ночи, бессонные ночи, белые ночи, музыка, завтраки, груди, губы, фотографии (повернись к камере, смотри на мою руку справа от рукописи), кожа, собака, ритуалы, жареная утка, китовый бифштекс, испорченные устрицы, надувательство и обман, изнасилования, красивые платья, украшения, прикосновения, поцелуи, плечи, бедра, чужие огни, улицы, города, соперники, соблазнители, волосы на расческе, длинные письма, объяснения, смех, старость, недуги, очки, руки, руки, руки, руки; все, ария заканчивается: тени, ласка, я помогу тебе, береговая линия, море — наступает тишина. На письменном столе тикают старые отцовские золотые часы с треснутым стеклом, без семи минут двенадцать.

Нет, не буду я писать о друзьях, это невозможно, и о моей жене Ингрид не буду писать.

Несколько лет назад я сочинил не слишком удачный сценарий под названием «Любовь без любовников», вылившийся в панораму жизни Западной Германии, окрашенную, по-моему, яростью бессильного пленника и наверняка несправедливую.

Из этой мертворожденной туши я вырезал бифштекс, который превратился в телевизионный фильм «Из жизни марионеток». Эта лента, не понравившаяся большинству, относится к моим лучшим кинопроизведениям — мнение, разделяемое немногими.

В потерпевшем крушение сценарии (рассчитанном на шесть часов игрового времени) был — в качестве противовеса невыносимой сумятице основной конструкции — парафраз истории Овидия о Филемоне и Бавкиде. Я поместил нетронутый алтарь Сказки в глубину разрушенной церкви.

Переодетый Бог бродит по земле, изучая свое творение. Прохладным весенним вечером он приходит на запущенную усадьбу на окраине деревни у моря, где живут старик крестьянин с женой. Они угощают его ужином и оставляют ночевать. На следующее утро Бог отправляется дальше, попросив хозяев высказать одно желание — они пожелали не разлучаться и в смерти. Бог исполняет просьбу, превратив их в огромное дерево

— приют для странников. Мы с женой очень близки. Один думает, второй отвечает, или наоборот. У меня не хватает слов, чтобы описать наше сродство. Но есть одна неразрешимая проблема: в один прекрасный день удар косы нас разлучит. Нет такого доброго бога, который смог бы превратить нас в дерево-приют. Я обладаю способностью вообразить себе большинство жизненных ситуаций — подключаю интуицию, фантазию, вызываю нужные эмоции, придающие картине краски и глубину.

Но инструмента, который помог бы мне представить миг разлуки, у меня нет. А так как я не могу или не хочу воображать себе другую жизнь, жизнь по ту сторону границы, перспектива вселяет в меня ужас. Из кого-то я превращусь в «ничто». И в этом «ничто» не будет даже воспоминания о сродстве.

* * *

Отец приехал в Воромс в отпуск в середине июля в плохом настроении. Он не находил себе места, совершал долгие пешие прогулки по лесам, ночевал в пастбищенских постройках и сараях.

Как-то в воскресенье ему предстояло читать проповедь в часовне Амсберг. Утро было словно налито свинцом, пропали и солнце и слепни. Над горными хребтами на юге стеной возвышались синие тучи.

Уже давно было решено, что я поеду с отцом. Меня посадили на передний багажник велосипеда, к заднему прикрепили пакет с едой и сумку с пасторским облачением. Я был бос, в коротких штанишках в синюю полоску и рубахе с отложным воротником и из такой же ткани, на кисти руки — повязка: расчесал комариный укус, и образовался нарыв. На отце черные брюки со специальными велосипедными застежками, черные ботинки со шнурками, белая рубашка, белая шляпа и легкий летний пиджак. Все это мне известно по фотографии, которую я недавно видел. На заднем плане видна Гертруда, юная приятельница семьи. Она смотрит на отца влюбленным взглядом и лукаво улыбается. Я обожал Гертруду — как было бы хорошо, если бы она отправилась с нами, — хохотушка, она поднимала у отца настроение, они часто пели на два голоса. На заднем же плане — бабушка, она направляется в уборную. Брат сидит, склонившись, вероятно, над ненавистным заданием по математике, сестра еще спит, мне семь лет, скоро стукнет восемь. Снимок сделала мать, любившая фотографировать. И вот мы отправились в путь — вниз по крутому лесному пригорку, окруженному соснами и муравейниками; пахло смолой и разогретым мхом. Черничные кусты усыпаны незрелыми ягодами. Мы миновали вывешенное для просушки постельное белье садовника. Несколькими неделями раньше брат со своими приятелями из Миссионерского особняка, наворовав клубники, размяли ягоды и разрисовали простыни фру Тёрнквист неприличными фигурами. Подозрение пало на всех, но за отсутствием улик нас отпустили с миром, а сыновьям садовника задали трепку, хотя они были не виноваты. Я никак не мог решить, донести ли на брата — основания для мести у меня были. Однажды, раскачивая перед моим носом жирного дождевого червя, он предложил: съешь, получишь пять эре. Я съел. Тогда брат сказал: если ты настолько глуп, чтобы есть дождевых червей, я никак не могу дать тебе пять эре.

Я вообще был доверчив и легко попадался на удочку. К тому

же из-за полипов в носу ходил с полуоткрытым ртом. Так что выглядел дурачком.

Брат сказал: «Возьми бабушкин зонтик, раскрой его, я тебе помогу. Теперь прыгни с верхней веранды — и полетишь». Меня остановили в последнюю минуту, я заревел от злости — не потому, что меня обманули, а потому, что нельзя было летать на бабушкином зонтике.

Старая Лалла сказала: «Ты, Ингмар, родился в воскресенье, поэтому можешь видеть эльфов. Только не забудь держать перед собой две скрещенные веточки». Не знаю, верила ли Лалла сама в то, что говорила. Я же поверил слепо и потихоньку выскользнул на улицу. Эльфов я не увидел, зато увидел крошечного серого человечка с глянцевитым злобным лицом. Он держал за руку девочку, ростом с мой указательный палец. Я хотел поймать ее, но гном с дочкой убежали.

Когда мы жили на Виллагатан, во двор часто приходили играть уличные музыканты. Как-то явилось целое семейство. Войдя в столовую, отец произнес: «Мы продали Ингмара цыганам. За хорошие деньги». Я заорал от ужаса. Все рассмеялись, мать посадила меня к себе на колени и, обхватив руками мою голову, начала тихонько качать. Все удивлялись моей доверчивости: его так легко обмануть, никакого чувства юмора.

Мы уже доехали до пригорка у почты, мне пришлось слезть и идти пешком. Я был бос, поэтому шел по обочине, заросшей мягкой утоптанной травой. Мы поздоровались с почтмейстером, направлявшимся на станцию к поезду, идущему в Крюльбу. Мешок с почтой лежал на маленькой тележке. На лестнице сидел Лассе — долговязый парень с болтающимися руками. Увидев нас, он замотал головой и замычал. Я сдержанно поздоровался. Недавно Лассе научил меня песенке: «Петушок и курочка прыгали через веревочку, прыгал-прыгал петушок, уморилась курочка». Смысла я не понимал, но то, что это — не псалом, мне было ясно.

Когда мы преодолели пригорок, я опять залез на багажник. Отец велел мне поднять ноги. Годом раньше я попал правой ногой в спицы велосипеда дяди Эрнста, переломав мелкие косточки лодыжки. Отец поднажал на педали, и вскоре мы промчались мимо большого хутора Берглюнда, где мы, дети, брали молоко и собирали падалицу. Хрипло залаяла Долли, привязанная к стальной проволоке, натянутой между двумя соснами. За хутором стояли Дом привидений и Миссионерский особняк, в котором обитали многочисленные детьи Фрюкхольмов, пока родители проповедовали слово божье на африканских полях. В Миссионерском особняке царило радостное, исполненное любви христианство, без законов и принуждения. Дети ходили

неумытые, босоногие. Пищу поглощали стоя, когда давал о себе знать голод. А Бенгт Фрюкхольм был обладателем волшебного театра, который он самостоятельно соорудил по указаниям семейного журнала «Аллерс Фамилье-журналь». Однако свою любимую песенку дети никогда не пели в стенах дома:

Я в Африке родился,
Король мне был отцом,
Резвился с крокодильчиком.
Совсем я был мальцом.
Тра-ляля-ля бом!

Из жирного миссионера сварили суп.

Теперь мы на хорошей скорости неслись по длинному пологому склону Сульбакки, дорога проходила рядом с рекой, пекло солнце, свистели, похрустывая, колеса, сверкала водная гладь. Над горной грядой по-прежнему пучилась стена туч. Отец тихонько напевал. Вдали засвистел утренний поезд. Я с грустью подумал о собственных паровозиках: был бы сейчас дома, разложил бы железную дорогу на узенькой тропке, ведущей к погребу. Поездка с отцом всегда была рискованным предприятием. Никогда не знаешь, чем оно кончится. Иногда хорошего настроения хватало на целый день, иногда пастора настигали демоны, и он становился немногословным, замкнутым, раздражительным.

У переправы уже ожидали повозки с прихожанами, древний старик с грязнющей коровой и несколько мальчишек, направлявшихся к Юпчэрн купаться и ловить окуней.

Через реку натянуты стальные тросы, на них железные петли и подвижные ржавые колесики, с которыми соединен сам паром, управляемый вручную. Тяжелыми захватами из просмоленной древесины цепляются за тросы, перемещая таким образом плоскодонный корабль взад и вперед по темной бурлящей реке. Глухо бьются о борта парома топляки.

Отец тут же заговорил с женщинами в одной из повозок. Я уселся на дощатый пол на носу и опустил ноги в воду, ледяную даже сейчас, в разгар лета; вокруг ступней и лодыжек завертелись коричневые буруны.

С детства река присутствует в моих снах, всегда темная, бурлящая, как у моста в Гродан, бревна пахнут корой и смолой, они медленно кружатся в неудержимом потоке; из глубины угрожающе тянутся острые камни, видные сквозь зеркальную гладь. Сильно изрезанное речное русло между крутыми берегами, где нашли опору чахлые березки и ольха, вода, на мгновения вспыхивающая на солнце, чтобы потом погаснуть и сделаться еще чернее, непрерывное движение к излучине, глухой шум. Мы,

бывало, ходили на реку купаться — по тропинке, отвесно сбегавшей со склона около Воромса, пересекавшей железнодорожную насыпь и проселок, берглюндовский луг и дальше вниз с пригорка, с нашей стороны довольно пологого. Там был пришвартован бревенчатый плот, с которого можно было нырять. Однажды я оказался под плотом и не мог всплыть. Нимало не испугавшись, я открыл глаза и увидел покачивающиеся водяные растения, испускаемые мною воздушные пузыри, солнечную иллюминацию, освещавшую коричневое пространство, маленьких уклеек, сновавших между камнями, осевшими в донном иле. Я не двигался, медленно исчезая. Потом ничего не помню, кроме того, что лежу на плоту, меня рвет водой и слизью, а вокруг все возбужденно, перебивая друг друга, говорят.

Теперь же я сидел на краю парома, остужая горящие подошвы и искусанные комарами лодыжки. Внезапно кто-то хватает меня за плечи и отшвыривает назад, после чего дает сильную пощечину. Отец разъярен: «Знаешь ведь, что я запретил, не соображаешь? Тебя может утянуть вниз». Следует еще одна пощечина. Я не заплакал — только не здесь, перед всеми этими чужими людьми. Я не плакал, я сгорал от ненависти: чертов хулиган, вечно дерется, я убью его, никогда не прощу, вот вернемся домой, придумаю для него самую мучительную смерть, он будет умолять меня сжалиться, я услышу, как он кричит от ужаса.

Билась о борт бревна, журчала вода, я встал в стороне, но на виду. Отец помогал паромщику, усердно работая тяжелой деревянной клюкой. Он тоже был зол, я видел.

Мы причалили, вода залила доски настила, повозки съехали на берег, причал шатался и раскачивался. Отец прощался — он всегда легко завязывал разговор. Мальчики, собравшиеся на рыбалку, злорадно ухмыляясь, взяли удочки. Древний старик с грязной коровой поковылял вверх по откосу.

«Ну идем же, дурачина!» — сказал отец приветливо. Я, не сдвинувшись с места, нарочито отвернулся — от дружелюбного тона отца подмывало заплакать. Он подошел и шлепнул меня по спине: «Ты же понимаешь, я испугался, ведь ты мог бы утонуть, никто б и не заметил». Он еще раз шлепнул меня, взял велосипед и повел его по мокрому настилу. Паромщик уже впускал новых людей.

Отец протянул руку, моя ладошка утонула в его ладони. И гнев в ту же секунду улетучился. Он испугался, понятное дело. Если человек боится, он сердится, это я соображал. Теперь он смягчился, переборщил и вот раскаивается.

Склон от паромной переправы круто забирал вверх, и я помогал вести велосипед. Наверху в лицо ударила стена жара, ветер вздымал вихри мелкого песка, не принося прохлады. Черные отцовские брюки и ботинки покрылись пылью.

Мы пришли на место, когда колокол прозвенел десять. На тенистом кладбище какие-то одетые в черное женщины поливали цветы на могилах. Воздух был пропитан ароматом свежескошенной травы и смолы. Под каменным сводом чуть прохладнее. Ризничий, звонивший в колокол, проводил отца в ризницу. В шкафу стояли таз и кувшин, отец, сняв рубашку, умылся, надел чистую рубашку, брыжи и ризу, а потом, присев за стол, на листке бумаги написал номера псалмов. Я отправился с ризничим, чтобы помочь ему развесить нужные цифры. Мы исполняли эту важную работу молча: одна неправильная цифра — и произойдет катастрофа.

Я знал: сейчас отца нужно оставить одного. Поэтому отправился на кладбище и принялся читать надписи на могильных камнях, особенно на тех, что были установлены на детских могилках. Над темной ветвистостью ясеней повис белый небесный свод. Неподвижный раскаленный воздух. Шмели. Комар. Мычит корова. Слипаются глаза. Вздермну. Сплю.

Готовясь к съемкам «Причастия», я на исходе зимы поехал осматривать церкви Упланда. Обычно, взяв ключ у пономаря, я заходил внутрь и проводил там по многу часов, наблюдая за блуждающим светом и думая, чем мне закончить фильм. Все было написано и выверено, кроме конца.

Как-то рано утром в воскресенье я позвонил отцу и спросил, не хотел бы он составить мне компанию. Мать лежала в больнице с первым инфарктом, и отец жил в полном уединении. С руками и ногами у него стало еще хуже, он передвигался с помощью палки и ортопедической обуви, но благодаря самодисциплине и силе воли продолжал исполнять свои обязанности в дворцовом приходе. Ему было семьдесят пять лет.

Туманный день на исходе зимы, ярко белеет снег. Мы приехали заблаговременно в маленькую церквушку к северу от Уппсалы. Там на тесных скамьях уже сидело четверо прихожан. В преддверье перешептывались ризничий со сторожем. У органа суетилась женщина-органист. Перезвон колоколов замер над равниной, а священника все не было. В небе и на земле воцарилась тишина. Отец нетерпеливо заерзал, что-то бормоча. Через какое-то время со скользкого пригорка послышался шум мотора, хлопнула дверь, и по проходу, тяжело отдуваясь, заспешил священник. Дойдя до алтаря, он повернулся и оглядел паству покрасневшими глазами. Он был худой, длинноволосый,

ухоженная борода едва прикрывала безвольный подбородок. Он кашлял, размахивая руками точно лыжник, на затылке кучерявились волосы. Лоб налился кровью. «Я болен. Температура около тридцати восьми, простуда, — проговорил священник, ища сочувствия в наших взглядах. — Я звонил настоятелю, он разрешил мне сократить богослужение. Поэтому запрестольной службы и причащения не будет. Мы споем псалом, я прочитаю проповедь — как сумею, потом споем еще один псалом и на этом закончим. Сейчас я пройду в ризницу и переоденусь». Он поклонился и в нерешительности замер, словно ожидая аплодисментов или по крайней мере знаков взаимопонимания. Не увидев никакой реакции, он исчез за тяжелой дверью. Отец, возмущенный, начал приподниматься со скамьи. «Я обязан поговорить с этим типом. Пусти меня». Он выбрался в проход и, прихрамывая, направился в ризницу, где состоялся короткий, но сердитый разговор.

Появившийся вскоре ризничий, смущенно улыбаясь, объявил, что состоится и запрестольная служба, и причащение. Пастору поможет его старший коллега.

Органистка и немногочисленные прихожане запели первый псалом. В конце второго куплета торжественно вошел отец — в белой ризе и с палкой. Когда голоса смолкли, он повернулся к нам и своим спокойным, без напряжения голосом произнес: «Свят, свят господь Саваоф! Вся земля полна славы его!»

Что до меня, то я обрел заключительную сцену для «Причастия» и правило, которому следовал и собираюсь следовать всегда: *ты обязан, невзирая ни на что, совершить свое богослужение.* Это важно для паствы и еще важнее для тебя самого. Насколько это важно для Бога, выяснится потом. Но если нет другого бога, кроме твоей надежды, то это важно и для Бога.

Я хорошо выспался на тенистой скамейке. Прозвонили к началу службы, и я, неслышно ступая босыми ногами, пробрался в церковь. Жена настоятеля, взяв меня за руку, силой усадила рядом с собой недалеко от кафедры. Я бы предпочел устроиться рядом с органом, как бы за кулисами, но пасторша была на сносях, и пробраться мимо нее не было никакой возможности. Мне сразу же захотелось в уборную, было ясно, что мучение предстоит длительное. (Мессы и плохие спектакли тянутся дольше всего. Если вам кажется, будто жизнь бежит чересчур стремительно, пойдите в церковь или в театр. И время остановится, вам представится, будто испортились часы, оправдаются слова Стриндберга в «Ненастье»: «Жизнь коротка, но она может быть длинной, пока идет»)

Как все прихожане всех времен, я погрузился в созерцание

алтарной живописи, утвари, распятия, витражей и фресок. Там были Иисус и разбойники, окровавленные, в корчах, Мария, склонившаяся к Иоанну («зри сына своего, зри мать свою»), Мария Магдалина, грешница (с кем она спала в последний раз?). Рыцарь играет в шахматы со Смертью. Смерть пилит Дерево жизни, на верхушке сидит, ломая руки, объятый ужасом бедняга. Смерть, размахивая косой точно знаменем, ведет танцующую процессию к Царству тьмы, танцует, растянувшись длинной цепью, паства, скользит по канату шут. Черти кипятят котлы, грешники бросаются вниз головой в огонь. Адам и Ева увидели свою наготу. Из-за запретного древа установилось Божье око. Некоторые церкви напоминают аквариум, ни единого незаполненного места, повсюду живут и множатся люди, святые, пророки, ангелы, черти и демоны и здесь и там лезут через стены и своды. Действительность и воображение сплелись в прочный клубок — узри, грешник, содеянное тобой, узри, что ждет тебя за углом, узри тень за спиной»!

Какое-то время я преподавал в театральной школе Мальме. Нам предстоял показ, но мы не знали, что сыграть. Тогда я, вспомнив церковные росписи моего детства, за несколько вечеров написал коротенькую пьесу под названием «Роспись по дереву» с ролью для каждого студента. Самому видному, но, к сожалению, наименее одаренному юноше, который готовился к работе в оперетте, поручили роль рыцаря — того, которому сарацины отрезали язык, и он стал нем.

«Роспись по дереву» в конце концов превратилась в «Седьмую печать» — неровный, но дорогой моему сердцу фильм, ибо делался он в наипримитивнейших условиях, зато с огромным жизнелюбием и желанием. В ночном лесу, где казнят Ведьму, за деревьями можно разглядеть окна многоэтажек Росунды. Процессия флагеллантов двигалась по участку, расчищавшемуся под строительство новой лаборатории. Эпизод танца Смерти под темными тучами снимался в бешеном темпе уже после того, как большинство артистов разошлось. Техников, электриков, одного гримера и двух дачников, совершенно не понимавших, что происходит, обрядили в костюмы приговоренных к смерти, установили «немую» камеру и успели заснять кадр до того, как разошлись тучи.

Я не осмеливался спать, когда проповедь читал отец. Он видел все. Однажды друг нашей семьи во время рождественской заутрени в часовне Софияхеммет задремал. Отец прервал проповедь и спокойно сказал: «Проснись, Эйнар. Сейчас будет кое-что для тебя». После чего заговорил о том, что последние станут первыми. Дядя Эйнар, холостяк, игравший на скрипке, был

вторым архивариусом Министерства иностранных дел и мечтал стать первым.

После мессы настоятель пригласил на кофе. Там был и настоятелев сынок Оскар — жирный мальчишка моих лет с соломенными волосами. Нам подали сок и булочки. Оскар вызывал отвращение: на голове у него — из-за экземы — было надето что-то вроде капора из грязных, в розоватых пятнах бинтов, он непрерывно чесался и источал запах карболки. Нас отослали в детскую, которую Оскар переоборудовал в церковь — с алтарем, подсвечниками, распятием и цветной шелковой бумагой на окнах. В углу стоял комнатный орган. На стенах — картины на библейские сюжеты. Резко воняло карболкой и дохлыми мухами. Оскар спросил, что я предпочитаю: послушать проповедь или поиграть в похороны. В гардеробной был спрятан детский гробик. Я ответил, что не верю в Бога. Оскар, почесав голову, заявил, что существование Бога доказано научно: крупнейший в мире ученый, русский по фамилии Эйнштейн, разглядел Божий лик в глубине своих математических формул. Я сказал, что сыт этими россказнями по горло. Началась перепалка. Оскар, который был сильнее, скрутил мне руку и потребовал, чтобы я признал существование Бога. Было больно и страшно, но я предпочел не звать на помощь. Он, наверное, сумасшедший. А желание идиотов надо выполнять, иначе неизвестно, что может случиться. И я быстренько признался в вере в Бога.

После этого признания мы мрачно разошлись по разным углам. Вскоре наступило время прощания и отъезда. Отец, упаковав пасторское облачение и брыжи, сдвинул на затылок шляпу и позволил мне взобраться на передний багажник. Настоятель с женой уговаривали переждать грозу — на пылающее солнце уже надвигалась тяжелая туча. В душной жаре чувствовалось приближение дождя. Отец с улыбкой поблагодарил — успеем. Да и немного влаги не помешает. Жена настоятеля прижала меня к пышной груди, от нее несло потом, своим выпирающим, тугим как барабан животом она едва не столкнула меня с велосипеда. Настоятель попрощался за руку, когда он говорил, из его толстогубого рта брызгами летела слюна. Оскар не показывался.

Наконец мы двинулись в путь. Отец молчал, но я чувствовал, что он испытывает облегчение. Напевая мелодию какого-то летнего псалма, он жал на педали, развив приличную скорость.

У развилки на Юпчэрн отец предложил окунуться. Мне идея понравилась, и мы свернули на тропинку, бежавшую через пустошь, где висел тяжелый кисловатый аромат папоротника и старого камыша.

Озеро, круглое как блюдце, считалось бездонным. Тропинка кончалась узенькой песчаной полоской, круто обрывавшейся в темную глубину воды. Мы разделись. Отец бросился в воду и поплыл, отфыркиваясь, на спине; я осторожно сделал несколько гребков и погрузился с головой под воду — там не было ни дна, ни водорослей, ничего.

Потом мы сидели на берегу и обсыхали в душной жаре, вокруг роилась мошкара. У отца были прямые плечи, высокая грудная клетка, сильные длинные ноги и внушительных размеров гениталии, почти лишенные растительности. На белой коже мускулистых рук рассыпано множество коричневых пятен. Я сидел у него между колен, словно Христос, висящий на кресте между колен Бога на старинном запрестольном изображении. Увидев на берегу неизвестный ему темно-фиолетовый цветок, отец распотрошил его, строя различные догадки насчет названия. О цветах и птицах он знал едва ли не все.

Голода мы не испытывали, ибо угощение в пасторском доме было обильным, но все же съели захваченные из дома бутерброды, разделив поровну бутылку лимонада.

День потемнел. Осы пикировали на бутерброды. Внезапно по глянцевитой воде пошли бесчисленные круги и тут же пропали.

Пора в путь, решили мы.

Когда отец овдовел, я часто навещал его, и мы вели дружеские беседы. Как-то я сидел у его домоправительницы, обсуждая какие-то практические вопросы. Вдруг из коридора послышались его медленные шаркающие шаги, в дверь постучали, он вошел в комнату, прищурившись от яркого света — вероятно, только что проснулся. С удивлением посмотрев на нас, он спросил: «А Карин еще не вернулась?» Но сразу же осознав свою болезненную промашку, смущенно улыбнулся — мать умерла четыре года назад, а он так опростоволосился, спросив про нее. Мы и рта не успели раскрыть, как он, протестующе взмахнув палкой, удалился обратно в свою комнату.

Запись в рабочем дневнике от 22 апреля 1970 года. Отец при смерти. В воскресенье навестил его в Софияхеммет. Он храпел. Эдит, находящаяся при нем и днем и ночью, разбудила его и вышла из палаты. Его лицо — лицо умирающего, но глаза ясные, на удивление выразительные. Он что-то прошептал, но разобрать, что он хотел сказать, было невозможно. Вероятно, легкое помутнение рассудка. Любопытно наблюдать, как меняется выражение его глаз: требовательное, вопрошающее, нетерпеливое, боязливое, ищущее контакт. Когда я собрался уходить, он вдруг взял меня за руку и что-то забормотал. Что-то читал. Я почти сразу догадался, что он читает благословение. Умирающий отец

призывает благословение Божие на сына. Все произошло быстро и неожиданно.

25 апреля 1970 года. Отец еще жив. Точнее говоря, он без сознания, работает только сильное сердце. Эдит кажется, будто она общается с ним, когда держит его за руку. Она говорит, а он отвечает — рукой. Это необъяснимо, но трогательно. Они ведь ровесники и друзья с детства.

29 апреля 1970 года. Отец скончался. Умер в воскресенье двадцать минут пятого вечера, смерть была легкой. Мне трудно разобраться в том, что я почувствовал, увидев его лицо. Он был совершенно неузнаваем. Больше всего его лицо напоминало фотографии мертвецов из концлагерей. Это было лицо Смерти. Я думаю о нем из отчаянного далека, но с нежностью. Плохи нынче дела у Бергмана, несмотря на приветливый свет над морем. Сильнейшая тоска — хочу наконец ощутить прикосновение, получить помилование. Плохи нынче дела. Не то чтобы я плохо себя чувствовал — наоборот, но вот душа...

Выехав из березовой рощи на равнину с ее необозримыми полями, мы увидели над горами зарницы. Тяжелые капли упали в дорожную пыль, пробивая на ней борозды и узоры. «Вот так мы могли бы объехать вокруг земли, ты и я», — сказал я. Отец засмеялся и отдал мне свою шляпу — на сохранение. Нам обоим было хорошо. У заброшенной деревни начинался подъем, и тут разыгралась буря с градом. За какую-нибудь минуту поднялся ветер, молнии одна за другой вспарывали черноту, раскаты грома слились в неумолчный гул. Тяжелые дождевые капли слипались в комки льда. Мы с отцом побежали к ближайшему заброшенному строению, оказавшемуся каретным сараем, где стояло несколько забытых повозок. Потолок протекал, но мы нашли защиту там, где когда-то был сеновал.

Сидя на мощной балке, мы смотрели в открытую дверь. На склоне росла могучая береза. В нее два раза попала молния, из ствола клубился дым, листва сворачивалась, словно корчилась в муках, землю сотрясали удары. Я прижался к отцовским коленям. От брюк пахло сыростью, лицо было мокро. Он вытерся рукавом, я сделал то же самое. «Боишься?»— спросил отец. «Нет, не боюсь», — сказал я, но подумал, что, может, это Судный день, когда вострубили ангелы и упала в море звезда, имя которой Полынь. Вообще-то, я отрицал существование Бога, но в то, что Господь меня за это покарает, особенно не верил, потому что отец, который во время Страшного суда уж точно окажется среди праведников, постарается меня спрятать.

Порывы ветра стали мощнее, потянуло холодом, у меня зуб на зуб не попадал. Отец снял с себя пиджак и укутал меня;

пиджак был влажный, но теплый от отцовского тела. Порой ландшафт совсем исчезал за пеленой дождя. Град прекратился, но земля была усыпана круглыми ледяными мячиками. Перед сараем образовалось озеро, и вода устремилась под каменный фундамент. Серый, блуждающий свет наводил на мысль о сумерках, наступающих без захода солнца. Раскаты грома, по-прежнему бесперебойные, ушли вдаль, стали глуше и потому не вызывали прежнего ужаса. Сплошная стена дождя разделилась на обильные струи.

Надо было уходить. Мы и так уже отсутствовали слишком долго, пропустили обед. Дорога местами превратилась в бурные ручьи, ехать на велосипеде было тяжело. Внезапно машина пошла юзом, я, успев подобрать ноги, скатился на лужайку, отец остался на дороге. Поднявшись, я увидел, что он лежит неподвижно, одна нога придавлена велосипедом, голова прижата к груди: ну вот, отец мертв.

В следующую секунду он повернул голову, спросил, не ушибся ли я, и рассмеялся своим веселым, добродушным смехом. Встал, поднял велосипед. На щеке кровоточила небольшая царапина, оба мы промокли, вымазались в грязи и глине. Дождь все еще не перестал. Мы пошли рядом, и отец время от времени словно бы облегченно смеялся.

Недалеко от переправы раскинулась обширная усадьба. Отец постучался в дом и попросил разрешения воспользоваться телефоном. Старик хозяин ответил, что линию повредило в грозу. Старушка угостила нас кофе. Она заставила меня раздеться и жестким полотенцем хорошенько растерла все тело. Потом достала панталоны, нижнюю сорочку из грубого полотна, ночную рубаху, вязаную кофту и толстые шерстяные носки. Сперва я наотрез отказался надевать на себя бабьи тряпки, но после строгого окрика отца вынужден был повиноваться. Отец одолжил у старика брюки и надел пасторский сюртук, а сверху нацепил старую кожаную безрукавку. Старик запряг бричку с откидным верхом. В Воромс мы прибыли уже в сумерках.

Как все хохотали над нашей экипировкой!

Тем же вечером брат с двумя приятелями-одногодками из Миссионерского особняка, вылетев из окна на волшебном ковре, совершили полет над дальними лесами. Заговорщики спали на матрацах, стащив их в тесную комнатушку перед детской. Мне было строжайше велено оставаться в постели и не шевелиться.

О том, чтобы принять участие в полете, и думать не приходилось, я был слишком мал. Да и неизвестно, выдержал бы ковер более трех воздухоплавателей. В полуоткрытую дверь я слышал перешептывания и сдавленный смех. Вдали

погромыхивал гром, по крыше стучал дождь. Комната то и дело освещалась беззвучными вспышками молний.

И вот я отчетливо слышу, как в комнатке открывается окно. Волшебный ковер выброшен на крышу веранды, следом вылезли воздухоплаватели. От налетевшего порыва ветра затрещали стены, дождь припустил сильнее. Я, больше уже не владея собой, ринулся в соседнюю комнату. Она была пуста, ковер исчез, окно распахнуто в ночь, полощется на ветру штора. При свете молнии я увидел брата, летящего над лесной опушкой на красном в клетку домотканом ковре вместе с Бенгтом и Стеном Фрюкхольмами.

На следующее утро они были усталыми и молчаливыми. Я попытался было заговорить о полете за семейным завтраком, но грозный взгляд брата заткнул мне рот.

* * *

Декабрьским воскресеньем я слушал в церкви Хедвиг Элеоноры «Рождественскую ораторию» Баха. Все утро — тихое, безветренное — шел снег. А сейчас выглянуло солнце.

Я сидел в левом приделе под самым сводом. Золотое солнечное сияние, отражаясь в окнах расположенного напротив церкви пасторского дома, рисовало узоры на внутренней стороне свода. Острыми клиньями разрезал воздух лившийся через купол свет. Зажегся ненадолго витраж сбоку от алтаря и погас — беззвучный взрыв туманно-красного, синего и золотисто-коричневого. Парил, утешая, хорал в сумеречном помещении: набожность Баха утишает муку нашего безверия. Беспокойный, дрожащий световой узор на стене перемещается вверх, сжимается, теряет силу, гаснет. Ре-мажорные трубы восторженно приветствуют Спасителя. Мягкий серо-голубой сумрак вдруг наполняет церковь покоем, вечным покоем.

Похолодало, уличное освещение еще не зажглось, поскрипывает под ногами снег, изо рта клубится пар. Морозы на адвент... Какая же будет зима? Тяжелая, наверно. В голове еще трепещут, словно красочные колышущиеся покровы, баховские хоралы, развеваются над порогом распахнутой двери — радость!

В каком-то временном запале я пересекаю по-воскресному тихую Стургатан и вхожу в пасторский дом, где пахнет моющими порошками и святостью — точно как пятьдесят лет назад.

Огромная квартира погружена в тишину, кажется покинутой, по потолку гостиной движутся световые пятна от падающего снега, в комнате матери горит настольная лампа, столовая утопает в темноте. Кто-то быстро, чуть подавшись вперед, проходит по коридору. Слышатся приглушенные расстоянием женские голоса, мирно жужжит беседа, негромко позванивают о фарфор ложечки — в кухне пьют кофе.

Я снимаю пальто и ботинки и на цыпочках иду по скрипучему, навощенному полу столовой. Мать сидит у письменного стола, на носу очки, еще не успевшие поседеть волосы в легком беспорядке. Склонившись над своим дневником, она что-то пишет тоненькой авторучкой. Ровный, стремительный почерк, микроскопические буковки. Левая рука покоится на столе: короткие сильные пальцы, тыльная сторона руки испещрена вздутыми голубыми венами, блестят массивные обручальные кольца и бриллиантовое кольцо между ними. Кожа вокруг коротко остриженных ногтей в заусенцах.

Она быстро поворачивает голову и видит меня (как страстно

я желал вновь пережить этот миг; с тех самых пор, как умерла мать, тосковал я по этому мгновению). Она суховато улыбается, захлопывает тетрадь и снимает очки. Я по-сыновнему целую ее в лоб и коричневое пятнышко у левого глаза.

— Знаю, что помешал, это ведь твои священные минуты, я знаю. Отец отдыхает перед обедом, а ты читаешь или пишешь дневник. Я только что был в церкви, слушал «Рождественскую ораторию» Баха, это так красиво, и красивое освещение, и я все время думал: все-таки сделаю попытку, на этот раз обязательно получится.

Мать улыбается, как мне кажется — иронически, я знаю, что она думает!

«Ты часто, каждый день проходил по Стургатан по дороге в театр. Но тогда тебе редко или почти никогда не приходило в голову заглянуть к нам». Да, действительно не приходило, я ведь был Бергманом: не буду мешать, не буду навязываться, к тому же разговор опять пойдет о детях, не могу я говорить о детях, я с ними не вижусь. И опять начнется игра на чувствах: мог бы сделать это ради меня. Не сердись, мама! Не будем выяснять отношения, это бессмысленно. Позволь мне просто посидеть несколько минут в этом старом кресле, нам не нужно даже разговаривать. Пожалуйста, продолжай писать свой дневник, если хочешь...

Стиральная машина! Я же собирался купить стиральную машину, черт! Матери нужна стиральная машина, вспоминал я время от времени и, разумеется, ничего не сделал.

Мать встает и быстрыми шагами (всегда быстрыми шагами) направляется в столовую, пропадает во мраке, какое-то мгновение слышится ее возня в гостиной, она зажигает лампу на круглом столе, возвращается, ложится поверх бордового покрывала и натягивает на себя серо-голубую шерстяную шаль.

— Усталость никак не проходит, — говорит она, извиняясь.

— Я хотел бы спросить тебя, мама, кое о чем, очень важном. Два-три года назад, по-моему, летом 1980 года, я сидел в кресле в своем кабинете на Форё, шел дождь, знаешь, тихий летний дождь, который зарядил на целый день, сейчас такого не бывает. Я читал, прислушиваясь к дождю. И вдруг почувствовал, что ты рядом, мама, я мог бы дотронуться до твоей руки. Я не спал, это совершенно точно, и это не было каким-то сверхъестественным явлением. Я знал, что ты находишься в комнате, или же мне все это только пригрезилось? Никак не пойму и поэтому решил спросить тебя!

Мать, внимательно глядевшая на меня, отворачивается, берет думочку в зеленую клетку и кладет себе на живот.

— Это была, очевидно, не я, — говорит она спокойно. — Я все еще чувствую страшную усталость. Ты уверен, что это не был кто-то другой?

Я отрицательно мотаю головой: уныние, чувство, что вторгся в запретную зону.

— Мы ведь стали друзьями, разве мы не стали друзьями? Прежние роли — матери и сына — ушли в прошлое, и мы стали друзьями, ведь так? Говорили искренне и доверительно? Разве нет? Я начал понимать твою жизнь, мама, но приблизился ли хоть на йоту к настоящему пониманию? Или эта наша дружба была всего лишь иллюзией? Нет, не думай, пожалуйста, будто у меня помутился рассудок от самобичевания. Это не так. Но дружба? Может, роли остались неизменными, изменились только реплики? Игра шла на моих условиях. А любовь? Я знаю, в нашей семье не пользуются подобной терминологией. Отец в церкви говорит о любви Господа. А здесь, дома? Как обстояло дело с нами? Как сумели мы преодолеть раздвоенность души, справиться с глухой ненавистью?

— Поговори еще с кем-нибудь, я слишком устала.

— С кем? Я даже сам с собой не могу говорить. Ты устала, это понятно, я и сам иногда чувствую, как усталость парализует нервы и внутренности. Мама, ты обычно говорила: пойди займись чем-нибудь, поиграй в свои новые игрушки. Нет, не надо, я не люблю нежностей, тебе бы только поласкаться, ведешь себя, как девочка. Ты как-то сказала, что бабушка была к тебе сурова. Всю свою любовь она отдала младшенькому, тому, который потом умер. А кому ты отдала свою любовь?

Мать поворачивается лицом к свету настольной лампы, и я вижу ее темный взгляд, взгляд, который невозможно ни искупить, ни вынести.

— Знаю, — говорю я поспешно, с трудом сдерживая дрожь. — Цвели цветы, тянулись вверх вьюнки, зеленели ростки. Цветы цвели, а мы? Почему все было так плохо? Из-за бергмановского оцепенения? Или была другая причина? Помню, брат однажды что-то натворил. Ты, мама, вышла из вот этой комнаты, прошла в гостиную, где мы находились, и пошатнулась влево. Я подумал тогда: она играет, но переигрывает, это выглядело не слишком убедительно. Нас что, наделили масками вместо лиц, истерией вместо чувств, стыдом и виной вместо нежности и прощения?

Мать подносит руку к волосам, взгляд — темный, неподвижный, по-моему, она даже не мигает.

— Почему брат стал инвалидом, почему раздавили сестру, превратив ее в сплошной крик, почему я жил с воспаленной, не заживающей раной в душе? Не хочу измерять долю вины каждого,

я не учетчик. Хочу только узнать, почему мы так жестоко страдали за непрочным фасадом социального престижа? Почему оказались искалеченными брат и сестра — несмотря на заботу, поддержку, доверие? Почему я столь долго был не способен на нормальные человеческие взаимоотношения?

Мать садится, отводит глаза и глубоко вздыхает — на левом указательном пальце я замечаю полоску пластыря. На ночном столике исправно тикают золотые часики. Она несколько раз сглатывает.

— У меня в запасе целый арсенал объяснений — каждого чувства, каждого движения, каждого физического недомогания, потому я употребляю именно эти слова. Люди понимающе кивают головой: так и должно быть! А я все-таки беспомощно низвергаюсь в бездну жизни. Как высокопарно это звучит: низвергаюсь в бездну жизни. Но бездна — реальность, к тому же она бездонна, и не разбиться насмерть в каменистом ущелье или о зеркало воды. Мама, я зову маму, как звал всегда: когда лежал ночью с температурой, когда приходил из школы, когда бежал в темноте через больничный парк, преследуемый привидениями, когда протягивал руку, чтобы дотронуться до тебя тем дождливым днем на Форё. Не знаю, ничего не знаю. Что же это с нами происходит? Нам с этим не справиться. Да, верно, у меня повышенное давление, заработал во времена унижений и оскорблений. Мои щеки горят, я слышу чей-то вой, наверное, свой собственный.

Надо взять себя в руки, успокоиться. Наша встреча оказалась не такой, как я ее себе представлял: мы должны были с легкой грустью вести негромкую беседу о загадках. Ты бы, мама, слушала и объясняла. Все было бы преисполнено чистотой и совершенством, как баховский хорал. Почему мы никогда не говорили отцу и матери «ты»? Почему нас заставляли обращаться к родителям на «вы» — грамматическая несуразность, удерживавшая нас на расстоянии?

Мы обнаружили в сейфе твои дневники, мама. После твоей смерти отец просиживал дни напролет с лупой, пытаясь разобрать микроскопические, частично зашифрованные записи. Постепенно он понял, что никогда по-настоящему не знал той женщины, с которой прожил в браке пятьдесят лет. Почему ты, мама, не сожгла свои дневники? Продуманное мщение: дескать, теперь говорю я, а тебе до меня не добраться, я открываю тебе самое сокровенное, и ты не можешь ответить молчанием; сейчас ты не сможешь промолчать, как молчал всегда, когда я умоляла, плакала, неистовствовала.

Я заметил, что мать начала растворяться. Исчезли ноги под

шалью, бледное лицо, отделившись от шеи, парило перед восточными занавесями, глаза были полузакрыты. Темный взгляд обращен внутрь, указательный палец с полоской пластыря неподвижно замер на крышке золотых часов. Хрупкое тело слилось с узором покрывала. Я сделал еще одну попытку, не особенно напрягаясь:

— Мы поссорились, ты, мама, ударила меня по лицу, я дал сдачи. Почему мы ругались: эти ужасные сцены, хлопанье дверьми, слезы бешенства? Почему мы ругались? Не помню предметов наших ссор, кроме последней — когда отец лежал в больнице. Что это было: ревность, поиски контакта или только воспитание? Я помню наши примирения, обволакивающее облегчение. Но ложь?

Из кухни потянуло слабым запахом жареной салаки. Вдалеке послышался кашель отца, вот он встал, предобеденный отдых закончен, он усаживается за письменный стол с сигаретой и грамматикой иврита.

Пару лет назад я сделал небольшой фильм о лице моей матери. Снимал восьмимиллиметровой камерой со специальным объективом. А поскольку после смерти отца я выкрал все семейные фотоальбомы, недостатка в материале не было. Фильм рассказывал о лице матери, о лице Карин — от первой фотографии в трехлетнем возрасте до последней — на паспорт, сделанной незадолго до рокового инфаркта.

День за днем я изучал через увеличивающий и ограничивающий объектив сотни фотографий: гордая любимица стареющего отца — надменно-любезная школьница со своими подругами в начальной школе тети Розы, 1890 год, девчушка мучительно скорчилась — на ней большой вышитый передник, а подруги без передников. Конфирмация — дорогая белая вышитая блузка русского покроя, чеховская девушка, тоскующая, загадочная. Молоденькая медсестра в форме, недавняя выпускница, начинающая трудовую жизнь, решительная, преисполненная надежд. Помолвка, снимок сделан в Орсе в 1912 году. Чудо интуитивного проникновения: жених сидит за столом, тщательно причесанный, в своем первом пасторском облачении, и читает книгу; за тем же столом — невеста, перед ней — рукоделие, она вышивает скатерть. Чуть наклонившись вперед, она смотрит прямо в объектив, падающий сверху свет затеняет темные, широко раскрытые глаза — две одинокие, не имеющие точек соприкосновения, души. Следующая фотография очень трогательна: мать сидит в кресле с высокой спинкой, перед ней — преданно глядящий на нее пес, мать весело смеется (один из немногих снимков, где она изображена смеющейся). Она

свободна, только что вышла замуж.

Крошечная пасторская усадьба в лесу Хельсинге, до ненависти между Ма и Ее милым пастором, как она его называла, еще далеко. Первая беременность, мать несколько отрешенно прислонилась к плечу мужа, тот гордо и покровительственно улыбается, не слишком широко, чуть-чуть. У матери набухшие губы, как будто после длительных поцелуев, глаза с поволокой, нежное, распахнутое лицо. Теперь идут столичные фотографии. Красивая пара с красивыми, ухоженными детьми в солнечной квартире на тихой улочке тихого Эстермальма. Аккуратная прическа, элегантный костюм, замаскированный взгляд, официальная улыбка, красивые украшения — оживленная, любезная. Они распределили роли и с энтузиазмом играют их.

Еще одна фотография смеющейся матери: она сидит на лестнице веранды, я у нее на коленях, мне не больше четырех лет, брат стоит, опершись на перила, ему — восемь. На матери простенькое светлое ситцевое платье, на ногах, несмотря на жару, высокие тяжелые башмаки. Она крепко держит меня, обняв обеими руками за живот. Сильные руки с короткими пальцами, ногти коротко острижены, кожица вокруг искусана. Лучше всего я помню ее ладонь с глубоко прорезанной линией жизни, сухую мягкую ладонь с голубыми прожилками. Дети, цветы, животные. Ответственность, забота, сила. Иногда нежность. И всегда — долг.

Листаю дальше. Мать все больше растворяется в кишащем семейном коллективе. Ей сделали операцию, удалили матку и яичники, она сидит, чуть сощурившись, в элегантном светлом платье, улыбка уже не затрагивает глаза. Еще фотографии. Вот она распрямляет спину, посадив в горшок какие-то цветы. Запачканные землей руки тревожно повисли. Усталость, может быть, страх, они с отцом остались одни. Дети и внуки разъехались. Это бергмановские дети: не надо мешать, не надо вмешиваться.

И наконец, последний снимок, на паспорт. Мать любила путешествия, театр, книги, кино, людей. Отец ненавидел путешествия, неожиданные визиты, незнакомых людей. Его болезнь усугубилась, он стеснялся своей неловкости, трясущейся головы, затрудненной походки. Мать все больше была привязана к дому. Однажды она вырвалась на свободу и съездила в Италию. Теперь паспорт оказался просроченным, надо было получить новый — ее дочь вышла замуж и уехала в Англию. Сделали фотографию. У матери уже было два инфаркта. Кажется, будто ее лица коснулось дыхание ледяного ветра, черты чуть смещены. Глаза затянуты пленкой, она, так любившая книги, больше не может читать, сердце не дает достаточного притока крови, серо-

стальные волосы над широким низким лбом зачесаны назад, иссушенные губы нерешительно улыбаются — когда фотографируешься, нужно улыбаться. Мягкая кожа щек, изборожденная глубокими морщинами, обвисла.

Стало быть, воскресным днем в начале адвента я был в церкви Хедвиг Элеоноры. Наблюдал за игрой света на стенах свода, проник в квартиру на четвертом этаже. Увидел мать, склонившуюся над дневником, получил разрешение поговорить. Заговорил несвязно, начал спрашивать о вещах, которые, как я считал, давным-давно похоронены. Требовал ответа, обвинял. Мать ссылалась на усталость. И вот сейчас она истончилась, почти исчезла. Я обязан думать о том, что я имею, а не о том, что потерял или никогда не имел. Собираю в кучу свои сокровища, некоторые испускают особый блеск.

В какое-то мгновение я понимаю боль, испытанную ею, когда она осознала крах всей своей жизни. Она не выдумывала жизнь, как отец, не была верующей. Она обладала достаточной силой, чтобы взять на себя вину даже тогда, когда вина ее была спорной. Моменты пламенного спектакля в ее жизни не затемняли разума, а разум говорил о жизненной катастрофе.

И вот я, сидя в ее кресле, обвинял ее в преступлениях, которых она не совершала. Задавал вопросы, на которые не было ответа. Направлял луч света на детали деталей.

Упрямо спрашивал — как и почему. В своей тщеславной проницательности, возможно, я и разглядел холодную властность бабушки за драмой родителей: молодая женщина вышла замуж за пожилого человека с тремя сыновьями, не намного моложе ее самой. Муж вскоре умер, оставив жену с пятью детьми. Что пришлось *ей* подавлять и уничтожать?

Загадка, без сомнения, проста и тем не менее неразрешима. Но в одном я уверен твердо — наша семья состояла из людей, имевших добрые побуждения, но получивших катастрофическое наследство: чересчур высокую требовательность, муки совести и вину.

Ищу в тайном дневнике матери за июль 1918 года. Там написано: «Была последние недели слишком больна, чтобы делать записи. У Эрика во второй раз испанка. Наш сын родился утром четырнадцатого июля. И сразу же — высокая температура и жестокие поносы. Он похож на крошечный скелетик с большим огненно-красным носом. Упрямо отказывается открывать глаза. Через несколько дней у меня из-за болезни пропало молоко. Были вынуждены крестить его прямо в больнице. Назвали Эрнстом Ингмаром. Ма отвезла его в Воромс, нашла кормилицу. Ма злится на неспособность Эрика решать наши практические проблемы.

Эрик злится на Ма за то, что она вмешивается в нашу личную жизнь. Я лежу больная и беспомощная. Иногда, оставшись одна, плачу. Если малыш умрет, говорит Ма, она возьмет на себя заботу о Даге, а я должна вернуться на работу. Она хочет, чтобы мы с Эриком развелись как можно скорее, «пока он со своей идиотской ненавистью не придумал еще какое-нибудь безумство». Мне кажется, я не имею права оставить Эрика. Из-за огромного перенапряжения у него всю весну было не в порядке с нервами. Ма утверждает, будто он притворяется, но я так не думаю. Молюсь Богу безо всякой надежды. Очевидно, надо справляться самой, по мере сил».

Форё, 25 сентября 1986 г.

Помню, что и бабушка и дядя Карл весьма критически относились к нашей даче, хотя и по разным причинам. Дядя Карл, который считался немного тронутым, но обладал обширными познаниями в самых различных областях, заявил, что дача эта никакой не дом, ни в коем случае не вилла и уж ни за что на свете не место для жилья. Возможно, этот феномен можно было бы описать как некое количество выкрашенных в красный цвет деревянных ящиков, поставленных в ряд и друг на друга. Что-то вроде Оперного театра в Стокгольме, по мнению дяди Карла.

Итак и стало быть: некое количество красных деревянных ящиков с белыми угловыми венцами и произвольно разбросанными там и сям белыми же рейками. Окна на первом этаже — высокие и щелястые, на втором — четырехугольные, вроде вагонных, из них не дуло, зато они и не открывались. Крыша покрыта латаным-перелатаным толем. Во время проливных дождей по стенам верхней веранды бежали ручейки. Протекало и в маминой комнате, и обои в цветочек там пошли пузырями. Вся эта куча ящиков покоилась на двенадцати внушительных каменных глыбах. Таким образом, между основанием дома и бугристой землей образовалось пространство сантиметров в семьдесят, где хранились поседевшие доски, сломанные плетеные кресла, три заржавленные кастрюли необычной формы, несколько мешков цемента, лысые автомобильные шины, жестяное корыто с пришедшими в негодность хозяйственными предметами и множество пачек газет, перетянутых стальной проволокой. Там всегда можно было найти что-то полезное. Правда, заползать под дом нам запрещалось, поскольку мать была, очевидно, уверена, что мы либо поранимся о ржавые гвозди, либо наша халупа вдруг обвалится и придавит нас.

Жилище это, или как его там еще можно назвать, построил пастор-пятидесятник из Борленге. Звали его Фритьоф Дальберг, и ему, очевидно, захотелось быть поближе к своему Господу и Богу. Посему он приискал себе местечко, расположенное высоко над селением Дуфнес.

Купив уступ под скалой, он расчистил участок. Вероятнее всего, пастор Дальберг предполагал, что Господь оценит его затею и ниспошлет ему и его сыновьям недостающие им навыки строительного искусства. В ожидании вдохновения свыше они принялись за дело. В июне 1902 года, после пяти лет злоключений их творение было завершено. Восхищенные

прихожане сочли, что сооружение в каком-то смысле напоминает Ноев ковчег. Ведь Ной тоже никогда не учился строительному делу, а был, строго говоря, лишь скромным выпивохой-паромщиком на Евфрате. Но Господь ниспослал ему нужные познания, и он построил вместительное судно, которому предстояло вынести значительно более тяжкие испытания, чем непритязательному жилищу пастора Дальберга.

Кое-кто из самых набожных считал, что верхняя веранда, помещенная на южной стороне с видом на долину, реку и луга, весьма подходящее место для ожидания Судного дня, когда над горными грядами Гангбру и Бэсна появится ангелы из Апокалипсиса.

Прямо у подножия главного здания неутомимый пастор возвел своего рода барак весьма необычного вида. Собственно говоря, он состоял из семи каморок, подведенных под одну крышу. Каждая каморка имела отдельную щелястую дверь зеленого цвета. Очевидно, помещения эти предназначались для гостей, которые пожелали бы остаться на несколько дней или, быть может, недель, дабы совместными молитвами и песнопениями укрепиться в незыблемой и без того вере. Из-за отсутствия надлежащего ухода барак совсем обветшал, став прибежищем для разнообразной флоры и фауны. На полу зеленела трава, а через одно из окон сумела проникнуть березка. Крайняя левая каморка составляла владения крота Эйнара, усыновившего наше семейство, в остальных помещениях царствовали лесные мыши. Комнатку с березой одно время оккупировала сова, но, к сожалению, она переехала. В самой просторной каморке хозяйничала одичавшая рыжая кошка с шестью котятами. Мать была единственным человеком, который осмеливался приближаться к этой злобной твари. Мать обладала особой способностью общаться с цветами и животными и яростно защищала наш зверинец от всяких нехороших поползновений со стороны Лаллы и Май, живших в двух центральных каморках. Лалла была нашим шеф-поваром, а Май — всем понемножку. О них я расскажу подробнее чуть позже.

Весь этот строительный комплекс дополнялся чересчур большим, но ветхим нужником, некрашеные стены которого возвышались на самой опушке леса. Нужник вмещал четырех испражняющихся; через незастекленное окошко в двери открывался величественный вид на Дуфнес, излучину реки и железнодорожный мост. Дырки отличались по величине: большая, поменьше, маленькая и крохотулечка. Снизу в задней стене была отдушина с полуразвалившейся и потому не закрывавшейся дверцей. Когда Май и Линнеа посещали заведение, чтобы чуток

поболтать и скоренько справить малую нужду, мы с братом брали первые уроки по женской анатомии. Смотрели и балдели. Никто и пальцем не пошевелил, чтобы застукать нас за этим занятием. Но нам и в голову не приходило изучать снизу отца, мать или громадную тетю Эмму. В детской тоже существуют свои негласные табу.

Обстановка в большом доме была разномастная. В первое лето мать набила целый вагон мебелью из городской пасторской усадьбы. Бабушкин вклад состоял из отдельных предметов, хранившихся на чердаке и в подвале дачи в Воромсе. Мать пораскинула мозгами, сшила занавеси, соткала ковер и сумела-таки приручить эту груду разнокалиберных и враждебных друг другу элементов, заставив их жить в мире. Комнаты, насколько я помню, дышали уютом. В общем-то, мы чувствовали себя гораздо лучше в примечательном творении пастора Дальберга, чем в шикарном, изысканном бабушкином Воромсе, находившемся в пятнадцати минутах ходьбы через лес.

Я упомянул вначале, что дядя Карл весьма критически относился к «этому пристанищу, которое и не дом вовсе». Бабушка тоже относилась к нему критически, но по иным соображениям. В ее глазах тот факт, что мать отделилась и сняла дальберговское сооружение, был тихим, но очевидным бунтом. Бабушка привыкла жить летом в окружении детей и внуков. И посему терпела присутствие невесток и зятьев. Этим же летом она пребывала в Воромсе лишь в обществе дяди Карла, который по разным причинам, не в последнюю очередь финансовым, не имел возможности фрондировать. Дядя Нильс, дядя Фольке и дядя Эрнст уехали на заграничные курорты. Бабушка, следовательно, осталась лишь в компании дяди Карла, а также Сири и Альмы, двух состарившихся служанок, которые, хоть и проработали бок о бок тридцать лет, разговаривали друг с другом с большой неохотой. Лалла, тоже входившая в бабушкин штаб, внезапно объявила, что матери требуется всяческая помощь, и в начале июня перебралась к нам, где в самых примитивных условиях готовила мастерские фрикадельки и несравненных запеченных щук. Мать выросла на глазах у Лаллы, и верность старой служанки была непоколебима, наводя на окружающих даже некоторый ужас. Мать, не боявшаяся никого на свете, иногда не решалась зайти в кухню к Лалле и спросить, что будет на обед.

Двор представлял собой круглую, посыпанную гравием площадку, в центре которой находилась круглая же лужайка с проржавевшими и развалившимися солнечными часами. Рядом с кухней простирались громадные грядки ревеня, и все это окаймлялось несколько взъерошенным, никогда не видевшим

косы лугом, тянувшимся на сотни метров до самого леса и обвалившегося забора. Густой и запущенный лес взбирался вверх по крутому склону до скалы Дуфнес, внизу был обрыв, слегка уходивший вовнутрь горы и отзывавшийся эхом при грозе. В серовато-розовой горе имелась глубокая пещера, куда можно было попасть с риском для жизни. Пещера была местом запретным и потому заманчивым. Мелкий ручей извивался по камням вокруг подножия горы, мимо нашего забора и немного ниже исчезал под полями, впадая в реку к северу от Сульбакки. Летом он почти пересыхал, весной бурлил, зимой глухо и беспокойно журчал под тонкой коркой свинцово-серого льда, а от осенних дождей звенел высоким, ломким голосом. Вода была прозрачная и холодная. В извилинах образовывались глубокие затоны, где водился гольян — своего рода уклейка, служивший отличной наживкой для перемета в реке или Черном озере. На крыше земляного погреба росла земляника, а ниже по склону увядал престарелый фруктовый сад, все еще приносивший черешню и яблоки. Крутая лесная тропинка спускалась к Берглюндам, самой большой усадьбе в селении Дуфнес. Там мы брали молоко, яйца, мясо и другие продукты первой необходимости.

Тесная долина, отвесные скальные уступы, дремучий лес, бурный ручей, холмистые поля и, наконец, река, глубоко врезавшаяся в ущелье, мрачная и ненадежная, пастбища и горные гряды — ландшафт отнюдь не романтический, исполненный драматизма и тревоги. Природа здесь не отличалась ни благожелательностью, ни особой щедростью. Хотя, впрочем: земляника, ландыши, линнея, каприфоль — дары лета, но все это скромно, исподволь. Колючие малинники, пригорок, поросший громадным, едко пахнущим папоротником, заросли крапивы, засохшие деревья, сплетения корней, гигантские валуны, разбросанные великанами в каком-то доисторическом прошлом, ядовитые грибы без названия, но с пугающими свойствами. Девять лет мы прожили в жилище пастора Дальберга, прилепившемся под обрывом вплотную к дремучему лесу, который уже начал спускаться к луговине и маленькой зеленой лужайке. Когда на юго-востоке поднимался шторм и с обширных пастбищ по ту сторону реки налетал ураганный ветер, поставленные друг на друга, выкрашенные кое-как в красный цвет ящики трещали по швам. Сквозь щелястые окна доносились завывания и писк, и занавеси печально вздувались. Кто-то, очевидно обожавший детей, уверил меня, что, если начнется настоящий ураган, все дальберговское сооружение поднимется в воздух и улетит к скале. Все сооружение целиком, вместе с

семейством Бергманов, лесными мышами и муравьями. Спасутся лишь обитатели барака — крот Эйнар, Лалла, Мэрта и Май. В глубине души я не очень-то верил в эти россказни, но когда разыгрывалась буря, предпочитал залезать в постель к Май, приказывая ей читать вслух что-нибудь из еженедельников «Все для всех» или «Семейный журнал». Уже в то время у меня возникли трудности с действительностью. Границы ее были расплывчаты и определялись посторонними взрослыми людьми. Я смотрел и слушал: конечно, вот это опасно, а это нет. Привидений не существует, не глупи, нет никаких призраков. Демонов, мертвецов с окровавленными ртами, появляющихся при солнечном свете, не бывает ни троллей, ни ведьм. Но внизу, в селении у Андерс-Перса в отдельном маленьком домишке с заколоченными окнами жила взаперти жуткая старуха. Иногда в полнолуние, когда опускалась тишина, ее рев разносился по всей округе. И если привидений не существует, то почему Май рассказывает о Часовщике из Борленге, который повесился на лесной тропинке на пригорке по дороге к Берглюндам? Или девушка, однажды зимой утонувшая в Йиммене, а весной всплывшая у железнодорожного моста с набитым угрями животом? Я ведь своими глазами видел, как ее принесли, на ней было черное пальто и ботинок на одной ноге, на месте другой же торчала кость. Она стала привидением, я встречался с ней во сне, а иногда и наяву, при дневном свете. Почему же люди говорят, что привидений не существует, почему они смеются и качают головами — нет, нет, малыш Пу, можешь быть совершенно спокоен, привидений не существует, почему они это говорят, а потом сами же с восторгом беседуют о вещах, отвратительных для человека, у которого в глазах так и мельтешат разные существа?

Теперь нам следует — совсем коротенько — рассказать о Конфликте. К данному моменту, то есть лету 1926 года, ему исполнилось ровно шестнадцать лет. Начало было положено появлением в семействе Окерблюмов студента-богослова Эрика Бергмана в качестве будущего супруга единственной дочери, находившейся под строгим присмотром. Фру Анне эти отношения пришлись не по вкусу, и она приняла решительные меры, употребив при этом всю свою могучую волю. В принципе будущий пастор мог бы быть тещиной мечтой: честолюбивый, воспитанный, опрятный, да и вид весьма импозантный. К тому же с хорошими перспективами на государственной службе. Однако у фру Анны было чутье на людей. Под безупречной внешней оболочкой она разглядела кое-что другое: капризность, чрезмерную ранимость, вспыльчивый характер, внезапные приступы холодности. Кроме того, фру Анна полагала, что

слишком хорошо знает свою дочь, свое избалованное «солнышко». Карин была девушка эмоциональная, веселая, умная, очень впечатлительная и, как я уже говорил, избалованная. По мнению фру Анны, ее дочь нуждалась в зрелом, ярко одаренном человеке, в твердой, но бережной руке. И такой юноша имелся в окружении семьи — доцент по истории религии Торстен Булин. Никто не сомневался, что Тор-стен и Карин — идеальная пара, родители только и ждали, когда молодые объявят о помолвке. И наконец, Эрик Бергман и Карин Окерблюм состояли в отдаленном родстве, а это считалось небезопасной комбинацией. Вдобавок в роду Бергманов тлело трудно поддающееся определению наследственное заболевание, настигавшее его членов внезапно и безжалостно: постепенно развивающаяся атрофия мышц, неумолимо приводившая к тяжелой инвалидности и ранней смерти.

Итак, на взгляд Анны Окерблюм, Эрик Бергман совершенно не годился в супруги ее дочери.

Того же мнения придерживался и Юхан Окерблюм, но по другим причинам. Этот больной старик любил свою единственную дочь искренней и безнадежной любовью. Всякий мыслимый или немыслимый жених внушал ему отвращение. Старому господину хотелось удержать при себе свет очей своих как можно дольше. Карин отвечала на любовь отца сердечной, хотя и несколько рассеянной нежностью.

Когда взаимные чувства молодых людей перестали быть тайной, фру Анна предприняла срочные и более или менее продуманные меры. Интересующихся отсылаю за подробностями к кинороману, который называется «Благие намерения».

Эрик Бергман не без основания чувствовал себя отвергнутым и нежеланным. Между ним и будущей тещей началась затяжная война. Мартин Лютер где-то сказал, что формулировать свои мысли следует с осторожностью, «ибо вылетевшее слово за крыло не поймать». Насколько я понимаю, в первые годы таких слов вылетело немало. Эрик Бергман отличался ранимостью и подозрительностью, и к тому же злопамятностью. Он никогда не забывал и не прощал нанесенной ему обиды — ни воображаемой, ни реальной.

Карин Окерблюм во многих отношениях была дочерью своей матери. В ее силе воли сомневаться не приходилось. Карин бесповоротно решила прожить свою единственную жизнь с Эриком Бергманом. Она настояла на своем, и в конце концов будущего пастора скрепя сердце приняли в семью.

После объявления о помолвке все внешние признаки конфликта были похоронены. Тон стал дружелюбно

снисходительным, вежливо внимательным, порой сердечным — каждый играл свою роль. Нельзя было подвергать риску семейную сплоченность.

Однако ненависть и ожесточенность остались, невидимые, под спудом. Они давали о себе знать в мимоходом брошенных фразах, во внезапном молчании, в незаметных действиях, в безответных или натянутых улыбках. И все это — с исключительной изощренностью, но строго в тесных рамках христианской терпимости.

Одним из задвинутых в дальний угол осложнений были летние месяцы. Как организовать летний отдых? Где пастор с семьей будет проводить отпуск? Мать в детстве и юности жила летом на родительской даче в самом сердце Даларна. Ей казалось само собой разумеющимся, что ее дорогой муж полюбит Воромс, Дуфнес, Даларна так же, как любила их она сама. Эрик Бергман молча подчинился, желая угодить молодой жене. Потом родились дети, и им нравилось у бабушки. Идиллия цементировалась, и в то же время молчание и холодная вежливость, паузы и брошенные вскользь замечания становились все очевиднее.

Постепенно и, быть может, слишком поздно Карин Бергман осознала, что дело идет к катастрофе. В одно лето ее муж не приехал вовсе, сославшись на то, что должен замещать заболевшего коллегу. В другое лето Эрик Бергман пробыл с семьей всего неделю, а на все оставшееся время ушел в поход с друзьями. В третье — он внезапно заболел и был вынужден провести отпуск в роскошном Мёссеберге под заботливой опекой благодетельницы семьи, беспредельно богатой Анны фон Сюдов.

Мать, стало быть, осознала, пусть и поздно, что надо что-то предпринять. Таким образом, аренда дальберговского творения была, с одной стороны, компромиссом, а с другой — молчаливой просьбой о прощении. Дом, как уже говорилось, находился в пятнадцати минутах ходьбы от Воромса. Семья Бергманов обязана оставаться семьей, даже когда отец в отпуске. То, что воскресные обеды устраивались в Воромсе и что бабушка неожиданно и, как правило, без предупреждения, появлялась в неприхотливом жилище семейства Бергманов, представляло собой неизбежные осложнения.

Мать осуществила грандиозный переезд бодро и весело. Совершенно неожиданно на помощь ей пришла Лалла, которая на лето покинула свою привычную и удобную комнатку позади кухни в Воромсе и устроилась в примитивном бараке у нас. Мать была ее любимицей и нуждалась во всяческой поддержке. Факт абсолютно очевидный, но потрясший бабушку почти так же сильно, как материн переезд.

Особой признательности за свой подвиг мать не удостоилась. Отец, приехавший на дачу накануне моего восьмилетия, пребывал в состоянии душевной смуты, рассеянности и меланхолии.

* * *

Железнодорожная станция Дуфнес состоит из красного станционного домика с белыми угловыми венцами, уборной, на которой написано «Мужчины» и «Женщины», двух семафоров, двух стрелок, товарного склада, каменного перрона и земляного погреба. Начальник станции Эрикссон вот уже двадцать лет живет на втором этаже станционного домика со своей женой, страдающей базедовой болезнью. Мальчик Пу, которому только что исполнилось восемь, получил у мамы и бабушки разрешение пойти на станцию. Дядю Эрикссона при этом не спросили, но он принимает своего юного гостя с рассеянным дружелюбием. В его конторе стоит запах въевшегося трубочного табака и заплесневелого линолеума. На окнах жужжат сонные мухи, время от времени стучит телеграфный аппарат, выпуская из себя узкую ленту с точками и тире. Дядя Эрикссон сидит, склонившись над большим письменным столом, и что-то записывает в узкую книгу в черном переплете. После чего принимается сортировать накладные. Иногда кто-то в зале ожидания стучит в окошко и покупает билеты до Репбэккена, Иншёна, Ларсбуды или Густавса. Там царит покой, похожий на саму вечность и уж наверняка достойный того же уважения.

Пу входит без стука. Он маленького росточка, худенький, чтобы не сказать тощий, коротко острижен (под «бобрик»), на левой коленке — болячка. Поскольку дело происходит в субботу в конце июля, на нем застиранная рубашка с обрезанными рукавами и короткие штанишки, из-под которых виднеются трусы. Все это держится с помощью скаутского ремня, с которого свисает финский нож. На ногах у Пу стоптанные сандалии. О чем он думает, определить довольно трудно. Взгляд у него немного сонный, щеки по-детски округлые, рот полуоткрыт — вероятно, полипы.

Пу учтиво здоровается: «Добрый день, дядя Эрикссон». Дядя Эрикссон на мгновение отрывает взгляд от черной книги, булькает трубка, выпуская небольшое облачко: «Добрый день, молодой господин Бергман».

Пу забирается на один из высоких трехногих табуретов рядом с телеграфом.

— Папа приезжает четырехчасовым.

— Вот как.

— Я буду его встречать. Мама и Май придут попозже. Май нужно забрать какой-то груз.

— Понятно.

— Папа был в Стокгольме, читал проповедь королю и королеве.

— Шикарно.

— А потом его пригласили на обед.

— Король?

— Ага, король. Папа хорошо знаком с королем и королевой. Особенно с королевой. Он дает ей разные добрые советы и все такое. — Это здорово.

— Без папы король с королевой, наверное, и не справились бы.

Наступает долгая пауза, Пу думает. Дядя Эрикссон разжигает угасающую трубку. В солнечном зайчике на оконном стекле жужжит умирающая муха. Жирный пятнистый кот встает и, мурлыча, потягивается. Потом делает несколько неуверенных шагов по заваленному подоконнику и укладывается на «Шведские коммуникации». Пу прищуривает глаза. Над рельсами и высокими березами разлит белый солнечный свет. На дальнем запасном пути спит маневровый паровозик, прицепленный к вагонам с древесиной.

— По-моему, королева влюблена в папу.

— Вот как, ну и ну, вот это да.

В голосе дяди Эрикссона не слышится особого восхищения, кроме того, он занят накладными, количество не сходится, он пересчитывает их заново, складывая в две стопки: пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Из зала ожидания стучат в окошко. Дядя Эрикссон кладет трубку на тяжелую пепельницу, поднимается, открывает стеклянное окошко и говорит: «Добрый, добрый. Значит, сегодня аж до Ретвика? Ага, а завтра до Орсы? Так, так. Стало быть, два семьдесят пять. Спасибо и пожалуйста».

По белой от солнца песчаной площадке неспешным шагом идут мать, Май и брат Даг. На матери светлое летнее платье с широким поясом вокруг тонкой талии. На голове желтая шляпа с большими полями. Мать красива, как всегда, вообще-то она красивее всех, красивее Девы Марии и Лилиан Гиш. Май — в застиранном коротком платьице в голубую клетку. На ногах черные чулки и высокие черные пыльные ботинки. Даг, который на четыре года старше брата, одет почти как Пу, с той разницей, что у него из-под шорт трусы не торчат. Мать вроде чем-то раздражена, она обращается к Дагу, хмуря лоб и улыбаясь одновременно. Даг мотает головой, оглядывается, замечает в окне Пу и указывает на него. «Ага, вот ты где, ну разумеется», говорит мать немного сердито — но это как в кино, приходится догадываться, что люди говорят. Она делает знак Пу немедленно выйти. «До свидания, дядя Эрикссон».

В ту же минуту настенный телефон издает два сигнала. Начальник станции хватает трубку и говорит: «Алло, Дуфнес». Из трубки доносится чей-то голос: «Из Лэннхедена в три пятьдесят две». Дядя Эрикссон набрасывает форменную шинель, на голову надевает фуражку с красной кокардой, берет флажок из выкрашенной в голубой цвет стойки возле входной двери и выходит на крыльцо станционного домика, за ним по пятам следует Пу. Они направляются к семафору, который тут же поднимает свою красно-белую полосатую руку, теперь путь поезду открыт. Дядя Эрикссон, отдав честь матери и Май, идет к стоящему в отдалении человеку с лошадью, запряженной в телегу. Они обмениваются короткими репликами, показывая на склад.

Пу остается сторожить семафор. Мать зовет его, но он либо и впрямь не слышит, либо только делает вид, и она, покачав головой, поворачивается к Май.

Палящее солнце накаляет склад, рельсы и перрон. Пахнет смолой и нагретым железом. Вдалеке у моста журчит река, горячий воздух дрожит над замасленными шпалами, молниями сверкают камни. Тишина и ожидание. Толстый кот устроился на дрезине. Маневровый паровозик на дальнем запасном пути деликатно вздыхает. Помощник машиниста Оскар затопил топку. Внезапно от поворота у Длинного озера показывается поезд, сперва черным пятном на насыщенном зеленом фоне, почти беззвучно, но с быстро нарастающим гулом, и вот состав — мощный локомотив и восемь вагонов — уже на мосту, скрежещут стрелки, гул усиливается, и сердце у Пу дрожит.

Паровоз пыхтит и сопит, из-под плунжеров вырывается пар, вот показались вагоны, длинные элегантные стокгольмские вагоны, визжат тормоза. Дядя Эрикссон отдает честь машинисту. Пу словно окаменел. Начальник станции машет красным флажком. Раздается лязг и скрежет, и все каким-то необъяснимым образом вдруг останавливается, замирает, хотя паровоз продолжает усердно пыхтеть. «Иди сюда, Пу», приказывает мать. Когда у матери такой голос, надо слушаться.

На перрон сходит отец, он еще довольно далеко, но быстро приближается. Он с непокрытой головой, ветерок треплет его мягкие волосы. Через правую руку перекинуто пальто, пальцы сжимают шляпу, в левой руке — видавший виды черный портфель, раздувшийся от книг и дорожных принадлежностей. Отец ненавидит чемоданы и предпочитает ездить налегке. Мать с отцом целуют друг друга в щеку, материна желтая шляпа немного съехала набок, они улыбаются, теперь очередь Дага здороваться, и он пожимает отцу руку, тот треплет его по затылку — пожалуй,

с чуть большей силой, чем надо, и не слишком ласково. Пу с разбегу, заливаясь восторженным смехом, налетает на отца, который тут же подхватывает сына и, тоже смеясь, прижимает его к себе. Мать взяла пальто и шляпу, а Май с деликатным книксеном освободила пастора от его пузатого портфеля. От отца пахнет лосьоном для бритья и сигарильями, щека у него немножко колючая. «Ну-ка, поцелуй меня», говорит отец, и Пу звонко чмокает его влажными губами в ухо.

Дядя Эрикссон дает сигнал к отправлению. Паровоз ритмично выпускает черные клубы дыма, скользят колеса, цепляясь за рельсы, хлопают двери и решетки. Семафор опущен, поезд, набирая скорость, мчится к виадуку над дорогой. На повороте у Воромса паровоз свистнул и исчез в лесу.

«А нам обязательно сразу идти домой?» — спрашивает Даг с некоторым сомнением, обращаясь к объединенным родительским силам. «Вовсе нет, отвечает мать с мимолетной улыбкой, потому что понимает, насколько неуместен вопрос Дага именно в эту минуту. — Вовсе нет, только не опоздайте к обеду». «У тебя ведь есть часы», коротко бросает отец. «Они сломались, но я могу спросить», говорит Даг.

Кузница стоит в нескольких сотнях метров к северу от станции и представляет собой высокое, но короткое нескладное двухэтажное здание, выкрашенное в красный цвет. На первом этаже располагается сама кузня, на втором, состоящем из двух комнат и вместительной кухни, живет кузнец Смед с женой Хельгой и пятью ребятишками разных возрастов и вида. Йонте — ровесник Пу, а Матсен — Дагу. Вокруг — грязь, запустение и нищета, но настроение, насколько я помню, весьма бодрое. Поэтому-то мы так охотно играем рядом с кузней. Кузнец Смед похож на киргизского хана — статный и темнокожий, его жена — высокая женщина со следами былой красоты. Зубов у нее осталось всего ничего, но тем не менее она часто смеется, прикрывая рот рукой. У всего семейства черные как смоль волосы и черные глаза. Младшенькой девочке по имени Дезидерия всего четыре месяца. У нее заячья губа.

Освободившись наконец от обязанностей членов комитета по встрече, Даг и Пу спешат к строго запретному месту позади кузницы. Мать вообще считает, что им ни к чему играть с детьми Смеда. Бабушка же придерживается противоположного мнения, поэтому братьям все-таки разрешают бывать у Смедов. Только одно место находится под строжайшим запретом — полой за кузней. Полой — это вода, собирающаяся в круглой впадине холмистых лугов, простирающихся от крутых лесных склонов до реки и оврагов. Весной глубина полоя достигает более двух

метров, летом он мельчает. Мутная вода кишит головастиками, уклейками, встречаются даже отдельные разжиревшие экземпляры плотвы.

Сегодня в полое разыгрывается морское сражение. Два вместительных деревянных ящика, кое-как проконопаченных и просмоленных, с черепами, намалеванными на сколоченных на живую нитку носах, представляют собой соответственно пиратский корабль и флибустьерское судно королевы Елизаветы. Даг, брат Пу, является режиссером военного действа и руководителем игры. Он сам определил себе роль вождя пиратов. Матсен — генерал Арчибальд. Генерал и пират на своих кораблях одни. По условному знаку они бросаются навстречу друг другу с противоположных сторон полоя, подгоняя корабли с помощью самодельных весел. Происходит яростное столкновение. После чего воители начинают пихать и пинать друг друга веслами. Бой по уговору должен продолжаться пять минут, за чем следит старшая сестра Матсена — Инга-Брита, имеющая в своем распоряжении семейный будильник Смедов. Упавший в воду считается побежденным. Если удастся перевернуть корабль противника, ты на пути к победе.

Бенгт, Стен и Арню Фрюкхольмы из Миссионерской виллы болеют за Дага. Вечно сопливые и кашляющие ребята Тёрнквисты — за Матсена. Несмотря на постоянные ссоры, семейная солидарность требует, чтобы Пу был на стороне брата. Сражение, как и ожидалось, носит ожесточенный характер, и после минуты ритуального фехтования переходит в неконтролируемую рукопашную. Даг — тип свирепый, дерется из-за любой мелочи. Через несколько минут он переворачивает корабль Матсена и сам выпрыгивает из своего. Стоя по грудь в грязной воде, противники сцепились не на шутку, всерьез пытаясь утопить друг друга под громкие подбадривающие крики своих болельщиков. В момент, когда боевые действия почти сошли на нет, Хельга Смед открывает окно и кричит, что тот, кто хочет получить сок и булочку, должен прийти немедленно. Зрители тут же покидают фехтовальщиков, которые, лишившись публики, заканчивают баталию и по колено в воде бредут к берегу. Они снимают с себя мокрую одежду, все, кроме трусов, так что Дагу вряд ли грозит разоблачение, а ябедничать Пу не осмелится.

В кухне Смедов сразу становится тесно. На всех про всех два стакана и четыре треснутые фарфоровые чашки, гости угощаются в первую очередь, булочки прямо из печки. Тихие, вежливые прихлебывающие звуки. В грязное окно прямой наводкой бьет солнце, мерцает пыль, жара невыносимая, непривычные запахи удушающи. Фру Хельга берет на руки младшенькую и, усевшись

на кровать из мореного дерева в комнате рядом с кухней, задирает свою темно-красную заляпанную блузку и дает девочке грудь. Дезидерия жадно чмокает. Наконец она наелась и срыгнула, и ее укладывают на кровать. Хельга зовет к себе моего приятеля Йонте: «Иди сюда, Йонте, теперь твоя очередь». Возможно, Йонте смутился, не помню, не думаю. Как бы там ни было, он подходит к матери и становится у нее между колен. Она приподнимает свои тяжелые груди, и Йонте с наслаждением пьет. (У него была чахотка, и всю зиму он пролежал в туберкулезной больнице). Насытившись, Йонте вытирает рот тыльной стороной ладони и принимается за ржаную булку с патокой. Только Хельга собралась опустить блузку и подняться с кровати, как Пу громко спрашивает, нельзя ли ему тоже попробовать. Вопрос вызывает всеобщий смех, веселый смех звенит в жаркой грязной кухне. Хельга тоже смеется и качает головой: «Пожалуйста, Пу, я не против, но тебе, наверное, надо сперва спросить бабушку и маму». Новый взрыв смеха, Пу совсем сконфузился: сначала краснеют оттопыренные уши, потом краска заливает щеки и лоб, потом полились слезы — нет никакой возможности удержать слезы. Хельга Смед треплет его по затылку своей задубевшей рукой и спрашивает, не хочет ли он взять еще одну булку, она намажет ее патокой, но Пу не желает никакой булки, это грубоватое дружелюбие приводит его еще в большее замешательство, слезы текут из носа в рот. «Дьявол, дерьмо, черт». Третий приступ смеха. «Пу у нас, в общем-то, девчонка, это сразу видно», замечает Даг. Пу швыряет чашку с соком в лицо брату и в бешенстве, спотыкаясь, устремляется по крутой лестнице в кухню.

У закопченного окна Май разговаривает с кузнецом. Ей нужно залудить прохудившуюся кастрюлю. В горне пылают угли. Черные ободa, коромысла, оси, изъязвленная оспой деревянная скамья у окна продольной стены. Скользкий прогнивший пол с заплатами из досточек и плоских камней. Запах жженого угля, горячего масла и копоти. К тому же от Смеда тоже пахнет чем-то особенным, что уж это может быть, не знаю. Во всяком случае, запах этот не вызывает отвращения, и Май он, судя по всему, нравится. Она смеется каким-то словам кузнеца и чуточку отодвигается, но без всякой неприязни. Повернув свое конопатое, загорелое лицо к Пу, Май с дурашливым смехом говорит, что надо, дескать, поторопиться домой, а то опоздаешь к обеду. И откидывает со лба прядку волос. Кузнец кивает Пу, показывая свои белые, как у молодого, зубы. Возле кузницы дожидается своей очереди длинный парень, которому требуется подковать лошадь. Поспешное прощание и — на велосипед Май. Пу сидит на заднем багажнике, крепко вцепившись в пружины седла.

Прямо перед его носом маячит зад Май, ее бедра, талия и спина, она пахнет Май. Пу любит ее почти так же сильно, как маму, а иногда даже сильнее, это сбивает с толку.

У почты посыпанный щебнем большак делает короткий, но крутой подъем. Май сперва еще пытается крутить педали, но потом сдается, и они идут рядом, сообща толкая велосипед. «Нюни пускал?» — спрашивает Май, не глядя на Пу. «Не пускал, просто разозлился ужасно, мгновенно отвечает Пу. — Когда я злюсь, похоже, будто я нюни пускаю, но я не пускаю». «Из-за Дагге?» — продолжает расспрашивать Май. Пу на мгновение задумывается и потом говорит: «Когда-нибудь я его прирежу». И втягивает носом соплю. Он почти совсем пришел в норму. «Нельзя идти с ножом на брата, смеется Май. А то в колонию попадешь». «Не смейся», скрипит зубами Пу и толкает Май, которая делает шаг в сторону. «Не смей толкаться, дерьмецо ты эдакое, дружелюбно говорит она и добавляет: Хорошо, хорошо, я не буду смеяться, обещаю. Но тебе надо научиться понимать, что люди смеются по самым разным поводам, ничего страшного. Ты ведь тоже смеяться умеешь, правда?»

В пять часов все обитатели дома стоят рядом со своими стульями вокруг обеденного стола. Сцепив руки, присутствующие произносят хором: «Мы с именем Христа за стол садимся, благослови же нашу трапезу, Господь». После чего с шумом и грохотом рассаживаются. Позвольте представить вам это маленькое общество числом в девять человек: мать и отец друг напротив друга. Справа от отца восседает тетя Эмма, которая нам вовсе и не тетя, она тетка отца, забытый, страдающий ожирением динозавр из отцова рода. (В то время всех дальних родственников женского пола называли несколько по-деревенски — тетями. Тетя Эмма жила по большей части одна в двенадцатикомнатной квартире в Евле. Она была дикой обжорой и чудовищной скупердяйкой, вдобавок не отличалась особым дружелюбием, скорее наоборот — была остра на язык и за словом в карман не лезла. Христианский долг предписывал приглашать тетю Эмму на лето и на Рождество. К детям она относилась с суровой нежностью и заботой, читала вслух сказки и играла с ними в настольные игры. Пу был любимцем тети Эммы, она любила говорить, что однажды он унаследует состояние Тетушки. Пу льстиво улыбался, он был, пожалуй, льстивым ребенком).

Слева от отца сидит Лалла, сидит словно на иголках, поскольку ей весьма не по душе материны демократические выдумки — совместные летние обеды господ и слуг. Не могу припомнить, чтобы Лалла когда-нибудь выглядела как-то иначе, по-другому. Маленькая, жилистая, с быстрыми движениями,

умное лицо, саркастическая улыбка, широкий лоб, седые волосы с прямым пробором, синие глаза. (Лалла, как я уже говорил, царствовала на кухне. Мать выросла на ее глазах, но Лалла непоколебимо называла ее «фру Бергман».)

Рядом с Лаллой Май. Она присматривает за Малышкой, которой исполнилось четыре и которая недавно пересела с детского стульчика на жесткую подушку. (Малышка — кругленькое, пухленькое и милое существо. Когда никто не видел, Пу охотно играл с сестренкой. Дагге, если ему случалось оказаться поблизости, называл ее Хрюшкой. Поскольку Дагге давал Пу взбучку за малейшую провинность, Пу давал взбучку Малышке за малейшую провинность. Малышка садилась на свою круглую попку, ошеломленно глядя на брата, и глаза ее медленно наполнялись слезами. Но ябедничала она редко. Пу предпочитал проводить время с сестрой, играя в куклы в хитроумно сделанном кукольном домике, чем со своим братом, больше всего обожавшим оловянных солдатиков.)

По другую сторону Лаллы располагается Марианн, темноволосая красавица с широкими бедрами и пышной грудью. (Мать и отец дружили с ее родителями, погибшими при крушении поезда. Марианн была конфирманткой отца и часто посещала пасторскую усадьбу. В это лето ей предстояло заниматься с Дагом немецким и математикой. Он ничего против не имел, так как был влюблен в свою красивую учительницу. Пу был тоже влюблен в нее, но на расстоянии. Он понимал собственную ущербность. В то же время он завидовал брату и дразнил его за чересчур откровенно выказываемые нежные чувства. Природа наделила Марианн прекрасным альтом, и она мечтала стать оперной певицей.)

По левую сторону от матери — Даг и Пу. Рядом с Пу сидит Мэрта. (Мэрта Юханссон, долговязая худая женщина неопределенного возраста, с едва заметным горбом и чуть раскачивающейся фигурой, была, собственно, по профессии учительницей начальной школы, но слабого здоровья (больное сердце, одно легкое). Благодаря своему мягкому нраву и кротости она сделалась всеобщей любимицей. Вернее, ее недолюбливала только Лалла — однажды в пасторской усадьбе Мэрта забыла выключить газовую плиту, что привело к небольшому взрыву. По мнению Лаллы было бы только справедливо, если бы «бедолага» погибла. Когда мать куда-нибудь уезжала вместе с отцом, Мэрта с добродушной решительностью брала на себя командование. Этим летом она прихварывала и жила здесь, чтобы отдохнуть и набраться сил. Пу не исключал возможности, что ангелы похожи на Мэрту. Через несколько лет она умерла и наверняка стала

ангелом.)

Субботнее меню определено раз и навсегда и меняется крайне редко. Оно состоит из жареных фрикаделек с макаронами и брусничным вареньем. На десерт — кисель из ревеня, клубники или крыжовника. Закуска неизменна: маринованная селедка и молодая картошка. К этому пастор выпивает рюмку водки и стакан пива. Остальные члены семьи довольствуются квасом или — по субботам — сладкой газировкой.

Столовая, она же и гостиная, просторная и светлая, примыкает к неширокой застекленной веранде. Май подает, Марианн по мере необходимости помогает. Мэрте надо поберечь силы, а Лалле приказано сидеть спокойно и позволять себя обслуживать, что ей явно не нравится.

Вот раздают картошку к селедке, миска идет по кругу, отец наливает себе водки, и тетя Эмма тоже не отказывается от глотка к двум кусочкам селедки и розовому картофелю с нежной кожицей. Прошу вас, входите в кадр, встаньте у двери на веранду или сядьте на изогнутый диван под настенными часами, пожалуйста: сначала мы говорим все разом, воспитанно и тихо. Речь, конечно же, идет о погоде: погоде в Стокгольме и погоде в Дуфнесе, о внезапной жаре, и тетя Эмма говорит, что в воздухе пахнет грозой, она чувствует это по своему колену, и тут же тоном знатока хвалит фрикадельки. Лалла с кислой улыбкой выражает радость по поводу того, что фрекен Энерут понравились фрикадельки. Лаллу не трогают ни похвалы, ни жалобы — в особенности если они исходят от фрекен Энерут.

Пастор — единственный, кто иногда осмеливается осторожно увещевать Лаллу и ее смоландское высокомерие. Это ей по душе — так и должно быть. Мягкое порицание полезно для душевного здоровья. «Земля потрескалась, и ручей наш совсем обмелел, говорит мать. — Жалко ромашки и васильки». «Я нашла одно местечко, радостно сообщает Марианн. — по дороге к Йиммену есть небольшая поляна, там полно цветов и земляники. Мы с Дагом были там позавчера, нет, во вторник». «Вот как, прогулка в середине недели!» — шутит отец. У него от водки слегка покраснел лоб. «Сходил бы с нами, Эрик, уклончиво отвечает Марианн. — Прекрасная прогулка. Поляна находится в укромном месте, с дороги не видно». «Было бы неплохо», говорит отец, улыбаясь Марианн. «Кстати, утром приходила Альма», внезапно произносит мать. «С Сири, добавляет Мэрта своим нежным, почти шепчущим голосом. — Она показала мне свое рукоделие, я тоже собираюсь сделать что-нибудь в этом роде. Надо чем-то занять руки, если я уж такая никчемная сейчас стала», смеется она.

«Ты выглядишь сейчас намного лучше, чем когда приехала

сюда», дружески утешает ее отец. Мэрта слабо качает головой. «Так вот, Альма сообщила, что Ма ненадолго заглянет к нам вечером вместе с дядей Карлом». «Очень приятно», мгновенно откликается отец. «Здорово, говорит Даг, дядя Калле должен мне две кроны, и я хочу получить их обратно». «Я отдам тебе твои кроны», решительно говорит мать.

«Вот как, значит, Тетушка придет», произносит отец. Краснота со лба у него еще не сошла. «Можно нести крыжовенный кисель, обращается мать к Май и Марианн, которые тут же вскакивают и принимаются собирать тарелки из-под фрикаделек. — Да, продолжает она, мама придет вечером, чтобы обсудить нашу совместную экскурсию в Монгсбударна и с тобой поздороваться. Карла она берет с собой, потому что, после того как она подвернула ногу, ей не хочется ходить одной через лес». «Вот мы и проверим, умеет ли дядя Калле стрелять из лука», радуется Даг. Отец накладывает себе киселя в глубокую тарелку с цветочным узором по краю и наливает туда молока. «Все равно странно», говорит он, слегка качая головой. «Что странно?» — мгновенно откликается мать. «Странно, что Тетушка причиняет себе столько хлопот, совершая этот длинный путь из Воромса сюда. Нам, молодым и здоровым, было бы легче прогуляться вечером через лес». «Ну, ты же знаешь Ма, пытается возразить мать приветливо. — Ей, наверное, скучно все время сидеть одной в этом большом доме».

«А что, никто из сыновей не собирается навестить ее летом? Даже Эрнст?» «Не знаю, по всяком случае пока она одна», коротко бросает мать, морща лоб. «А завтрашний обед, как будет с ним?» спрашивает отец. «Как обычно, а что? Почему ты спрашиваешь?» «Потому что я, как тебе известно, завтра читаю проповедь в Гронесе и не уверен, что успею вернуться домой к четырем», отвечает отец, поднимая глаза на мать. «Но Эрик, *дорогой]* Я ничего не понимаю! Ты хочешь сказать, что дорога из Гронеса займет *три* часа? Это просто невозможно». «Вполне возможно, беззаботно возражает отец. — очень даже возможно, поскольку я не могу отказаться от кофе. Настоятель написал, что с *особым* нетерпением ждет нашей с ним встречи после мессы. Так что мне, по всей видимости, не выбраться из Гронеса раньше двух - а товарняк и Иншёна, на который мне надо поспеть, уходит только в полчетвертого. Придется тебе, увы, извиниться за мое отсутствие. Кстати, Пу, поедешь со мной?» «Чего-чего?» — разинув рот шире обычного, переспрашивает Пу. Во-первых, он не слишком прислушивался, во-вторых, он предпочитает вообще не слушать, когда у матери и отца в разговоре появляется такой вот преувеличенно любезный тон, а в-третьих, он понял смысл

вопроса, и это ставит под угрозу его завтрашние планы.

«Чего-чего?» — «Я спрашиваю, не хочешь ли ты составить завтра отцу компанию и поехать в Гронес? По-моему, у нас с тобой может получиться прекрасное путешествие, как считаешь?» (Короткое молчание.) «Поблагодари и соглашайся», пытается сгладить неловкость Марианн. «Конечно, Пу с радостью поедет с тобой», говорит мать. - «Вот весело-то будет», ухмыляется Даг с неприкрытым злорадством. Отец смотрит на Пу, который, потеряв дар речи, есть кисель с молоком. «Я тебя не принуждаю, ласково говорит отец. - Если у тебя на завтра есть более интересные дела, то я тебя не принуждаю». «Не-е», выдавливает Пу. Мать усмехается, она всегда все сглаживает. «Все поели? Тогда встаем». Присутствующие поднимаются и, став позади стульев, складывают руки на спинках. «Благодарим Тебя, Господи, затрапезу. Аминь». Поклоны и приседания. Потом все по очереди подходят к матери, целуют ей руку и благодарят за обед, после чего начинают убирать со стола, все, кроме отца и тети Эммы, которые усаживаются на все еще пышущей жаром веранде среди пеларгоний и маргариток.

Даг дышит прямо в лицо Пу: «Здорово, а?» Марианн дергает его за уши: «Занимайся своими собственными делами, а то ты у меня целое воскресенье будешь решать примеры». «Да уж, хоть бы Дагге разочек заткнулся», жалуется Пу, обремененный возникшей проблемой.

Марианн, обняв его за плечи, прижимает к своей пышной груди: «Я знаю, папа обрадуется, если ты скажешь, что хочешь поехать с ним». Пу мотает головой: «Он намного больше обрадуется, если *ты* поедешь». Марианн серьезно смотрит на Пу: «Нельзя». «Почему?» «Нельзя и все», говорит Марианн, отпуская Пу.

«Не вздумайте убегать, кричит Май, поможете мыть посуду, Пу будет вытирать ложки и вилки». Она тащит за собой Дага. «Я только пописаю», кричит Пу и выскальзывает наружу за спиной Марианн. Он пробегает, согнувшись, песчаную площадку и взлетает к краю опушки, становится за черешней, но не мочится, а просто стоит и разглядывает исподтишка дальберговское жилище и его обитателей.

Сквозь цветы и вьющиеся растения на веранде он видит отца и тетю Эмму. Отец зажигает сигарилью, а тетя Эмма принимает таблетки от изжоги. В открытой двери, ведущей на лестницу, на мгновение мелькает мать, она держит за руку Малышку. «Пу здесь?» — спрашивает она в пространство, но ответа не дожидается. Через столовую проходит Мэрта со стаканами и тарелками на подносе, она неслышно говорит что-то, и мать

отвечает, что Пу не должен вот так грубо показывать свое дурное настроение, нужно бы поговорить с ним. На крыльцо кухни осторожно выходит Лалла с ведерком в руках. «Двери надо закрывать, а то комарье и мухи налетят!» Марианн, поднявшаяся на второй этаж, энергично расчесывает свои густые каштановые волосы, видно, что она напевает. Мать, держа за руку Малышку, направляется к веранде. По дороге они прихватывают большую рваную тряпичную куклу. Май моет посуду, дело спорится, она беспрерывно болтает с Мэр-той, но кухонное окно закрыто, поэтому их разговора не слышно. Даг, вооруженный полотенцем, вытирает стаканы. Мэрта ему помогает, сидя на стуле, она вытирает тарелки. Мэрта смеется каким-то словам Май, и Май толкает Дага задом. Марианн сбегает с лестницы, хватает Малышку, поднимает ее и прижимает к себе. Руки у нее обнажены. Малышка крепко вцепилась в свою потрепанную куклу. Они подходят к высокому резному пианино, и Марианн усаживается за него с Малышкой на коленях. Они нажимают клавишу за клавишей: сперва Малышка, потом Марианн. Мать стоит на веранде у стола с цветами, лицом к Пу, но не видит его. Она сосредоточенно обрывает пожелтевшие листочки с высокой пеларгонии, склонившей свои крупные красные цветы к пыльному оконному стеклу.

Солнце зашло за дом, оставив веранду в синеватой тени. Шумят кроны деревьев, что-то шуршит и потрескивает в стволах старых черешен. Пу не в силах побороть внезапно охватившую его грусть. Но она быстро улетучивается.

Вот послышались голоса у полуразвалившейся калитки. Это бабушка и дядя Карл переводят дух после утомительной лесной прогулки из Воромса. Прекрасная возможность избежать вытирания посуды, и Пу сломя голову мчится через двор вниз к калитке. Бабушка треплет его по щеке, а дядя Карл, крепко ухватив племянника за шкирку, как следует встряхивает. От дяди Карла пахнет пуншем. Пу знает, что это запах пунша, потому что мать каждый раз встречает дядю Карла одной и той же репликой: «Не понимаю, почему это от тебя, Калле, постоянно пахнет пуншем». На что дядя Карл ответствует: «Наверное, потому, что я постоянно пью пунш». У дяди Карла аккуратная бородка, большие голубые глаза, прикрытые стеклами пенсне, пухлые, мягкие руки, большой мягкий живот, по которому спускается часовая цепочка, на нем белый, несколько запачканный летний костюм и жесткий воротничок с галстуком. На голове мятая льняная панама.

Бабушка, несмотря на свой небольшой рост, выглядит чуть ли не импозантно. Ей шестьдесят два года, лицо округлое с приличным двойным подбородком, глаза серо-голубые,

испытующий взгляд, седые блестящие волосы гладко зачесаны назад, открывая широкий лоб. Одета она в черное доходящее до щиколоток платье с белым воротничком и кружевными манжетами. Через руку перекинуто серовато-бежевое летнее пальто. У бабушки маленькие, круглые руки, которые могут быть и мягкими, и жесткими.

«По-моему, Пу, ты вырос со вчерашнего дня, посмеиваясь, говорит дядя Карл. — Или твой нос». Дядя Карл тянет Пу за нос. Пу в восторге, дядя Карл его любимец. Бабушка кладет свое пальто на плечо Пу и берет его за руку. «Придешь завтра, почитаем «Остров сокровищ»? «Не получится», отвечает Пу. «Не получится?» «Не получится, потому что завтра я с папой еду в Гронес. Он будет там в церкви читать проповедь и хочет, чтобы я поехал с ним». «Вот как. Ну-ну. Это здорово», подтрунивает дядя Карл. Бабушка бросает на него быстрый взгляд, и он замолкает. «Прочитаем вдвое больше в следующее воскресенье!» — говорит бабушка, пожимая руку Пу.

Мать идет навстречу, отец сходит по лестнице веранды, тетя Эмма показывается в дверях. «Добро пожаловать в Дуфнес, дорогой Эрик! Желаю тебе хорошего и спокойного отдыха». — «Спасибо, милая Тетушка! Спасибо за добрые слова!»

«Привет, Калле, пойдем выпьем коньячку?» Отец хлопает дядю Карла по плечу. «У нас нет коньяка», решительно говорит мать. Теперь перед домом собрались и остальные члены семьи, они здороваются с бабушкой с разной степенью сердечности. Мать приглашает всех в сиреневую беседку, куда подали кофе и печенье.

«Хочу пострелять из лука, возвещает дядя Карл. — Есть здесь кто-нибудь, кто осмелится бросить мне вызов? Ставлю две кроны!» Он вынимает из кармана большое портмоне и, выудив из него блестящую двухкроновую монету, кладет ее на растрескавшуюся консоль солнечных часов. «Ты не понимаешь, во что ввязываешься», со смехом замечает бабушка, усаживаясь в когда-то белое садовое кресло. Тетя Эмма, мать и отец присоединяются к ней. И они сразу же принимаются обсуждать предстоящую экскурсию в Монгсбударна, которая по традиции происходит во второе воскресенье августа.

Лалла, расположившаяся на ступеньках, ведущих в кухню, пьет кофе вприкусу, рядом лежит ее вязание. Марта устраивается в гамаке с романом, а Май, насвистывая, стелет постели на ночь.

В соревновании по стрельбе из лука помимо дяди Карла принимают участие Даг, Пу и Марианн. Лук представляет собой нечто среднее между игрушкой и оружием, довольно опасная

штука. Мишень — большая спортивная мишень с разноцветными кругами вокруг черной центральной точки. Ее прислоняют к двери уборной и шагами отмеряют расстояние; Пу получает фору в несколько метров.

«Возможно, мы в этом году на экскурсию не поедем», слышится отчетливый баритон отца. Мать говорит что-то неразборчивое, бабушка все так же приветливо улыбается. Стрелы вонзаются в мягкую поверхность мишени. «Да, не поедем», опять раздается голос отца. Мэрта отрывается от романа, но сразу же вновь утыкается в книгу. Лалла, налив горячий кофе в блюдце, которое она держит на кончиках трех пальцев, шумно прихлебывает. Дядя Карл стреляет. Марианн аплодирует. Теперь ее очередь. Даг, растянувшись плашмя на земле, считает очки. Дядя Карл зажег сигару и присел на скамеечку, забытую на лугу несколько лет назад и с тех пор так и стоящую там. Пу поручено приносить стрелы.

«Страшно мило с вашей стороны, Тетушка, но это предложение ничего не меняет, говорит отец. По-прежнему слышны лишь его слова, хотя все остальные тоже оживленно переговариваются. — Страшно мило, и вы, Тетушка, наверное, считаете, что с нашей стороны это невежливо, но я...» — *«Ты* волен отказаться, пожалуйста, но я решаю...» — повысила голос мать, но что именно она решает, не слышно. От легкого порыва ветра, поднявшегося в этот предзакатный час, зашумели деревья. На выпасе Берглюндов замычала корова, залаял Сюдд.

Я с удивлением замечаю, что до сих пор ничего не сказал о Сюдце. Это коричневый пудель благородных кровей, которого согласно родословной зовут вообще-то Тедди ов Трассельсюдд. В детстве он вместе со своей матерью сбежал из цирка и попал в «собачник», место, где собирают потерявшихся городских псов. Отец купил его за пятерку. Собака немедленно сделалась членом семьи. Пу боялся Сюдда, что пес не преминул заметить. И кусал Пу, как только предоставлялась возможность. Пу мстил. Когда Сюдд спал, Пу обливал его водой или сыпал в ухо гремучую смесь. Сейчас Сюдд ради порядка облаивал корову Берглюндов.

Пу вступает в соревнование, но у него не хватает сил натянуть тетиву. Спиной он чувствует толстый живот дяди Карла. «Погоди-ка, я тебе помогу!» Пу почти целиком исчез за массивной фигурой и завесой сигарного дыма, дядя Карл помогает Пу натянуть тетиву. «Ну что, давай? — шепчет он, не выпуская сигары из толстых с синеватым отливом губ. — Давай?» Что «давай», Пу совершенно понятно. Карл и Пу вместе держат лук, вот на тетиву легла стрела. Но острие стрелы направлено не на мишень, а на беседку. Стальной кончик выискивает жертву: не

отца, не мать, Пу зажмуривается, открывает глаза, опять зажмуривается. Дядя Карл тяжело дышит, из-под тесного жилета вылетают легкие хрипы, живот бурчит. «Ну, давай?» — шепчет он, окутывая Пу новым облаком сигарного дыма. Бабушка сидит в профиль, в это мгновенье она повернулась к тете Эмме. Она что-то говорит, указательный палец выразительно постукивает по краю садового столика. «Подумай только, наконец-то эта незакрывающаяся бабья пасть захлопнется», шепчет дядя Карл. Мать встает, чтобы подлить бабушке кофе. Своим телом она закрывает бабушку. Внезапно стрела с резким свистом слетает с тетивы и попадает в центр мишени. «Пу выиграл, черт меня задери! — кричит дядя Карл абсолютно вразрез со всеми правилами, и протягивает двухкроновую монету мальчику, стоящему с раскрытым от изумления ртом. — Закрой рот, Пу, говорит дядя, пухлой рукой нажимая ему на подбородок. — С открытым ртом у тебя глупый вид. А ты ведь не глупый? Или глупый?»

На кухонное крыльцо выходит Май, в руках у нее эмалированный молочный бидон, вмещающий не меньше трех литров. «Пу, пойдешь со мной за молоком?» — кричит она через весь двор. «Пойду!» — кричит он в ответ, засовывая монету в карман штанов.

Май быстрым шагом спускается по склону к лесу. На ней голубое льняное платье, рыжие волосы заплетены в косу, достающую до талии. Пу трусит рядом. Май шагает, вытянув шею, курносый носик смотрит прямо вперед, она насвистывает про себя. От Май вкусно пахнет потом и зеленым мылом, называющимся «Пальмолив». Дойдя до моста через ручей, они останавливаются. Водный поток несется быстро и бесшумно, в заводях возле прибрежных камней образуются медленные водовороты. На усыпанном галькой дне покачиваются водоросли, извиваются и покачиваются. «Рыбок видишь?» — спрашивает Пу. «Тихо, они испугались нашего топота. Надо чуток подождать, тише». Пу стоит на коленях, его ладошки совсем близко от Май, которая тоже опустилась на коленки. Он осторожно прижимается к ее бедру, она одной рукой обнимает его за плечи. Внезапно проточная вода наполняется стремительными, сверкающими тенями. Под ними скользит плоская рыба с гладкой головой, это — подкаменщик. Из ручья тянет холодом. Рука Май скользнула вниз, к стайке рыбешек, которая мгновенно, единым движением, исчезла. На песке остается лишь подкаменщик.

«Именно тут Часовщик и повесился», шепотом говорит Май. «Чего?» Май прищурившись смотрит на Пу и наставительно говорит: «Ты все время переспрашиваешь «чего», как будто не

расслышал, а ведь прекрасно все слышишь». — «Где он повесился?» «Да неужто не знаешь? Вон там, за этими двумя сросшимися соснами. Там, прямо среди хвороста. Да, он повесился. Говорили, будто он покончил с собой из-за обманутой любви, но это неправда». — «Так почему же тогда?» — «Точно не знаю, Лалле известна вся эта история, спроси ее». «Он стал привидением?» — спрашивает Пу, содрогаясь от приступа озноба — был ли тому причиной холод, исходивший от ручья, или близость к страшному деянию, сказать трудно. «Привидением? Ага, говорят, он появляется и ворошит кучи хвороста. Там, кстати, водятся жирные гадюки, так что будь осторожнее и смотри в оба».

«Привидения и гадюки», бормочет про себя Пу. *«Я лично* не видела, говорит Май. — Но я никогда таких вещей не вижу. Надо обладать особым даром, чтобы видеть духов, привидения и гномов. Моя бабушка была ясновидящей, я же ничуточки». «А я — да, говорит Пу, потому что я воскресный ребенок». «Ты родился в воскресенье? Вот не знала». «Да, я родился четырнадцатого июля 1918 года в три часа утра». «И что же ты видел?»недоверчиво спрашивает Май. «Много чего». Пу заважничал. «Расскажешь как-нибудь. Жуть как интересно». Май, брызнув водой в лицо Пу, смеется: «Тебе просто хочется повыпендриваться».

Она вскакивает и припускает по каменистой, извилистой лесной тропинке. Пу трусцой бежит за ней.

— Если хочешь, я явлюсь тебе в виде привидения, когда умру.

— Это еще зачем?

— Расскажу, как там все.

— Где это?

— Ну там, по ту сторону.

— Большое спасибо, но мне что-то не хочется.

— Я появлюсь осторожненько. И при дневном свете.

— Что это за глупости, Пу?

— Обещаю.

— Если человек умер, значит, он мертвый.

— А Часовщик?

— Э-э, это просто побасенки.

Май несколько лет спустя утопилась в реке. Она забеременела, а отец ребенка не захотел больше с ней знаться. Как-то весной тело ее всплыло внизу, у излучины реки, на лбу зияла рваная рана. Иногда я вспоминаю ее и наш разговор у мостка через ручей. Она никогда не являлась мне в виде привидения. Но ведь она и не обещала ничего определенного.

Усадьба Берглюндов раскинулась по обе стороны дороги. Жилые дома стоят ближе к опушке, гумно, конюшня, сараи и

скотный двор — ближе к полям, спускающимся к реке и железнодорожной станции. В бревенчатом доме XVIII века располагается кухня с каменной плитой, обеденным столом и двумя деревянными диванами. По другую сторону сеней находится сыроварня. В мансарде ютятся две комнатушки и темный чердак, заваленный хозяйственными принадлежностями и одеждой нескольких поколений.

Двор обширен и ухожен. На заднем плане вздымается древний амбар, превращенный в зернохранилище. Напротив старого дома сравнительно недавно построенный «Исключение», с застекленной верандой и фруктовым садом позади.

В сыроварне возится старая фру Берглюнд. Это ширококостная, приземистая женщина в просторном полосатом переднике, волосы повязаны тряпицей. Лицо сморщенное, беззубый рот. Сыроварня представляет собой просторное помещение, но только с одним окном, стены, пол и потолок выкрашены белой краской. Вдоль стен — широкие полки с сырами разных видов. В углу блестит ручной сепаратор. Фру Берглюнд колдует с литровым мерным черпаком на длинной ручке и крюком на конце.

— Мы сегодня забиваем двух телят, поэтому, Май, можешь передать фру Бергман, что будет телятина. И телячья печенка. Пастор обожает телячью печенку. Он ведь приехал сегодня? Наш парнишка сказал. Он был на станции, и Эрикссон сообщил ему, что пастор приехал сегодня трехчасовым из Стокгольма. Угостить молодого Бергмана медовой карамелью?

Фру Берглюнд, раскачиваясь на распухших ногах, идет к голубому шкафчику, расписанному цветами и различными фигурами, открывает дверцу и достает фарфоровую миску с пузатыми желтыми карамельками, похожими на подушечками. «Можно взять две», говорит старуха, обдавая Пу своим дыханием. Пу, надо сказать, никогда в жизни не видел такой уродины, даже тетя Эмма не идет ни в какое сравнение с этим жутким безобразием. «Поблагодари как следует», напоминает Май. «Чего? — говорит Пу и тут же, опомнившись, произносит с легким поклоном: Большое спасибо». Он отламывает две карамельки и запихивает их в рот, щеки сразу раздуваются. «Вкусно, правда? — прищуривается фру Берглюнд. Глаза ее почти совсем исчезли за морщинами и коричневыми шишками. — Как насчет чашечки кофе, Май? Я сварила кофе для забойщиков». «Нет, спасибо, нам надо немедленно возвращаться, говорит Май приседая. — Но все равно спасибо». «Ты доволен, что отец приехал в отпуск?» — спрашивает фру Берглюнд, кладя руку на голову Пу. Пу кивает. «Мы завтра поедем в Гронес, папа будет читать там проповедь».

«Слыхала, отвечает старуха, откидывая крышку бидона. — До смерти жалко, что я не могу быть на мессе в Гронесе, больно уж далеко. А «форд» наших ребят в Борленге, в ремонте». Фру Берглюнд провожает их до крыльца, но потом уходит на кухню — проверить пузатый кофейник. «Не забудь передать фру Бергман насчет телятины», напоминает она, улыбаясь беззубым ртом. «Не забуду. Спокойной ночи, фру Берглюнд». «Спокойной ночи, Май, спокойной ночи, маленький Пу».

На скотном дворе идет забой телят. Первый уже лежит на помосте со вспоротой глоткой, кровь толчками стекает в жестяную посудину. Старик Берглюнд, держа посудину, взбивает кровь. Два крестьянина помоложе накинули петлю на шею второго теленка. К петле привязывают веревку, и животное выводят на площадку. Один из крестьян прячет за спиной кувалду. Вокруг места казни робко мнутся трое младших Берглюндов. Молодая фру Берглюнд помогает свекру справиться с только что забитым теленком.

Пу застывает как вкопанный. Он видел, как режут кур — это бывает даже забавно, хоть и отвратительно: однажды петух выскользнул из рук и взлетел на крышу гумна, где несколько минут сидел, обезглавленный, хлопая крыльями, пока не свалился на землю. Но забой больших животных, например телят, Пу видеть не приходилось. Крестьянин бьет теленка кувалдой между глаз, раздается глухой треск. Теленок подпрыгивает и танцует, по глазу животного течет что-то коричневое. Еще один сильный удар, теленок падает, тут же поднимается и застывает с открытой пастью. Третий удар, передние колени у него подгибаются, и он валится на землю, дрыгая ногами.

Ветер в черешневом саду стих, смеркается, но небо внезапно очистилось и над горными грядами на западе окрасилось в огненно-желтый цвет. Внизу, у Воромса загудел вечерний поезд, направляющийся в Крюльбу, у станции он обретает второе дыхание, дым из паровозной трубы вздымается столбом, слышатся пыхтение и голос дяди Эрикссона. Опуская семафор, он разговаривает со станционным работником.

В дальберговском жилище, или «творении», как называет его дядя Карл, в столовой, на кухне и на нижней веранде зажгли керосиновые лампы. В материной комнате на втором этаже горит ночник для Малышки, она боится темноты. Когда смотришь на дом, или как его еще там можно назвать, стоя рядом с уборной, он весь мерцает изнутри и кажется волшебным обиталищем сказок и снов.

Взрослые собрались вокруг обеденного стола, освещаемого двумя лампами — одна под потолком, другая на столе. Мать

вышивает на пяльцах, отец читает свежую газету, у обоих на носу очки, у матери очки беспрерывно съезжают на кончик носа. Тетя Эмма раскладывает пасьянс. Мэрта, склонившись над альбомом, рисует акварельными красками — из-под кисточки выходит точное изображение линией. Марианн читает толстенную биографию Рихарда Вагнера, в руке у нее карандаш, время от времени она что-то подчеркивает.

Даг и Пу на кухне едят бутерброды — хрустящие хлебцы с козьим сыром, запивая их еще теплым молоком. Лалла тоже сидит за кухонным столом и штопает чулок, она сняла с себя высокие ботинки и надела на ноющие ноги мягкие тапочки. Несмотря на удушливую жару, на плечи накинута шерстяная кофта. Очки круглые, *в* тоненькой стальной оправе. Возле нее на столе — последняя на сегодня чашка кофе.

— Завтра Преображение Господне, объявляет Лалла, словно бы братьям Бергман следовало заинтересоваться подобным событием. — Завтра — день Преображения, повторяет она, и это особенный день.

— Почему? — спрашивает Пу из вежливости.

— В этот день Господь говорит с учениками. Они слышат громоподобный глас из облака, который глаголет: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный; Его слушайте». Господь хотел сказать, что Иисус — его возлюбленный сын. Наверное, были люди, которые в этом сомневались

— Ну и что в этом особенного? — недоумевает Даг, прихлебывая из стакана.

— Там, где я родилась и выросла, Преображение — день особенный.

— Чем особенный? — спрашивает Пу, которого против его воли начинает разбирать любопытство.

— Ну, к примеру, можно узнать, сколько ты проживешь. Ежели пойти на рассвете на место, где кто-нибудь покончил с собой, можно узнать немало. В наших краях было так.

— А ты пробовала? — насмешливо интересуется Даг.

— Я — нет, но моя сводная сестра пробовала.

— И что? — Не скажу. Только без странностей не обошлось. Она, кстати, была воскресным ребенком.

— Чего? — разевает рот Пу.

— А я родился в четверг и вижу красивых девиц сквозь платье, с невинным видом заявляет Даг.

Хрустят хлебцы, опустошаются стаканы с молоком. Лалла улыбается, блестят ровные мелкие вставные зубы, у нее светлая улыбка, сразу же освещающая ее серо-голубые глаза.

В таких вещах нельзя знать, что правда, а что ложь. Пу видит

то, чего не видит Даг. Пастор видит то, чего не видит фрекен Энерут. Я вижу то, чего не видит Май. Каждый видит свое.

— Почему повесился Часовщик? — внезапно спрашивает Пу. Спрашивает, хотя не хочет спрашивать, но вопрос уже задан.

— Никто точно не знает, говорит Лалла, а вид у нее при этом такой, что она-то уж знает точно.

— Расскажи, Лалла.

— Ты перепугаешься, Пу, и описаешься, говорит Даг.

— Заткнись, отвечает Пу с долей нетерпения, но без враждебности.

— Никто точно не знает, повторяет Лалла. — Но говорят — я слыхала, что он свихнулся от *страха.* Он был не местный, из Таммерфорса. Сперва обосновался в Кварнсведене, но тамошних часы не интересовали, и заработки у него были мизерные. Когда жена умерла от тифа, он перебрался в Борленге, а там в то время много чего происходило, и он прилично зарабатывал. Но люди считали его чудным. Нет, нет! Он всегда был приветливый и вежливый, так что тут ничего такого. И заказы выполнял аккуратно, наверняка был человек порядочный, но все равно его считали чудным.

— Почему он покончил с собой? — Пу расчесывает комариный укус на коленке. Бутерброд забыт. Даг тоже не может побороть скептического интереса. Лалла поняла, что слушатели у нее на крючке, и потому не торопится.

— В его лавке стояли напольные часы, черные, высокие, узкие, с золотыми вензелями вокруг циферблата. Можно было открыть верхнюю дверцу, там качался маятник, но почему-то имелась и нижняя дверца. А за ней пустота — или то, что *казалось* пустотой. Часы тикали задумчиво, с достоинством, мрачно отбивая каждые половину часа и целый час. Много лет ничего примечательного с этими часами не происходило. Напротив, они были послушные, шли минута в минуту и не требовали ремонта. Но вдруг в один прекрасный день их словно подменили. Они начали то отставать, то спешить, иногда на несколько часов в сутки. И когда им, к примеру, следовало бить два, они били семь. Или когда следовало отбивать целый час, они отбивали половину, а порой замолкали совсем, точно мертвые, а потом вдруг снова начинали идти. Тяжелая забота свалилась на голову Часовщика. Уж он их чинил и так и эдак, поменял механизм и колесики, гирю и маятник, даже стрелки. Ничего не помогало. В конце концов он перетащил часы в свою спаленку, которая служила ему и кухней, темный чуланчик позади лавки. Ведь не мог же он позволить неисправным часам-скандалистам красоваться в лавке на всеобщее посмешище. Этого никак нельзя

было допустить, понятное дело. Так вот и жил он с часами днем и ночью. По нескольку раз в день запирал лавку и мчался в чулан проверять, не взялись ли часы за ум. Ночью просыпался каждый час, прислушиваясь к бою часов, но понимал, что все идет наперекосяк. Однажды, когда он вынул часовой механизм, чтобы покопаться в нем, одна шестеренка выскочила точно сама по себе и глубоко порезала ему ладонь. Кровь из раны прямо-таки хлестала, заливая механизм и стол. Пришлось Часовщику бежать в больницу, где ему осмотрели рану и остановили кровь.

Как-то ночью он, вздрогнув, проснулся оттого, что часы пробили тринадцать, а может, четырнадцать ударов, хотя на самом деле было полчетвертого утра. Стояла зима, на улице было темно, но в комнате что-то светилось, и свет как бы сосредоточился вокруг нижней части часов, странный свет — ни сумерки, ни рассвет.

Часовщик сел в постели и вытаращил глаза.

В кухню на цыпочках входит босая Май. Она ставит на стол цветастую чашку с отбитой ручкой. Чашка доверху наполнена зрелой земляникой.

— Где ты нашла землянику в это время года? — удивляется Лалла, наверное, радуясь, что ее прервали, поскольку ее рассказу, как она понимает, искусственная пауза только на пользу. Она, видимо, загнала себя вместе с Часовщиком в какой-то угол, и теперь надобно найти выход.

— Над старой мельницей. Там всегда земляника созревает два раза за лето. Я пошла посмотреть шутки ради. А там все усыпано ягодами. Но потом быстро стемнело.

— Налей себе кофе, Май. В кофейнике еще осталось.

— Мы говорим о Часовщике, сообщает Даг. — Ах, вот оно что. Может, тебе, Пу, не стоит слушать такие страшные истории на ночь глядя?

— Да ну! Я не боюсь.

— Откуда все это известно про Часовщика? — спрашивает Даг.

— Последние годы он жил в маленьком домике в усадьбе у Андерс-Пера по дороге в Сульбакку — отсюда километра три. И Андерс-Пер сказал вашей бабушке, что Часовщик оставил письмо с надписью: «Вскрыть после моей смерти». Хотя, ясное дело, точно никто ничего не знает, потому как письмо читал только Андерс-Пер, а когда старик умер, оно пропало, ведь дети продали его шифоньер на аукционе.

— Ну рассказывай же, просит Пу, и без того потрясенный до глубины души.

— Значит, так, говорит Лалла, беря разбег. — Он увидел, как

нижняя дверца часов вдруг начала открываться сама по себе. И оттуда, из мрака послышался чудной звук. Как я понимаю, больше всего похожий на плач. Но ничего не появилось. Часовщик почувствовал неописуемый ужас. Оставаться в кровати он был не в силах. Дрожащими руками он зажег свечу на тумбочке, слез с кровати и на цыпочках приблизился к часам. В руке у него был зажат подсвечник, от потрясения он забыл надеть тапочки, но даже не заметил, что пол ледяной, потому как камин погас и комнату выстудило.

— Ясное дело, произносит Пу, стуча зубами.

— Да, Часовщик, значит, подкрался к часам и сразу приметил, что маятник качается медленнее обычного, казалось, он вот-вот остановится, но он не останавливался. И часовая, и минутная стрелки сдвинулись вниз и показывали на цифру шесть. Верхняя дверца была закрыта, а нижняя заскрипела и приоткрылась еще чуть-чуть. Часовщик в длинной ночной рубахе опустился на колени, открыл дверцу до конца и посветил свечой в темноту. Сперва он, конечно, ничего не увидел, но когда глаза немного попривыкли, обнаружил внутри еще одну дверцу, чуточку приотворенную. И тут он разглядел, кто плачет. Это было крошечное существо, женщина, она сидела скрючившись в глубине и безудержно рыдала. На ней была длинная рубаха, пышные черные волосы рассыпаны по плечам. Часовщик заметил, что часы окончательно встали и теперь слышались лишь горькие рыдания женщины да завывание ветра в дымоходе. Он протянул руку и дотронулся до этого крохотного создания, ростом не больше полуметра, но это был не ребенок и не карлик, а настоящая женщина. Дотронулся он до нее, и она подняла голову, открыла лицо, которое до того скрывали волосы и руки. И тут-то Часовщик смог увидеть ее лицо.

У нее были большие слепые глаза, совсем пустые, одни голубоватые белки, рот полуоткрыт, но зубов не видно, потому что рот и губы были в крови. Лицо узкое, бледное, можно сказать, кожа да кости, но с высоким лбом и красивым точеным носиком. Часовщику она, несмотря на своей крошечный росточек, показалась самой красивой женщиной на свете.

— И он, разумеется, влюбился в нее, говорит Май.

— Не знаю уж, влюбился ли он в нее, но что-то, во всяком случае, произошло с беднягой Часовщиком, вздыхает Лалла, стаскивая заштопанный чулок с грибка. Она кладет чулок на стол и разглаживает его рукой.

— А что потом? — нетерпеливо спрашивает Пу, дрожа от страха.

— Ну, освободил Часовщик крошку из ее тюрьмы, влажной

тряпкой вытер ей губы и лоб, завернул ее в шаль и положил на свою кровать. Зажег керосиновую лампу, лег сам и принялся разглядывать женщину, которая закрыла свои слепые глаза. Скорее всего, заснула. Недолго он так пролежал, как вдруг черные часы заскрипели и затряслись, точно спятили. И начали бить, они били и били без всякого порядка. Грохот поднялся *омерзительный,* другого слова не подобрать. Обе дверцы — и верхняя, и нижняя — открывались и закрывались с резким стуком, а маятник раскачивался туда-сюда. Часовщик понял, что часы рассвирепели и собираются убить его. Поэтому он кинулся в мастерскую и принес стальной молоток, у которого на одном конце был тяжелый боек, а на другом — острое лезвие. И принялся крушить им часы. Когда он одним ударом разбил циферблат, часы упали на него всей своей тяжестью — они ведь были выше Часовщика, человека невысокого и хрупкого сложения. Но Часовщику показалось, что за шестеренками и пружинками механизма мелькнуло искаженной злобой лицо. Злобное лицо с широко раскрытыми, слепыми, выпученными глазами и разинутым, орущим ртом, полным гнилых зубов. На лбу зияла широкая рана, из которой хлестала кровь. Это было, конечно, ужасно, но будет еще ужаснее. — Лалла допивает остатки кофе и ложкой выскребает со дна сахар. Май, Даг и Пу ждут, затаив дыхание и не сводя с нее глаз. Сейчас ни в коем случае нельзя прерывать. — Ну так, *стало быть,* наконец произносит Лалла, выдержав хорошо рассчитанную паузу. — Разбил Часовщик свои часы и, наверное, размозжил обитавшее в них существо. Но это не точно, это только догадка, в письме, оставленном Часовщиком, об этом не было ни слова. Все то время, пока Часовщик крушил часы, крошечная женщина орала и вопила как ненормальная, это был не человеческий крик, а звериный, она кричала, точно лиса, попавшая в капкан, или что-нибудь в таком роде. Часовщик пытался ее успокоить, но напрасно. Она продолжала кричать, а он прижимал ее к себе, гладил, говорил какие-то слова, может, даже посватался к ней, наверняка не знаю, но она все кричала и кричала, и Часовщик все больше приходил в отчаяние, он плакал и молился, словно речь шла о его собственной жизни. И речь действительно шла о его жизни. Да, и тут эта женщина стала ртом ловить его руки, но она ведь была слепая, так что он сумел увернуться. Вдруг она вырвалась из его объятий, скатилась на пол и на четвереньках поползла прочь. Стол с керосиновой лампой опрокинулся, в одном углу комнаты занялся огонь — не знаю, в письме об этом ничего не было. Но Часовщик бросился за ней, схватил ее, прижал к себе, стал целовать, а она укусила его в губы, да, страшная

схватка произошла, обо всем, что случилось во время этой схватки, и не расскажешь. В конце концов Часовщику удалось дотянуться до своего молотка, и он раздробил женщину так же, как раньше разломал часы. Он почти потерял рассудок. Придя в себя, он выкопал яму в саду и схоронил в ней и женщину, и часы. Через несколько дней он бросил и мастерскую, и дом в Борленге и обосновался у Андерс-Пера по дороге в Сульбакку. А вскоре, и года не прошло, взял да и повесился.

За пределами желтого круга керосиновой лампы сгущаются сумерки, о стекло ударился ночной мотылек. Из соседней комнаты слышится пение Марианн. Она поет без аккомпанемента, поет одну из «Songes»[81] Юнаса Луве Альмквиста.

Боже ты мой, как прекрасны
звуки из ангельских уст.
Боже ты мой, как сладостна
в звуках и песне смерть.
Спокойно, душа моя, в реку стремись,
в пурпурную реку небес.
Спокойно, блаженный мой дух, опустись
в Божьи объятья, в объятья добра.

Даг тихонько встает и ставит пустой стакан из-под молока в мойку. И исчезает, дверь в столовую бесшумно открывается и закрывается вновь.

— Дагге влюблен в Марианн, говорит Пу.

— Такое маленькое дерьмецо, как Пу, в этом ничего не смыслит, отвечает Май, щипля Пу за ухо. Пу в восторге.

— Еще как смыслю. Он сам сказал. Говорит, что собирается стать оперным певцом, как и Марианн.

— Нехорошо ябедничать на брата, Пу. — Лалла поднимается и собирает швейные принадлежности в лубяную корзинку. — Между прочим, тебе пора спать.

— Я могу не ложиться до полдесятого.

— Кто это сказал?

— Бабушка.

— Ну так это у бабушки. А сейчас мы у Бергманов, и здесь положено ложиться в девять.

Пу со вздохом встает со стула, он думает про завтрашний день, много чего произойдет в день Преображения Господня. На рассвете он отправится на место самоубийства и, может, повстречается с Часовщиком, и еще он должен с отцом ехать в церковь Гронеса.

— Что с тобой, Пу? Плохо себя чувствуешь?

— Чего? — разевает рот Пу.

— Закрой рот, Пу. Я спрашиваю, ты плохо себя чувствуешь? — Май пристально смотрит на маленькую фигурку.

— Вовсе нет, черт подери, вздыхает Пу, просто так *много* всего.

— Идем послушаем немножко Марианн, а потом я уложу тебя. Идем же, не стой с разинутым ртом. Ты должен следить за собой, человек с разинутым ртом выглядит глупо.

— Знаю. Только идиоты ходят с разинутыми ртами.

— Спокойной ночи, Пу, говорит Лалла. — Не забывай, что ты воскресный ребенок.

— Да, кивает Пу, ощущая тяжесть собственной избранности. - Да.

— Спокойной ночи, Май. Я иду к себе.

— Спокойной ночи, фрекен Нильссон.

— Спокойной ночи, Пу.

— Спокойно ночи, Лалла. Лалла спускается по кухонной лестнице к бараку с тесными каморками. Май кладет руку на худенький затылок Пу и, подталкивая, ведет его в столовую.

Марианн поет в сумерках. Лампы погашены, комната освещается лишь двумя свечами, стоящими на широкой буфетной стойке. Марианн сидит на вертящейся табуретке, чуть подавшись вперед, руки сложены на животе. Черные глаза широко раскрыты, она поет голосом, рождающимся и живущим в ее теле. Я тоже влюблен в нее, грустно думает Пу.

Мать сидит у обеденного стола, поддерживая голову рукой, глаза закрыты. Пу вздыхает: в маму я влюблен больше всего. Мне хочется чувствовать ее дыхание на лице, но сейчас я не решусь подойти к ней. Да, лучше оставить ее в покое. Пу опускается на стул с высокой спинкой возле двери в прихожую. Со второго этажа тихонько спускается сонная Малышка, в руках у нее плюшевый мишка Балу. Пу перехватывает ее на пороге и сажает к себе на колени. Она не сопротивляется и тут же засовывает в рот большой палец. Длинные ресницы подрагивают, касаясь щеки, она прижимается к Пу, он очень любит сидеть в сумерках, держа в объятиях свою сестренку.

Отец отодвинул стул от стола, очки подняты на лоб, глаза прикрыты рукой, он снял левый ботинок, видно, как в носке шевелится большой палец. Тетя Эмма спит в своем удобном кресле, голова ее покоится на подушке. Рот раскрыт, дыхание простуженное, иногда переходящее в легкий храп. Глаза Мэрты устремлены в одну точку, взгляд мягкий и печальный. Она мерзнет, несмотря на духоту. Щеки горят. У нее наверняка температура.

* * *

Даг и Пу обитают в комнате, которая, из-за отсутствия при постройке дома какого-либо плана, имеет форму вытянутой до бесконечности гардеробной размером два на семь метров. Потолок скошен, и у квадратных окон нельзя стоять, выпрямившись во весь рост, если ты выше ста трех сантиметров. Вдоль стены друг за другом стоят две дрянные железные кровати с провисшими сетками. Между окнами — раскладной стол, сейчас он сложен. Два непарных стула и шаткий шкаф с зеркалом завершают обстановку.

Пу спит, а может, не спит. Даг читает книгу в красном переплете, или, возможно, лишь разглядывает фотографии в ней. На стуле — подсвечник с зажженной свечой, от нее исходит неяркий свет. Пу выглядывает из-под одеяла.

— Чего читаешь?

— Не твое собачье дело.

— Это та самая книга с голыми тетками?

— Иди погляди. Но это будет тебе стоить пять эре.

Пу мгновенно достает монету из картонной коробки: «Вот тебе твои пять эре».

Братья углубляются в красную книгу. Она называется «Nackte Schönheit»[82]. Даг, который уже два года учит немецкий, знает, что это значит. На картинках мужчины и женщины, они позируют, бегают, прыгают, пьют кофе, поют вокруг костра. Все — голые. Даг показывает: «Смотри, какой роскошный парик на мышке, ты когда-нибудь видел такой куст!» На фотографии — худая тетка, прогибающаяся назад, чтобы сделать мостик. Фотография снята против света. «А мне больше нравится вот эта, заявляет Пу, сосредоточиваясь на полной девушке, бегущей на камеру. — По-моему, она похожа на Марианн».

— Иди к черту, *ничуточки.*

— И все-таки она хороша, говорит Пу, чувствуя, как начинают гореть щеки. — Правда, хороша. Так и хочется укусить.

— Ненормальный, отзывается Даг, захлопывая книгу. — Тебе вредно смотреть такие картинки. Будем спать.

— Кто тебе дал книгу?

— Никто не давал, я купил ее, идиот.

— У кого?

— У дяди Карла, разумеется. Заплатил полторы кроны. У дяди Карла вечно нет денег. Если бы он смог, он бы и бабушку продал.

— Как думаешь, от тети Эммы мы что-нибудь получим?

— Чтобы избавиться от этой бабы-яги, надо еще приплатить. А вот Лалла, пожалуй, могла бы кое-что оставить. Несколько минут темно и тихо.

— Дагге?

— Заткнись, я сплю.

— Как ты думаешь, Май трахается с Юханом Берглюндом?

— Заткнись. Она трахается с папашей. Неужто не знаешь, идиот.

— С папашей?

— Хватит болтать. Заткнись. — А Марианн? Разве с папашей не она трахается?

— Она тоже. Ты ведь знаешь, папаша у нас помешан на траханье. Он прыгает на всех женщин, кроме Лаллы и тети Эммы.

— И с бабушкой тоже трахается?

— Ясное дело, но только на Рождество и на Пасху. Да заткнись же наконец.

С кровати Дага доносится слабое, ритмичное поскрипывание. Пу собирается что-то сказать, но воздерживается. Он не знает точно, чем занимается его брат в этот момент, но подозревает, что чем-то жутко запретным.

— Дагте?

— Да заткнись же, черт бы тебя взял.

— Как ты думаешь, мамаша с папашей сейчас трахаются?

— Хочешь, чтобы я тебя вздул?

Короткая пауза. Ритмичный скрип кровати становится громче.

— Дагге?

— О-о.

— Что ты делаешь?

Ответа нет. Кровать затихает.

— Дагге? Ты спишь?

Ответа нет. Пу из-за отсутствия собеседника засыпает практически мгновенно. Наконец-то беспокойные обитатели дальберговского жилища погрузились в сон.

С горного утеса подул ночной ветер, зашумели сосны, черешни и ревень. Мелкий дождик пролился на нагретую толевую крышу, но почти тут же прекратился.

Скрипит лестница, и на пороге комнаты братьев возникает тетя Эмма. Поверх ночной рубахи на ней длинная ночная кофта. На голове вязанный крючком ночной чепец, волосы заплетены в тугой, седой хвостик. Она тяжело дышит после трудного подъема.

— Вы спите, мальчики? Бормотание, сонное бурчание.

— Я вынуждена попросить одного из вас мне помочь.

— Чего?

— Мне надо в уборную.

— Чего? — Мне срочно надо в уборную. Кто-нибудь должен пойти со мной, подержать фонарь и помочь, Я не справлюсь одна, я упаду.

— Тетя Эмма, а вы не можете сходить в ведро?

— Видишь ли, Даг, мне надо *по большим делам.*

— А вы не подождете до утра, тогда Май или Мэрта помогут.

— Понимаешь, Даг, я не могу терпеть. Я вчера съела полкоробки инжира. Ох, как болит живот и давит.

— *Я* помогу вам, тетя Эмма, учтиво говорит Пу. Он немедленно слезает с кровати и всовывает ноги в сандалии. Даг отворачивается к стене.

— Ты так добр к старой тетке, милый Пу. Получишь крону за беспокойство.

— Если вам так надо, я, конечно, могу пойти, говорит Даг, садясь в постели.

— Нет, спасибо. Спи спокойно. Я не хочу тебя беспокоить. И вот процессия двинулась. Пу — впереди со старым фонарем в левой руке. Правая рука крепко держит жирную маленькую ладошку тети Эммы. Тетя Эмма осторожно переставляет ноги, пыхтя от напряжения и болей в животе. Время от времени на незначительном подъеме она останавливается, с плеч свисает одеяло. Опять пошел мелкий дождик, но от травы и камней на тропинке поднимается дневное тепло.

Наконец процессия добирается до места назначения. Фонарь ставится на одну из крышек, а старая дама со стоном устраивается на самом широком очке. Пу сидит снаружи на ступеньках и расчесывает комариные укусы. Дверь на всякий случай открыта. В гигантском животе тети Эммы громыхает и бурчит. Глухие пахучие хлопки разрывают ночную тишину. За тощей спиной Пу пыхтение и сопение. Что-то тяжелое шлепается в бочку, потом слышится резкий звук мощной водяной струи. Писает как лошадь, думает про себя Пу. Большим и указательным пальцами он осторожно зажимает нос, но так, чтобы тетя Эмма не увидела и не смутилась. Затем становится тихо.

— Вы закончили, тетя Эмма?

— Нет, нет. Не торопи меня.

— Если хотите, мы можем всю ночь здесь просидеть.

— Ты добрый малыш, Пу.

— Живот очень болит?

— Даже не знаю. Да, все еще болит. Не знаю, милый Пу. Мне так грустно. Вся тетя Эмма — сплошная грусть. Эти запоры и поносы, никакого порядка. Иногда мне кажется, что кишки и желудок, да и душа заодно вылезут наружу и я, наверное, умру. И

тогда я думаю о всей той пище, что я в себя запихивала, и даю себе клятву быть в будущем поосторожнее, не есть того, чего мне нельзя. Но на следующий день нарушаю клятву и снова мучаюсь. Ой, ой. Ох, ой. Ну вот, опять начинается. По-моему, я умираю.

Трубы с сурдиной и глухие удары расстроенного барабана. Громадная фигура, слабо освещаемая дрожащим светом фонаря, раскачивается, сживается и распрямляется, жирные ноги мотаются взад и вперед, локти прижаты к бокам. Ой. Ой.

— Ну вот, конечно же, кровь пошла. Этот гадкий геморрой, никак его не заткнуть. Твоей тетке пришлось ночным чепцом кровь останавливать. Почему Бергманы не могут позволить себе настоящую туалетную бумагу? Почему пастор должен пользоваться газетой? Я с удовольствием заплачу. Ай, опять начинается, а я уж...

Пыхтение прекратилось, Пу больше не слышит дыхания тети Эммы. Он оборачивается. А вдруг тетя Эмма сидит там мертвая, уставившись на него широко раскрытыми, безжизненными глазами? Есть отчего испугаться. Но она не умерла. Дело в том, что старая дама закрыла лицо руками. Она сидит выпрямившись, ночная рубаха задрана высоко на мощные ляжки, волосы в беспорядке после того, как она содрала с себя ночной чепец — сидит, закрыв лицо руками, молча раскачиваясь. Может, плачет?

— Вам грустно, тетя Эмма?

— Да.

— Почему?

— Это ад, малыш.

— Чего?

— Да.

Она отнимает руки от лица, и Пу видит слезы, блестящими ручейками бегущие по дряблым щекам. Тетя Эмма кладет пальцы на фонарь и склоняет на них голову. Тень на стене вырастает до необъятных размеров. И тетя Эмма начинает говорить, голос у нее необычный:

— Старость — это ад, понимаешь, милый Пу. А потом смерть, тоже веселого мало. И все вздыхают с облегчением и получают в наследство чуток денег и немного мебели. Слава Богу, что эта старая карга наконец-то сдохла. Она никогда ни о ком не заботилась. Вот и осталась в одиночестве! А умерла от обжорства, это точно. Хотя варила вкусное рождественское пиво, этого отрицать нельзя.

Тетя Эмма шуршит газетой, водружает ночной чепец на нужное место, подтягивает длинные розовые штаны, после чего опускает рубашку. Пу помогает ей преодолеть две ступеньки, ведущие от сортирного трона. Протянутая ему рука холодная и

влажная. Тетя Эмма неуклюже похлопывает Пу по голове. Над горами и кромкой леса уже появилось слабое предрассветное мерцание.

Пу спит сном измученного человека. Может, ему снится, что он летает, или что он, совсем маленький, лежит голый на голом животе Май, или что он наконец получил власть убивать. Сперва он убьет брата, а потом должен умереть отец. Но сначала отец будет молить, плакать и кричать от страха. Но он должен умереть, это неизбежная необходимость. Король приказал Пу убить отца, так что тут и рассуждать не о чем.

Кто-то сказал, что «страх облекает в плоть и кровь причину страха». Это хорошее правило, которое распространяется и на маленьких детей, таких, как Пу, например. С прошлой зимы он испытывал регулярно возвращающийся страх, что мать с отцом больше не хотят жить вместе. А вызван этот страх был тем, что Пу стал невольным свидетелей короткой потасовки между родителями. Обнаружив, что за ними наблюдают, они тут же прекратили драться и захлопотали вокруг Пу, который от ужаса не мог сдержать рыданий. У отца на щеке были следы от ногтей. У матери растрепались волосы, губы дрожали, глаза почернели, нос покраснел. Родители начали энергично объяснять, что взрослые, как и любой ребенок, тоже иногда могут сильно гневаться друг на друга. Но все эти разговоры и объяснения мало помогли. Пу был напуган, и не столько в этот раз, сколько позже. Страх овладевал им исподволь, и Пу стал внимательно приглядываться к отцу и матери. Он заметил, что порой у них появляются особое выражение лица и особые голоса. Отец бледнел, глаза белели, и голова его незаметно тряслась. Мать источала запах металла, а ее нежный, теплый голос становился отрывистым, точно ей не хватало воздуха. Пу хотел поговорить об этом с братом, но Даг, с насмешкой поглядев на Пу, лишь рассмеялся: «Мне плевать на этих господ. По мне, пусть катятся к черту. Главное, чтобы меня оставили в покое и чтобы этот чертов бандит, который утверждает, будто он мой отец, перестал меня лупить плеткой». Пу прикусил язык и ушел в себя. Проблема осталась.

Сейчас он пробуждается от своего глубокого сна. Чувство такое, будто ему несильно дали под дых, он в растерянности, не понимает, в какой действительности находится: то ли в своей собственной, подчиняющейся и подконтрольной ему, Пу, действительности, которая, правда, населена странными образами и фигурами, но все равно это его действительность, легко узнаваемая; или же в другой, новой, вселяющей ужас, начавшей овладевать его мыслями и чувствами. Через секунду

после пробуждения он знает, что именно вырвало его из сновидений. Он слышит голоса из материной комнаты — негромкие, иногда переходящие на шепот. Это мать и отец ведут своего рода беседу, Пу не узнает их голосов, или, вернее, их голоса напоминают ему о прежних мгновениях внезапного ужаса — *дьявольщина,* что это еще такое? Что это еще за шепчущие, ускользающие, чужие нотки посреди ночи? Пу клацает зубами, черт подери, надо послушать, подойти к двери и послушать, что они говорят. Пу слезает с кровати и встает босыми ступнями на линолеум. Он холодный, и Пу пробирает дрожь, хотя тепло еще не ушло из узкой как пенал комнаты.

Он сразу видит, что дверь в материну комнату полуоткрыта, и занимает стратегическую позицию на лестничной площадке: отсюда можно наблюдать, не будучи замеченным. Мать сидит в постели, обхватив руками колени, ночная рубашка съехала с круглого плеча, волосы на ночь еще не заплетены. Густые черные волосы струятся по спине, лицо в неверном предрассветном свете бледно. Цветочные гирлянды на роликовых шторах, нежно-зеленые стены. Китайская ширма вокруг умывальника, небольшие пейзажи (акварели, написанные дядей Эрнстом), солнечно-желтый лоскутный ковер, сейчас все кругом серое, и все движется, медленно, медленно. Отец расположился на белом стуле с высокой спинкой. На нем короткая ночная рубаха с красным кантом, ноги босые, руки сцеплены. Пу кажется, будто отец смотрит прямо на него, но глаза невидящие, скорее всего, он не видит ничего, кроме собственного горя. Фигуры родителей врезались в память. Я до сих пор помню эту картину. Я могу вызвать ее перед собой сейчас или в любой другой момент, как только пожелаю, я могу вспомнить страх, вызванный расстоянием и неподвижностью. Мгновение, ставшее последним, роковым ударом по представлению о том мире, который Пу держал под полным контролем и в котором даже привидения и наказания были доказательством того, что действительность подчинялась ему самому. Это представление распалось или растворилось, ничего после себя не оставив. Короля свергли с престола и заставили покинуть свое королевство, и как самого ничтожного и жалкого изо всех ничтожных и жалких вынудили исследовать отобранную у него страну, не имевшую, к его ужасу, границ. Там сидела мать, обхватив руками колени, там сидел отец на стуле с высокой спинкой, сцепив пальцы и устремив взгляд в какую-то точку за левым ухом Пу. Я не помню, какие слова были сказаны, я помню картину целиком и холод с пола, мне кажется, я помню интонации и аромат материных цветов и ее мыла. А слов не помню. Они выдуманы, построены на догадках,

реконструированы шестьдесят четыре года спустя.

— Это унизительно, говорит отец, глубоко вздыхая.

— Я ведь сказала, что тебе необязательно приезжать.

— Я должен был приехать по очень простой причине. Я тоскую по тебе и детям, я не хочу быть один. Хватит с меня одиночества.

— Эрик, пожалуйста, попробуй быть терпимее. Мы ведь все так рады тебе, надеюсь, ты это заметил? Заметил?

— Да, мне кажется, что... но это так унизительно. А тут еще заявляется твоя мамаша с этим паяцем Карлом. И даже не спрашивает, не помешала ли нам.

— Сейчас ты просто несправедлив. Мама взяла на себя труд прийти сюда только затем, чтобы с тобой поздороваться.

— Она пришла, чтобы оконфузить меня. Я знаю эту низкую женщину. Какое торжество для нее — мы живем в этой отвратительной развалюхе, в этой отвратительной местности. Против *моего* желания. Против моего *ясно высказанного* желания.

— Не думала, что служитель Божий имеет право носить в себе столько ненависти.

— Я не способен простить того, кто хочет меня уничтожить.

— Это чудовищно.

— Вот как, чудовищно?

— Да, чудовищно. Ты сейчас говоришь прямо как твоя бедная мать. Ты говоришь как маньяк.

— Я не способен простить человека, который ненавидит меня за то, что я вообще существую на свете.

— Ты говоришь точно как тетя Альма!

— Мы были не такие благородные. Вот именно. Не такие благородные. Разумеется. — Послушал бы ты свой тон.

— А ты бы послушала свой, когда говоришь «твоя бедная мать».

— Чем мы, собственно, занимаемся?

— Мы не имели возможности ходить в театры и ездить в Италию и в Мёссеберг, и у нас не было денег, чтобы покупать новейшие романы.

— Помолчи лучше, тебе мои деньги доставляли не меньше удовольствия, чем мне и детям.

— Верно.

— Поэтому ты не смеешь так говорить.

— Верно

— Ужасно, когда ты так говоришь.

— Может, и ужасно. Но это не я настаивал, чтобы мы поселились в этой дорогой квартире на Виллагатан. Нам было хорошо и на Шеппаргатан.

— Там не было солнца, и дети стали хворать.

— Твоя обычная отговорка.

— Доктор Фюрстенберг сказал...

— Я *знаю,* что сказал доктор Фюрстенберг.

Мать собралась было ответить, но передумала. Она начинает грызть ноготь, ее переполняет бешенство. Она молчит, накачивает себя. Пу видит, что отец, собственно, уже сдался, искоса глядя на жену, он становится у белого письменного стола, его фигура четко вырисовывается на фоне белого прямоугольника роликовой шторы. Тишина разбухает, внушая все больший страх. Теперь у отца другой голос.

— Ты молчишь?

— По-твоему, я должна что-то сказать?

— Ну можешь хотя бы сказать, о чем ты думаешь. Отец испуган, это заметно.

— Значит, я должна сказать, о чем я думаю? — с расстановкой произносит мать.

Отец молчит, мать тоже. Когда она начинает говорить, голос ее спокоен, как снег. Пу чувствует, как у него заныли ноги, желудок свело, на глазах невольно выступили слезы. Он не желает слышать то, что намерена сказать мать, но не в силах сдвинуться с места, ноги его не слушаются, и он вынужден стоять и слушать.

Итак, мать заговорила. Голос ее спокоен, она разглядывает указательный палец с содранным заусенцем, на нем выступила капля крови. — Ты хочешь знать, о чем я думаю? Так вот, я думаю о том, что часто приходило мне в голову в этот последний год. Или, если быть откровенной до конца, с того времени, когда родилась Малышка.

— Может, я не хочу, слабым голосом произносит отец.

— Зато теперь хочу я, и ты мне вряд ли помешаешь.

— Я уйду.

— Ну-ну, не смущайся. Пора, наверное, хоть раз поговорить откровенно. Полезно, наверное, наконец-то узнать истинное положение вещей.

Мать смотрит на него с легкой улыбкой.

— Я уже давно собиралась забрать детей и уехать от тебя на какое-то время. — Тишина. Фигура у окна замерла в неподвижности. Мать, повернув голову, не спускает с отца глаз. — Я хочу переехать в Уппсалу, там на верхнем этаже в нашем доме есть свободная пятикомнатная квартира, которую я могу снять за небольшую плату. Окна выходят во двор, квартира тихая, солнечная, только что после ремонта, с ванной и со всеми удобствами. Дагу и Пу до школы совсем близко, только улицу

перейти. И Май наверняка согласится перебраться в Уппсалу, за Малышкой присматривать будет. А я намерена поступить на работу. Я уже написала сестре Элисабет, и она ответила, что мне будут рады. И потом, я буду ближе к брату Эрнсту, и к маме, и к моим друзьям... не спрашивая... без твоего... без... ревности... и я получу немножко свободы... я... свободы...

За роликовой шторой на березах затрещали утренние сороки, подул ветер, штора выгибается. Отец, опустив голову, что-то чертит пальцем на бюварной бумаге столешницы. Пу окаменел, напуганный до смертной тишины.

— Значит, ты хочешь сказать, что мы разводимся?

— Этого я не говорила.

— Ты хочешь развестись и ты намерена бросить меня?

— Эрик! Успокойся и постарайся услышать, что я...

— Ты уходишь и забираешь с собой детей.

— Я *никогда* не имела в виду развод...

— Это Торстен напичкал тебя такими идеями?

— Нет, не Торстен.

— Но ты говорила с ним.

— Конечно, говорила.

— Говорила о нас с посторонним.

— Но он наш лучший друг, Эрик! И желает нам добра. — И разумеется, с мамочкой, и, конечно, с Эрнстом, твоим высокоуважаемым братом, и еще с сестрой Элисабет! С кем ты *не* говорила? Ах, какой стыд, какой стыд. Ты говоришь со всеми, но только не со мной. Потому что, как мне кажется, у тебя слабость слушать посторонних, а меня ты слушать отказываешься.

Пронизанная горечью нерешительность. Пу по-прежнему не в состоянии сдвинуться с места, вот то, чего он боялся больше всего на свете, конец без помилования, наказание без прощения, вышвырнутый во мрак, он падает в яму, набитую острыми камнями, и никто не пойдет его искать, никто не вытащит его из мрака.

— Ну, как бы там ни было, а теперь ты знаешь, чего я хочу, говорит мать после затяжного молчания. — Ты спросил и теперь знаешь.

— А если бы не спросил?

— Не знаю, Эрик. Не знаю. Я ждала случая, но была не уверена.

— А сейчас, насколько я понимаю, уверена вполне.

— Эрик, пожалуйста, иди сюда, сядь рядом на кровать. Ты так далеко, а нам ведь надо попытаться распутать этот узел. Вместе. Я не хочу причинять тебе боль.

— Вот как, не хочешь.

Голос пастора звучит скорее печально, чем иронично. Он тяжело садится в изножье кровати, подальше от жены. Она пытается дотянуться до его руки, но безуспешно.

— Как тяжко, Эрик. Я не хочу причинять тебе боль.

— Ты уже говорила.

— Когда ты приезжаешь сюда, то не находишь себе места, все время мечешься. А у нас масса дел по дому. И ты всегда так нервничаешь перед своими проповедями, и у нас вечно не хватает времени куда-нибудь поехать, а если в кои веки мы и выбираемся, то на мои деньги, и ты из-за этого злишься и дуешься. А еще у меня приходские обязанности, и домашнее хозяйство, и дети, и мне бывает порой очень тяжело.

Отец закрывает рукой лицо и коротко всхлипывает. Зрелище непривычное и страшное. Мать встает на колени, чтобы дотянуться до его щеки, погладить, но он уклоняется и встает.

— Ты уходишь? — потерянно спрашивает мать.

— Пойду прогуляюсь. Мне сейчас не помешает.

— Сейчас, ночью?

— Сию минуту.

— Я пойду с тобой. Мать собирает в узел пышные волосы, готовясь спрыгнуть с кровати. Босая ступня изящна, с высоким подъемом.

— Я иду с тобой.

— Нет, спасибо, Карин. Мне необходимо побыть одному.

— Ты не можешь уйти вот так.

— Не тебе решать, что мне делать.

— Не уходи. Хуже нет, когда ты вот так уходишь. Отец, направившийся уже было к двери, останавливается и оборачивается. Голос его спокоен и ясен.

— Одну вещь ты должна твердо усвоить, Карин. Ты в последний раз угрожала бросить меня и забрать детей. *В последний раз,* Карин! Ты и твоя мать. С меня довольно унижений.

— Это была не угроза.

— Тем хуже. Значит, мы теперь все друг про друга знаем.

— Очевидно.

— Я всегда был одинок. А теперь наступает настоящее одиночество.

Отец выходит, и Пу беззвучно скрывается за дверью детской, отец спускается по скрипучей лестнице, прихватив по дороге свою одежду, которая лежит на стуле возле гардеробной. Пу раздумывает, не пойти ли ему за утешением к матери. Мог бы, например, сказать, что у него болит живот и поэтому он не в состоянии заснуть, это срабатывает, когда мать в нужном настроении. Но что-то ему говорит, что вряд ли он дождется

утешения именно сейчас. Пу украдкой заглядывает в комнату. Мать сидит, выпрямившись, на кровати, босая ступня на полу, она всхлипывает без слез и рукой проводит по щеке и лбу, словно снимая невидимую паутину, всхлипывает еще раз и еще, потом глубоко вздыхает: да, тяжко.

Наперебой закричали деревенские петухи, один живет у Берглюндов, другой — у садовника Тёрнквиста.

Пу долго стоит в раздумье и наконец принимает решение. Да, так он и сделает, именно так. Все равно уже нет никакого смысла возвращаться в постель и натягивать одеяло на голову, как будто ничего не случилось, теперь, когда привычный мир раскололся вдребезги прямо у тебя на глазах. Пу прокрадывается в детскую и быстро одевается: вылинявшая рубаха, обрезанные трусы, шорты и фуфайка, сандалии в руке. Проскользнуть вниз по лестнице, стараясь не наступать на скрипучие ступеньки. В животе свербит от усталости и возбуждения, что-то ужасное сжимает его тощую грудную клетку, но он не плачет, плакать нельзя, прощения больше нет, обращаться с мольбами и слезами к Богу бессмысленно, Богу явно наплевать на Пу. Пу это давно подозревал. Ангелы-хранители улетели, размахивая крыльями, а Бог про него забыл. Может, Бога-то и нет вовсе. Кстати, это было бы на Него похоже. Небесный свод бел и безоблачен, солнце, громыхая, выкатывает свое исполинское колесо прямо под утесом Юрму. Река, прежде черная, превратилась в расплавленное серебро, уже почти день, в фуфайке жарко. В деревьях шумит ветер, неуверенно пробуют крылья птенцы ласточки.

Пу сразу же видит отца. Тот сидит на шаткой садовой скамейке под верандой. На нем рубашка без воротника и поношенные летние брюки, на ногах — тапочки, на плечи наброшена старая кожаная куртка. Он курит трубку. Трава покрыта росой, ноги у Пу становятся мокрыми. Он подходит к скамейке и присаживается.

Отец удивленно смотрит на сына.

— В такой час и на ногах?

— Хотел сходить в лес.

— Вот как? И можно спросить зачем?

— Посмотреть, не встречу ли привидение.

— Привидение?

— Призрак.

— И где?

— На месте самоубийства.

— Часовщика?

— Я ведь воскресный ребенок.

— Ты и правда веришь в привидения?

— Лалла и Май говорят, что они существуют.

— Ну, раз так...

Разговор иссякает. Отцовская трубка булькает. Когда она гаснет совсем, он разжигает ее вновь, и Пу втягивает в себя запах, который он любит.

— Трубочный дым хорош от комаров, говорит отец.

— Да, так рано, а комарья-то вон сколько, вежливо отзывается Пу.

И вновь воцаряется молчание. Солнце вывалилось на горную гряду, уже белое и неистовое, Пу закрывает глаза, под веками жжет.

— Поедешь со мной в Гронес? До Юроса доберемся на поезде, а оттуда на велосипеде километров десять.

Отец, повернув свое большое лицо к Пу, смотрит на него голубыми глазами и, вынув изо рта трубку, повторяет вопрос. Пу молчит, он попал в практически безвыходное положение — у отца тяжело на сердце, он хочет, чтобы Пу поехал с ним. Пу не может ответить отказом.

— Я вообще-то собирался заняться железной дорогой, уложить рельсы, начиная прямо от уборной, где у меня будет конечная станция, до березы — там я установлю стрелки и поворотный круг. Йонте хотел прийти поиграть со мной, он обещал.

— Понятно. Можешь не отвечать прямо сейчас. Подумай. Ласково улыбаясь, отец выбивает трубку о скамейку. На палец Пу села божья коровка. Тяжесть в груди не проходит.

— Мы поедем на этом маленьком товарном поезде, который отходит из Дуфнеса в девять утра по воскресеньям, в нем только вагоны для перевозки леса и один старый пассажирский. Прихватим что-нибудь поесть, а по дороге купим «Поммак».

Они сидят на расстоянии метров двух друг от друга. Роса испарилась, над рекой полоса тумана, день будет жаркий.

Теперь на минуту бросим взгляд в будущее. Год 1968-й. Отцу исполнилось восемьдесят два, он недавно овдовел. Живет в пятикомнатной квартире на Эстермальме. Хозяйство ведет сестра Эдит. Она сестра милосердия церковной общины, ей пятьдесят восемь, статная женщина в расцвете женственности, с теплыми карими глазами, опушенными длинными ресницами. Крупный, охотно смеющийся рот, широкие, сухие ладони. Сестра Эдит когда-то проходила конфирмацию у отца и стала другом семьи. Говорит она на четком хельсингландском диалекте.

Отец был тяжелый инвалид, он страдал наследственной атрофией мышц, ходил в ортопедических ботинках, опираясь на палку, его красивые руки с длинными пальцами усохли. Между

отцом и сестрой Эдит установились безмолвные, но проникнутые любовью отношения. Им явно было хорошо вместе.

Я поднимался вверх по южной стороне Гревтурегатан. Стояли последние дни зимы, шел дождь со снегом, на тающие сугробы и плохо посыпанный песком обледенелый тротуар падал резкий, но не прямой свет. Вот уж год, как мы с отцом жили во внешнем примирении и вежливом взаимопонимании. Но это отнюдь не означало, что ради этого мы копались в осложнениях, неприятии, недоразумениях и ненависти прошлого. Мы никогда не говорили с ним о наших ссорах длиною в человеческую жизнь. Но внешне наше ожесточение испарилось. Для меня ненависть к отцу была редкостной болезнью, которая когда-то давным-давно поразила кого-то другого, не меня. Теперь я помогал отцу в его денежных и некоторых других практических делах — задача не слишком обременительная. Я навещал его и сестру Эдит каждую субботу во второй половине дня, проводя у них по нескольку часов. Вот об одном таком визите я и расскажу.

Я сел в лифт, который со скрипучим эстермальмским достоинством поднял меня на последний этаж. Позвонил в дверь — два коротких звонка. Сестра Эдит открыла сразу же. Приложив указательный палец к губам, она прошептала, что нам надо быть потише: отец на час продлил свой послеобеденный отдых, ночь прошла беспокойно, мучили боли в бедре и спине. Я, тоже шепотом, предложил сестре Эдит поговорить о делах. Хорошая мысль, согласилась она и спросила, не хочу ли кофе или чаю, она как раз испекла булочки. Нет, спасибо, я прямо от стола, обедал с руководителями скандинавских театров, нет, спасибо. Сняв пальто и промокшие зимние ботинки, я сунул ноги в одни из отцовских тапочек, и мы расположились в комнате сестры Эдит. Комната, окна которой выходили на улицу, была не очень большая, но уютная: светлые обои, красивые картины и репродукции пастельных тонов, легкие занавески, уставленные книгами полки, небольшой двухместный диван и кресло, часы с маятником, украшенные искусными резными гирляндами. Кровать застлана широким, вязанным крючком покрывалом желтых тонов. У окна — белый письменный стол и два стула. Мы сели за стол. Эдит вынула папку и показала мне для порядка оплаченные счета, квитанцию о снятии денег с банковского счета и письмо от домовладельца о повышении с первого июля квартплаты. Прочитав письмо, Эдит вздохнула.

— Хуже всего, Ингмар, что Эрик постоянно беспокоится о своем финансовом положении. Хотя я его уверяю, что у нас все в порядке.

— Я поговорю с отцом.

— Пожалуйста, Ингмар, скажи ему еще раз, что я не собираюсь его бросать, и самое главное, что ты не намерен отдавать его в больницу для хроников.

— Вот как. Так-так. Он это утверждает?

— Он считает, что мы хотим забрать у него квартиру.

— Квартиру?

— Он иногда говорит, будто мне и тебе, Ингмар, нужна его квартира. И что только вопрос времени, когда мы заставим его лечь в больницу для хроников. И от этого он приходит в ужасное отчаяние, и ничего не помогает. — А как ты, Эдит, себя чувствуешь?

— Я почти всегда хорошо себя чувствую. Меня беспокоит лишь одно — что твой отец, Ингмар, пребывает в таком горе. И что он живет в полной изоляции. Он страшно мучается, а я, хоть и рядом, ничем не могу помочь. И потом еще Смерть.

— Смерть?

— Честно говоря, мне кажется, что твой отец, Ингмар, боится смерти. Он прямо не говорит, но я знаю мысли Эрика. А поскольку он не желает показывать своего страха, то и тут остается в одиночестве. И делается раздражительным, бранится по мелочам. Ну, мне-то все равно. Пусть ворчит и бранится. Он же ничего плохого не имеет в виду. А иногда, уж слишком распалившись по поводу какой-нибудь ерунды, уходит из дома и возвращается с цветами для меня. Так что, как там ни говори, а нам с ним хорошо вместе. Но вот Смерть — это, пожалуй, тяжело. В этом я не могу ему помочь, и я не понимаю его страха. Ведь он все-таки священник и должен был бы верить в милосердие Христа. Но по-моему, он потерял веру. Бедный Эрик, какой опорой он был для стольких людей, и для меня тоже, для меня в первую очередь. У него была сильная и чистая вера, да ты сам знаешь, Ингмар, порой он прямо-таки светился верой и убеждением. Год спустя после смерти Карин мы часто беседовали о чуде воссоединения. Он был убежден, что они с Карин встретятся в мире ином, очищенные и просветленные. В наших разговорах присутствовала неподдельная радость, и я думала, как милосерден Господь, поддерживая в старом человеке такую уверенность в собственном воскресении. Не знаю, Ингмар. Я вот всплакнула, но ты не обращай внимания. Просто мне жалко твоего отца, Ингмар, он такой хороший человек. За что ему выпало такое, такое опустошение? Это жестоко, и я не понимаю смысла. Он мне очень дорог, и я действительно хочу сделать все, чтобы он обрел хоть немного покоя и радости в последние годы своей жизни.

Сестра Эдит высморкалась с негромким трубным звуком. Она

определенно принадлежала к тем редким людям, которые становятся красивее, когда плачут. Она вытерла нос и смахнула с глаз слезы. И засмеялась.

— Я тоже малость чокнулась, разнюнилась как девчонка. Ты правда не хочешь чаю, Ингмар? Уже четыре. Может, мне все-таки пойти разбудить настоятеля? Ты спешишь, Ингмар? Погоди-ка! По-моему, я слышу его шаги. Да, он идет! Пока не забыла, я получила копию твоего денежного перевода, будет лучше, если ты возьмешь ее, Ингмар. Сестра Эдит встала с той живостью в движениях, которая проистекает от твердости души и самоочевидной радости. В коридоре раздались гулкие шаги отца. Он шел, тяжело переставляя ноги в ортопедических ботинках, постукивала палка. Он постучался, Эдит крикнула «входите», и отец открыл дверь. Я уже было приподнялся, чтобы пойти ему навстречу, но что-то меня остановило. Стоя на пороге комнаты, он смотрел на нас отсутствующим взглядом. Жидкие волосы растрепаны, одно ухо — багровое. Он был в своем старом темно-зеленом халате, пропахшем сигарами, ладонь с синими прожилками судорожно вцепилась в ручку палки.

— Я только хотел узнать, не вернулась ли Карин, пробормотал он, глядя на нас с Эдит, но не узнавая. — Карин уже вернулась?

В ту же секунду лицо его изменилось.

С болезненной стремительностью он осознал, где он и какова реальность: Карин умерла, а он опростоволосился. Улыбнувшись жуткой улыбкой, он извинился — простите, я еще не совсем проснулся.

— Здравствуй, сын, зайдешь ко мне ненадолго? Он повернулся и зашаркал по темному коридору в свою комнату. Эдит застыла с папкой в руках.

— Ничего страшного! Не бойся, Ингмар. Эрику иногда кажется, что Каринтде-то здесь, рядом. Он страшно огорчается, обнаружив свою ошибку: из-за того, что Карин мертва, а еще больше из-за того, что он опростоволосился. Я сейчас пойду к нему. А ты приходи через четверть часа.

Отец наклоняется к Пу: «По-моему, ты засыпаешь. Не пойти ли тебе лечь? Еще только пять. Три часа вполне можешь поспать». Пу мотает головой, молча: нет, спасибо, я хочу остаться здесь и смотреть на солнце. Я хочу быть рядом с отцом. Не спускать с него глаз, чтобы он, чего доброго, не испарился. Меня клонит в сон, но мне грустно. Нет, я не намерен ложиться и нюхать утреннюю канонаду и дерьмо моего братца, я, кстати, всегда проигрываю, когда мы соревнуемся. Пу широко зевает и мгновенно, как будто повернули выключатель, засыпает. Голова

его свесилась на грудь, раскрытые ладони лежат на досках скамейки. Волосенки на затылке стоят дыбом, солнце припекает щеку. Отец, застыв, наблюдает за сыном. Трубка погасла.

Во сне Пу идет по лесу — знакомому и в то же время незнакомому. Журчит и плещется ручей. Над головой бегают солнечные зайчики. Он в тени, но все равно душно. Он движется вперед против собственной воли. Но вот он останавливается и озирается, это, без сомнения, место самоубийства, ждать недолго. Ручей журчит, а вообще кругом тихо, беззвучно снуют муравьи в муравейнике и на тропинке. Здесь уже нет разгорающегося солнечного света, здесь серая тень и удушливая жара, но тем не менее холодно. Пу замерз, он садится на корточки. За раздвоенной елью какое-то движение, Пу видит спину Часовщика. Тот стоит сгорбившись, жидкие волосы рассыпались по грязному воротнику. Вот он оборачивается и смотрит на Пу пустыми выпученными глазами без зрачков, черный от запекшейся крови рот раскрыт, брови настолько светлые, что их почти незаметно, лоб чересчур высокий, серый, весь в пятнах. Не хочу, это неправда, не хочу видеть этого, я не могу заплакать и не могу убежать, Часовщик высосал у меня все силы, чтобы явиться передо мной, я об этом где-то слышал, наверное, Лалла говорила: привидения пользуются жизненной силой людей, чтобы сделаться видимыми, поэтому человек и коченеет, теперь я попался, я сейчас задохнусь. Пу говорит что-то, клацая зубами: прошу прощения, я вообще-то не хотел приходить сюда, но я все равно здесь. Со мной что-то не в порядке, если я делаю такие вещи. Я не помню, как сюда попал — а вдруг это сон? Вдруг на свете так устроено, что я вижу сон, я сплю и больше никогда не проснусь.

Страх омывает Пу горячей струей, все его тело терзает неудержимая боль. Часовщик стоит лицом к Пу. Ветка частично скрывает привидение. Фигура покачивается, поднимая ветер, хотя кругом безветренно. Воскресный ребенок, стало быть, день Преображения Господня, стало быть. Теперь надо спросить. И Пу спрашивает, а не получив ответа, повторяет вопрос: *Когда я умру?* Часовщик задумывается, а потом Пу кажется, будто он слышит шепот, невнятный, неразборчивый из-за крови во рту и онемевших губ: Всегда. Ответ на вопрос: *Всегда.*

Слабое дуновение пробегает по лесу, где-то кричит галка. Часовщик покачивается на ветру, голова его отделяется от плеч и шеи, она приближается, и Пу почти не сомневается, что пробил его последний час, только вот интересно, куда голова вопьется зубами — в его голые руки или в колени. Черты лица расплываются, но выражение злобное. Тут ветер меняет направление, и лицо расползается, глаза повисли под ветвями

ели, они гаснут, все привидение словно бы гаснет, руки всасываются в землю, сначала правая, кулаки разжимаются, и черные ногти падают как гнилые яблоки. Часовщик складывается пополам, и Пу видит красный след от веревки и кости, торчащие из горла. Все происходит внезапно, очень быстро, вот он исчез, остался лишь запах, запах плесени, точно под линолеумом в детской.

Пу с усилием стряхивает с себя сон и широко раскрывает глаза, чтобы его хитростью не заманили обратно в иной мир. Отец набивает трубку. Рядом с ним Марианн, она пришла с реки, с купания. Черные коротко остриженные волосы плотно облепили голову, лицо обращено к солнцу. На ней брюки и тонкая майка, сквозь ткань проступают очертания груди. Она босая. Отец говорит, что, мол, скоро семь и пора бриться. Марианн рассказывает, как было здорово искупаться там, у плота, хотя бревна прорвали ограждение и беспорядочной кучей застряли в береговом иле. Но все равно здорово, она была одна и могла купаться голой. Вода жутко холодная, градусов двенадцать-тринадцать, не больше, но говорят, в этом году река особенно холодная. «Слава Богу, есть шхеры, говорит отец, зажигая трубку. — Там не утонешь в прибрежном иле».

— Пу едет в Гронес?

— Не знаю. Я спрашивал, но он, похоже, особого энтузиазма не испытывает.

— Я могу поехать, предлагает Марианн.

— Разве ты не останешься с Карин?

— Я с удовольствием совершу велосипедную прогулку.

— Так, так, с серьезным видом кивает отец.

— С тобой.

— Пу, наверное, будет рад, если ему не придется ехать.

— Мы могли бы поехать все втроем.

— Он собирался строить железную дорогу между уборной и песочной кучей. И Йонте обещал прийти помочь.

— Ну так как? Что скажешь? — спрашивает Марианн.

— Было бы неплохо, отвечает отец с сомнением в голосе. Пу потягивается и громко зевает.

— Я еду с тобой в Гронес, говорит он решительно.

Отец и Марианн немного удивленно смотрят на Пу: так ты, значит, не спишь, вот это да. «Не сплю, говорит Пу, но сейчас пойду лягу и высплюсь. А в Гронес я поеду». Он поднимается, со слипающимися глазами трусцой заворачивает за угол, поднимается по лестнице в детскую, скидывает с себя одежду и сандалии, бухается в жалобно заскрипевшую кровать и зарывается головой в подушку. Он спит, не успев заснуть.

Без десяти восемь. Май безжалостно его тормошит. Даг, уже успевший одеться, приносит из материной комнаты графин и обливает брата. «Перестань, кричит Пу, Даг хохочет. Дерьмо чертово», кричит Пу защищаясь. Даг, отступив, кидает в брата сандалию. Май, дабы конфликт не кончился братоубийством, встает между ними.

Пу вынужден претерпеть еще кое-какие неприятные испытания. Май заставляет его почистить зубы, вымыть уши и постричь ногти. Кроме того, приходится надеть на себя чистую одежду: свежую майку, от которой чешется кожа, свежую рубашку, которая ему длинна, и чистые трусы. «Черт, до чего от тебя всегда воняет мочой, враждебно говорит Даг, ты что, не расстегиваешь ширинку, когда писаешь?» Из гардеробной приносят воскресные штаны — синие шорты с жесткими стрелками и идиотскими помочами. Пу протестует, но Май неумолима и готова, если потребуется, прибегнуть к насилию «Высморкайся! — приказывает она, держа чистый носовой платок перед носом Пу. — Не понимаю, откуда у тебя столько козюлей в носу?»

— Это потому, что Пу все время ковыряет в носу пальцем, поясняет Даг, присутствующий при унизительном одевании. — Ежели чего найдешь, поделимся, ладно? — И Даг с грохотом скатывается с лестницы. Пу садится на кровать, на него наваливается свинцовая сонливость. Май выходит из гардеробной. «Что случилось?» — спрашивает она участливо. «Меня тошнит», бормочет Пу. «Поешь, и сразу станет лучше. Пошли, Пу!»

Кишки ворочаются и дрожат, твердая какашка давит на задний проход, просясь наружу. «Мне надо по-большому, несчастным голосом говорит Пу, очень надо». «Сходишь после завтрака», постановляет Май. «Нет, мне надо сейчас», шепчет он, чуть не плача. «Тогда поскорее беги в уборную!» «Мне надо сейчас!, повторяет Пу. «Бери ведро», говорит Май, подталкивая ногой эмалированное ведро, наполовину заполненное грязной водой после умывания. Она помогает Пу с помочами и стаскивает с него шорты и трусы. Еще минута, и было бы поздно. «Живот болит, чертовски болит», жалуется Пу. Май садится на край кровати и берет его руку. «Через несколько минут пройдет», утешает она.

С лестницы кричит Мэрта: «Пу там? Пора завтракать. Пу там? Эй! Май!» — «У Пу болит живот», передает Мэрта матери. Обе стоят на лестнице. «Сильно болит?» — спрашивает мать. «Ничего страшного, мы уже почти закончили», успокаивает Май. В столовой разговоры и возня, звон посуды и столовых приборов.

«Ну, значит, скоро придете», говорит мать спускаясь. Лоб у Пу в испарине, сквозь загар проступила бледность. Глаза совсем ввалились, губы пересохли. Май гладит его по лбу. «Во всяком случае, температуры у тебя нет, значит, ничего серьезного, правда? Фу, какая вонища, может, ты чего не то съел?» Пу мотает головой, и еще одна волна спазмов сотрясает его тело. «Черт, дьявол, дерьмо, выдавливает он сгибаясь. — Черт. Дьявол. Дьявольщина.» «Тебя что-то заботит?» спрашивает Май. «Чего?» — разевает рот Пу. На секунду спазмы отпускают. «Ты чем-то расстроен?» — «Не-е». — «Чего-нибудь боишься?» «Не-е».

Приступ прошел, щеки Пу приняли свой обычный цвет, дыхание восстановилось. «Мне надо подтереться». «Можно вырвать лист из альбома для рисования, предлагает Май. — Хотя бумага слишком плотная, пожалуй. Возьмем вот эту красную шелковку». «Нет, черт побери, говорит Пу, это же шелковка Дагге, он обычно заворачивает в нее свои самолеты, если мы ее возьмем, он меня пришьет». «Я знаю, решительно говорит Май, возьмем фланельку для умывания, ничего не поделаешь. Я постираю ее потом. Поднимай попу, Пу. Вот так, теперь славно, да?»

За завтраком мизансцена приблизительно та же, что и за обедом. Единственное различие — более строгие костюмы, ведь сегодня воскресенье, воскресенье двадцать девятого июля и, как уже говорилось, Преображение Господне. Обеденный стол накрыт не белой скатертью, а желтой узорчатой клеенкой. С люстры свисает медный ковш с полевыми цветами.

Воскресное утро, восемь часов. В бергмановской семье царят обычаи воинства Карла XII. В будни завтрак в половине восьмого, по воскресеньям на полчаса позже — вялая уступка матери, которая любит немного поваляться в постели по утрам.

Отец же, напротив, утром бодр, он уже успел искупаться в реке, побриться и перечитать свою проповедь. Предстоящая поездка привела его в состояние прямо-таки веселого возбуждения. Пу вместо обычной овсянки дали тарелку горячей размазни. Ароматной нежной размазни и ломоть белого хлеба с сыром. Приготовленных собственноручно Лаллой. Возражать никто не осмеливается, хотя и владыки-родители, и еще кое-кто из присутствующих считают, что размазня — это каприз Пу, а любые виды капризов способствуют зарождению и развитию всяческих грехов. Но никто не осмеливается протестовать против размазни, приготовленной Лаллой, ни мать, ни отец, никто другой. Пу хлебает, он весьма доволен, но молчит. Боль улеглась, уступив место приятному оцепенению. Лаллина размазня заполняет сосущую пустоту, согревает изнутри — ведь от желудочных колик весь леденеешь.

Дверь в прихожую и дверь на крыльцо распахнуты настежь. Песчаная площадка сверкает в ярком свете.

— Сегодня будет жарко, говорит мать. — Уж не грозы ли нам ждать. — Каждый высказывается по поводу возможной грозы. Тетя Эмма совершенно уверена, ее колени предсказывают непогоду уже несколько дней. Лалла говорит, что простокваша в погребе осеклась, впервые за это лето. Мэрта утверждает, что тяжело дышать, у нее красные круги под глазами, на верхней губе капельки пота, наверное, температура. Отец весело замечает, что небольшая гроза не повредит, крестьянам нужен дождь. «Если пойдет дождь, будет хороший клев, вставляет Даг, злорадно ухмыляясь. — Выдержит ли дождь мой бедный братишка? А уж как он грома боится, просто жуть».

Разговоры продолжаются. Мы разговариваем, а жизнь проходит, где-то сказал Чехов, и так оно, наверное, и есть. Проем двери на крыльцо внезапно заполняет круглая, чуть пошатывающаяся фигура. Это дядя Карл с небольшим чемоданом в руке. Он смущенно улыбается. «Ой, привет, Карл! — кричит отец. — Заходи съешь чего-нибудь, и выпить найдется. У тебя, клянусь, вид такой, будто ты масло продал, а деньги потерял!» «Входи и садись, милый Карл, говорит мать. В ее голосе сердечности несколько меньше, чем у отца. — Что-нибудь случилось, почему ты с чемоданом?» «Подать прибор?» — спрашивает Мэрта, приподнимаясь со стула. «Нет, нет, не беспокойся, бормочет Карл, вытирая пот грязным носовым платком. — Можно я посижу немного?»

Не дожидаясь ответа, он семенит через столовую, отпуская поклоны направо и налево, и устраивается на диване возле окна. Отец достает из буфета бутылку и рюмку: «На здоровье, брат!» Карл осушает рюмку одним глотком, стекла пенсне запотевают. «Спасибо, Эрик, ты истинный христианин, проявляешь милосердие к ничтожнейшему из ничтожных».

— Что-нибудь случилось? — повторяет вопрос мать, строго глядя на брата. Карл с каким-то боязливым видом протирает запотевшее пенсне. И конфузливо смеется:

— Случилось и случилось! Все время что-то случается, не так ли? Время разбрасывать камни и время собирать камни, как написано в Писании. — Но ты, похоже, собрался уезжать? — по-прежнему весело спрашивает отец.

— Во всяком случае я собираюсь переехать.

— Переехать? И куда же ты собрался переехать? Позволь спросить. — В голосе матери появился холодок.

— Точно не знаю. Но главное — сохранить свое человеческое достоинство.

— Что случилось!? — Третий раз. Теперь мать скорее обеспокоена, чем строга. Карл водружает пенсне на нос и поворачивается. Присутствующие с интересом наблюдают за ним.

— Я лучше поговорю с Эриком. Этот разговор не для детей и малявок.

— Оставайся здесь, отдохни, а вечером поговорим, быстро предлагает отец, ни единым взглядом не посоветовавшись с матерью. — Сейчас мне некогда. Мы с Пу едем на велосипеде в Гронес читать проповедь. Но мы наверняка вернемся к обеду в Воромсе.

Голубьте глаза дяди Карла наполняются слезами. Он несколько раз кивает в подтверждение достигнутой договоренности.

— Ты золотой человек, Эрик!

Мать подает знак, все встают и читают молитву: «Благодарим Тебя, Господи, за трапезу, аминь». «Выходим ровно без четверти девять, приказывает отец и смотрит на свои золотые часы, которые висят на цепочке и заводятся маленьким ключиком. Потом обращается к дяде Карлу: Если хочешь остаться на несколько дней, это можно устроить. Мы потеснимся. Не правда ли, Карин?» Но мать не отвечает, она лишь качает головой и уходит на кухню, прихватив с собой миску с кашей.

— Хочешь заработать двадцать пять эре? — спрашивает Даг, дружески улыбаясь Пу. Одна рука у него спрятана за спиной. Они стоят за кухонной лестницей, где Пу только что помочился, хотя это запрещено.

— Еще бы.

— Ладно. Вот смотри, я кладу монету. — Даг кладет двадцать пять эре на ступеньку. Вид у него таинственно-возбужденный.

— И что мне надо сделать?

— Съесть вот этого червяка.

— Чего?

— Закрой рот, у тебя глупый вид. — Я должен съесть этого червяка?

Даг держит извивающегося дождевого червя перед носом Пу.

— Ни за что.

— Ну, а если я тебе дам пятьдесят эре?

— Нет. Ни за что!

— Семьдесят пять эре, Пу! Это большие деньги.

На крыльце появляется пудель Сюдд, облизывающийся после завтрака. Он угодливо виляет хвостом, приветствуя свое божество, а на Пу, антагониста, бросает презрительные взгляды.

— Зачем тебе надо, чтобы я съел этого червя? Ведь противно же.

— Ребята поручили мне испытать твое мужество.

— Чего-чего?

— Ну да, если ты окажешься достаточно мужественным, ты сможешь стать членом нашего тайного союза и вдобавок заработаешь семьдесят пять эре.

— Давай крону.

— Спятил, что ли? Крону! За крону надо съесть, по крайней мере, какашку тети Эммы.

— А у тебя есть семьдесят пять эре? — с подозрением спрашивает Пу.

— Вот смотри, пожалуйста. Три блестящих монетки по двадцать пять эре. Прошу. А вот червяк. Ну!

— Я съем половину.

— Это что еще за глупости! Либо ты ешь червя целиком, либо вообще ничего. Я так и знал. Ты трусливое дерьмо и никогда не войдешь в наш союз, правда ведь, Сюдд?

Даг поворачивается к Сюдду, который открывает рот, вываливая длинный язык. Сюдд ухмыляется, это очевидно

— Давай сюда твоего чертова червяка, говорит Пу в бешенстве от жадности и злости. Он засовывает червя в рот и начинает жевать, он жует, жует, жует. Глаза наполняются слезами. Пу продолжает жевать. Червь извивается, крутится под языком, один его конец пытается улизнуть через отверстие в уголке рта, но Пу запихивает его обратно. Желудок бурно протестует, но Пу подавляет протест.

— Все, съел.

— Открой рот, я проверю.

Пу разевает рот, брат проверяет — долго и тщательно. Потом велит Пу захлопнуть пасть, чтобы червяк не выскочил. Затем собирает монетки и зовет Сюдда. — Что за дела, черт? — кричит Пу.

Даг оборачивается и сокрушенно говорит:

— Мы с ребятами решили проверить, насколько ты глуп. Ежели ты настолько глуп, что ешь дождевого червя за семьдесят пять эре, то ты слишком глуп, чтобы состоять в нашем союзе, и абсолютно слишком глуп, чтобы получить семьдесят пять эре.

Пу бросается с кулаками на брата, но получает сильный удар под ложечку, а Сюдд в то же самое время вцепляется ему в штанину. У Пу перехватывает дыхание, и он садится на ступеньку. Даг и Сюдд удаляются, весело болтая. Во дворе они встречаются с Марианн. Пу не слышит их разговора, но подозревает, что они строят какие-то интересные планы. Он сражается с червем в желудке, раздумывая, не стоит ли ему блевануть, засунуть два пальца и блевануть, но колеблется —

такого удовольствия брату он не доставит. В эту минуту жизнь не стоит ни шиша: Дождевой червь в животе и месса в Гронесе! Пу совсем сник — никому на свете сейчас так не погано, как ему.

Папа сидит в беседке с дядей Карлом. Он курит первую после завтрака трубку, а дяде Карлу предложена сигара и еще одна рюмка. Дядя Карл говорит безостановочно, отец подбадривающе улыбается. С чего бы это отец вдруг так расположился к нему? Но вот отец смотрит на часы и говорит, наверное, что им с Пу пора идти, если они не хотят опоздать на товарняк, который именно по воскресеньям имеет обыкновение прибывать минута в минуту. Отец поднимается и похлопывает Карла по руке. На главное крыльцо выходит мать с зеленым отцовским чемоданчиком и зовет Пу. Даг выводит велосипед, поклажу привязывают к заднему багажнику. Передний багажник предназначен для Пу. Марианн втыкает букетик колокольчиков в петлицу отцовского пиджака. Выбегает Мэрта со своим фотографическим ящиком, она обожает фотографировать. Тетя Эмма после завтрака посетила уборную и сейчас, осторожно переваливаясь, спускается по тропинке. Под мышкой у нее зажат номер «Евле Дагблад». Из кухни выходит Лалла с уложенными в пакет припасами на дорогу, который в ходе некоторой дискуссии запихивают в чемоданчик: там лежат отцовские брыжи, чистая белая рубашка, пасторское облачение и сама проповедь. А вдруг бутылка с молоком разобьется и зальет облачение и проповедь? Сперва бутылку намереваются положить на дно, а одежду сверху, потом молоко вовсе отвергают: настоятель ведь приглашает на кофе, а отец обещал Пу «Поммак», они его купят в лавке на обратном пути.

Теперь Мэрта будет фотографировать, она хочет, чтобы мать тоже была в кадре, вроде бы как прощалась с отцом, но мать отказывается — нет, спасибо, пусть позируют только путешественники. В конце концов получается следующий снимок: отец стоит в несколько деревянной позе, держась за сильно вывернутый вверх руль. На нем легкий пиджак и шляпа. Черные пасторские брюки он надел на себя — они не поместились в чемоданчике, штанины внизу прихвачены зажимами. Белая рубашка без воротника и ботинки дополняют экипировку. Пу в уже описанном одеянии плюс белая льняная панама, которая ему чуть великовата и потому покоится на его оттопыренных ушах. Лицо в тени. Он уже сидит на переднем багажнике, разведя в стороны длинные ноги.

Все говорят, перебивая друг друга, желают приятного путешествия, мать сообщает, что бабушка перенесла обед на целый час, они просто не имеют права опоздать. Тетя Эмма

предупреждает, что будет гроза, совершенно точно будет гроза.

Вдали, у выпасов, над далекими горами чернеет полоса туч, белые облака тонкими пальцами тянутся к центру небосвода. «Предвестник грозы», говорит тетя Эмма. Мать целует Пу и по меньшей мере два раза велит ему быть поосторожнее, чтобы не попасть ногой в спицы переднего колеса. Дядя Карл машет сигарой из беседки: «Хорошего улова душ, уважаемый брат!» Даг вертится вокруг Марианн, а Сюдд вокруг Дага. Май застилает постель в материной комнате на втором этаже. Отодвинув широкую кружевную занавеску на единственном открывающемся окне, она окликает Пу и машет ему рукой. Пу вяло машет в ответ. На Май выходное летнее платье с вырезом каре, когда она наклоняется, Пу видит ее грудь. Копну недавно вымытых рыжих волос не в силах удержать никакая коса, и ее милое конопатое лицо словно охвачено кольцом огня.

* * *

Путешествие начинается с головокружительного спуска. Отец — опытный, но рисковый велосипедист. Пригорок, ведущий от дальберговского жилища, ухабист и каменист, к тому же узок и, как сказано, крут. Выбравшись на проезжую дорогу, отец принимается жать на педали. «Черт, до чего жарко, говорит он, снимает шляпу и протягивает ее Пу. — Держи крепко».

Товарняк уже стоит на станции, и маневровый паровозик усердно маневрирует — тяжело груженные вагоны с лесом пойдут на лесопильню в Йимон, пустые вагоны — на склад в Иншён, а три вагона, до верху забитые душистыми, свежераспиленными досками остаются на станции Дуфнес для дальнейшей отправки на строительство нового дома Добрых тамплиеров. Тормозные кондуктора, вылезшие из своих тесных будок, прогуливаются по платформе, кто-то пьет пиво прямо из горлышка, закусывая его бутербродом, кто-то курит трубку, станционный работник мечется между двумя южными стрелками у моста, паровозик, пыхтя, подает назад, два мужика возятся со сцеплениями, звенят буфера и тяжелые железные крюки. Солнце стоит прямо над излучиной реки.

Отец и Пу заходят в контору и здороваются с дядей Эрикссоном: «Вот как, господин пастор собирается ехать в такой ранний воскресный час, да еще с сыном?» «Я читаю проповедь в Гронесе», объясняет отец. «Значит, тогда на поезде до Юроса, а оттуда на велосипеде, я полагаю?» Дядя Эрикссон вынимает из ящичка кассы маленький коричневый бумажный билет и пробивает его компостером. «Велосипед надо сдавать в багаж?» — интересуется отец. «Нет, можете взять с собой в купе. По воскресеньям пассажиры садятся только в Лександе».

Со второго этажа спускается фру Эрикссон. Шея ее изуродована зобом, глаза чуть не вылезают из орбит. Она сердечно улыбается беззубым ртом. В руках — чашка с кофе. «Я подумала, что господин пастор не откажется выпить чашечку, говорит фру Эрикссон на своем диалекте Орса. — А маленький Пу хочет карамельку, да?» Она вынимает из кармана передника липкий кулек и угощает Пу собственноручно приготовленными красно-белыми карамелями. Пу кланяется и благодарит. «А как ваши дела, фру Эрикссон?» — спрашивает отец, глядя прямо в выпученные глаза фру Эрикссон. «Да не слишком хорошо, господин пастор. На прошлой неделе была в больнице в Фалуне, потому как по ночам сильно задыхаться стала. Доктор сказал, что меня надо оперировать, он хочет удалить часть щитовидки, но я

не знаю, хотя задыхаться вот так ужасно, но я ведь каждый день принимаю йодистую соль, правда, она мало помогает, мне все хуже и хуже. А вид у меня — страшно смотреть. Прошлым летом зоб был не виден, он за эту зиму такой жуткий сделался. Это все началось, когда я заболела туберкулезом и потеряла... да вы, господин пастор, сами знаете... да, не слишком хорошо, а там наверху такая духота, в спальне у нас по вечерам солнце, иногда я перетаскиваю матрас сюда, в зал ожидания. Тут ведь окна на север и всегда чуток прохладно. Как-то приехал инспектор, увидел матрас и сказал, что в зале ожидания спать нельзя, это запрещено, а Эрикссон заявил ему, что ему плевать и пусть, мол, инспектор, ежели хочет, подаст на нас в суд, ну тот и испарился.

Пу залез на стол у окна, выходящего на станционную площадь — его больше интересуют усилия маневрового паровозика, нежели зоб фру Эрикссон. Посасывая карамель, он следит за двумя вагонами с древесиной — от легкого толчка паровоза они сами послушно катятся на запасной путь у здания станции. Один из мужиков положил на рельсы тормозную колодку, и тяжелые вагоны смиренно останавливаются, слегка дернувшись взад и вперед, точно живые.

— Они закончили, кричит Пу, слезая со стола. — Все готово! — Пу хочется поскорее в путь, предстоящая поездка в поезде, пусть и короткая, вызывает у него легкую лихорадку. «Что же, тогда поехали, господин пастор». Дядя Эрикссон достает свою форменную фуражку и красный флажок, на древке которого прикреплена зеленая пластинка. Когда подают сигнал пластинкой, это означает «готов к отправлению». Отец опустошает чашку до самой гущи, благодарит и пожимает руку. «Я поговорю с моим хорошим другом, профессором Форсселем о вашей болезни, фру Эрикссон. Возможно, он найдет какой-нибудь выход».

— Спасибо, спасибо, не утруждайте себя, господин пастор.

Один из тормозных кондукторов помогает занести велосипед и чемоданчик в маленький пассажирский вагон в конце состава. Вагон допотопный, выкрашенный в серо-зеленый цвет, с дверями посередине. Интерьер спартанский: двенадцать коротких деревянных скамеек друг напротив друга, по шести по обе стороны прохода. Возле каждой второй скамейки стоит плевательница, пол устлан истертым коричневым линолеумом с узором, в одном торце возвышается железная печка. Окошки открыты, впуская летнее утро. На потолке — две стеклянные чаши, в которых упрятаны газовые светильники. В вагоне пахнет проолифенным деревом и железом.

Пу висит на окне, он в возбуждении, он поедет на поезде,

через несколько секунд дядя Эрикссон даст знак, паровоз выпустит черное облако, и вагоны покатятся по рельсам. Отец нашел газету «Борленге-постен» и углубился в раздел «Публичные сообщения»: «В церкви Гронес пастората Гагнеф завтра, в воскресенье в одиннадцать часов утра состоится проповедь пастора Эрика Бергмана из Стокгольма. Во время богослужения состоится причащение святых даров Господних».

Но поезд никак не трогается, Пу с опасностью для жизни высовывается из окна, чтобы выяснить причину. Дядя Эрикссон читает какие-то бумаги, а станционный работник объясняет и жестикулирует. Паровоз пыхтит и вздыхает, словно жалуясь на утомительную жару и предстоящие подъемы. На втором этаже станционного домика за занавеской мелькает обезображенное лицо фру Эрикссон.

Но вот послышались голоса, и Пу поворачивается в другую сторону. Там бодро шагают Марианн, Даг и дядя Карл. В руках у них удочки, а Даг несет за ручку жестяную банку для червей, в крышке которой проделаны дырочки. У дяди Карла на спине ранец — это снедь

— Привет, кричит Марианн. — Вы еще не уехали?

— Куда собрались? — спрашивает отец, становясь рядом с Пу у узкого окошка.

— Удить рыбу в Холодном ручье, трубит дядя Карл. — Ма должна вот-вот прийти, и сестричка Карин отправила нас на прогулку. Она сочла, что будет лучше поговорить с Ма наедине. Я, во всяком случае, ничего против не имел.

Наконец поезд, тяжело скрипя и усердно выпуская клубы дыма, трогается. Все машут руками. Пу мельком замечает, что Марианн обнимает Дага за плечи. Губы у него растягиваются от восторга, и он энергично машет рукой брату. Они исчезают из вида, в лицо бьет встречный ветер и едкий угольный дым.

На повороте под горой паровоз свистит, вагон бросает из стороны в сторону, стучат на стыках колеса. Вот они покидают реку и ныряют в лес. Паровоз старается изо всех сил, пошел подъем, деревянный вагончик трещит и трясется. «Сядь на скамейку, велит отец. — Нельзя так висеть на окне, это опасно». Схватив Пу за брючный пояс, он стаскивает его вниз. Отец с сыном сидят друг напротив друга, отец продолжает читать газету.

— Пап!

— Да? — отец опускает газету.

— Что такое история?

— Рассказ о прошлом — Тогда смерть дедушки — история.

— История бывает разная. Есть большая история — история войн и королей, всего народа, а есть малая — история семьи.

Таким образом, можно сказать, что дедушкина смерть — тоже история.

Отец сидит подавшись вперед, локти на коленях, пальцы переплетены. Он внимательно смотрит на сына. Когда отец с кем-то разговаривает, кто бы это ни был, он смотрит собеседнику прямо в глаза и сосредоточенно слушает.

— Вам, папа, не нравится жить с нами в Дуфнесе?

— Мне не слишком по душе Дуфнес, только и всего. Я люблю маму и моих детей, а Дуфнес нет.

— Почему?

— Я чувствую себя взаперти, если ты понимаешь, что я хочу сказать.

— Не понимаю.

— Я не распоряжаюсь собой.

— А кто распоряжается? Бабушка?

— Можно и так сказать.

— Поэтому вы и ненавидите бабушку.

— Ненавижу?

Отец, улыбаясь уголками рта, разглядывает свои сцепленные пальцы.

— Даг утверждает, что папа и бабушка ненавидят друг друга.

— У нас с твоей бабушкой разные точки зрения по множеству вопросов. Почти по всем. Ну вот мы и ссоримся. Ты должен это понимать.

— Угу.

— Иногда бывает страшно тяжело. Особенно летом. Мы вынуждены жить бок о бок, и тогда чуть что начинаются всякие неурядицы. Зимой, когда бабушка живет в Уппсале, а мы в Стокгольме, легче.

— Я люблю бабушку.

— И продолжай ее любить. Бабушка любит тебя, ты ее. Так и должно быть.

— Вы бы обрадовались, если бы бабушка умерла?

— Вот это загнул! Чему же мне радоваться? Во-первых, я знаю, что и ты, и мама, и Даг, и множество других людей будут горевать, а во-вторых, человеку не пристало думать о подобных вещах.

Пу задумывается. Все это трудно, но важно. Кроме того, нечасто у отца есть время поговорить. Надо пользоваться случаем. — Ну да, — горестно вздыхает Пу. — А мне хочется, чтобы много кто умер и стал историей! Тетя Эмма, и Даг, и...

— Это совсем другое дело, прерывает отец. — Ты не представляешь себе, что означает смерть. Поэтому и бросаешься такими пожеланиями, не имея в виду ничего конкретного.

— Я иногда представляю себе, что мама умерла, и тогда мне делается грустно.

— А иногда тебе хочется, наверное, чтобы твой отец умер, да? Когда ты, к примеру, злишься.

Отец улыбается, улыбаются и губы и глаза, голос неопасный. Значит, это и есть настоящий разговор, думает Пу. Разговоры или «беседы» Пу обычно ведет с бабушкой в Уппсале, вечерами, когда он приезжает погостить к ней на рождественские каникулы. У матери с отцом никогда не хватает времени на беседы.

— Никогда я не желал, чтобы папа умер, врет Пу с бесхитростным выражением лица.

Отец треплет Пу по щеке, по-прежнему улыбаясь.

— Извини меня, Пу, но порой ты задаешь действительно дурацкие вопросы.

Пу с умным видом кивает и улыбается в ответ.

Товарняк тормозит с жутким шумом — визг, лязг, скрежет. Под горной грядой простираются леса, на крутых склонах вынырнули усадьбы. Отец хлопает Пу по коленке: вот мы и приехали, не забудь панаму и возьми мою шляпу.

Поезд останавливается на полустанке Юрос — это маленькая будка путевого обходчика на пересечении железнодорожных путей с большаком — ни тебе запасных путей, ни семафора, только рассохшийся деревянный перрон. Обходчик — толстая женщина — вылезает, переваливаясь, из будки, в дверь ей приходится протискиваться боком. Она приветствует пастора как старого знакомого и помогает ему вытащить велосипед и чемоданчик. Зной уже стоит стеной, на пригорке мычит корова. Выглянувший из кабины машинист расслабленно отдает честь отцу и сыну. Обходчица подает знак, что можно отправляться, и поезд плавно скользит вниз по склону к Сиффербу, без дыма, без скрежета, без лязга.

— Чашечку кофе? предлагает толстуха.

— Нет, спасибо, фру Бругрен. Мы и так опаздываем.

— Чертовски обидно, что я никак не выберусь в церковь, но Ульссон в больнице, и я здесь одна должна управляться и в будни, и в воскресенье. Может, мальчик хочет сока? — Нет, спасибо, вежливо отвечает Пу.

— Тогда желаю вам счастливого пути.

— Спасибо, фру Бругрен, и передайте привет господину Ульссону.

— Господин пастор, как по-вашему, это Бог нас карает?

— Почему Бог должен карать?

— Я хочу сказать, мы ведь с Ульссоном в грехе живем по словам миссионерского пастыря. Он был тут в прошлый

понедельник и скандалил, а на следующий день Ульссон наступил на ржавый гвоздь, и у него началось заражение крови, пришлось в больницу везти. Это кара Божья, господин пастор?

Отец обеими руками вцепился в руль велосипеда. Спешки как не бывало, он не смотрит на горестно вздыхающую фру Бругрен. Его задумчивый взгляд устремлен на склон, спускающийся к реке, и солнечный пожар в черной воде. Наконец он переводит глаза на опечаленную женщину.

— Нет, решительно говорит отец. — Я убежден, что миссионерский пастырь Стрёмберг ошибается. Бог не карает фру Бругрен и господина Ульссона за это прегрешение — если это вообще прегрешение. Бог не мелочен, жалко только, что он позволяет своей глупой пастве быть глупыми и злопамятными. Но если, фру Бругрен, вас мучают подобные мысли, то поговорите с господином Ульссоном. Если решитесь, я с удовольствием вас обвенчаю. Черкните несколько слов. Я живу в Дуфнесе. Ну да вы ведь знаете.

Толстуха кивает несколько раз и сглатывает, в данный момент она не способна вымолвить ни слова, лишь кивает, да, я поговорю с Ульссоном, в четверг поеду в больницу, пришлют смену из Лександа.

— До свидания, фру Бругрен.

— До свидания, господин пастор.

Пу молча кланяется и взбирается на багажник, отец ставит правую ногу на маленький шпенек, торчащий из ступицы заднего колеса, а левую резко бросает на педаль. Это придает велосипеду приличную скорость на спуске к реке. Пу, держа отцовскую шляпу, широко разводит ноги — не попасть бы ступней в спицы.

Вдалеке слышится свисток товарняка, а вообще вокруг неподвижная летняя тишина. Воздух пропитан острым запахом коров и чабреца. Чахлая рожь, клонящаяся к обочине дороги, бьет Пу по голым ногам. Пу чувствует, что отец в хорошем настроении, и у него тоже становится весело на душе. Вот отец начинает насвистывать, потом вполголоса напевать и наконец поет в полный голос:

В уборе пышном лес стоит, И черный прах земли укрыт Покровом сочной зелени. Цветов прекрасных океан, Как летний пестрый сарафан Роскошней Соломона одеяния.

Отец притормаживает. Дорога круто забирает вправо, внезапно под колесами лишь зыбкий песок. «Тут надо поосторожнее, а то шею сломаем! Держись крепче, если меня поведет в сторону. Дай-ка шляпу, лучше я ее надену, чтобы не получить солнечный удар». Пу обеими руками вцепился в багажник. Отец медленно крутит педали. «Здесь и вправду надо

быть поосмотрительнее, рассудительно говорит Пу. — Опрокинемся, и нам крышка».

Миновав опасный участок, Пу с отцом несутся дальше вниз по пологому склону вдоль реки. Свистят и похрустывают колеса, сверкает темная водная гладь, неспешно плывут бревна, сбиваясь в кучу возле ограждений. Грозовая стена над горными грядами выросла на палец. Отец, тихонько напевая, усердно крутит колеса. Пу незнакома мелодия, может, это вовсе и не мелодия. Сейчас отец в отличном расположении духа, никаких сомнений. Но поездка с ним — всегда рискованное предприятие. Никогда не знаешь, чем оно кончится. Иногда хорошего настроения хватает на целый день, а иногда, неизвестно почему, пастора настигают демоны, и он становится немногословным, замкнутым и раздражительным.

— Ну как, Пу, теперь не жалеешь, что поехал со мной? — Отец перестал напевать и хлопает Пу по панаме.

— Не жалею, врет Пу, с грустью думая о своих паровозиках, рельсах и железной дороге, которую он собирался провести от уборной до спиленной березы. Там местность все время идет под уклон, поэтому можно сцепить несколько вагончиков и пустить их самостоятельно, они докатились бы до самой стрелки — прямо как тот электрифицированный поезд, что ходит в Юрсхольм.

У паромной переправы уже ждут повозки с прихожанами, которые здороваются с отцом. Отец отвечает, приподнимая шляпу. Там стоит сгорбленный старик в меховой шапке, с грязной коровой, бока ее вымазаны навозом. От них здорово воняет, вокруг кружатся синие мухи, но старика и корову, похоже, это не смущает. По воде шлепают несколько босоногих мальчишек. Они направляются к Юпчёрну купаться и ловить окуней.

Через реку натянуты стальные тросы. Паром, которым управляют вручную, соединен с тросами железными петлями и подвижными ржавыми колесиками. Пассажиры-мужчины цепляются за трос захватами из просмоленной древесины. Таким образом плоскодонный корабль перемещается взад и вперед по сильно изрезанному в этом месте речному руслу, и кружащиеся в черной бурлящей воде топляки глухо бьются о борт парома.

Отец тут же разговорился *с* двумя женщинами в одноколке — младшая в местном национальном наряде, старшая, с серым под загаром лицом, в трауре. Она сидит молча, уставясь на свои покрытые пятнами руки. Говорит младшая — ее торопливая речь, окрашенная диалектом, напоминает катание с горки — вверх и вниз. Отец слушает и кивает. «Вот как, все случилось так быстро? Это ведь было неожиданно?» — «Конечно, он был такой энергичный, весь сенокос работал с нами, намеревался ехать на

соревнования по стрельбе, да, это было в прошлое воскресенье. Мать принесла кофе, глядит, а он лежит отвернувшись, и глаза закрыты, ну она и подумала, что он опять заснул. А он мертвый».

Пу садится на дощатый пол на носу. Снимает сандалии и опускает ноги в воду, ледяную даже сейчас, в разгар лета, и течение засасывает их.

Когда паром отчаливает от пришвартованного к берегу покачивающегося плота, отец отходит от женщин в одноколке, берет деревянный шест, крепит его к тросу и помогает остальным мужчинам тащить паром через стремнину и топляки.

Пу перебирается еще ближе к краю, чтобы остудить комариные укусы под коленками. Внезапно кто-то хватает его за плечи и отшвыривает назад, сильная пощечина, еще одна. Отец разъярен: «Знаешь ведь, что я запретил! Не соображаешь, что тебя может утянуть под паром, и никто и не заметит?» Следует еще одна пощечина, значит, всего три. Пу смотрит на отца, он не плачет, нет, только не здесь, перед этими чужими людьми. Он не плачет, но сгорает от ненависти: бандит чертов, вечно дерется, я убью его, вот вернусь домой, придумаю для него какую-нибудь мучительную смерть, он будет молить меня сжалиться. Гулко стучат бревна, журчит вода, палит солнце, в мозгу и глазах резь. Пу стоит в сторонке, но на виду. Женщины в одноколке, наблюдавшие за сценой, кивают головами и перешептываются, сейчас говорит молодая. Пу не слышит ее слов, он видит женщин со спины, потому что отошел к краю кормы. Отец помогает тащить паром, изо всех сил работая деревянным шестом, он тоже зол, это заметно. Он сбросил пиджак и закатал рукава рубашки. Шляпа сдвинута на затылок.

Еще один взгляд в будущее.

— В чем моя вина?

Отец сидит за письменным столом, я — в потертом кожаном кресле в глубине комнаты. За окном — свинцово-серый зимний день без теней, на крышах и в воздухе снег. Отец поворачивается ко мне лицом, темный контур на фоне прямоугольника окна. Я с трудом различаю черты его лица, но хорошо слышу голос.

— В чем моя вина?

Он повторяет вопрос, а что я могу ответить? На столе лежит один из материных дневников.

— Я открыл ее второй банковский сейф и там обнаружил еще дневники. Представляешь, Карин вела дневник с марта 1913 года, когда мы поженились, почти до самой кончины — последняя запись сделана за два дня до смерти. Каждый день.

— Вы знали, что мать ведет дневник?

— Я как-то спросил ее, и она ответила, что обычно вкратце

записывает разные события, но чтобы...

Отец качает головой, перелистывая раскрытую тетрадь в коричневом переплете: «...каждый день».

— Я пытаюсь прочитать и понять, я имею в виду, чисто технически. У матери такой мелкий почерк. Мне приходится пользоваться лупой.

Отец поднимает лупу, словно бы извиняясь: ежедневно, микроскопический почерк, шифры.

— Вообще-то у матери был четкий и разборчивый почерк. А здесь совсем другой. И потом, она часто сокращает имена и слова. А иногда употребляет какое-то зашифрованное слово, которое совершенно невозможно понять.

Глубоко вздохнув, отец протягивает мне тетрадку, я встаю и беру ее в руки. 1927 год: мать в больнице, обширная операция, удаление матки и яичников. Три месяца. Беспокойство о доме и детях. Отец приходит каждый день. «Я же не могу попросить его не приходить, я так устаю от его страхов. Как будто я должна испытывать угрызения совести из-за того, что нахожусь здесь».

Я медленно с помощью лупы читаю, потом захлопываю тетрадь и переправляю ее через весь стол обратно.

— Читаю и читаю. И постепенно начинаю осознавать, что никогда не знал той женщины, с которой прожил больше пятидесяти лет.

Отец отворачивается, его взгляд устремлен на падающий снег и белые крыши. Вдалеке бьют часы церкви Хедвиг Элеоноры. Затылок у отца высокий и худой, волосы редкие. «Ничего не знаю», произносит он.

— Карин говорит о фиаско. Жизненном фиаско. Ты можешь это понять? Вот тут она пишет: «Как-то раз в одной книге я наткнулась на слова «жизненное фиаско». У меня перехватило дыхание, и я подумала — жизненное фиаско и есть самые точные слова».

— Мать порой слишком все драматизировала. — Я пытаюсь найти объяснение.

— И я спрашиваю себя, медленно, почти неслышно говорит отец, спрашиваю себя, в чем моя вина.

— Но вы ведь с матерью разговаривали?

— Конечно. Разумеется, разговаривали. Вернее, говорила Карин. Что мог сказать я? У Карин было столько идей относительно того, как нам изменить нашу жизнь. Она требовала от меня ответа на ее вопросы, а что я мог ответить? Карин утверждала, что я ленив. Не когда речь шла о работе, а просто ленив, ну, ты понимаешь.

Отец вновь поворачивается ко мне лицом, из-за резкого света

из окна я не вижу его выражения, но голос молит: скажи же что-нибудь, объясни, дай мне точку опоры.

— Сегодня ночью мне приснилось, что мы с Карин идем по нашей улице. Держимся за руки, иногда мы так делали. Тротуар обрывается в бездну, и там внизу — блестящее черное зеркало воды. Вдруг Карин выпустила мою руку и кинулась головой в бездну.

— Иногда мне кажется, будто мать где-то рядом, говорю я нерешительно. — Я сознаю, что это своего рода тоска и ничего больше, и все же.

— Да, да. — отзывается отец. — Сперва обнаруживаешь... нет, не знаю. Не могу объяснить. В чем моя вина?

— Откуда мне знать? — Словно бы я прожил совсем другую жизнь, не такую, как Карин. Я никогда не призывал Бога к ответу. Такова моя жизнь, думал я, и с этим ничего не поделаешь. Может, я был чем-то вроде послушной собаки? Как Сюдд?

Отец горестно улыбается. Дух Сюдда пересекает ковер и, уткнув нос в отцовскую руку, глядит на своего господина печальными глазами.

— Мать была, наверное, умнее меня. Она много читала, ездила за границу и... Я же в основном жил своими чувствами и представлениями. Хотя теперь вот лишился всего. Не собираюсь жаловаться, не думай, будто я жалуюсь, но когда я сижу здесь, пытаясь истолковать материн дневник...

— Вы считаете, мама заранее предполагала, что вы прочитаете ее дневники?

— Не уверен. У нас как бы была договоренность, что я умру первым. Понимаешь, своего рода шутка. Это я, главным образом... но это само собой разумелось. И когда у меня обнаружили рак пищевода, все было решено, по крайней мере, я полагал, что решено.

— Хуже всего, пожалуй, что мы испытывали страх.

— Страх?

Отец смотрит на меня с искренним недоумением, словно в первый раз слышит это слово.

— Мы боялись вашего гнева. Он всегда овладевал вами неожиданно, и мы часто не понимали, почему вы ругаетесь и деретесь.

— Ты, безусловно, преувеличиваешь.

— Вы, отец, спросили, я попытался ответить.

— Я был скорее кроткий человек.

— Нет. Мы боялись ваших приступов гнева. И не только мы, дети.

— Ты хочешь сказать, что и мать?., что Карин...

— Мне кажется, мать боялась, но по-другому. Мы научились ускользать, врать. Правда, должен признаться, говорить об этом сейчас, по-моему, несколько неловко — два пожилых человека. И немного смешно.

— Но мать поистине была не из тех, кто молчал.

— Мать играла роль посредника, миротворца. Даг, например, вызывал у вас постоянное бешенство. Я помню, как часто вы его пороли. Плеткой. По голому телу. До крови, до струпьев. И мать смотрела.

— Ты упрекаешь меня... — Нет, я не упрекаю. Я говорю, что наш разговор смешон. Но вы, отец, спросили, и я отвечаю. Мы безумно боялись, выражаясь мелодраматически.

— Я помню, Карин говорила...

— Что говорила?

— Мать иногда, когда сердилась, называла меня «узколобым». В дневниках это есть в нескольких местах: «Эрик непримирим. Эрик не способен прощать и быть снисходительным, и это будучи пастором. Эрик не знает самого себя».

Отец весь поник и съежился. Прикладывает руку к щеке.

— Я ведь уже понес наказание, правда?

— Наказание?

— По-твоему, сидеть здесь, за этим столом, день за днем читая материны дневники, не достаточное наказание? Она ругает даже мои проповеди.

Отец саркастически улыбается:

— Так что ты и твои брат с сестрой должны быть довольны. Некоторые считают, что ад существует тут, на земле. Теперь я склонен с этим согласиться. Нет, нет, нет. Ты уже уходишь?

Паром причаливает, вода заливает доски настила, понтонный мост раскачивается, повозки съезжают на берег. Отец прощается с матерью и дочерью в одноколке, мальчишки, собравшиеся порыбачить в Юпчёрне, берут удочки и кричат «пока» сопящему Пу: они, конечно, заметили, что Пу получил взбучку и, мало того, направляется на мессу в Гронес. Старик со своей грязной коровой ковыляет вверх по откосу.

— Идем же, дурачина! — Голос у отца ласковый. Пу стоит отвернувшись, от дружелюбного тона отца его подмывает заплакать. Отец подходит и шлепает Пу по спине.

— Ты же понимаешь, я испугался, ведь ты мог бы утонуть, никто б и не заметил.

Еще один шлепок. Отец стоит позади сына, опираясь бедром на велосипед.

Паромщик уже впускает пассажиров, отправляющихся в обратный путь. Отец, прислонив велосипед к ограждению,

протягивает Пу свою широкую ладонь. Потом садится на перевернутую вверх дном деревянную кадку и притягивает к себе сына.

— Я испугался, понимаешь? Когда человек боится, он сердится, сам ведь знаешь. Я переборщил, просто так получилось, не успел подумать. Я сожалею. Тебе досталось больше, чем ты заслуживал, это было глупо. Отец испытующе глядит на Пу, теперь его очередь. Пу не желает смотреть на отца, он глотает слезы, черт, дьявол, когда отец вот такой ласковый, хочется только разнюниться, а это черт знает что. Поэтому он лишь кивает: да, да, понимаю.

— Ну, тогда пошли, говорит отец, слегка шлепнув Пу по заду. Попрощавшись с паромщиком, он повел велосипед по скользкому настилу и понтонному причалу. В прибрежном мелководье серебрится стайка уклеек. Рыбки подпрыгивают, все разом, и водное зеркало замерцало. Пу идет босиком, отец привязывает его сандалии к заднему багажнику и кожаным ремнем затягивает чемоданчик.

Склон от паромной переправы круто забирает вверх. Пу помогает вести велосипед. Наверху в лицо ударяет волна жара, путешественники выходят на открытое поле, узкая песчаная дорожка идет прямо на запад. Порывы ветра вздымают вихри мелкого песка, не принося прохлады. Черные отцовские брюки, прихваченные внизу блестящими велосипедными зажимами, посерели от пыли. Высокие черные ботинки на шнурках тоже запылились.

Отец и Пу прибывают в церковь Гронеса, когда колокола отбивают десять. На тенистом кладбище какие-то одетые в черное женщины поливают цветы на могилах, прибирают, работают граблями. Под каменным сводом попрохладнее. Церковный староста, звонивший в колокол, отводит отца в ризницу. В шкафу стоят таз и кувшин, мыло и полотенце, отец, обнажившись до пояса, умывается. После чего открывает чемоданчик и вынимает чистую рубашку, брыжи, крахмальные манжеты и пасторский сюртук. Староста наводит порядок:

— Когда вы, господин пастор, взойдете на кафедру, не забудьте перевернуть песочные часы, у нас в церкви так давно заведено, и потом, мы обычно читаем молитву за упокой души усопших до того, как зазвонят погребальные колокола; как только вы произнесете «аминь», я возьмусь за большой колокол, на это уйдет пара минут, он у нас немного медлительный. Кстати, настоятель просил передать, что он заглянет, чтобы поздороваться с вами, но, возможно, чуток запоздает, у него служба с причащением в Утбю. И в этом случае он просил вам

напомнить, что после мессы в пасторской усадьбе будет кофе. А теперь, господин пастор, не дадите ли вы мне номера псалмов, мальчик поможет мне их развесить. Я звоню в малый колокол без десяти одиннадцать, и тогда народ входит в церковь. А до того они предпочитают постоять и поболтать во дворе. На двух листках бумаги отец написал номера пяти псалмов, указав количество стихов, одна бумажка предназначается старосте, другая — органисту. Старик подзывает Пу и берет его за руку. Отец, усевшись за большим дубовым столом посреди комнаты, склоняется над своей аккуратно написанной проповедью. «Не будем мешать пастору, шепчет староста, увлекая Пу в церковь. — Цифры знаешь?» спрашивает старик, открывая черный шкаф, в котором ровными рядами висят латунные цифры.

Староста, стоя на лесенке, называет цифры, и Пу достает из шкафа нужные и протягивает их старику, который развешивает их на двух черных досках в золотых рамах слева и справа от хоров. О разговорах в это время и думать нечего. Задача важная: одна неправильная цифра — и произойдет катастрофа.

Закончив работу, Пу тихонько выходит из прохладной церкви в зной, чуть приглушаемый темнокудрыми вязами. Небесный свод белый. Без единого облачка, безмолвие, тяжесть. Парочка шмелей, комар на руке, за каменной стеной мычит корова. По разровненному граблями гравию дорожки идут, тихо переговариваясь, несколько прихожан в черных воскресных одеждах. Пу не спеша направляется к низкому четырехугольному каменному зданию в северном углу кладбища. Тяжелая, просмоленная дверь приоткрыта. Вокруг никого. Пу прекрасно знает, что это за дом, но не в силах удержаться. Он проскальзывает внутрь и застывает у двери: каменный пол, грубая кладка стен, деревянный потолок, поддерживаемый грубыми балками, низкие, непрозрачные окна. В одном торце — простой алтарь с деревянным крестом, выкрашенным в черный цвет, оловянными подсвечниками и раскрытой Библией. Вдоль правой стены — полки. На полках стоят четыре гроба разных размеров и качества. В центре помещения — катафалк. На нем белый гроб без крышки, крышка прислонена к дверям. В гробу лежит молодая женщина. Лицо худое и серое, вокруг закрытых глаз темные тени, нос заострился, на веках две серебряные монетки. В костлявых руках с длинными пальцами — Псалтирь, кружевной платочек и белая гвоздика. Несколько мух пикируют сначала на неприкрытое лицо покойной, а потом на белую непрозрачность окон. Запах увядших цветов и чего-то сладковатого, проникший в нос и в кожу, не улетучится еще много часов. Пу стоит долго. На губу ему садится муха, и он в панике шлепает по ней рукой. Но

вот послышались голоса и шаги на песчаной дорожке. Громко топоча, внутрь входят двое мужчин в темных костюмах и белых кашне, они шикают на Пу, но больше не обращают на него никакого внимания. Надо привинтить крышку и собрать цветы. Полку с гробами завешивают грязной занавеской, зажигают свечи на алтаре. Распахивают настежь двери, и внутрь заходят для короткого прощания до начала мессы пришедшие на похороны люди.

— А, вот ты где, малыш Пу, кричит жена настоятеля, махая ему рукой. У нее громадный живот, который она как бы несет впереди себя. Ей бы не мешало под него колесико подставить. Цветастое платье трещит по швам, на лице и загорелой шее коричневые пятна. Она ведет за руку своего сына. — Добрый день, малыш Пу! Я только что была в церкви, поздоровалась с твоим папой. Он сказал, что ты где-то здесь. Ну вот, а это мой сынок, он твой ровесник. Тебе недавно исполнилось восемь, правда ведь? А Конраду исполняется столько же на следующей неделе. Ну, Конрад, поздоровайся с Пу.

Конрад ниже Пу ростом, но шире в плечах. Живот выпячен, хотя и не так, как у матери. Волосы соломенно-желтые, глаза голубые с белесыми ресницами. Руки и лоб перевязаны бинтами в розовых пятнах. От Конрада воняет карболкой. Мальчики здороваются, но без всякого энтузиазма. Жена настоятеля радостно сообщает, что после мессы Пу и Конрад смогут поиграть, их угостят соком и булочками, за столом им сидеть необязательно, это чересчур утомительно для таких непосед.

Пу не успел прийти в себя, как зазвонил колокол, сзывая на службу, и жена настоятеля, схватив одной рукой его, а другой Конрада, вперевалочку направляется в церковь, в самый первый ряд, к скамейке, предназначенной для обитателей пасторской усадьбы. «Мне надо пописать», смущенно шепчет Пу. «Поскорее», отвечает жена настоятеля, пропуская его. Пу с трудом протискивается мимо громадного живота и стремглав несется вокруг церкви к северному приделу. Облегчившись, он осматривается. Здесь всего несколько надгробий, заросших и покосившихся. Пу известна причина: Страшный суд грянет с севера и опрокинет северную стену церкви. Поэтому на этой стороне хоронят лишь самоубийц и преступников. Их воскрешение не так важно. Пусть на них валится церковная стена, все равно им в ад отправляться.

Колокольный звон стихает, орган начинает играть первый псалом. Пу на цыпочках пробирается в церковь и становится в проходе. Староста открывает дверь ризницы. Выходит отец в пасторском сюртуке и черной шелковой накидке, развевающейся

при движении. Пу надеется, что отец его не заметит, но это тщетная надежда, вот он увидел Пу, поднимает бровь, но в то же время чуточку улыбается. Мы — друзья, думает Пу. Этот большой человек в черных одеждах — мой отец. И все эти люди — их не слишком много — ждут, когда отец заговорит с ними, может, будет их ругать. Пу пристраивается рядом с женой настоятеля.

Отец стоит у алтаря спиной к прихожанам, потом поворачивается и поет: «Свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы его!»

Пу, зажатый между стеной и беременной женой настоятеля, погружается в полудрему. Происходящее его не волнует — просто непостижимо, до чего тоскливы эти мессы. Он обводит глазами помещение, и увиденное поддерживает в нем искорку жизни: алтарь, витражи, фрески, Иисус и разбойники, окровавленные, в корчах. Мария, склонившаяся к Иоанну: «...зри сына своего, зри мать свою». Мария Магдалина, грешница, интересно, она трахалась с Иисусом? На потолке западного свода — Рыцарь, тощий и согбенный. Он играет в шахматы со Смертью — я давно у тебя за спиной. Рядом Смерть пилит Дерево жизни, на верхушке сидит, ломая руки, шут: «Разве нет никаких льгот для артистов?» Смерть, размахивая косой, точно знаменем, ведет танцующую процессию к Царству тьмы, паства танцует, растянувшись длинной цепью, скользит по канату шут. Черти кипятят варево, грешники бросаются вниз головой в котлы, Адам и Ева обнаружили свою наготу, гигантское Божье око косит из-за Запретного древа, и Змей извивается от злорадства. Над южными окнами шествуют флагелланты, размахивая своими бичами и крича в страхе перед грехом.

Пу, вероятно, ненадолго задремал, потому что отец вдруг уже взлетел на кафедру. Он читает евангельский текст, посвященный Преображению Господню: «...и возвел их на гору высокую одних. И преобразился перед ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет. И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие. При сем Петр сказал Иисусу: Господи! Хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. Когда он еще говорил, се, облако светлое есть осенило их; и се, глас, из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте. И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь».

Пу не в силах обуздать свою фантазию, она взрывается в отчетливую картину: сцена — утес Дуфнес, на самой вершине, откуда открывается вид на селение, реку, пастбища и горные

гряды. Пу стоит на камне, нет, он парит в нескольких сантиметрах над камнем, сандалии не касаются мха. На нем отцовская ночная рубаха, она достает до лодыжек, лицо светится как лампочка. За его спиной висит грозовая туча, круглая, иссиня-черная. Перед ним — Даг и братья Фрюкхольмы. Они уставились на него с дурацким и испуганным видом. Туча разверзается, и из разрыва вырывается свет, небеса оглашаются раскатами громового голоса, напоминающего отцовский, который возвещает: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте». Гремит гром, белый свет гаснет, Даг и братья Фрюкхольмы падают ниц, закрывая лица руками. Пу подходит к ним и мягко говорит: «Встаньте и не бойтесь!»

После мессы у настоятеля устраивается кофепитие, на него приглашены староста со своей женой-астматичкой и несколько членов кружка рукоделия Гронеса. Для Конрада и Пу накрыт отдельный детский стол с черносмородинным соком и булочками. Настоятель, приятно округлый, с белыми вставными зубами и сильными очками, склонившись к мальчикам, дает им разрешение покинуть церковное собрание.

— У меня экзема, оповещает Конрад. — Экзема на руках и на голове, чешется постоянно, но хуже всего летом.

Конрад распахивает дверь в детскую и с требовательной миной смотрит на Пу: что теперь скажешь, а?

Комната переоборудована в часовню. Окна заклеены цветной шелковой бумагой, в одном конце стоит алтарь, на нем семисвечник и раскрытая Библия. Над алтарем красуется цветная вырезка из какого-то христианского журнала, вставленная в позолоченную рамочку. Посреди комнаты расставлены в ряд несколько разномастных стульев. В углу присел маленький комнатный орган с нотами и сборниками псалмов. На стенах — обрамленные иллюстрации на библейские сюжеты. Воняет карболкой и дохлыми мухами.

— Ну, как тебе? — вопрошает Конрад.

— Можно открыть окно? Жутко воняет.

— Нельзя, шелковая бумага порвется. Хочешь послушать проповедь или поиграем в похороны? У меня в гардеробной есть гроб. Конрад открывает дверь в чуланчик со всевозможным хламом, там же стоит белый детский гробик с крышкой.

— Нет, спасибо, вежливо говорит Пу. — Я не хочу играть ни в мессу, ни в похороны. Дело в том, что я не верю в Бога.

— Ты не веришь в Бога? Значит, ты идиот.

— Бог — дерьмо, он говенный Бог, если столько всего натворил. Это ты идиот.

— Это я-то идиот?

— У всех, кто верит в Бога, не хватает винтиков в голове — у тебя, у моего папаши и у всех остальных.

— Заткнись.

— Сам заткнись.

Конрад и Пу начинают пихаться, потом плеваться. Конрад бьет Пу в грудь. Пу отвечает затрещиной, сбивая повязку на голове противника. Дело доходит до рукопашной. Пу быстро соображает, что Конрад сильнее, и позволяет уложить себя. Но Конрад неудовлетворен. Сидя верхом на Пу, он брызжет слюной, не плюется, а именно брызжет.

— Сдаюсь, говорит Пу.

В Дуфнесе это знак того, что победитель выявлен, и враждебные действия прекращаются. В Гронесе это правило не действует. Конрад, по-прежнему сидя верхом на Пу, принимается выворачивать ему руку:

— Признайся, что веришь в Бога.

— Больно! — хнычет Пу. — Пусти меня. Пусти! Конрад не ослабляет хватки:

— Признайся, что веришь в Бога.

—Нет.

— Признавайся.

—Нет.

— Тогда я буду выкручивать тебе руку, пока не признаешься.

— Ой, ой, черт!

— Говори.

— Ай! Ладно, верю!

— Поклянись на кресте, что веришь в Бога.

— Клянусь на кресте, что верю в Бога.

Конрад тут же встает и, поправив повязку, принимается бешено чесаться. Пу садится, у него из носа идет кровь, но не сильно, всего несколько капель.

— Кстати, то, что Бог существует, доказано научно, наставительно говорит Конрад. — Один русский, по фамилии Эйнштейн, сказал, что разглядел божий лик в своих математических формулах. Съел?

Но Пу не удостаивает его ответом. Он предпочитает выказывать презрение к противнику высокомерным молчанием. Враги мрачно расходятся по разным углам. Пу, найдя «Семейный журнал», углубляется в приключения Вилли и Дика в джунглях. Конрад чешет свою экзему и ковыряет в носу, а обнаруженное там сует в рот.

Прощаются сердечно и с облегчением — уж больно тоскливым было кофепитие. Впереди маячит свобода, и легкое оживление обогащает кислородом кровь вплоть до мельчайших

капилляров. Отец пожимает руки, он — сама любезность. Настоятель держит велосипед, его жена помогает привязать чемодан. «Спасибо за прекрасную, будоражащую мысль проповедь!» «Спасибо за великолепный кофе и приятное общество. Навестите нас в Дуфнесе, мы с Карин будем очень рады!» — «Может быть, все-таки останетесь к обеду? Погода, кажется, портится». — «Нет, спасибо, мы обещали вернуться не позже четырех, нам надо успеть на поезд в Юросе». — «Но ненастье! После такой засухи весьма вероятен проливной дождь». — «Дождь не помешает, принесет прохладу. И мы ведь не растаем, правда, Пу?» «Чего?» — переспрашивает Пу, разинув рот, он не слушал, размышлял, как бы прищучить Конрада, но так ничего и не придумал. «Ну, мы поехали. До свидания». «До свидания. Попрощайся с Пу», увещевает жена настоятеля своего глядящего исподлобья сына. «Ну, до свидания», говорит Конрад. «Ежели ты думаешь, что Бог существует, значит, ты глуп как пробка», шепчет Пу, проворно забираясь на передний багажник.

И они трогаются в путь по аллее пасторской усадьбы. Настоятель и его супруга машут им вслед. Схватив Конрада за правую руку, мать заставляет и его помахать. Отец поднимает руку, но не оборачивается. Он насвистывает, Пу разводит ноги, на пологом спуске они набирают приличную скорость.

— Сейчас купим «Поммак» в лавке, а потом искупаемся в Черном озере и перекусим. Проголодался, небось?

— Я даже не попробовал их противные булки, говорит Пу. — Все время думал про «Поммак» и наши припасы.

— И правильно сделал. — Отец похлопывает сына по панамке.

Лавка помещается в ветхом двухэтажном здании. Стена увешана рекламными щитами «Белого медведя» (стирает, пока вы спите), «Грудных пастилок Аугустссона», «Какао-глаза» (два вытаращенных безумных глаза, глядящих в безумие), газеты «Времяпрепровождение» (смеющийся старик со вставными зубами), конечно же, чистящего средства «Гном» и «Поммака».

Отец стучит в запертую дверь с окошком, прикрытым спущенной роликовой шторой и надписью «закрыто». Через какое-то время слышится шум и шаркающие шаги, штора отодвигается, и появляется изуродованное лицо Звонаря из «Собора Парижской Богоматери». Узнав отца, это жуткое существо кривится в приветливой улыбке, поворачивается ключ, и дверь распахивается.

Происходит обмен вежливыми приветствиями. Лавочник, прихрамывая и подскакивая, исчезает за прилавком и открывает ледник, находящийся на складе. Он приносит две запотевшие

бутылки «Поммака» и ставит их на прилавок. Отец спрашивает, как дела. Старик, дергая себя за бороду, говорит, что будет гроза, он это чувствует уже несколько дней. «Понимаете, господин пастор, у моей спины одно преимущество — она предсказывает погоду».

Он стоит, опираясь покрытыми шрамами ладонями о прилавок, темно-желтые ногти загнуты. Несмотря на запахи соленой селедки, специй и кожи, в лавке витает вонючее дыхание лавочника, точно резкий звук флейты, перекрывающий аккорд других ароматов.

— А что скажет паренек насчет кулька карамелей? — предлагает старик.

— Уж и не знаю, говорит отец, глядя на Пу. — Его мать запрещает ему есть сладости, они портят зубы. Разве что совсем маленький.

Старик, приподняв свою засаленную шапку, крутанул ею в воздухе: «Будет сделано. Будет сделано». Он вынимает стеклянный сосуд с пестрыми карамелями и из коричневой оберточной бумаги ловко сворачивает фунтик. Потом наклоняет стеклянный цилиндр к Пу и открывает крышку. «Пожалуйста, молодой господин Бергман, наполняйте кулек». «Довольно, спасибо, останавливает отец. — Сколько с меня за угощение?» «Пятьдесят эре за «Поммак», господин пастор. Карамель не в счет». Отец достает свой внушительный кошелек и кладет две монеты по двадцать пять эре на прилавок.

— Приятно будет сейчас окунуться, говорит отец, сворачивая к Черному озеру. Узкая извилистая тропинка идет через выпас, где в туче мух и слепней дремлют коровы. Тропинка круто спускается вниз сквозь густой лиственный лес и утыкается в узкую песчаную прибрежную полосу. Черное озеро, круглое как блюдце, вполне заслуживает этого названия. Здесь внизу стоит кисловатый запах папоротников и гниющего камыша.

Отец и Пу раздеваются, и отец бросается спиной в ледяную воду, отфыркивается, размахивает руками, а потом, перевернувшись, плывет, энергично работая руками. Пу действует поосторожнее: с таким озером, как Черное, надо быть начеку, там, внизу, на глубине нескольких тысяч метров наверняка водятся безглазые монстры, осклизлые чудища, ядовитые змееподобные существа с острыми клыками. И множество скелетов животных и людей, утонувших здесь за многие тысячелетия. Пу делает несколько гребков, и прозрачная коричневатая вода смыкается над ним. Он погружается с головой под воду, дна не видно, лишь уходящий в бесконечность мрак, ни водорослей, ни окуней или уклеек, ничего.

Они сидят на берегу и обсыхают. Тени от берез и ольхи почти не приносит прохлады, вокруг роится мошкара. У отца прямые плечи, высокая грудная клетка, сильные длинные ноги и внушительных размеров гениталии, практические лишенные растительности. Белая кожа мускулистых рук усыпана множеством коричневых пятнышек. Пу сидит у отца между колен, словно Иисус, висящий на кресте между колен Бога, на старинном запрестольном изображении. Отец, обнаружив россыпь высоких желтых цветков с красными крапинками, осторожно отламывает один стебелек.

— Этот цветок называется скипетр короля Карла — Pedicularis Sceptrum Carolinum — и очень редко встречается на таких южных широтах, надо бы захватить несколько штук и засушить для моего гербария, впрочем, нет, не получится. В чемодан не положишь, испачкает одежду.

Отец выдавливает из сердцевины цветка горошинку, кладет ее в рот и задумчиво жует.

— Если поешь семена скипетра, чувствуешь головокружение и неожиданно начинаешь говорить на иностранных языках, хотя это, наверное сказки.

Отец бережно откладывает в сторону осмотренное им растение.

День темнеет, вода почернела, над лощиной внезапно повисла пыльно-серая туча. Осы, как молнии, пикируют на бутылку с «Поммаком» и несъеденный бутерброд. Неожиданно по блестящей воде пошли бесчисленные круги и тут же пропали. Вдалеке послышались протяжные раскаты грома. Ветер стих.

— Ну вот, гроза нас догнала, довольно говорит отец. — Пожалуй, пора в путь. Выехав наконец из лиственного леса на равнину с ее необозримыми полями, Пу с отцом видят вертикальные молнии, вспарывающие стену туч над горными грядами, гром приближается, но он еще далеко. Тяжелые капли падают на дорожную пыль, пробивая в ней борозды и узоры. Отца, похоже, это мало заботит. Насвистывая какой-то старый шлягер, он жмет на педали. Они мчатся вперед.

— Вот так мы могли бы объехать весь свет, папа и я, говорит Пу. Отец, засмеявшись, снимает шляпу и протягивает ее Пу — на сохранение. И у Пу. и у отца отличное настроение. Они завоевывают мир, им не страшна буря.

— Я тоже воскресный ребенок, вдруг говорит отец.

На подъеме заброшенной деревни их настигает буря с градом. За какую-то минуту поднимается ветер, молнии одна за другой вспарывают черноту, раскаты грома сливаются в оглушительный гул. Тяжелые дождевые струи слипаются в комки

льда. Отец с сыном бегут к ближайшему заброшенному строению. Это полуразрушенный каретный сарай, где стоят несколько забытых повозок и коляска с торчащими вверх оглоблями. Сквозь прохудившуюся крышу дождь низвергается водопадом. Но там, где когда-то хранились корма, можно укрыться и от дождя и от ветра.

Сидя на рухнувшей балке, они смотрят в открытую створку двери. На склоне растет могучая береза. В нее два раза попадает молния, из ствола поднимается мощный клуб дыма, пышная листва сворачивается, словно корчась в муках, землю сотрясают удары, заставляя Пу зажать уши. Он прижимается к отцовским коленям. От его брюк пахнет сыростью, волосы и лицо мокрые. Отец вытирается рукавом.

— Боишься? — спрашивает он.

— А что, если это Страшный суд, внезапно говорит Пу, поворачиваясь побледневшим лицом к отцу.

— Тебе-то что известно про Страшный суд? — смеется отец.

— Ангелы вострубят, и звезда, имя которой Полынь, упадет в море, превратившееся в кровь.

— Ну, если это Страшный суд, то хорошо, что мы вместе, правда, Пу?

— Мне, кажется, пописать надо, говорит Пу, стуча зубами, и скрывается за стеной. Когда Пу возвращается, сделав свои дела, отец снимает пиджак и укутывает сына.

* * *

Последний взгляд в будущее.

День — 22 марта 1970 года. Отец умирает. Он почти все время без сознания, приходит в себя лишь на короткие мгновения. Я стою у изножия кровати, сестра Эдит склонилась над больным. Горит ночник, накрытый тонким платком. На тумбочке усердно тикают часы. Поднос с минеральной водой и стакан с трубочкой для питья. Лицо у отца страшно осунулось, это лицо Смерти.

Профессор утверждает, что отец без сознания, но это неправда. Я держу его за руку и разговариваю с ним и чувствую, как он в ответ легонько сжимает мою ладонь. Он слышит и понимает, что я говорю.

Отец открывает глаза, смотрит на Эдит и, узнав ее, едва заметно шевелит головой, она дает ему попить. «Твой сынок здесь», произносит она тихо и проникновенно.

Я подхожу к изголовью, и отец поворачивает голову. Лицо в тени, но я вижу его глаза, на удивление ясные. Он с большим усилием поднимает руку и нащупывает мою. После минутного молчания он начинает говорить, сперва шевелятся только губы, потом прорезается голос, но слов я не разбираю. Отец говорит отрывисто и невнятно, не сводя с меня своего ясного взгляда.

— Что он говорит? — спрашиваю я сестру Эдит. — Я не понимаю.

Сестра Эдит, присевшая на край кровати, наклоняется к отцу, чтобы получше разобрать слова, кажется, она поняла и в подтверждение этого кивает.

— Что он сказал? — шепчу я.

— Отец благословляет тебя. Разве ты не слышишь... мир тебе... во имя Святаго Духа...

Это — как удар молнии, мгновенный и неожиданный, я беззащитен. Отец смежил веки, похоже, напряжение лишило его последних сил, и он вновь впадает в полузабытье. Высвободив свою руку из его, я выхожу в столовую. Комната погружена в сумрак и поэтому напоминает столовую моего детства со своими тремя окнами, тяжелыми зелеными занавесями, обеденным столом мореного дерева, старомодным пузатым буфетом, на котором матово поблескивают столовые приборы, потемневшими картинами в золоченых рамах и неудобными стульями с прямыми высокими спинками. Я стою у торца стола, глаза мои сухи, в душе страх. Сестра Эдит открывает дверь: «Я не помешала? Нет, нет, не зажигай. Так хорошо». Сестра Эдит подходит к окну и глядит

вниз, на тихую заснеженную улицу, руки скрещены на груди, лицо спокойное. Потом она поворачивается ко мне:

— Почему ты так боишься?

— Боюсь? Я вообще ничего не чувствую. Немного сострадания, немного нежности, немного страха перед смертью, больше ничего. Все-таки он мой отец!

— Наверное, в такие моменты, как этот, трудно что-то чувствовать. Это может случиться с любым.

— Я не это имею в виду. Я смотрю на него и думаю, что должен забыть, но не забываю. Должен простить, но ничего не прощаю. Во всяком случае, я мог бы почувствовать хоть капельку привязанности, но я не в силах заставить себя сделать это. Он — чужой. Я никогда не буду тосковать по нему. По матери я тоскую. Каждый день. Отца я уже забыл, не того человека, который сейчас умирает там, его я вообще не знаю, а того, который сыграл определенную роль в моей жизни, он забыт, его не существует. Хотя нет, это неверно. Я хотел бы суметь его забыть.

— Мне нужно идти к нему. Пойдешь со мной?

—Нет.

— Тогда до свидания, береги себя.

— Мне хотелось бы не чувствовать того, что я чувствую.

— Ты не властен над своими чувствами.

— Пожалуйста, не...

— ...сердись. Понимаешь, Эрик — мой самый близкий друг с детских лет. Для меня он совсем другой человек, чем для тебя. Тот, о ком ты говоришь, мне незнаком.

Эдит кивает и чуточку улыбается. Я остаюсь возле отливающего темным блеском обеденного стола. Сквозь закрытую дверь доносится голос Эдит.

Тут есть повод сделать примечание, вряд ли как-то связанное с моей историей, поскольку вышеизложенный эпизод произошел более двадцати лет тому назад. Мое отношение к отцу незаметно менялось. С почти непереносимым душевным волнением я вспоминал его взгляд, когда он вырвался из сумеречной страны, чтобы призвать Божие благословение на своего сына. Я начал изучать прошлое своих родителей, детские и юношеские годы отца и увидел повторяющиеся примеры патетических усилий и унизительных неудач. Увидел и заботу, и нежность, и глубокую растерянность. В один прекрасный день я разглядел его улыбку и взгляд его голубых глаз — такой дружелюбный и доверительный. Передо мной возник отец в старости, тяжелый инвалид, вдовец, живший в добровольной изоляции: пожалуйста, не жалей меня, прошу тебя, не трать на меня своего времени, у тебя наверняка есть дела поважнее. Пожалуйста, оставь меня в покое. У меня все

отлично. Спасибо, спасибо, очень мило с твоей стороны, но я не хочу, будет ужасно, если я сяду за стол с моими неуклюжими руками.

Любезно-холодный, ухоженный, тщательно выбритый, опрятный, с чуть трясущейся головой, он смотрит на меня без мольбы и без жалости к себе. Я протягиваю ему руку и прошу его простить меня, сейчас, сегодня, в эту минуту.

Отец снимает с себя пиджак и укутывает Пу. Пиджак еще хранит тепло отцовского тела, он — словно согревающий компресс. Пу больше не мерзнет.

— Ну, согрелся?

— Согрелся.

Ландшафт совсем исчез за пеленой дождя. Град прекратился, но земля усыпана ледяными мячиками. Перед сараем образовалось озеро, которое устремляется под каменный фундамент. Скоро они окажутся в воде. Свет серый, блуждающий, как сумерки, наступающие без захода солнца. Раскаты грома уходят вдаль, становятся глуше, но гремит по-прежнему бесперебойно, что наводит еще больший ужас. Сплошная стена дождя разделилась на обильные струи.

Отец и Пу выходят из укрытия. Дорога превратилась в бурные ручьи, ехать на велосипеде тяжело. Внезапно переднее колесо пошло юзом. Пу, успев подобрать ноги, скатывается на лужайку. Отец остается на дороге. Проворно вскочив, Пу видит неподвижно лежащего отца, одна нога придавлена велосипедом, голова прижата к груди. Он мертв, думает Пу.

В следующую секунду отец поворачивает голову и спрашивает, не ушибся ли Пу. Пу говорит, что немножко промок, потому что попал в лужу, и по-клоунски размахивает длинными рукавами пиджака. Отец весело и добродушно смеется, выбирается из-под велосипеда и встает, выясняется, что у велосипеда проколото заднее колесо. Отец опять смеется и качает головой: придется нам тащиться пешком, малыш.

До станции около трех километров. Оба, и отец и Пу — промокшие, грязные, в глине. У отца на щеке царапина. По-прежнему льет дождь, холодный дождь. Отец толкает пришедший в негодность велосипед. Пу ему помогает.

Форё, 1 августа 1990 г.

БЕСЕДА ПЕРВАЯ (ИЮЛЬ 1925 ГОЛА)

Последнее воскресенье июля 1925 года, послеобеденная жара. Башенные часы над куполом церкви отбивают половину четвертого. Улицы пустынны. Трамвай, пыхтя от усилия, преодолевает пригорок возле западной продольной стороны кладбища, которое граничит с обширной площадью, где расположены торговые ряды и театр. На остановке из трамвая выходит женщина и останавливается.

Анна.

На ней бежевый уличный костюм с длинной, до щиколоток, юбкой более темного цвета, ботинки на высоких каблуках и незамысловатая, дающая тень шляпка. Жакет расстегнут, под ним виднеется белая кружевная блузка с высоким стоячим воротником. Из украшений — лишь обручальные кольца и маленькие бриллиантовые сережки. Сумочка из светлой кожи прижата к груди. Тонкие перчатки небрежно засунуты в карман жакета.

Вот она снимает шляпку и зажимает ее в левой руке. Темные густые волосы расчесаны на прямой пробор и собраны в низкий пучок, который вот-вот распадется. Под четко обозначенными бровями на низком широком лбу — темно-карие глаза. Большой рот, добродушно-пухлые губы.

Анна.

Уже двенадцать лет она замужем за Хенриком, который служит викарием в церкви с величественным куполом и башенными часами, только что пробившими половину четвертого. Ей тридцать шесть лет, и у нее трое детей — два мальчика и девочка.

Осмотревшись, она решает пойти через кладбище, может, посидеть там недолго на зеленой скамейке в душистой, прохладной тени лип, передохнуть.

Она идет своим обычным энергичным и целеустремленным шагом, чуть выдвинув вперед голову, на ходу бросает быстрый, проверяющий взгляд по сторонам. Пустынно и тихо, ни души.

Поэтому она вздрагивает от страха и, покраснев, оглядывается, когда кто-то окликает ее.

Дядя Якоб.

Он сидит на скамейке рядом с церковной стеной, спрятавшись в тень деревьев. Приглашающе машет своей большой рукой: «Добрый день, добрый день, малышка Анна, иди сюда, присядь, какая у тебя может быть спешка. Иди же сюда».

Дядя Якоб — рослый человек с седой, цвета стали, несколько

непослушной шевелюрой, ухоженной бородкой и усами — тоже седыми. Высокий лоб, тяжелое, крупное лицо, серые глаза, внушительный нос и большой рот с мягко опущенными уголками. Кисти, как мы уже сказали, большие, красивой формы, с выступающими жилами и беспорядочно разбросанными печеночными пятнами. Голос низкий, в произношении заметны следы диалекта — если я правильно помню, смоландского. Он в пасторском облачении. Тонкое серое летнее пальто и широкополая шляпа лежат на скамейке. Якобу шестьдесят четыре, вот уже двадцать лет он служит настоятелем приходской церкви, стало быть, он начальник Хенрика. Большая ладонь треплет Анну по щеке, Анна слегка приседает и неуверенно улыбается, пытаясь совладать с невольным чувством, что ее застигли на месте преступления.

Но ведь ее и впрямь застигли на месте преступления.

Якоб приглашает ее сесть рядом. Они быстро обмениваются сведениями, интересуясь здоровьем членов обеих семей. Якоб приехал из загорода на похороны. Кроме того, в шесть часов у него вечерняя служба, обещал помочь при причащении. В понедельник поедет к Марии, она чувствует себя превосходно, избавилась наконец от длительной простуды. Отправится в домик на острове, у него осталось еще несколько дней от отпуска. Кстати, какое лето, а? Правда, слишком мало дождей, особенно там, у моря.

А Анна?

Ну, дети у бабушки в Даларна. Врач же прописал им лесной воздух после всех инфекций в весеннем семестре. Но во вторую неделю августа они приедут на дачу в шхерах. Все трое здоровы и бодры. Хенрик уехал на семинар.

Да, об этом Якобу известно — экуменический семинар в Сигтуне. Хенрик чувствует себя хорошо, весна для нас была тяжелой со всеми этими болезнями. Бессонница у него прошла, он наслаждается жизнью у моря. Что касается самой Анны, то она страшно скучает по детям, но ей не хочется оставлять Хенрика одного, ему необходимо ее присутствие. «А что ты делаешь в Стокгольме?» — внезапно спрашивает Якоб, и она краснеет, в то же время улыбаясь. «Была у парикмахерши. Понимаете, эдакие тайные похождения. А вчера вечером обедала у Хассельрутов, очень милые люди, мои друзья. Хенрик никогда со мной к ним не ходит, даже не знаю почему. Наверное, потому, что это исключительно мои друзья. А завтра я на несколько дней еду в Даларна, побуду с детьми и мамой. Хенрик ненадолго останется один, но там будет старая Альма, она о нем позаботится, так что, думаю, все будет в порядке. Вы ведь понимаете, дядя Якоб, что

мне хочется немножко побыть с Ма, она так одинока после смерти Эрнста, — и я...»

Анна, отвернувшись, проводит рукой по глазам словно бы в нетерпении: не могу примириться с тем, что мой брат умер так вот внезапно и ужасно. А мама любила его. По-моему, она никого другого вообще не любила.

Она прячет лицо в ладонях. Якоб молчит, внимательно слушает и наблюдает за ней. Она быстро опускает руки: «Столько всего навалилось, просто клубок какой-то. Извините, дядя Якоб, я не плакса. Но столько всего навалилось».

Взяв себя в руки, Анна сморкается в большой носовой платок. «Мне надо домой. Хенрик, возможно, будет звонить в четыре. Он сразу же начинает нервничать, если я не отвечаю. А вы не хотите проводить меня, дядя Якоб? Я бы угостила вас чашечкой кофе с бутербродом». Якоб кивает и похлопывает Анну по руке. «Прекрасно. Намного лучше, чем ранний обед перед вечерним богослужением. Пошли».

Анна и Хенрик живут на втором этаже пасторского дома, в угловой квартире, выходящей окнами на пышную зелень кладбища и маленький переулок. Все укрыто, свернуто, обернуто. Сквозь приоткрытые окна проникает прохлада. Хрустальная люстра укутана в тарлатан, с паркетного пола убраны ковры, мебель и другие предметы спрятаны под белыми и пожелтевшими покрывалами. Но напольные часы в углу идут, они показывают без чего-то четыре. Анна сдергивает покрывало с синего бархатного дивана и усаживает дядю Якоба. У его ног стоит маленький резной столик, на нем поднос с чаем, бутербродами, сыром, колбасой и солониной. Сама Анна садится в кресло возле круглого стола с мраморной столешницей. На стене за ее спиной висит картина в золоченой раме, изображающая Деву Марию с Младенцем. На лице постаревшего Иосифа сдержанное удивление. На заднем плане видны пастухи и ангелы. Картина тоже закрыта тарлатаном.

Мирно текущий разговор обрывается. Анна отвернулась к окну, рука ее поглаживает мрамор. Якоб ест бутерброд, не делая попыток нарушить молчание. «Ты не против, если я закурю?! — спрашивает он как бы походя и вынимает трубку и табак. Она мимолетно улыбается, но тут же делается серьезной.

Жест рукой.

— Вы не спешите, дядя Якоб?

— В полшестого у меня служба. А так...

— А потом?

— Весь вечер. Сколько захочешь. Молчание.

— Может, не надо... не знаю.

— Я тебя готовил к конфирмации, и я твой духовник. Говори все, что хочешь. Или что должна.

— Пусть будет так.

Якоб, подавшись вперед, долго и тщательно разжигает трубку. Анна поворачивается к нему лицом. Такое впечатление, что у нее вот-вот лопнет роговица. Глубокий вздох. Она разглядывает свои кисти, покоящиеся на подлокотниках.

— Я — неверная жена.

Я живу с другим мужчиной.

Я обманываю Хенрика.

Мне страшно.

Нет, это не муки совести или что-то в этом духе.

Это было бы смешно.

Страх.

Больше не знаю, что мне делать.

Другой мужчина.

Он на десять или на одиннадцать лет моложе меня.

Изучает теологию. Будет священником.

Мне следовало бы порвать с ним. Хотя бы ради него самого.

Но я не могу.

Я люблю его.

Больше года. Уже больше года.

Вы его знаете, дядя Якоб.

Это Тумас.

А тут дети.

И Хенрик.

Я скоро задохнусь.

Якоб кивает. И у нее хватает духа продолжать:

— Мама враждебно относилась к моему браку с Хенриком. Когда мы наконец поженились, она изменила свое мнение и решила всячески нам помогать. На это ушло два года. Два года.

Анна замолкает, грустно улыбаясь. Настоятель молчит.

— Да, два года. Потом я, конечно, поняла, что мама была права. Мы не подходили друг другу. Хенрик обложил меня со всех сторон своими страхами. Я должна была быть ему матерью, а он — ребенком. Моим ребенком. Моим *единственным* ребенком. Ему надо было непременно знать, где я, знать мои мысли. Это было похоже на тюрьму, эмоциональную тюрьму. Не могу описать это по-другому.

Анна встает и идет по скрипучему паркету, твердо, на высоких каблуках. Руки сцеплены за спиной. Сейчас важно не разреветься. Сейчас она расскажет все, как есть. Нет, не как есть, об этом ей ничего не известно. Она расскажет, что она думает, расскажет, как, возможно, есть на самом деле. Это — загадочное

стихотворение, которое взорвало ее упорядоченную действительность и теперь угрожает ее жизни. (Настолько? Пожалуй, преувеличение? Вероятно, нет. Однажды боль, точно ядовитая запруженная вода, прорвет плотину и захлестнет внутренности. Поразит ее нервы, мозг, сердце и чрево. Ввергнет ее в долгие мучения, нанесет телу неизлечимые раны.)

— Все началось невинно и коварно. Я пригласила Тумаса летом к нам на дачу. Вы ведь знаете, что Воромс — дача моих родителей, она расположена в одном из красивейших мест Даларна. Мы с Хенриком и детьми собирались провести там лето. Мама намеревалась пожить в шхерах у своих пасынков. Я пригласила Тумаса приехать на Иванов день. Там должны были быть и Хенрик, и Ертруд. Потом оказалось, что Хенрик не может, ему пришлось поехать на конференцию. Я хотела написать письмо с извинением и отказом. Но Хенрик считал, что Тумас все равно должен приехать. Мы еще шутили: а вдруг из Тумаса и Ертруд получится пара. Эта девушка стала бы хорошей пасторской женой. Ну вот, Тумас прибыл накануне Иванова дня. Ертруд уже была там. Служанки были в отпуске, а мне помогала по хозяйству ловкая девчушка из деревни. Я чувствовала себя свободной и счастливой. Вокруг все сияло и цвело. После затяжных дождей погода переменилась, каждый день светило солнце. Что-то я разболталась. Сама слышу, что говорю о всевозможных пустяках, которые вам, дядя, наверное, кажутся вовсе не важными.

Она стоит напротив Якоба, руки по-прежнему за спиной, глаза устремлены на настоятеля. Вдруг хлынули слезы, совсем неожиданно, но она настороже, подавляет плач.

— Да, все началось невинно и коварно. Мы играли с детьми, собирали землянику, ели вареную ветчину с молодой картошкой и простоквашу с пряниками. Вечерами играли на рояле и пели. Он знает множество вещей. Иногда мы отправлялись на долгие прогулки на другой берег реки, к пастбищенским постройкам в Бэсне и Гронэсе. Всегда втроем — Ертруд, Тумас и я. Я была так счастлива... я была так счастлива, что могла бы... я была счастлива, понимаете, дядя Якоб. Наверное, я переоценила свои силы, потому что думала — это я помню: я влюблена в этого мальчика, влюблена так, что, по-моему, это почти смешно. Я не собираюсь стыдиться своей влюбленности. Но не открою ее. Сохраню в себе. Иногда я оставляла Тумаса наедине с Ертруд, хотела, чтобы они побыли вместе. Я правда *хотела,* чтобы они обрели друг друга. Мне, ощущавшей себя страшно тяжелой, казалось, что я могу летать.

Анна быстро проводит ладонью по волосам, потом садится на

диван рядом с настоятелем, на секунду задерживает его старческую, в коричневых пятнах, руку в своих и отпускает ее.

— В один из последних дней пребывания Тумаса в Вором-се я спустилась вниз накрыть стол к ужину. Дети резвились на площадке под верандой, Ертруд, сидя в гамаке, писала письма. Тумас помогал мне расставлять тарелки и бокалы. И вдруг он останавливается у торца стола — я стояла у зеленого буфета, доставала десертные тарелки, — и говорит, Тумас внезапно говорит, что любит меня. Что он меня любит — он так и сказал: любит — уже два года. Что он не понимает, как ему теперь, когда он должен со мной расстаться, жить. Он попросил меня не сердиться на него за то, что он сказал. В общем, я не знаю, что он сказал. Я как бы перестала слушать. Все было так ужасно и нереально, и у меня мелькнула отчетливая мысль: теперь все пойдет к черту, он все испортил, ну почему он такой идиот.

Якоб, бросив взгляд на часы, с некоторым усилием поднимается с низкого дивана.

— Мне надо идти, малышка Анна. Прости меня, но я хочу попасть в церковь загодя. Если хочешь, мы можем продолжить после службы. Я только загляну домой, сниму пасторское платье и надену что-нибудь поудобнее. Скажем, в восемь? Подходит?

Анна тихо благодарит, и он похлопывает ее по плечу. «Почему бы тебе тоже не пойти в церковь? — внезапно спрашивает он, уже выходя в холл. — В такой воскресный вечер, как этот, нас соберется не так уж много душ. Правда, о чем будет проповедь Арборелиуса, ты вряд ли услышишь, ну да это, может, и к лучшему. Зато Эрлинг прекрасно играет на органе, а хор споет две многоголосые песни Мурена. Так что кое-что для души все-таки будет».

Он задумывается ненадолго, потом устремляет на нее чуть ли не строгий взгляд.

— Если ты хочешь причаститься, то должна это сделать, Анна. Когда человек страдает, когда человека приперло, если он не знает, что ему с собой делать, то полезно причаститься и получить дозволение доверить свою беду сердцу Господа.

— Я ничего не знаю про сердце Господа, дядя Якоб.

— А тебе и не надо знать. Но в самом действии кроется милость. И, возможно, она утишит твои муки.

— Думаю, не смогу.

— Поступай как знаешь, В любом случае, увидимся в восемь.

Чем же она занимается, оставшись одна? Время — половина шестого воскресного дня. На улице по-прежнему жарко. Солнце пылает над церковным куполом. Раскаяние? Облегчение? Печаль? Возможно, головокружение, молчаливое, не дающее ответа.

Лихорадочное, свербящее беспокойство: остановись. Что я делаю? Привычное ускользает, растворяясь в мерцающих красках, а те испаряются и растворяются в убегающих тенях. Она не может различить лица Тумаса, но свою мать видит отчетливо, может, позвонить Ма, которая в этот час сидит на неудобном стуле у окна, заставленном роскошными пеларгониями и выходящем на реку, вересковые пустоши и четко вырисовывающиеся в послеполуденной дымке горные хребты. Наверняка читает «Уппсала Нюа Тиднинг». Сидит, маленькая, с прямой спиной, в очках, съехавших на кончик носа. Солнечный свет падает искоса, справа, и, пробиваясь сквозь зелень цветов на подоконнике, освещает ее бледное лицо, изрезанное морщинками смеха вокруг глаз и глубокой морщиной мудрости над мощным основанием носа. Передник снят, ибо сегодня воскресенье, на ней летнее платье из серой чесучи, с широкими манжетами и воротничком, отделанным ажурной строчкой. На полу сидит внук, пятилетний Нильс, он мирно играет в кубики и крошечные, с мизинец, куколки.

А может, вместо этого попытаться разыскать Тумаса? Просто узнать, в каком он настроении, не рассказывать про исповедь и признание, не требовать от него слов утешения или каких-то важных сообщений. Но, пожалуй, его не найти. Во-первых, он снимает комнату у старика родственника и телефон висит на стене в прихожей, во-вторых, он только что закончил обед в своей дрянной столовке, с двумя приятелями, оставшимися на лето в Уппсале. И сейчас наверняка отправился в Ботанический сад и гуляет там возле прудов с кувшинками, где висит тяжелый аромат китайских роз и стоячей воды. Или же сидит в тени вязов и читает какой-нибудь учебник к экзаменам. Она быстро сосредоточивается на мысли о его руке, лежащей на страницах книги, она думает, напряженно думает, так что почти оказывается рядом с ним. Она стоит склонив голову и приложив палец к губам, словно просит его помолчать. Нет-нет, Тумас, не сейчас. И не потом, — быть может, никогда. Признание означает, наверное, что-то взрывное и окончательное. Во всяком случае, что-то загадочное, что она не осмеливается себе представить. В какое-то мгновение, которое взламывает ее существование, она вдруг осознает смысл, точный смысл своего положения. И тогда хватается рукой за спинку стула и на секунду ясно ощущает холод, идущий от этого белого резного дерева.

В ту же длинную секунду она видит себя как на картине: Анна и Тумас. Оба голые и потные. Она лежит на спине в его объятиях и, обхватив обеими руками его голову, прижимает ее к своей груди. Она раздвигает ноги, раскрывается, спина ее

вдавливается в грубое кроватное покрывало. В холодной комнате царит сумрак. В кафельной печи мерцают догорающие угли, и ленивые снежинки четко выделяются на фоне черных крон парка. Мгновенье за пределами страха. Мгновенье, непостижимое, как смерть. Сейчас, в эту минуту, прикасаясь к резной спинке стула, она всем своим существом ощущает остроту чувств, сумерки, растерянность потных тел, запах табачного дыма, грубую поверхность покрывала, бурный конец, от которого до сих пор дрожат ее нервы. Испуганное, замкнутое лицо юноши, он закрыл глаза, сжал губы и тихонько постанывает. Он отвернулся, его рука покоится на ее длинных волосах, струящихся по жесткой, грязной подушке с колючей ажурной строчкой. В этом кратком «сейчас» ее чувства и разум осознают бесповоротную жестокость любовного свидания. И сейчас, именно сейчас, она ясно понимает, что ни о чем не жалеет. Она не взваливает вину ни на себя, ни на кого другого, она не станет вмешивать Бога или верность во мрак своего смятения. Она знает, что никогда не проникнет глубже в себя, чем в это мгновенье. И она летит вниз, в свои самые сокровенные тайники. Бешеный свет ослепляет, прогоняя мягкий сумрак. Анна любила говорить, что хочет узреть правду. Ей казалось, что она тоскует по правде, желает ее, это стало чем-то вроде страсти. Быть может, это — как узреть Божий лик. Она охотно называла себя апостолом правды. И дошла даже до того, что просвещала других. Подобными словами она вызывала к себе особое уважение. В эти краткие мгновенья она раскаялась в своих умных наставлениях. И прошептала про себя: о какой правде я говорю? И ей стало чуточку стыдно (не слишком) за свои случайные мысли.

Бьет шесть, над залитыми солнцем пустынными улицами гремит колокольный звон. Анна берет себя в руки, убийственное мгновенье позади. Она отпускает спинку стула и идет в комнату. «Ну вот что, Анна! — громко говорит она самой себе. — Ты не будешь звонить ни Ма, ни Тумасу. Зато вполне можешь сходить в церковь и послушать музыку. Тебе это пойдет на пользу».

Она берет с полки свою прелестную летнюю шляпку и смотрится в мутное зеркало холла. Она разглядывает себя с холодной объективностью актрисы. В ее несомненно отчаянном положении это приносит ей короткую, но явную радость. Она всовывает руки в рукава жакета и надевает его на кружево блузки. Перчатки. Сумочка, сборник псалмов. И в путь. Вниз по лестнице, на другую сторону улицы, по булыжной дорожке кладбища, быстрым шагом к высоким темным воротам. Начинается прелюдия к первому псалму, душ на зеленых скамейках и впрямь не густо. Солнце мечет горизонтальные копья в звездное небо

громадного синего свода. В отличие от душистого тепла кладбища, в церкви холодно. Пахнет заплесневелым погребом, увядшими цветами и старым деревом. Неуверенно мигают свечи на алтаре под высоким алтарным изображением: красное платье Богоматери тускло светится на фоне жуткой мизансцены. Грешница, рыдая, цепляется за подножье креста. За все еще освещенным солнцем Иерусалимом чернеют тучи.

Анна опускается на скамью и сдержанно здоровается с фру Арделиус, которая сидит у прохода вместе со своей взрослой рыжеволосой дочерью в платье-матроске и матросской шапочке на непослушных кудрях.

Служба идет как положено. Говорит второй священник, Арборелиус, его низкий голос гремит под сводами храма, отскакивая от надгробий на каменном полу.

Хор поет довольно суровые псалмы, оба из Псалтири: «Направь меня на путь вечный» и «И призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня».

Окна просторной, хорошо оборудованной кухни выходят в огороженный кирпичными стенами двор с вязами и складскими постройками. На открытом окне пузырится светло-красная летняя занавеска. Кладовая настолько вместительна, что в ней умещается старомодный, но все еще пригодный к употреблению ледник. У стены стоит частично раскладывающийся кухонный стол, вокруг него — выкрашенные в синий цвет деревянные стулья. По стенам развешаны полки, уставленные медной посудой и разнообразной утварью. Под длинными и низкими мраморными мойками располагаются вместительные шкафчики. В углу, рядом с выпирающим дымоходом, — мощная, хитроумно сработанная дровяная плита образца 1909 года. В ней есть две духовки и блестящий медный котел-нагреватель. Многочисленные конфорки и четыре дыры над огнем. Возле дровяной плиты поперек стоит двухконфорочная газовая плита. Пол устлан проолифленным к лету линолеумом, лишь кое-где покрытым лоскутными ковриками. С высоченного потолка свисают две лампы, из тех, что встречаются в сапожных мастерских, дающие, когда их зажигают, непритязательный желтый свет. В торцовой стене, противоположной окнам, несколько ступенек ведут вниз, в комнату для прислуги. Пахнет летом из двора и олифой от линолеума. Настоятель сидит на деревянном стуле у стола и набивает трубку. Восемь часов, все еще светло. Солнце только что спустилось до крыш и дымовых труб соседнего дома. Где-то перед распахнутым окном играет патефон.

Якоб набивает трубку из кисета. Кончик указательного

пальца, пожелтевший от никотина, покрыт следами небольших ожогов. Настоятель, освободившись от пасторского облачения, переоделся в мятые серые фланелевые брюки и длинный, домашней вязки, жакет. Брыжи заменены более удобной удавкой. Темно-синий галстук завязан аккуратным узлом. Жилет несколько пообтрепался, на нем не хватает одной пуговицы, из рукавов жакета выглядывают манжеты, облегающие сильные волосатые кисти.

Причина, по которой настоятель пребывает в кухне, — незатейливый ужин, сымпровизированный Анной: омлет с луком и кружочками помидора, маленькие сосиски и молодая картошка. Она наливает водки себе и дяде Якобу. Кроме того, у них на двоих есть бутылка ледяного пива. Настоятель поднимает рюмку за похвальную проворность и чокается с Анной, стоящей у стола.

Именно таким образом трагедия делает паузу. Якоб и Анна отдаются еде, вежливо болтая о том о сем.

Анна сняла передник. Подав кофе, она садится на табуретку возле мойки, обращенной к окну. Настоятель помешивает кофе, берет три кусочка сахара, потом, чуть помедлив, добавляет четвертый.

— Большинство считает, что Лютер упразднил исповедь. Ничего подобного. Он предписал то, что назвал «исповедальной беседой». Но он был неважным знатоком людей, этот замечательный реформатор. При свете дня, лицом к лицу получается не так-то легко. В этом случае, безусловно, волшебный полумрак исповедальни, бормочущие голоса, запах ладана намного лучше.

Настоятель глядит на свою мирно попыхивающую трубку и задумчиво улыбается. «Я тебя не вижу, — говорит он. — Твое лицо исчезло в вечернем свете из окна. Если хочешь, милая Анна, продолжим нашу беседу. Если нет, просто посидим, ощутим доверительность. Это тоже весьма целесообразно».

Но Анне не терпится поговорить.

— У меня было невероятно гармоничное — и веселое — детство. Иногда я себя спрашиваю, а было ли это так уж полезно. Может, это приводит к появлению ошибочных представлений о жизни. И конечно, я была наивной. Одно то, что я вышла замуж за Хенрика. Я ведь понимала, как он исковеркан, но настолько переоценивала свои возможности, что поверила, будто я избрана его спасти. Можете ли вы представить себе девчонку глупее? Мама предостерегала меня. Предостерегала и пыталась мне помешать, но я была упряма. Ясно, я его любила — по-детски, шально. А ведь я ничего не знала. Ни о нем, ни о себе. За два года, за два года, дядя Якоб, мы растранжирили наш любовный

капитал. Однажды ночью я сбежала из Форсбуды в Уппсалу. Приехала рано утром, ревела, просила маму помочь мне. Она была внимательна, нежна, но непоколебима. На следующее утро меня заставили сесть на поезд и вернуться к супружеским обязанностям. Идиотизм, да и только!

Анна безрадостно смеется и отворачивается к окну. Солнечный свет уже погас. Грязно-желтые фасады дворовых построек окрашиваются в красноватый цвет. Под громадными деревьями двое мальчишек усердно возятся с громыхающим велосипедом. Крупнотелая женщина в серо-голубом плиссированном платье открывает окно и высовывается наружу. В глубине квартиры мелькают еще какие-то женские фигуры, разговоры, смех и небрежные звуки пианино выплескиваются во двор.

— Нет, — внезапно и решительно говорит Анна. — Я не смогла последовать вашему совету, дядя Якоб. Мне, пожалуй, хотелось причаститься, но я сдержалась.

Они покидают кухню: «Нет-нет, я уберу потом. Пойдемте в библиотеку, там я усажу вас в удобное кресло и угощу сигарой. Хенрик получил целый ящик от оптовика Густавссона — в благодарность не знаю за что, по-моему, за то, что навестил его старуху мать в благотворительном заведении Эрики».

Она берет дядю Якоба под руку, и они идут по сумеречным комнатам, где накрытая простынями мебель светится словно арктические глыбы льда. Библиотека представляет из себя прямоугольную комнату с двумя окнами, выходящими на кладбище и Стургатан. Стены заставлены книжными шкафами. Между ними втиснут маленький домашний алтарь, на котором лежит раскрытая семейная Библия. Над ней висит полуметровой величины деревянное распятие, изображающее торжествующего Спасителя. Над широким кожаным диваном — написанная маслом картина кисти какого-то мрачного голландца. Под прямым углом к дивану вздымается искусно сделанный комнатный орга-н. Под окнами стоят низкие, удобные кожаные кресла. Центр комнаты занимает массивный библиотечный стол.

— Хенрик почти никогда не курит сигары, но он говорит, что сигары оптовика изысканны.

Анна открывает серебряный ларец, вынимает одну сигару, подносит ее к уху и, покатав взад-вперед, удовлетворенно кивает.

— Папа был большим поклонником сигар. Хорошие сигары и хорошие паровозы были его страстью (возможно, еще и мама, но это не так точно). Я обожала сидеть у него на коленях, когда он курил. Так что он с детства научил меня относиться к сигарам бережно и уважительно.

Она раскрывает позолоченный нож с ручкой из слоновой кости и обрезает выбранную сигару, потом протягивает ее Якобу, зажигает длинную спичку и дает ему прикурить. На минуту слышно лишь энергичное попыхивание. После чего настоятель с довольным видом смотрит на свою сигару.

— Дело было так, если вам, дядя Якоб, интересно послушать. Мы с Тумасом были одни в его скверной комнатушке. На дворе — январская стужа. Начало смеркаться. Я сказала ему, что вынуждена вернуться в Стокгольм и теперь мы встретимся не скоро. Он стоял не шевелясь, положив руки мне на плечи. Я уже надела пальто. Собиралась уходить. В эту минуту я и сделала выбор.

— Ты сделала выбор? — (С ударением на всех трех словах.)

— Я сбросила пальто, стащила платье. Села на стул, сняла зимние ботинки, нижнюю юбку, лифчик и чулки, вытащила шпильки из волос. И наконец осталась в одной рубашке. Раздеваясь, я не смотрела на Тумаса. Теперь взглянула на него. Он стоял у письменного стола. Потом потряс головой и сказал: «Нет-нет, только не это». Так точно и сказал, дядя Якоб. Но у меня уже выбора не было. У меня уже не было возможности пойти на попятную, я знаю, это звучит мелодраматически, но я не нахожу других слов. И я взяла его за руку и притянула к себе, он упал на колени, я сжимала его голову руками, а его лицо покоилось у меня на груди. Так вот было дело. Вам не противно, что я так подробно рассказываю, дядя Якоб?

— Тебе решать.

— Я приняла его в себя, вы понимаете. А потом мне пришлось его утешать.

Неожиданно рассмеявшись, она стукнула кулаком по спинке кресла.

— Он был безутешен. Говорил, что изменил мне и Хенри-ку, своему другу. Считал, что проявил слабость и поступил подло. Сказал, что Бог ему этого не простит. Он был похож на перепуганного до смерти ребенка. Потом мы снова принялись целоваться. И его рвение уже не уступало моему. Ничего... ничего. Нет. Ничего.

Она проводит ладонью по лбу и волосам, словно желая освободиться от паутины.

— Я, пожалуй, размышляла о раскаянии. Но я не раскаиваюсь. Размышляла о грехе, но это всего лишь слово. Я выстроила высоченную стену запретов между нами. Но как только у меня появляется малейшая возможность встретиться с ним, я рушу эту стену. Я думаю о Хенрике, но его лицо расплывается. Я слышу, что он говорит, — я имею в виду, слышу его голос. Но

Хенрик не совсем реален. Думаю, мне бы надо было... я знаю, что я бы... нет, это все-таки неправда. И дети. Я стала добрее к детям, у меня появилось больше терпения. И к Хенри-ку тоже подобрела. Наши отношения стали лучше — лучше во всех смыслах. Я бываю нежной и ласковой с ним, и он радуется, меньше раздражается и боится. Все стало лучше с тех пор, как я дала себе обещание любить Тумаса. И он тоже успокоился, у него больше не бывает припадков «осознания греховности», как он это называет. Мы не можем часто видеться, но когда я навещаю мать в Уппсале, мы встречаемся.

Она произнесла многословную, длинную речь. Ни тени страха. Ни тени раскаяния или смущения. Она стоит рядом с креслом, облокотившись на спинку, и смотрит на сумерки, спустившиеся над темными кронами кладбищенских деревьев.

— Если все так великолепно, как ты утверждаешь... Почему ты заплакала?

Вы застали меня врасплох. Я почти весь день провела с Тумасом в одном пансионате. Проводила Хенрика на вокзал и сразу пошла к Тумасу. Мы не виделись больше месяца, шесть недель, кажется. Я так разволновалась — нет, не огорчилась, а разволновалась. Я не видела, что вы сидите там, в тени деревьев. А потом вы окликнули меня, и я жутко, до смешного испугалась, как будто меня застигли на месте преступления — вот именно, застигли! И когда мы сидели и вели незатейливый разговор, у меня возникло чувство...

Молчание. Молчание длится. Анна подбирает слова, которые не будут высказаны.

— По-моему, я догадываюсь, какое чувство.

— Вовсе нет! — сердито восклицает Анна. — Если откровенно, так я испугалась.

— Испугалась меня?

— Это было похоже на столб, черный блестящий столб, высотой до неба. Мгновенное ощущение, которое через секунду пропало. Потом мы сидели и разговаривали. И мне было только приятно, ничего странного я не видела.

— А затем ты расплакалась.

— Да. Я же поняла, что меня лишат всякой радости, оставив взамен столько страданий и — горя, что это не поддается разуму... Это был краткий, миг озарения — точно как этот столб, — через несколько секунд он испарился, и я услышала собственный голос, рассказывавший о... а потом подступили слезы. И я не сумела...

— Ты ведь могла сослаться на что угодно. — Я смотрела на вашу большую ладонь, дядя Якоб. И подумала, что если у Бога

есть рука, во что я не верю, но если у Него есть рука, то она похожа на вашу. И мне вспомнился псалом: «И молю я напоследок, Боже милый мой, в Свою руку Ты мою возьми...» — На какое-то мгновенье ее переполняет боль, она обходит стол и садится на неудобный монашеский стул у органа. Теперь наступает довольно долгое молчание, о чем мы упоминаем для тех, кому интересно, как такого рода беседа течет и дышит.

— Из сказанного тобой я понимаю, что *вообще-то* тебе хотелось поделиться со мной, хотя ты думала, что не сможешь.

— Так оно верно, и есть, — говорит Анна звонким, как у маленькой девочки, голосом. — А разве не всегда так бывает? Большая радость, радость настолько огромная, что она непостижима, влечет за собой великий мрак, всевозможные страдания и страхи. Похоже, я попробовала вкус боли, ожидающей меня за пределами радости. Если это *не* Бог дал мне Тумаса, то я далеко от Бога, и это хорошо. Я знаю, вы, дядя Якоб, сейчас думаете, что я непозволительно кощунствую.

— Не тебе решать, о чем я думаю! Помню, как ты готовилась у меня к конфирмации. Ты была начитанна, а во время наших бесед всегда задавала любознательные вопросы, и еще я заметил, что ты была хорошим другом, Я знал, что ты выросла в доме, где царила любовь. Я был знаком и с твоей матерью, и с твоим отцом, с матерью в первую очередь. И, пожалуй, спрашивал себя, что за жизнь тебе предстоит.

Якоб подается вперед, зажав гаснущую сигару между большим и указательным пальцами. Он раскуривает ее, выпуская кольца дыма, в сумерках разливается ароматный запах. Анна, склонив голову, разглядывает свою раскрытую ладонь — потом делает едва заметный жест сдерживаемого нетерпения.

— Вся эта уютная надежность. Даже в училище — я имею в виду медицинское училище. Я ведь видела нищету — особенно детей. Но это не затрагивало моего чувства надежности. И долгие годы с Хенриком — двенадцать лет, — сложные, трудные годы, совсем не такие, как я себе представляла. Но надежность существовала все равно. Мама и папа. Мой брат. Наша улица, Трэдгордсгатан. Все это было всегда. Я жила в глубине надежности.

Молчание. Молчание длится.

— Мне уйти, Анна?

— Нет, посидите еще, дядя Якоб. Но я не думаю, что у меня есть что добавить. — А почему, *собственно,* ты мне все это рассказала?

— Если у меня хватит смелости подумать...

Если немножко подумать.

То я вижу, что над нами нависла опасность.

Что меня все больше загоняют в угол.

Дети, Хенрик, Тумас и я...

Мы ходим на грани катастрофы.

Жизненной катастрофы.

Разве это не так называется?

Жизненная катастрофа.

Или же я ничего не предпринимаю, но тогда я могу... нет, это невозможно. Есть ли вообще избавление? И второй вопрос — который пугает меня больше всего, — *хочу* ли я избавления? И сразу же возникает мысль о детях. И это так тяжело, что я отталкиваю от себя эти мысли, они почти непереносимы. Ну вот, я плачу, но это не только эгоизм, просто мне чертовски больно. Потому как можно что угодно говорить о Хенрике, но он добр к детям. Возможно, чересчур строг к мальчикам, но вообще к детям относится с любовью и лаской — и мне отнять у него детей. Это было бы несправедливо. Да, это адская машина с часовым механизмом, она все тикает и тикает, и иногда я совершенно отчетливо ее слышу. И мне становится страшно... И в то же время я тоскую.

Внезапно она, глядя прямо в глаза настоятелю, улыбается — чуть ли не весело:

— Вот *так,* стало быть, обстоит дело, дядя Якоб. Я не говорила ни с кем об этом. Кое-кто, по-моему, догадывается, возможно, Ертруд. Она видела нас с Тумасом вместе. А еще Мэрта. Однажды она отвела меня в сторону и предостерегла от разных вещей. А сейчас она — миссионер и врач по другую сторону экватора. Ертруд, как я думаю, была немножко влюблена в Тумаса, но она ни разу ничего не сказала. Теперь вам все известно, дядя Якоб! Не знаю, на что я, собственно, надеялась. Может, на то, что дядя Якоб даст мне хороший совет, какое-то решение. Или отпущение грехов.

Якоб курит сигару, она почти догорела, он разглядывает огонек, мерцающий в тонких табачных листьях.

— Если тебе хочется сочувствия, могу сказать, что в глубине моей души оно есть. Если ты хочешь отпущения грехов, то его ты не получишь, поскольку в тебе, как мне кажется, нет ни грана раскаяния. Если же хочешь моего совета, то тут я бы тебе кое-что сказал при условии, что ты воспримешь мои слова серьезно. При этом я вовсе не имею в виду, что ты обязана следовать этим советам. Но ты должна поверить, что я говорю в силу своего разумения.

— Понимаю.

— Все, что я намерен тебе сказать, вызовет у тебя протест. Ты

огорчишься, разозлишься и взбунтуешься.

— Может, я буду благодарна.

— Сомневаюсь. Прежде всего: ты должна безусловно порвать со своим другом. Даже если ты сама ощущаешь глубокое и сильное удовлетворение от этого чувства, ты обязана прекратить связь. Тумас совершает тяжкое преступление. Возможно, оно нанесет ему непоправимый вред. Кроме того, если об этом его ложном шаге станет известно, его будущая карьера представляется весьма проблематичной, чтобы не сказать, что на ней можно поставить крест. Ты утверждаешь, что любишь его, и я тебе верю. Быть любимым таким человеком, как ты, — драгоценный подарок. Таким образом, я не сказал, что должна перестать любить его, — требовать этого было бы странно. Я лишь говорю, что ты должна прекратить с ним всякие отношения, я подчеркиваю — *всякие*. Тем самым ты докажешь ему свою любовь.

Анна не сводит глаз с настоятеля. Зажглись уличные фонари, сполохи света гуляют по потолку. Значит, они различают лица друг друга. Якоб, наверное, ждет какой-то реакции от Анны, но та молчит.

— И еще: ты все должна рассказать Хенрику.

— Этого я сделать не могу.

— Должна.

— Нет-нет, не могу. Что угодно, только не это.

— Ты обязана.

— Зачем? Нет, это невозможно.

— Правда, Анна! Сейчас ты запуталась в тенетах лжи. Чем дольше ты будешь жить в этих тенетах, тем несчастнее будет твоя жизнь.

— Дядя Якоб! Хенрик — человек, который едва справляется с напряжением обыденной жизни. Он слабый и боязливый. Его служебная нагрузка огромна. Правда доконает его. У нас скверный брак, неудачный во многих отношениях, как душевно, так и физически. Но нас связывают своеобразные добрые, товарищеские узы. И это помогло нам продержаться двенадцать лет. Дух товарищества и дети. Если бы я выложила правду, перед нами разверзся бы ад. Нет, дядя Якоб, нет и нет. — Неужели ты не понимаешь, что, скрывая правду, ты проявляешь глубочайший эгоизм? Ведь не исключено, что правда поможет Хенрику созреть и исправить свою жизнь!

— Исправить свою жизнь! Простите, дядя Якоб, но Хенрик не такого сорта человек. Он отступает, когда можно отступить. Он сбегает, когда есть возможность сбежать. А если он в кои-то веки видит, что приперт к стене, то взрывается от бешенства или

заболевает. Он погибнет. *Вот* правда. Я знаю, что он хороший священник. И заботливый духовник, который помог многим. Но под этой внешней оболочкой скрывается жалкий, напуганный до смерти бедолага. Я *не могу* сказать правду. *Знаете ли* вы, дядя Якоб, как мы живем? Я имею в виду то, что называют интимной жизнью? Порой мне хочется взвыть от отвращения и унижения. Но жизнь продолжается, день за днем, и это главное. Я не могу рассказать Хенрику о моей плотской жизни. Я не могу даже предугадать, как он отреагирует... может, он... И вина — эта вина...

— Ты должна поверить, что я все понимаю. И тем не менее единственная возможность — *правда.* Тебе надо предотвратить унизительное открытие.

— А кто поможет мне, когда разверзнется ад? Может, обратиться к Богу? Или к вам, дядя Якоб? Или к матери? Что мне делать, если Хенрик выкинет меня на улицу? Пойти к Тумасу, — (усмехается), — и заявить: вот, мол, бедняга, теперь тебе придется заботиться обо мне и моих детях? Нет! Я не собираюсь открывать ему ту правду, которую вы требуете. Я не верю в такого рода искренность. За ложь и обман я покупаю свою повседневную жизнь. Она того стоит. Я намерена сама нести свою вину, никого не прося о помощи. Ни Бога, ни дядю Якоба.

— Ты говоришь о вине, словно знаешь, что такое *настоящая* вина. Ты понятия об этом не имеешь. Возможно, мои слова ранят и причиняют боль. Возможно, тебе придется подвергнуть себя и своих родных испытаниям. Но, выбрав правду, ты сделаешься сильной.

Анна мысленно улыбается: да-да, разумеется. Идя по пути правды, ты обретаешь силу. Выбрав правду, ты решишь все неразрешимые проблемы.

— Я пойду, Анна! Понимаю твое неприятие. Я и не требую, чтобы ты думала, как я. Я даже не помню, просила ли ты у меня совета. Я лишь сказал то, что мне пришло в голову.

— Разве так странно, что я защищаюсь?

— Можешь злиться на меня, пожалуйста. Ведь я говорю с тобой из глубины своей упорядоченной действительности. В этот конкретный момент мои собственные кризисы и неудачи вряд ли имеют какое-то значение. Так что, пожалуйста, обижайся. Но подумай. Ты умная молодая женщина. Мне кажется, то, что я тебе сказал, уже давно живет в твоей душе. Как отчетливая реальность.

— И поэтому я знаю...

— Отбрось на минуту твои предубеждения относительно возможностей Хенрика.

— Спасибо вам за заботу, дядя Якоб.

— Я буду молиться за тебя сегодня.

Она опускает голову. Они стоят в большой темной прихожей. Его пальцы сжимают ручку двери.

— Зажги свет, хочу увидеть твое лицо. Она поворачивает электрический выключатель. В латунных бра по обе стороны двери зажигается парочка сонных ламп.

— Посмотри мне в глаза. Так. Ты злишься.

— Нет.

— Конечно, злишься. Ты сердита и разочарованна. Но чего ты ждала?

— Не знаю. Мне только хочется...

— Мы играем много ролей. Одни — потому что это забавно, другие — потому что кто-то желает, чтобы мы их играли. А чаще всего потому, что хотим защитить себя.

— Я тоже так думаю.

— И тут я незаметно упускаю то, что ролью *не* является. В процессе жизни ухожу от того, что есть «я сам», или как это там называется.

— На это я могу сказать не задумываясь: сейчас, вот в это мгновение, *я наконец-то* и есть «я». Жизнь с Хенриком все глубже засасывала меня в то, что вы назвали «ролями».

Она умоляюще, со страхом смотрит на Якоба. Он не отвечает на ее взгляд, а только, качая головой, легонько проводит рукой по ее щеке.

— Помню твои слова в тот вечер накануне конфирмации: «Молю Бога, чтобы я смогла приносить пользу. Вообще-то я очень сильная». Ты не забыла?

— Нет-нет. Это было наивно. Но ведь *я была* наивной.

— Теперь Бог тебя услышал.

—Нет.

— Ты не веришь, что Богу есть дело до твоей беды?

— Нет.

— Ты больше не веришь.

—Нет. — Значит, и молитвы не читаешь.

—Нет.

— Что говорит Тумас?

— Говорит, что мое «отступничество», как он выражается, пугает его. Дядя Якоб, а вы верите в Бога? В Небесного Отца? Бога Любви? В Бога с руками, сердцем и бдительными глазами?

— Для меня это не имеет значения.

— Не имеет значения? Как может не иметь значения образ Бога?

— Не произноси слова «Бог»! Говори «Святой»! Человеческая Святость. Все остальное лишь атрибуты, маскарад, манифестации,

выходки, отчаяние, ритуалы, безнадежные крики в темноте и тишине. Человеческую Святость нельзя ни прозреть, ни уловить. И в то же время это нечто, за что можно держаться, нечто совершенно конкретное. До самой Смерти. Что потом — сокрыто. Но одно точно: вокруг нас происходят вещи, которые мы не воспринимаем своими чувствами, но которые воздействуют на нас непрерывно. Только Поэты, Музыканты и Святые протягивают нам зеркало Непостижимого. Они видели, узнали, поняли. Не целое — осколки. Для меня большое утешение думать о Человеческой Святости и таинственных Необъятностях, окружающих нас. Мои слова — не метафора, это действительность. В Человеческую Святость входит Правда. Нельзя совершить насилие над Правдой, не причинив зла себе. Не причинив зла другим.

Они сели на стулья возле входной двери. Лампочки в бра сонно выполняют свою работу. За распахнутым окном столовой — ночь.

БЕСЕДА ВТОРАЯ (АВГУСТ 1925 ГОЛА)

Прошел месяц, стоит ласковый август, половина девятого вечера. Хенрик сидит на пирсе, низко плывут облака, время от времени моросит дождь. Сумерки серые, без теней.

На пирсе он один. Больше из-за комаров, чем ради удовольствия он курит сигарилью. Голова не покрыта, светлые волосы над высоким лбом поредели. Взгляд голубых глаз приветлив, усы ухожены. Под плащом летний пиджак и фланелевые брюки, пристежной воротничок и галстук.

Вот на другой стороне залива, у причала Стендёррен, появляется пароход. Дав задний ход, он поворачивает форштевень в сторону Смодаларё и приближается на хорошей скорости. С резким стуком сбрасываются сходни. Анна стоит наготове на носу. Подхватив багаж, она спешит на берег. Сходни сразу же убирают. В глубине судна бренчит рында, гребной винт стегает темную прозрачную воду. Пароход дает задний ход и, набрав скорость, исчезает за мысом Рёдудд. Кое-где светятся круглые иллюминаторы кают.

Хенрик берет у Анны чемодан и корзину с кульками и пакетами, одновременно целуя ее в губы. Она, поднявшись на цыпочки, целует его в щеку. Он свежевыбрит.

Теперь наступил момент, когда я, сидя за письменным столом на Форё 18 июня 1992 года, подойду поближе к этим двум людям, которые августовским вечером 1925 года преодолевают крутой каменистый подъем, ведущий от причала Смодаларё. Во всяком случае, сделаю попытку. Не знаю точно причины прилагаемых мной усилий. Не знаю, но тем не менее иду, приближаясь с головокружительной, бесшумной скоростью. Я их вижу.

Построенная в начале века дача находится в десяти минутах ходьбы от причала. Маленькая веранда на заднем фасаде смотрит на вечернее солнце и узкую, посыпанную гравием дорожку. Желтый, с белыми угловыми венцами дом имеет четыре комнаты и тесную, старомодную кухню. Столовая соединена с импозантной застекленной террасой на переднем фасаде, выходящей окнами на зеленый склон, залив, открытое море и островок Паннхольмен. На чердаке расположены две комнаты поменьше, одна на северной стороне, другая — на южной. Идиллию довершает выкрашенная в зеленый цвет уборная на скалистом пригорке. У торца дома растет огромный, пышущий здоровьем, кудрявый дуб, которому насчитывается не одна сотня лет. По этой причине дом носит название Экебу[84].

Они преодолевают подъем, каменистый, в рытвинах. Высокие сосны застыли в молчании, моросит дождь. «Вот дурак, не взял зонтика», — говорит Хенрик извиняющимся тоном, ставит поклажу на землю и переводит дух. Анна, чуть обогнав его, останавливается и оборачивается: «В городе, конечно же, светило солнце, так что я и не вспомнила про зонтик. Давай помогу. Понесем чемодан вдвоем».

Они плетутся рядом, но Анна намного ниже Хенрика, поэтому дело идет туго.

— Я лучше сам понесу чемодан, — говорит Хенрик.

— Тогда я возьму корзину!

— Нет, она мне нужна для равновесия. — Ну, тогда уж и не знаю.

Она смеется и снимает шляпу, капли дождя стекают по ее лицу и густым темно-шоколадным волосам. На ней синее летнее пальто, серая юбка и шелковая блузка с маленькими пуговками.

— Дождь — это здорово, — говорит она, вытирая тыльной стороной ладони лоб и щеки.

— Здесь за три недели не упало ни капли. Да ты же знаешь. В Даларна небось тоже сушь стояла?

— Мы боялись, что родник пересохнет. Но у нас на крайний случай есть наша река — Дальэльвен.

— Мы здесь страшно экономим воду. Употребляем только для готовки и для соков. Моемся в море.

— Кстати насчет мытья: тебе большущий привет от мальчиков, и от Малышки, разумеется. Мы с мамой решили дать мальчикам полную свободу. Они исчезают после завтрака и целыми днями торчат у приятелей в деревне. Появляются лишь к ужину, и, как я уже сказала, мы не обращаем внимания на время и чистоту. По субботам моются уши и подстригаются ногти. Все здоровы. Малышка немножко поранила себе попку на треснувшем горшке, шла кровь, мальчишки в царапинах и ссадинах, но это в порядке вещей.

Анна болтает, слегка поддерживая корзину, она болтает, а Хенрик довольно слушает.

— Как себя чувствует тетя Карин?

— О, мама!

Анна останавливается на вершине склона, и Хенрик опускает на землю чемодан и корзину, набитую кульками и пакетами из бакалеи Густавссона.

— Да, мама, конечно. И Эбба. Ровно три месяца со дня гибели Эрнста. Мама горюет, я вижу, и у Эббы глаза заплаканные. Иногда ночью я слышу ее причитания. Но обе спокойны и веселы. Маленькому Яну исполнилось три годика, да ты сам знаешь. Мы

ему устроили замечательный день рождения. Мне трудно ладить с Эббой. Мы обе пытаемся, но натыкаемся на взаимное отчуждение. Ее горе и мое — они как бы несравнимы, если ты понимаешь, что я хочу сказать. Старший брат Эрнст. Непостижимо.

Анна, взмахнув рукой, идет дальше. Хенрик немного отстал.

— А когда приедут Малышка и мальчики? Вы что-нибудь решили? — Мама едет в Стокгольм в конце следующей недели и прихватит с собой детей. Так что мы успеем отпраздновать день рождения Малышки здесь, до переезда в город.

— Значит, мы пробудем вместе совсем недолго.

— Мы ведь решили, что переезжаем пятого сентября.

— Да-да. Пятое сентября — это вторник.

— Мы же вместе это решили.

— Да-да. Знаю.

— Мы будем вместе почти три недели. Это же здорово. Разве не так, Хенрик?

— Я читаю проповедь в церкви Хедвиг первого сентября.

— У тебя здоровые, загорелые, веселые дети! Помнишь, что сказал доктор Фюрстенберг весной? Детям нужен лесной воздух.

— Да, конечно.

— Надо сказать спасибо Ма, что она согласилась взять их на все лето, несмотря на горе. И все заботы.

— Да, конечно. Разумеется.

— Мы должны быть благодарны.

— Я *благодарен*\

Навстречу им попадаются профессор Рютстрём с женой Аделаидой, совершающие вечернюю прогулку, их деревянный замок возвышается по другую сторону дороги в Экебу. Профессор ведет класс скрипки в Музыкальной академии — больше виртуоз, чем педагог. Это маленький, ухоженный толстяк с непослушной рыжей шевелюрой, подернутой сединой. Жена Аделаида тоже маленькая, толстая и рыжая, она родом из Мекленбурга и когда-то была выдающимся драматическим сопрано. Оба белокожие, с печеночными пятнами на лицах. Их крупные головы сидят прямо на плечах.

Пасторское и профессорское семейства вежливо здороваются и, как положено, справляются о самочувствии. Фру Аделаида интересуется, когда мальчики вернутся из Даларна, и фру Анна сообщает, что это произойдет на следующей неделе и что Даг рвется походить под парусом с Сигфридом. Профессор складывает зонт, говоря, что дождь, определенно, кончился еще не начавшись, а пастор отвечает, что слышал далекий гром и видел, скорее всего, зарницы над шхерами. Потом все желают

друг другу спокойной ночи и расходятся в разные стороны. Хенрик говорит, что профессор Рютстрём будет исполнять скрипичный концерт Глазунова на открытии сезона и профессорша уже обещала достать контрамарки. «Репетирует по четыре часа ежедневно при распахнутых окнах, — добавляет Хенрик, — немного тяжеловато». — «Они такие милые люди, — говорит Анна. — Если бы только поменьше о политике рассуждали. Эти вечные проповеди о величии и падении Германии — порой это звучит просто по-дурацки».

Но вот они и дома, через открытую веранду входят в прихожую. Анна снимает пальто и бросает шляпу на полку. Хенрик вносит чемодан в комнату Анны, узкой раздвигающей дверью соединенную со спальней-кабинетом Хенрика.

— Думаю, спущусь к причалу, окунусь.

— Я пойду с тобой, прослежу, чтобы ты не утонула.

— Подожди, я сейчас, — говорит Анна, выталкивая Хенрика.

Он зажигает керосиновую лампу на буфете в столовой, потом выходит на застекленную террасу. Внезапно им овладевает беспокойство, чуть ли не страх. Он садится в скрипучее плетеное кресло.

Анна стремительно проходит через столовую: «Не знаю, стоит ли оставлять лампу зажженной. В таком случае, надо закрыть окно, иначе налетит комарья и другой мошкары». На ней черный купальник и поношенный бордовый халат. «Ну, идем», — говорит она с мимолетной улыбкой. Сбросив сандалии, она босиком бежит вниз, к черной, блестящей воде. Хенрик, заложив руки за спину, медленно спускается за ней.

Анна с разбегу бросается в воду, волосы у нее перевязаны косынкой, которая сразу же слетает и стелется по воде. «Очень теплая», — кричит Анна. Хенрик уселся на перевернутый пустой ящик. Анна плывет к пирсу и взбирается наверх.

Она быстро укутывается в просторный халат и, отвернувшись, снимает мокрый купальник. Потом, присев рядом с Хенриком на ящик, грубым полотенцем вытирает ноги и сует их в сандалии. Откидывает влажные волосы назад и проводит руками по густым, с матовым блеском прядям. «Пошли, Хенрик, сейчас самое время выпить чашку чая с бутербродом», — говорит она, беря мужа за руку.

Он крепко обхватывает ее бедра, привлекает к себе, прижимается лбом к ее животу. Движение головой вверх и вниз — и небрежно завязанный халат распахивается. Хенрик, не выпуская жену из объятий, покрывает поцелуями ее живот и бедра. Она высвобождается — не резко, медленно, но решительно. Он поднимается и обнимает ее. Целует ее влажное лицо, шею, губы.

«Нет, не надо, — говорит она тихо. — Не держи меня так. Идем попьем чаю на кухне. Я начинаю замерзать. Идем, Хенрик», — говорит она мягко, протягивая ему руку. Время, должно быть, ближе к одиннадцати, опять пошел дождь, тихий и упорный. На Анне голубая фланелевая ночная рубашка с длинными рукавами, живот и колени прикрыты пледом, на ногах — ночные носки. Она пьет чай не спеша. Хенрик сидит за торцом стола напротив. Он ради компании налил себе пива. Допотопная керосиновая лампа на столе слабо шипит и чуть коптит. Супруги сохраняют молчание.

Но вот Хенрик решительно встает, делает шаг к Анне, останавливается перед ней:

— Прошло четыре долгих недели. Я тосковал по тебе. Скучал и по детям, но больше всего по тебе. Я не жалуюсь, было бы блажью и бесстыдством хныкать, когда человеку создают такие условия, как мне. О да! Обо мне прекрасно заботились. И я не сидел в одиночестве. Приезжала Ертруд, и Пер Хассельрут, и Ейнар со своей невестой, и масса других милых людей. Так что я не собираюсь жаловаться. Это было бы проявлением неблагодарности и избалованности. И ты писала такие нежные, добрые письма. Твои письма мне здорово помогали. Я читал их по вечерам, уже лежа в постели. И потом мы говорили по телефону, хотя это палка о двух концах: телефонные разговоры слишком анонимны. Но мне было приятно слышать твой голос. И вот ты наконец здесь. Я считал дни, все время боялся, как бы не произошло чего-нибудь такого, что помешало бы тебе приехать. Как бы то ни было, но теперь ты дома. И что самое замечательное — несколько дней мы сможем побыть вдвоем.

Указательный палец Анны скользит по узору скатерти.

— Да, но сегодня я не хочу, — говорит она быстро и тихо. Хенрик молчит.

— Анна?

— Нет, Хенрик. Нет.

— Что с тобой?

— По-моему, ничего, совсем ничего. Просто хочу, чтобы меня оставили в покое.

— Разве у тебя было мало покоя?

— Я должна привыкнуть. Ты не можешь требовать.

— Какое странное слово. Я ничего не требую.

— Но я не хочу.

Качая головой, она встает и несет чашку в мойку. Хенрик крепко обнимает ее, прижимает к себе. Чашка летит на пол и разбивается на мелкие кусочки. Анна каменеет от отвращения и гнева. Потом высвобождается. На этот раз уже не мягко и не

извинительно. На секунду она поворачивается к нему, словно желая что-то сказать, она побледнела и тяжело дышит. Хенрик скорее поражен и испуган.

— Я сделал что-то не то? Что с тобой, Анна? Ты же можешь...

Но Анна уходит, задерживается ненадолго в прихожей, точно собираясь выйти в дождь, однако, осознав, что на ней надето, поспешно, как будто ее преследуют, скрывается в своей комнате. Закрывает дверь и запирает ее на ключ. Запирает.

Хенрик растерян, в нем медленно зреет нехорошая злость, обида, огорчение. Любовное желание улетучивается, оставляя вместо себя пустоту, которая вдруг заполняется колючей, на грани слез, злобой. Он выходит на террасу и устремляет взгляд в журчащую, шелестящую темноту. Лампа на буфете в столовой освещает оконное стекло и его черную фигуру. Страх, злость, подавленность.

Довольно скоро верх берет страх. Ему хочется избавиться от него, поэтому он спешит в свою комнату и стучит в узкую раздвигающуюся дверь. Ответа нет, тишина. Он стучит еще раз, так же осторожно. По-прежнему никакого ответа. Он ласково зовет ее, голос выдает испуг. «Анна, прости меня, я вел себя глупо, по-дурацки. Анна. Ответь, пожалуйста, *прошу* тебя».

Анна неслышно ходит по комнате. Туда, сюда. По краю лоскутного ковра, опущенная голова выдвинута вперед, руки скрещены на груди, взгляд следует за темными параллельными линиями половицы. Анна глубоко дышит, точно ей не хватает кислорода, точно она находится на невероятной высоте, где воздух разрежен и небо черно. Останавливается, скидывает мягкие тапочки, замирает — прислушивается к тихой мольбе Хенрика по другую сторону двери. Время от времени блестящая латунная ручка двери поворачивается, но осторожно, боязливо.

И тут он вскрикивает и ударяет в дверь ногой. Страх и бешенство. Колотит кулаком: «Ты не имеешь права обращаться со мной таким образом! Анна! Ответь по крайней мере».

Тишина. Анна стоит неподвижно, с опущенной головой. Темные длинные волосы закрывают щеки.

Опять Хенрик: «Анна! — Сейчас его голос спокоен. — Мы должны поговорить. Я не намерен отступать. Буду сидеть на террасе и ждать тебя. Буду ждать сколько угодно. Сколько угодно, Анна, — слышишь? Я хочу, чтобы ты пришла и объяс-нида, в чем дело».

Он отпускает ручку двери и удаляется. Она слышит, как он возится на террасе, передвигает кресло, садится, зажигает трубку. Все это она слышит, неподвижно замерев посередине лоскутного ковра в черно-синюю полоску.

Многие любят говорить о «решающих моментах». С особенным размахом пользуются этой фикцией драматурги. На самом же деле такие моменты вряд ли существуют, это только так кажется. «Решающие моменты» или «роковые решения» — звучит правдоподобно. Но если разобраться, то момент вовсе не решающий: просто чувства и мысли длительное время — сознательно или бессознательно — шли в одном направлении. Сама же развязка — факт, скрывающийся далеко в прошлом, в глубинах тьмы.

Анна выходит из оцепенения. Мрак, гнев, удушье неумолимо толкают ее к тому, чтобы изменить жизнь многих людей. В момент, когда рушится реальная действительность, где-то на краю ее сознания возникает таинственное ощущение удовольствия: пусть все летит в тартарары. И я погибну. И *наконец-то* будет поставлена точка. Она отпирает дверь, проходит через столовую, прихватив по дороге лампу с буфета, и, выйдя на террасу, осторожно ставит ее на круглый плетеный стол у торцовой стены. Подворачивает фитиль. Ну вот, теперь они с Хендриком могут посмотреть друг другу в глаза. Хенрик пытается начать с извинения: «Прости, я вел себя как ребенок, но я правда испугался. Мы, конечно, ссорились с тобой, и даже довольно часто, но к запиранию дверей не прибегали».

Анна придвигает кресло и садится напротив Хенрика — это небольшое, выкрашенное белой краской плетеное креслице, старомодное, с покатыми подлокотниками и кое-где с прорехами.

— Сейчас я скажу тебе что-то, что причинит тебе боль.

— Теперь я и правда напуган. Он просительно улыбается.

— Дело в том, что с некоторых пор я живу с другим человеком.

— Только не говори...

— Которого я люблю.

— Которого ты любишь...

— Которого я люблю больше всех на свете. Я живу с ним во всех смыслах — физически, всеми чувствами и в своем сердце.

— Это правда?

— Это правда, Хенрик. Я сомневалась, я хочу сказать, не знала, стоит ли мне признаваться. Но сегодня вечером, когда ты предъявил свои права на меня, я почувствовала, что больше не в силах притворяться. Мы с Тумасом весь день были вместе. Я приехала от него.

— С Тумасом?

— Я больше не хочу. Не могу.

— С Тумасом?

— Ты его знаешь.

— Тумас Эгерман?

— Да. Тумас Эгерман.

— Он ведь — он ведь изучает...

— Он учится в Уппсале. Закончит года через два. Два с половиной.

— Это он как-то пел романсы Шумана на приходском вечере?

— Да, он по профессии музыкант. В академии получил диплом преподавателя музыки. Поэтому и запоздал немного с богословским образованием.

Лицо Хенрика замкнуто, взгляд голубых глаз — без всякого выражения — прикован к глазам Анны. Она отворачивается.

— Больше мне, собственно, сказать нечего.

— А как ты себе представляла... дальнейшую жизнь?

— Не знаю.

У нее наворачиваются на глаза слезы, но она подавляет гнев. Хенрик усмехается:

— Почему ты плачешь?

— Я не плачу. Но твой вопрос о нашей дальнейшей жизни вызывает у меня злость. Странно, но это так.

— Я пытаюсь спокойно...

— Хенрик! Наша совместная жизнь постепенно стала чуждой и непонятной. Я не была сама собой, я сидела взаперти.

— А с Тумасом ты свободна, так?

— Я не думаю о том, «свободна» я или нет.

— Анна?

—Что?

— Чего тебе больше всего хочется?

— Ты спрашиваешь серьезно?

— Серьезно, Анна.

Он говорит мягко и смотрит на нее без злобы или отчуждения. Она приходит в замешательство, ей страшно. Чувства, пронизывающие их разговор, разбегаются в разные стороны и не поддаются контролю.

— Ты спрашиваешь, чего я хочу, а я не знаю. Возможно, хочу заботиться о нашем доме, о наших детях, конечно. Это же смешно... я имею в виду, другого и помыслить себе нельзя. Я могу остаться с тобой, помогать тебе в работе, я буду тебе хорошей помощницей.

— А Тумас?

— С Тумасом у нас нет будущего. Со временем он найдет собственный путь. Женится на какой-нибудь девушке, своей ровеснице, которая будет хорошей женой и матерью. Но дай мне капельку свободы. Позволь мне побыть с Тумасом. Какое-то время.

— Какое-то время. Что это значит?

— Не знаю. Ты спросил, чего бы мне больше всего хотелось сейчас и в будущем. Я пытаюсь ответить.

— Может, мне завести себе «даму» на этот неопределенный срок?

— Пожалуйста, не надо иронии.

— Извини.

Молчит.

Молчит.

— Если хочешь, если ты настаиваешь, то я готова бросить все — дом и детей, — все.

— И детей?

— Да, детей. Одно, Хенрик, одно я знаю точно: ты всегда был добр и нежен с детьми. Иногда чересчур строг к мальчикам — зачастую вопреки моей воле. Но им, возможно, будет лучше без меня. Они избегнут наших проблем. Мы ведь детей никогда не вовлекали, правда?

— Бедная Анна!

— Что это ты?

— Бедная Анна. Тяжко тебе приходится.

— Да, тяжко. Иногда я молю Бога наслать на меня болезнь, чтобы я попала в больницу, чтобы меня увезли подальше от этого чувства вины, вины — да.

Хенрик, наклонившись, берет ее руку в свою. Он серьезен, нежен.

— Тебе не кажется, Анна, моя Анна, что есть какой-то смысл в том, что свалилось на нас? И что причиняет такую невыносимую боль.

Анна слушает добрый голос, смотрит на приблизившееся вплотную лицо. Он больше не сторонится ее, он ласков и немного торжествен.

— Я много раз собиралась. Ты же, как бы там ни было, мой лучший друг несмотря ни на что. Ты — единственный, с кем я всегда могла поговорить, поэтому все это было как во сне: жить и словно бы играть какую-то роль. Понимаешь, что я хочу сказать?

— Понимаю.

— Я бы рассказала тебе, и мы вместе... Но потом я думала, сколько у тебя дел, ответственности и всех твоих прихожан. И я считала, что тебе будет не под силу моя правда и было бы бесцеремонно втягивать тебя в то, что я сама должна распутать. Так время и шло — но иногда вдруг появлялась мысль: *сейчас]* Сейчас я скажу. Будь что будет — но я видела, как ты измотан, видела твое уныние, и ты говорил, что боишься не справиться, и я видела, в каком страхе ты пребывал накануне своих проповедей.

И я молчала. И чем дальше, тем, естественно, труднее становилось признаться.

— Кто-нибудь знает?

—Нет.

— Даже твоя мать?

— Неужели ты полагаешь, что я рискнула бы говорить с Ма? Нет-нет, Хенрик, это невозможно.

— И никто другой?

— Нет, Хенрик.

— Ты уверена?

— Не буду врать. Господи, как трудно. Мэрта знает.

— Вот как — Мэрта.

— Я все расскажу, но будет больно.

— И все же, наверное, лучше мне знать.

— Дело было так. Мне хотелось побыть с Тумасом. Хотелось провести с ним несколько дней — и ночей — вдвоем. Тумас колебался, ему и хотелось, и нет — он боялся, считал, что это будет обманом. Я объяснила ему, что обман и так налицо. И я написала Мэрте, которая временно жила в доме своей тетки в Норвегии, недалеко от Мольде. Она сразу же ответила, чтобы мы приезжали, и сообщила, что сама едет в Трондхейм, на съезд миссионеров.

— Понимаю.

— Я вижу, что ты *хочешь* понять.

Она опускает голову и целует его руку. Потом резко всхлипывает, но, овладев собой, проводит ладонью по лбу и глазам.

— Ты кому-нибудь еще призналась?

—Да.

— И...?

— Дяде Якобу.

— Значит, ему теперь все известно. — Он наш друг, близкий нам человек, я проходила у него конфирмацию.

— Он мой начальник.

— Разве это важно?

— Нет... может, и нет.

— Он любит тебя, я знаю. И ты это знаешь. Я встретила его случайно, была застигнута врасплох. Мы сидели на кладбищенской скамейке и беседовали. Он прямо спросил меня, нет ли у меня чего на сердце, и я исповедалась.

Она испуганно замолкает.

— И?

— Он посоветовал мне открыть правду. Сказал, что другого выхода нет, сказал, что я должна порвать с Тумасом. Сказал, что

это мой долг, что это единственная возможность. Сказал, что я совершу грех по отношению к тебе, если не признаюсь, — он был строг.

Последние слова произносятся шепотом, горестно. Хен-рик откидывается на спинку кресла, выпускает руку Анны и, повернув голову, смотрит на темное, в потоках дождя окно, в котором отражаются керосиновая лампа и две расплывчатые, согнувшиеся фигуры. По-прежнему царит серьезное, доброжелательное спокойствие. Ничего душераздирающего, ничего ранящего. Никакой явной или тайной злобы. Нет.

— Значит, по-твоему, он был строг. А чего ты ожидала?

— Не знаю. Я ведь начала открывать душу без цели или надежды. Это была просто потребность. Наверное, я подозревала, что именно он скажет, но в то же время боялась.

— Боялась?

— Я сказала дяде Якобу, что правда в этом случае может привести к катастрофе для многих людей. А он ответил, что несправедливо недооценивать тебя.

Молчание. Потом она говорит:

— И теперь я вижу, что дядя Якоб был прав. И я благодарна. Ты мне как бы помог — ведь речь шла о жизни и смерти.

Она плачет не скрываясь, обнимает его за плечи, соскальзывает на колени, привлекая его к себе, целует его глаза, лоб, шею и, когда он начинает ласкать ее, целует его в губы. Он падает на нее, и на секунду она приходит в себя. Потом закрывает глаза и отдается ему.

Едва заметный рассвет. Дождь перестал, но тучи тяжело движутся над неподвижностью моря. Утреннее безветрие. Анна и Хенрик лежат в постели Хенрика, он, свернувшись калачиком, прижимается щекой к ее груди. Спит не шевелясь, дышит беззвучно. У нее сна ни в одном глазу, ни сна, ни мира, ни милости.

Она тихонько высвобождается из неудобных объятий и выскальзывает из-под одеяла. Прикрыв его плечи, она долго разглядывает безоружного, спящего человека.

Осторожно отодвигает узкую дверь в свою комнату, бесшумно закрывает ее, зажигает свечу на ночном столике и залезает под одеяло — в комнате холодно и сыро, раскрытое окно закреплено крючками, роликовая штора не опущена. Что-то шелестит и журчит в водосточной трубе и бочке для дождевой воды. Вдалеке коротко вскрикнула птица, а так вокруг такая тишина, что Анна различает легкое свиристение в ухе. Она закрывает глаза — очевидно, у нее и в мыслях не было, что она может задремать, но, похоже, она все-таки ненадолго задремала этим первым утром

новой, ужасной жизни и не слышала, как вошел Хенрик. Он тихо-тихо, почти шепотом произносит ее имя:

— Анна. Я хочу задать тебе последний вопрос, который не дает мне покоя.

— Да.

— Прости, если разбудил.

— Я вроде бы не спала.

— Нет, не зажигай. Я вижу тебя, так лучше.

— О чем ты хотел спросить?

— Видишь ли...

Он колеблется, отходит к окну, стоит повернувшись лицом к беззвучно плывущему рассвету.

— Говори же, что собирался.

Она села, сцепила руки, сидит выпрямившись, со сцепленными пальцами и наблюдает за черной тенью там, у серого прямоугольника окна.

— Я хочу спросить тебя прямо. Много раз собирался. Но не хватало духу. А теперь, в эту ночь абсолютной откровенности, спрашиваю. И прошу тебя ответить правду.

— Обещаю.

— Ты испытывала физическое наслаждение с Тумасом?

— Да, испытывала.

— Сильнее, чем со мной?

— Ты не имеешь права задавать такие вопросы.

— Я прошу тебя ответить откровенно.

— Не могу.

— Это и есть ответ.

— Я ничего не могу с этим поделать.

— Что между нами не так? — Я люблю Тумаса.

— А меня не любишь.

— Может, любила когда-то давно. Не знаю.

— Но ты никогда не испытывала наслаждения?

— Я не хочу...

— Пожалуйста, скажи правду.

— Да, я никогда не испытывала физического наслаждения от близости с тобой. Чаще всего мне хотелось, чтобы все поскорее закончилось. Да мы же с тобой еще по этому поводу шутили.

— Шутили, верно.

— Но это не было проблемой. Во всяком случае, для меня.

— Просто небольшая неприятность.

— Приблизительно.

— И не слишком часто.

— Да, не слишком, это верно.

— А с Тумасом все было иначе?

— Ты не имеешь права спрашивать.

— Да-да, понимаю. Понимаю.

— Хенрик, иди сюда, сядь на кровать.

— Нет-нет, я больше не стану мешать тебе спать, моя Анна. Ты, наверное, страшно устала.

—Да.

— Я тоже.

— Тогда спокойной ночи, Хенрик. Возьми мою руку.

— Спокойно ночи, Анна. Нет, нет, нет. Не надо.

В его голосе звучит рассеянная грусть. Он отодвигает дверь и осторожно задвигает ее за собой. Анна слышит его шаги там, в другой комнате.

Она продолжает сидеть как сидела, прямая, неподвижная, со сцепленными руками, сухой взгляд широко раскрытых глаз устремлен в рассвет, который никогда не наступит.

Сейчас, именно в это мгновение, мне в высшей степени необходимо остановиться и обдумать положение. В каком месте пробивается наружу родник? Как выглядит правда? Не как было на самом деле, интересно не это. А вот что: какой вид принимает правда или — каким образом смещают и творят правду мысли главных действующих лиц, их чувства, их склонность бояться — и так далее до бесконечности. Мне необходимо остановиться, проявить осторожность. *Ты наносишь мне смертельный удар. Я наношу тебе смертельный удар.* Душевный ландшафт главных героев подвергается чудовищной тряске — вроде природной катастрофы. Возможно ли вообще описать такое, и самое главное: ведь долговременные последствия проявляются постепенно, много времени спустя после краха, в телах, душах, чувствах — разве не так? Облекается ли развязка подобного рода, что предстоит сейчас, во множество слов? Не больше ли в ней неловкости, отчаяния и растерянности как для инициатора (Хенрика), так и для защищающейся стороны (Анны)? Дойдет ли сцена до той точки, когда крушение Анны обернется нападками и праведным гневом? Вероятно, но не в этой так называемой действительности — там это событие растягивается на недели, месяцы и годы, монотонно перемалывается, лишь время от времени прерываясь перемириями и иллюзорными примирениями с патетическими заверениями об окончательном мире. Как описать *бег по кругу,* мелочное нытье, бесконечные и все более унизительные вопросы, которые в конце концов препятствуют любому состраданию? Как мне описать те ядовитые пары, которые незаметно, словно нервно-паралитический газ, отравляют атмосферу дома, долго, возможно всю жизнь, разъедая чувства и мысли его обитателей? Как мне показать различные

точки зрения и предвзятость, которые непременно будут расплывчатыми и ненадежными, потому что у актеров второго плана нет ни малейшего шанса узнать настоящую правду? Никто не знает — все видят.

Назавтра — пасмурно и безветренно, дождь перестал, все пропитано влагой. Супруги немногословны, оба испытывают гнетущую усталость без возможности отдохнуть. Хенрик спозаранок отправляется на старой лодке и с удочкой в море. Анна, написав парочку писем и приведя в порядок счета, садится на велосипед и едет на хутор, где есть телефон, откуда она звонит матери, чтобы узнать, как дети. Карин, с присущей ей чуткостью заметив изменившийся голос Анны, спрашивает, не случилось ли чего, что Анна немедленно отрицает. Дагу в щеку вонзился рыболовный крючок, пришлось ехать в амбулаторию Репбэккена, вытаскивать, а так ничего особенно не произошло, все здоровы, дети немножко куксятся из-за предстоящего расставания с летом и свободой. Им же прекрасно известно, что режим на Смодаларё намного строже, но все, как сказано, здоровы.

Ужин вдвоем — тушеный окунь и кисель из ревеня — проходит мирно. Супруги спокойно беседуют о семейных делах (о крючке в щеке, разумеется, и о том, как Ма представляет себе будущее своей невестки и ее малыша). Говорят о приходской работе, о вновь отложенном ремонте церкви, жалобе пастора Арборелиуса в церковный совет по поводу отказа финансировать его поездку по Прибалтике, о замечательном пополнении недавно созданного Общества матерей и тому подобном. После ужина они пьют кофе на террасе. Внезапно сквозь неподвижную дымку под облаками пробивается солнечный луч. Супруги в один голос замечают, что вот, мол, неожиданно выглянуло солнце. Наверное, завтра выдастся хороший денек, можно будет отправиться в залив Шерхольмсвикен. Анна произносит это чуть ли не с мольбой, и Хенрик, мимолетно улыбнувшись, соглашается, что было бы неплохо. После чего разговор уходит в песок, слова испаряются, голоса, связки, губы не выдерживают. Наступает молчание. Анна штопает на грибке носок — большая дырка. Позади длинного ряда пеларгоний жужжит умирающая оса. Солнце через несколько минут погаснет, ветра нет, свет без теней насыщен влагой. Хенрик читает газету внимательнее обычного.

В семь супруги вместе слушают новости. Потом перебираются в столовую, зажигают лампу на круглом столе, и Хенрик читает вслух главы из нового романа Элин Вэгнер. Не забыта и привычная вечерняя прогулка. В десять часов они желают друг другу спокойной ночи, поцелуи в щеку, гасятся керосиновые

лампы. Хенрик, устроившись на лестнице террасы, закуривает сигарилью. В спускающейся темноте — сперва долгие сумерки, потом внезапная осенняя тьма, падающая с застывших облаков, — виднеется водное зеркало: залив и открытое море. Анна ушла в свою комнату, к своим тщательным вечерним ритуалам, потом книга на ночь, на носу очки, лунки ногтей промассированы и смазаны лечебной мазью.

В этот день ничего не было сказано. Анестезия все еще действовала. Следующий день — с ветром, бегущими облаками и привкусом осени — был столь же спокойно-непримечательным, как и предыдущий. Таким образом, Анна и Хенрик были предоставлены сами себе три дня.

Молчание, установившееся между супругами, было вполне приемлемым. Посторонний человек, наблюдая за их поведением и интонациями, вряд ли бы отметил что-то необычное или тревожное. Анна, которая в большинстве случаев первой протыкала иголкой созревший нарыв, не осмеливалась пошевелиться. Свои мысли, свой бунт, чувства страха, вины, горя или гнева она держала в себе заклинающим усилием воли. И в то же время ощущала неуверенность и замешательство: и это все? Жизнь соскользнет в наезженную колею?

Или эти мирные дни несут в своем чреве непостижимую грозу?

Хенрик двигался и говорил очень осторожно, чтобы не разбудить осознание невыносимой боли. Дружелюбие, краткие порывы нежности, тактичное молчание отличали эти дни.

В пятницу трехчасовым пароходом должна была приехать фрекен Лисен. В субботу в то же время прибудут дети в сопровождении всегда готовой прийти на помощь фрекен Агды, которая вообще-то была учительницей младших классов где-то далеко, в районе Уппсаласлэттен, но сейчас, по причине слабых легких, наслаждалась скромной пенсией по болезни, посвятив себя роли нежной и кроткой гувернантки.

Отобедав, по обычаю, в пять часов, супруги совместными усилиями начали убирать со стола, мыть и вытирать посуду. И тут Хенрик поднес бокал к свету из кухонного окна и заметил, что у бокала выщерблен край. Анна, занятая у мойки, ответила, что так наверняка и есть. Хенрик отозвался не сразу, но через несколько минут высказал свое мнение по поводу жалкого состояния всего сервиза вообще. У части выщерблены края, у тарелок тоже, столовое серебро разномастное, некоторым приборам просто место на кухне — слова шли вразнобой, неразборчиво. Анна, не готовая к такому повороту, терпеливо объяснила, что, когда дом снимали, часть утвари вошла в

контракт и ей показалось ненужным везти лишнюю посуду из города. Хенрик, продолжая вытирать столовые приборы, похоже, обдумывал аргументы жены. В это мгновение Анна с леденящей душу ясностью осознает, что скоро их жизнь разлетится на куски. Хенрик говорит:

— Да, все это, может, и хорошо. Но я не понимаю, почему мы должны есть на грязной скатерти. Не понимаю.

— Грязной скатерти? — Анна прерывает мытье посуды, вынимает руки из бадьи и тыльной стороной ладони убирает прядку со лба.

— Скатерть в пятнах. Не знаю уж, сколько дней не меняли скатерть, — наверное, больше недели, наверняка десять дней. Когда я был здесь один, я не хотел ничего говорить фрекен Лисен. Но меня удивляет, что ты не увидела пятен, обычно ты такие вещи замечаешь.

Анна молча направляется в столовую, на ходу вытирая руки о передник. Открывает буфет, вынимает скатерть и быстрым движением расстилает ее на столе. — Где пятна? — спрашивает Анна вежливо, но с внутренней дрожью, которую она с трудом подавляет.

— Вот, вот и вот. — Хенрик тыкает пальцем. Действительно, на белой скатерти есть три пятнышка, но обнаружить их не так легко. Темноватый кружок величиной с монетку в один эре от стеарина, ржавое пятно возле каймы и еще одно, не слишком большое, но заметное.

— Не понимаю, куда ты клонишь, — говорит Анна, изо всех сил пытаясь сохранить спокойствие. Она садится за стол и кладет руки на скатерть. Хенрик стоит там, где стоит: правый висок сильно покраснел, ладонь на резной спинке стула чуть дрожит.

— Не понимаю, куда ты клонишь, Хенрик.

— Ничего особенного, ничего важного. Во всяком случае, для тебя, похоже.

— Завтра будешь обедать на чистой скатерти, и вопрос закрыт. Сожалею, что тебя огорчают бокалы с щербинками и пятна, но мы же на даче, и гостей у нас не бывает.

— Я смотрю на дело не столь однозначно.

— Тогда, будь добр, скажи, как ты смотришь на дело. Анна усмехается. Хенрик, по-прежнему стоя возле стула, водит пальцем по тканому узору скатерти.

— Все очень просто, Анна. Я вдруг понял, что ты забросила дом.

— Что ты такое говоришь?

— Забросила наш дом. Клубы пыли под кроватями, засохшие цветы, порванная занавеска — вон там.

Хенрик показывает на окно, выходящее на террасу. На легкой летней занавеске кое-где зияют прорехи.

— Но Хенрик! Меня же не было полтора месяца, а у фрекен Лисен, какая бы она ни была хорошая хозяйка, стало слабеть зрение, мы ведь обсуждали это. Я не могу...

— А почему тебя не было полтора месяца?

Анна в полной беспомощности умоляюще смотрит на мужа по другую сторону стола. Но он не глядит на нее, он опустил глаза, может, закрыл, красное пятно на виске расползлось, рука дрожит, почти незаметно.

— Отвечай честно.

— Я не понимаю. Мы же с тобой договорились. Ты ведь помнишь: доктор Фюрстенберг предписал детям лесной воздух. Ты не захотел ехать в Даларна, жить в одном доме с Ма. Ты предпочел быть здесь, у моря. Разве ты забыл, что *ты сам* предложил, чтобы я с детьми отправилась в Даларна, а ты — сюда и мы бы увиделись в начале августа? Не помнишь?

— Я удивился, как быстро ты согласилась с моим предложением.

— Я была благодарна за твою широту, за то, что ты не стал чинить препятствий.

— Ты была благодарна за то, что я дал тебе возможность встречаться с любовником. Твои поездки в Уппсалу вызывали у меня некоторое недоумение, но теперь я знаю их причину.

Обе стороны соблюдают вежливый тон. Анна все еще взывает к разуму, умоляет опомниться. Хенрик постепенно, сам того не замечая, переступает границы здравого смысла.

— Три раза я ездила в Уппсалу с Ма, чтобы помочь ей уладить дела, оставшиеся после Эрнста.

— Четыре раза, Анна, четыре.

— Ну да, правильно. Один раз нам пришлось позаботиться о Карле из-за того, что он учинил в квартире, где снимает комнату. Мы были вынуждены срочно отправить его в клинику «Юханнесберг». Тебе это известно.

— Но все это было прекрасным поводом увидеться с любовником.

(Молчание.)

— Отвечай, Анна. Ради Бога, давай будем честными. (Молчание.)

— Прошу тебя настоятельно.

— Чего ты хочешь? Я все рассказала. Что еще тебе надо?

— Подробности.

— Подробности? Что ты имеешь в виду?

— Именно то, что я сказал. Ты должна подробно отчитаться о

своих любовных делишках с твоим... с этим человеком.

— А если я откажусь?

— У меня есть хорошее средство заставить тебя. Ты не задумывалась о такой возможности?

— Задумывалась.

Она *задумывалась* и поделилась своими опасениями с Мэртой и Якобом: *он может отобрать детей.* Если дойдет до разъезда или официального развода, детей присудят ему. Таков закон.

— Поэтому для нас всех будет лучше, если ты постараешься быть предельно откровенной. Прошу тебя правдиво, без злобы ответить на мои вопросы. После чего я в тишине и спокойствии обдумаю твои ответы и в тишине и спокойствии, возможно вместе с юридически грамотным человеком, приму решение относительно дальнейших шагов. Ты поняла?

— Да.

— Ты хотела что-то сказать?

— Просто мне интересно: куда делись понимание и прощение? Куда подевалось твое понимание, о котором ты говорил в воскресенье вечером?

— Ты не можешь рассчитывать на неизменное понимание. Я впал в столбняк от твоей истории. Сейчас столбняк проходит, и я начинаю осознавать свой долг.

— Долг?

— Разумеется. Мой долг по отношению к детям. Я обязан в первую очередь думать о детях.

— Хенрик, пожалуйста, Хенрик.

— Поскольку ты столь недвусмысленно и бесцеремонно поставила во главу угла собственное удовольствие, тем самым подвергнув риску существование семьи, ответственность ложится *намой* плечи — все очень просто. Я не потерплю выщербленных бокалов, скатертей в пятнах и грязных занавесок. Я не потерплю того разложения, которое — из-за твоего распутства — проникло в наш дом.

— Хенрик, ты не имеешь права...

— На что это я не имею права? Я имею право на то, что я обязан делать, что является моим долгом сейчас, в данную минуту. Я должен узнать все, до мельчайших подробностей. Я готов предоставить свои вопросы в письменном виде, если это облегчит тебе дело и — избавит от неловкости. А ты ответишь мне на них в письме, с которым я обойдусь строго конфиденциально. Само собой.

— Нет. Да, понимаю.

— Живя здесь один, я тосковал по семье. Радовался, что вам хорошо. Что дети здоровы. Я писал тебе, чтобы ты отдыхала, была

веселой и мужественной, что мы скоро увидимся, что мы — в руках Божьих.

Анна закрывает лицо руками, она не плачет, просто вынуждена скрыть тяжелый гнев, разрывающий нутро. Надо быть благоразумной, надо собраться с мыслями, надо...

— Что ты хочешь знать?

— Когда ты была с этим человеком, ты раздевалась догола? (Молчание.)

— Ты слышала мой вопрос.

— Я слышала твой вопрос, но мне кажется, я сплю. Хенрик, милый, это как во сне. — Я задал прямой вопрос: ты была голая, вы были голые?

— Да, мы были голые.

— Весьма интересный факт, ибо передо мной ты обнажалась очень неохотно.

— Верно.

— Сколько раз ты была с этим человеком?

— Не знаю.

— Наверняка знаешь. Но стыдишься признаться.

— Думаю, около пятнадцати или двадцати.

— *Сколько раз* ты прямиком со своего любовного ложа шла ко мне в постель?

— Не знаю. Я пыталась уклониться, но потом думала — лучше уступить, чем нарываться на неприятности, только бы поскорее.

— Вот *это* любовь!

— Может быть.

— И как долго продолжалось это свинство?

— Если ты под свинством имеешь в виду мою любовную связь, то она продолжается чуть больше года. В прошлом году в Воромс на Иванов день приехали Ертруд и Тумас, ты должен был появиться неделей-двумя позже. Мама отправилась к сыновьям, я была одна с детьми. Потом, как я сказала, приехали Ертруд и Тумас, мы вместе отпраздновали Иванов день. В последующие дни мы втроем часто совершали длительные лесные прогулки. Однажды у Ертруд заболело горло, и она осталась дома. Мы с Тумасом дошли до Юпчэрна. Там есть заброшенный хутор. Я предложила Тумасу переспать со мной. Уговорила его.

— Но ты не забеременела.

— Нет.

— Каким же образом?

— Полагаю, что после всех несчастий во время последних родов я не могу иметь детей. Похоже, я разорвалась.

— Почему же ты, в таком случае, просила меня быть

поосторожнее? Почему ты врала?

— Потому что одна мысль о твоем семени в моем теле была невыносимой.

— Но не о его?

— Не о его.

— Понимаю.

— Что же это ты вдруг понял?

— Понял, почему ты забросила дом в последний год. Например, выщербленные бокалы и грязные скатерти. — Все как раз наоборот. Меня так мучили угрызения совести, что я с удвоенной силой старалась заботиться о тебе и детях. Работала как одержимая в приходе. Делала все, насколько хватало сил, все, что только могла измыслить. Можешь обвинять меня в самом ужасном, Хенрик. Но не в том, что я плохо вела дом, не работала в приходе, не в отсутствии заботы.

— И не в угрызениях совести.

— Пусть так. Но главное, я любила вас — да, и тебя — и старалась ничем вам не навредить. Насколько у меня хватало сил.

— О чем вы говорили?

— Не понимаю.

— О чем вы говорили, ты и этот тип? Ведь вы же не все время занимались блудом.

— Не смей говорить мне такие слова. Молчание, потом:

— Прости, ты права.

— Надо все-таки знать меру, Хенрик.

— Но о чем вы говорили? Он учится на священника. Совсем молодой, говорят, прекрасный музыкант. Пианист? Или?

— Его мучил вопрос, не покарает ли нас Господь.

— Ну и?

— Я считала, что мне, быть может, дозволено хоть раз в жизни испытать радость любви. Тумас был боязливее меня. Я молила Бога покарать *меня,* а не Тумаса.

— Так что вы превзошли друг друга.

— Что ты имеешь в виду?

— В религиозной эротике. Смачно!

Анна уставилась на Хенрика, она потеряла дар речи. Тоннель сужается, надежный фундамент действительности рассыпается в пыль и пепел. Точки опоры исчезли, земля ушла из-под ног. Анна встает:

— Меня сейчас вырвет.

Она пытается идти спокойно, но желудок извергает желчь, заполняющую рот. Анна стискивает зубы и успевает добраться до пригорка позади дуба — руки упираются в толстый ствол, ее рвет. Тело свело, затылок и подмышки, щеки и лоб в испарине. «Меня

так еще никогда не рвало», — мелькает смутная мысль. Приступ стихает, она вытирает рот, но от дерева не отходит. Вокруг стоит вонь от рвоты.

Она скорее догадывается о присутствии Хенрика, чем различает его в сумерках, он держит у ее губ чашку с водой: «Выпей, я помогу тебе, тебя еще тошнит? А то пойдем в дом, полежи на диване в гостиной, я побуду с тобой, больше говорить не будем. Постараемся успокоиться, сейчас надо прежде всего обрести ясность ума, мы больше не станем причинять боль друг другу. Вот, смотри, так будет хорошо, вот подушка и одеяло, я посижу здесь, тихонечко. Опять начинается дождь. Пожалуй, закрою дверь на террасу. Вот так, и пусть лампа на буфете горит, чтобы мы видели друг друга, — если мы этого хотим, конечно.»

БЕСЕДА ТРЕТЬЯ (МАРТ 1927 ГОДА)

Мать Анны приехала на несколько часов из Уппсалы, чтобы повидать дочь. Она сняла комнату в пансионате «Нюландер», на углу улиц Брахегатан и Хюмлегордсгатан.

Анна с Хенриком, которому дали отпуск на полгода (по причине «переутомления и нервной слабости», как написано во врачебном заключении), провели какое-то время в доме отдыха. Встреча Хенрика с матерью Анны нежелательна, посему был избран вариант с пансионатом. Мартовский день 1927 года. Анна на улице. Анна в дверях. В прихожей.

Фрекен Элин Нюландер с белыми, аккуратно причесанными волосами и черными глазами.

Длинный темный коридор, миновали кухню. Фрекен Нюландер просит прощения за то, что не нашлось комнаты получше и побольше, но все занято вплоть до Пасхи. Речь ведь идет всего о паре часов.

Комната с узким окошком выходит во двор, обстановка состоит из трюмо, кровати и двух стульев — все белое. И еще умывальника с тазом и кувшином, ширма отодвинута, у окна — небольшой письменный стол. За ним сидит Карин Окерблюм, из потрепанного портфеля она вынула папку. Фрекен Нюландер спрашивает, не желает ли Анна чего-нибудь. Карин уже попила чаю, поднос стоит на стуле, и фрекен Нюландер тут же берет его, чтобы унести. Нет, Анна не хочет чаю, и фрекен Нюландер закрывает за собой дверь — она никогда не подслушивает. Идет с подносом прямо на кузню, выключает газ под чайником, после чего, закурив маленькую турецкую сигаретку, садится почитать «Свенска Моргонбладет».

Как здоровается Анна с матерью? Обнимаются ли они, сбрасывает ли Анна поспешно пальто и шляпу, кидая их на стул возле двери, снимает ли ботики, поправляет ли волосы перед мутным зеркалом трюмо? Какие движения, какие интонации главенствуют в первые минуты стыдливого свидания матери с дочерью в тесной, окном во двор, комнатушке благородно-тихого пансионата фрекен Нюландер этим мартовским днем, с его кружащимися снежинками и месивом на улицах? Где-то во дворе заплакал ребенок. Но как бы там ни было, можно жить дальше, должно получиться, должно. До чего унизительно встречаться в тесной комнатенке пансионата фрекен Нюландер.

— У меня мало времени! Поезд Хенрика приходит из Уппсалы в пять. Он собирался взять такси, и к этому времени я хочу быть дома. Что сказал профессор Турлинг?

— Не много. Он внимательно выслушал мой рассказ и сказал, что тщательно изучил твое письмо. Но, естественно, отказался что-нибудь говорить, прежде чем не побеседует с Хенриком.

— Неужели он *совсем ничего* не мог сказать?

— Наберись терпения, Анна. Профессор Турлинг — опытный врач. Ты не можешь ждать, чтобы он опирался только на наши слова. Но одно обстоятельство он подчеркнул твердо. Положить Хенрика в больницу против его воли он не имеет права. Так называемое «принудительное лечение» возможно лишь в строго оговоренных случаях: если пациент представляет угрозу для себя или для других.

— Значит, прежде чем он сможет вмешаться, должно что-нибудь произойти?

— Профессор счел нужным отметить, что пока у него нет никаких доказательств помешательства Хенрика в том смысле, в какой это понимает закон.

— А вред?

— Вред?

— Вред, наносимый мне, детям. Это не считается?

— Анна, подойди, сядь напротив меня, давай поговорим разумно. Используем отпущенное нам время.

— Не могу, не хочу.

— Не стой же у двери. У тебя такой вид, словно ты собираешься сбежать.

— Сколько я должна терпеть?

— Сядь. Вот так.

— Мама! Все идет по кругу. Начинается с того, что мы пережевывали вчера, и позавчера, и позапозавчера: как может священник, потерявший веру, читать проповеди воскресенье за воскресеньем? *И:* это я виновата, что он потерял веру. Какое я имею право доводить его до краха и разорения? *№.* Ему немедленно требуется снотворное. *И*! Если он не засыпает, им овладевает злоба, которая трясет его так, что он разражается слезами. Мне приходится зажигать свет. И потом. И потом? Что будет с *детьми*? Отец, не способный зарабатывать на жизнь, вечно хворающий? Пастор, который не в состоянии читать проповеди? И что произойдет, когда он будет стоять на кафедре, в церкви черно от людей и все лица обращены к нему? А ему нечего сказать. Ибо вообще-то ему следовало сказать правду, а правда заключается в том, что я, Анна, его жена или кто я ему теперь, — что его жена превратила его в развалину, клячу, которая больше не способна отвечать за свои проповеди. Так все и идет, мама! А потом снотворное, и у него нет сил, нет сил. Что бы я ни говорила, что бы ни делала, все отравлено. Он смотрит на меня этим своим

пустым взглядом, и глаза его наполняются слезами, слезами жалости к себе, — и говорит, что он *недостойный.* Что это чудовищное наследство для детей, что их жизнь будет адом. И еще говорит, что вообще-то хочет умереть. Но это *неправда.* Потому что он не хочет умирать. Он боится смерти, это я поняла, и все делается лишь для того, чтобы унизить меня, унизить. В конце концов оказывается, что это я во всем виновата, но, унижая и позоря меня, он в то же время, мама, в то же самое время требует от меня *утешения.*

— Я хочу кое-что спросить у тебя, Анна. И прошу ответить откровенно. Когда ты против моей воли и желания семьи вышла замуж за Хенрика, я предвидела сложности, борьбу, слезы. Но сейчас что-то не сходится. В одном я была уверена твердо — в том, что он любил тебя. Что же произошло? Что убило его чувство? Причины, видимые нам, не могли послужить достаточным основанием такой страшной перемены.

— Не понимаю, что вы имеете в виду, мама.

— Конечно, понимаешь. Я спрашиваю тебя, не считаешь ли ты, что в создавшейся ситуации есть доля твоей вины. Посмотри на меня, Анна! И ответь по возможности правдиво. Есть ли твоя вина в том, что происходит, в том, что разрушает вас обоих и угрожает детям?

— Да, есть.

— Тогда признайся, в чем твоя вина.

— Я не могу смириться с тем, что меня лишают свободы, не могу смириться с тем, что мне не позволено думать, как я хочу, чувствовать, как я хочу. Наш хороший друг, близкий друг Карл, Карл Альдерин, ты его знаешь, заканчивает юридический факультет. Ну и вот как-то он сказал, что весной закончить не успеет — ясное дело, он распустеха. А потом сообщает, что сумеет закончить лишь к Рождеству. И Хенрик приходит в бешенство и пишет ему, что, в таком случае, он отказывает Карлу от дома. Тот звонит мне, плачет, ничего не понимает. И я вынуждена закрыть двери нашего дома для этого бедняги..

Анна замолкает. Она видит, что этот аргумент не произвел на мать ни малейшего впечатления. «Да — и?» — изредка вставляет она, глядя на дочь синими глазами, — круглое лицо, высокий лоб, тяжелый двойной подбородок, тщательно уложенные блестящие белые волосы. Маленькая фигурка напротив дочери выражает пристальное внимание.

— Да - и?

— Неужели вы не понимаете, мама. Мне вдруг запрещено принимать друга, попавшего в беду. Нашего общего друга. Которого надо наказать.

— Это повод для досады, а не для трагедии. Настоящая причина, Анна?

— Я отбываю пожизненный срок и знаю, что мне никогда не выйти на свободу. Но я не хочу! Не собираюсь с этим мириться. Я не прощаю, не понимаю, я больше не люблю этого человека.

— У тебя есть другой?

— Нет... нет...

Ответ срывается с языка. Анна глядит прямо в глаза матери, в голосе ни тени сомнения: «Как вы могли подумать такое, мама?»

— Прости, что спрашиваю. Молчание.

— Это вы, Ма, воспитали во мне любовь к свободе. Это вы настаивали, чтобы я получила хорошее профессиональное образование. Вы, Ма, и тетя Сигне говорили о праве женщины на собственную жизнь. Как же с этим быть?

— Трое детей меняют предпосылки, отодвигая собственный интерес на второй план. Ты сама знаешь.

— Да.

— Ты должна нести ответственность за жизнь детей.

— Именно этого я и хочу. Хочу уехать, взять с собой детей, создать здоровый, нормальный дом. Хочу вернуться к своей профессии. Если погибну я, погибнут и дети.

— Ты не можешь сбрасывать со счетов их отца. Вновь молчание. Молчание, молчание.

— Ты молчишь.

— А что мне сказать?

— Мы же намеревались поговорить откровенно. — Когда вы, мама, приводите такие аргументы, я теряю дар

речи.

— Возможно, на это есть свои причины. Молчание, молчание. Трудно.

— Очень трудно, Mal

— Да, трудно. Потому что ты лжешь. И мне стыдно за твою

ложь. Стыдно.

— Что мне скрывать?

— Совсем недавно я узнала, что уже почти три года ты состоишь в связи с человеком моложе тебя. Мне известно, как его зовут, известно, кто он, я знаю его родителей. Но я не назову его имени.

— Как вы узнали?..

— Это не имеет значения. Полтора года тому назад ты во всем призналась Хенрику. Начались проблемы. Почти год спустя у Хенрика происходит нервный срыв, и его кладут в больницу. С диагнозом «переутомление». Все правильно?

— Да.

— Твоя связь продолжается?

— Да.

— Хенрик хочет сохранить брак. Хочет возобновить работу, хочет попытаться...

— Да, знаю.

— Тебе отвратительна мысль о сохранении брака, и ты задумала разорвать его?

— Да.

— Планом предусматривается объявить Хенрика больным. Ты утверждаешь, что он душевнобольной. Ты хочешь, чтобы его поместили в больницу, и тогда окружающие не будут считать тебя виновной.

— Да.

— Ты посвящаешь в свой план меня. Ты лжешь и просишь меня помочь.

— Это был единственный выход.

— Я не намерена комментировать твое поведение. В конце каждый сам ответит за свои поступки.

Анна издает короткий безрадостный смешок.

— Ваша любимая сентенция, мама.

Отчуждение, сумерки, бледные лица, дыхание несмотря ни на что, биение пульса несмотря ни на что. Смутный гнев: ты — моя мать, ты никогда не любила меня. Я пошла своей дорогой, дорогой, которую, правда, указала ты, моя мать, но когда я поймала тебя на слове и пошла той самой указанной тобой — о чем ты забыла — дорогой, ты вырвала меня из своего сердца, отказалась смотреть на меня. Я напрасно любила тебя и восхищалась тобой. Так было — и так есть.

А по другую сторону: вот сидит Анна, моя девочка, мое дитя, и неотрывно глядит на меня — мрачно, без притворства. Мне надо было бы протянуть руку, коснуться ее — это так просто. Надо было бы обнять ее — это совсем просто. Ведь ее раны — это мои раны. Почему же я ничего не делаю, почему смотрю на нее отчужденными глазами, как на чужую? Почему я ожесточилась, зачем воздвигаю препятствия, почему превращаю не относящиеся к делу причины в главные? Почему я не могу... Она оступилась. Дорогое мое дитя, почему я не обниму тебя? Моя девочка всегда шла своим путем, не слушала, она обрезала нити, отвернулась от меня, замкнулась. Я была бессильна, я была в бешенстве. Неужели это возмездие? Доставляет ли мне удовольствие видеть ее несчастной? Нет, ни малейшего. Но нет и чувства близости.

Сумерки, за узким оконцем — неспешный мокрый снегопад. Отдаленные обрывочные звуки рояля, по нескольку тактов зараз. Анна смотрит на мать, повернувшуюся к угасающему свету из

колодца двора. Да, как во сне. Здесь, в чужой комнате с чужим брандмауэром и чужими чувствами из ниоткуда. Привычные интонации, повседневные прикосновения и обращения где-то далеко-далеко, почти не существуют. Что происходит — где я и любовь, обветшавшая и поруганная, ощущаемая теперь лишь как боль? Тяжесть, мука, боль. Неизлечимая болезнь. Я же хочу... я думала, что непобедима, что я гроссмейстер своей жизни. И рыдание, без слез...

— Итак, я еду в Уппсалу семичасовым поездом. Ты возвращаешься домой к Хенрику и детям. Когда у вас обед? Ага, сегодня позднее, наверное, когда Хенрик приедет? Тогда не будем дольше задерживать друг друга. Я только хотела обсудить с тобой кое-какие практические дела, если ты уделишь мне еще несколько минут.

Карин зажигает настольную лампу, надевает очки, открывает папку и с известной педантичностью вынимает из нее счета, бумаги и коричневый конверт.

— Твою записную книжку я искала везде: в ящиках письменного стола, в твоих сумках и в шкафу — все напрасно. Ты уверена, что Хенрик ее не брал?

— Не знаю.

— Кроме того, я позвонила в прачечную на Эстермальме, как ты просила, и договорилась с ними на конец месяца. — Спасибо.

— И еще: имей в виду, что Эллен не останется. Поэтому я сократила отпуск Эви. Она уже раскрутилась вовсю. Но Эллен не останется. Во-первых, она страшно устала, во-вторых, ее поездка домой откладывалась уже два раза. Так что она рада вернуться ко мне в покой Уппсалы. Будет лучше, если Эви возьмет все в свои руки с самого начала, поскольку ей предстоит заниматься хозяйством. Май была сильно простужена, но сейчас опять на ногах. Она девушка ловкая, и ты можешь полностью на нее положиться. А Эллен уехала. Три помощницы тебе ведь ни к чему?

— Ни к чему.

— Перед тем как приехать сюда, я зашла в магазин «Рэрстранд» и заказала шесть закусочных тарелок с тем же узором, что и имеющиеся. Их доставят на следующей неделе

— Спасибо.

— Здесь в папке подписанные счета, они подсчитаны и занесены в хозяйственную книгу. Все сошлось — с точностью до трех крон.

— Спасибо.

— В конверте несколько писем Хенрика ко мне, которые, мне кажется, тебе следует прочитать. Ты спрашивала, как я узнала.

— Спасибо.

— Да, пока не забыла: я отнесла большую серебряную десертную ложку в мастерскую — отремонтировать и почистить. Хюмлегордсгатан, один. Ложку получишь через месяц — у них масса работы, но я подумала, что если не сделать это сейчас, это не будет сделано никогда. Они обещали, что ложка станет как новая.

Больше добавить нечего. Анна встает, идет к стулу у двери и надевает пальто — шляпу она держит в руках. Поворачивается спиной к матери, которая по-прежнему сидит у окна. Хочет что-то сказать, но не находит нужных слов.

— Анна!

— Да?

— Подойди ко мне.

Анна послушно подходит к матери и останавливается возле нее, словно маленькая девочка, опустив голову и отводя глаза.

— Что вы собирались мне сказать, мама?

— Мне не хочется, чтобы мы расставались врагами.

— Я вам не враг. Напротив, я страшно благодарна вам, мама, за все, что вы сделали для меня в это долгое и трудное время. Даже не представляю, как бы все было, если бы вы, мама, не помогли. Так что я благодарю от всего сердца. Я поступила глупо, не рассказав вам о моей связи с Тумасом. Глупо, особенно потому, что я должна была бы предугадать, как поступит Хенрик. Это же ясно. Поставив вас в известность, он навредил бы нам обеим. Очевидно, это было выгодно во многих отношениях. Господи, Господи правый, как я ненавижу этого человека. Хоть бы он умер.

Анна говорит спокойно — это как бы просто констатация фактов: «Он следует за мной по пятам, точно подранок, говорит, что никогда не оставит меня. Говорит, что будет терпеть мою связь с Тумасом. И в то же время обшаривает все углы, читает мои письма, подслушивает, когда я говорю по телефону. И глядит на меня этим своим водянистым взглядом, который я ненавижу, и говорит со мной этим своим тихим голосом. Знаете, мама, он рыщет в моих книгах, проглядывает подчеркнутые места и заметки на полях, он даже мой молитвенник пролистал. Порой мне кажется, что он сам дьявол. Но не это хуже всего. Хуже всего наши бессонные ночи. Он является ко мне в спальню в час ночи и будит меня. К этому времени он уже успел принять снотворное, сильное снотворное. И вот он лежит на полу, мечется из стороны в сторону и жалобно стонет или сидит, просто сидит на стуле возле двери и разевает рот, точно собирается кричать или блевать. Это настолько чудовищно, что меня разбирает смех.

Потому что — вдруг он просто *разыгрывает трагедию?* Вдруг он просто хочет напугать меня, чтобы я сломалась и пожалела его? И я говорю, что сделаю что угодно, лишь бы он успокоился. И тогда начинается *тот самый* ритуал. Если мне предстоит жить так и дальше, то я отказываюсь, я уйду, открою газ или перережу себе вены...»

Тесную комнатку с высоким потолком освещает лишь лампа под желтым абажуром, стоящая на тумбочке возле белой кровати с высокими спинками, покрытой вязанным крючком покрывалом. А так довольно темно. Мартовские сумерки за окном словно свинец, снег перестал. На фоне грязноватых отблесков города вздымается брандмауэр. Во дворе болтают две женщины в толстых шубах, с кувшинами в руках и в ботиках, наполовину утонувших в слякотном месиве. Там и сям начинает зажигаться свет в кухнях стоящего во дворе дома. Карин сидит на стуле, опираясь локтем левой руки на стеклянную столешницу секретера, лицо, повернутое к окну, ничего не выражает. Анна стоит там, куда ей велено было встать, напротив матери, шляпу она положила на стул. На ней отороченное мехом элегантное пальто, руки в карманах, карие глаза расширены, но голос спокойный, сдержанный, словно она говорит о каком-то малознакомом человеке.

— В сентябре, когда у него произошел срыв в то воскресенье после проповеди, он не хотел меня видеть. Отказывался говорить со мной, отворачивался. Я получала сведения от третьих лиц, в основном от фрекен Терсерус, вы с ней знакомы, мама. Она сразу же встала на сторону Хенрика. Это она позаботилась, чтобы его поместили в Дом самаритян, это она говорила с профессором Фрибергером. Это она устроила Хенрику временное освобождение от работы. И она же сообщила мне, что он не может говорить со мной, не может видеть меня. Сначала я до смерти перепугалась. Боялась, как бы он чего не сделал, не знаю, что я себе напредставляла. И ведь во всем была виновата я, я просто заболела от чувства вины. Потом мной овладело бешенство, и я выбросила все это из головы. Как здорово, думала я, не видеть этого человека, который мучил меня целый год, с прошлого лета, когда я призналась. Потому наступила тишина. Я знала, что ему хорошо в этой больнице. Торстен Булин и Эйнар держали меня в курсе дел. Прошло какое-то время. Я начала устраивать свою жизнь с детьми, нам было хорошо, покойно и хорошо. Мальчики тоже угомонились, исчезла бессонница, прекратились грызенье ногтей, ссоры и драки.

И тут стали приходить письма. Сперва раз-два в неделю, потом каждый день. В основном это были отчеты о положении

дел, как он себя чувствовал, кто его навещал, что сказал профессор. Постепенно письма приобрели более личный характер. Хенрик начал писать, что хотел бы уехать из Стокгольма. Хотел бы получить место в сельском приходе, где-нибудь на севере. Он заговорил о *нашем* будущем. В письмах сквозили прощение и озабоченная нежность. Он писал, что тоскует обо мне и детях. Я спросила профессора Фрибергера, как мне к этому относиться, и он настоятельно посоветовал быть по возможности уступчивой. Да-да, я начала отвечать на его письма. Сперва односложно, потом более подробно, прибегала к своего рода заботливой лжи. Я заставляла себя, это был единственный выход. И все шло нормально. На Рождество он приехал домой, ну да вы, мама, об этом знаете, все было хорошо, он все время принимал успокоительное, чувствовал усталость, но был приветлив. Своеобразный театр привидений, но ничего страшного. За день до его возвращения в больницу чуть не произошла непоправимая катастрофа. В воскресенье мы ужинали рано. Хенрик уезжал поездом в половине седьмого. Все было собрано и упаковано. Даг сидит справа от Хенрика, строит презрительные гримасы, опрокидывает в себя стакан воды так, как пастор Конрадсен — шнапс, обычно Дагу это здорово удается и вызывает поощрительный смех. На этот раз вышло по-другому. Вода попал не в то горло, он закашлялся и уронил стакан, стакан разбился. Осколки стекла и вода разлетелись по столу. Хенрик очень резко реагирует на внезапный шум и строгим голосом говорит мальчику, что тот должен следить за своим поведением. Даг не отвечая бьет ложкой по тарелке. Хенрик взрывается и велит ему выйти из-за стола. Даг, немного помолчав, произносит совершенно спокойно: «Вот и замечательно, значит, больше не надо будет вас видеть. Кстати, мы все так считаем». — *«Что вы считаете*?» — спрашивает Хенрик, тоже спокойно. «Все считают, что будет здорово, когда вы, отец, вернетесь в больницу». После чего встает и выходит из столовой, при этом громко хлопнув дверью. Происходит жуткая сцена. Хенрик идет за Дагом. Мы слышим кошмарные крики из детской. Он избил мальчика выбивалкой для ковров. Мы сидели за столом как в столбняке. Позже, когда крики затихли, я отправилась в детскую. Даг лежал ничком на полу. Он не издавал ни звука. Хенрик ушел в свой кабинет и закрылся на ключ. Мальчик был весь в крови, избитый, кожа на спине висела клочьями. Не могу говорить об этом

Хенрик уехал в больницу. Мы не обмолвились ни словом. Долгое время писем не было.

Дядя Якоб получил официальное заявление Хенрика об уходе: он не хочет больше служить приходским пастором,

поскольку считает, что выдохся и ни на что не годится. Дядя навестил его в больнице и попросил подождать с отставкой. После долгих разговоров и мучительных переживаний Хенрик обещал не приводить своего решения в исполнение. В конце февраля характер писем изменился. В них зазвучала неприкрытая мольба. Он писал, что мы повзрослели через страдания и очистились благодаря пройденным испытаниям. Я не имела понятия, что отвечать, и продолжала говорить полуправду. Я глушила страх перед будущим, глушила беспокойство, да, я пользовалась теми радостями, которые давала жизнь. И не упускала ни одной возможности видеться с Тумасом. Их было не так много, но я не переживала, все равно это было как во сне. Или, может, свидания с Тумасом и были единственно реальными, а все остальное — нет, точно не знаю. В начале марта, как вам, мама, известно, мы с Хенриком уехали в Сульбергу. Он считался «здоровым». Ну, да вы в курсе дела. Следовало постепенно уменьшать количество снотворных и успокоительных таблеток, и он должен был медленно привыкать к будничной жизни вместе со мной — об этом вам тоже известно. Профессор Фрибергер уехал в Америку читать лекции в каком-то университете, и его заменил профессор Турлинг. Особой беды в том не было. Да вы знаете. Вы же говорили с ним. Но вы, мама, не знаете, каково было там, в Сульберге. Я не могла об этом писать, потому что Хенрик следил за моей перепиской и требовал, чтобы я разрешила ему читать мои письма. Это был ад.

С другими отдыхающими, с директором и персоналом он был любезен, предупредителен, производил впечатление счастливого и гармоничного человека. Жутко было видеть это непроницаемое двуличие. Должна сказать, мама, что через какое-то время это начинает сбивать с толку, поскольку ты думаешь — а ведь он *может* казаться здоровым, нормальным, добрым, любезным и довольным. Ведь *может* же. Ах, не знаю, но я думаю о собственном двуличии и вынужденном поведении, и — что бы произошло, если бы я позволила себе сломаться? Если бы я — если бы я начала кричать? Почему *Хенрик... Действительно* ли он болен — действительно ли он так безнадежно болен, что никогда не поправится? Сознает ли он *вообще,* что болен? Или же все это игра, чтобы добиться выгод и власти над другими, надо мной? Нет, не думаю, что это сознательно, не думаю, не настолько он подл, не хочу в это верить. А вы, мама, все время получали из Сульберги прекрасные сообщения. Кроме того письма, которое мне удалось отослать тайком, когда он выклянчил снотворное. Это письмо — я понимаю, что оно сбивало с толку. По-моему, помощи от профессора Турлинга нам не видать. Хенрик очарует

его, будет выглядеть довольным, полным энергии и желания вновь приступить к работе. Дело обстоит именно так. Выхода нет, мама. Интересно, сколько ужаса, напряжения и безнадежности надо вынести человеку, прежде чем он сломается? Да-да, я тяну и тяну свою ношу. И дни идут. Но зачем? В чем сокровенный смысл? Может, существует какой-то тайный порядок, который мне не дозволено узреть? Я должна понести наказание? Буду ли я прощена, или наказание пожизненное? И почему за мое преступление надо карать детей? Или мое наказание заключается в страдании детей? Я заблудилась, заблудилась во мраке. И просвета не видно. Если Бог существует, я, наверное, на расстоянии вечности от этого Бога. Поэтому... — (замолкает). — Ты собиралась что-то сказать.

Поэтому я продолжаю встречаться с Тумасом. Я вижу, что он боится. Он влюбился в добрую, по-матерински заботливую женщину старше себя, которая слушала его рассуждения и его музыку. Он был доверчив и лишен всякого коварства. И вдруг — это почти смешно: не первой молодости, похотливая, внушающая страх женщина вцепилась в него мертвой хваткой. Не исключено, что он хочет отделаться от меня, хотя и не осмеливается — не осмеливается видеть, не осмеливается прогнать меня, а я ведь умоляю: *Тумас, пожалуйста, порви со мной*! Уходи, брось меня, если я тебе в тягость. Я не хочу портить тебе жизнь. Все это я ему говорю, но это лишь слова. И я неискренна с ним. Потому что вообще-то мне хочется кричать все эти дикие банальности: не уходи, не оставляй меня, я брошу все, все, что скажешь. Брошу детей и свою жизнь, только бы ты принял меня, позволил быть с тобой. *Вот* правда. Но не вся правда, ибо я до смешного разборчива. Говорят, любовь слепа, но это вовсе не так — любовь проницательна и чутка. И видит и слышит больше, чем хочется видеть и слышать. И я вижу, что Тумас — милый мальчик, теплый, чувствительный, умеющий радоваться. Но он чуточку сентиментален и часто говорит глупости, а я делаю вид, что не слышу. И потом, я думаю, а что было бы, если бы мы с ним... ничего бы не получилось... потому что он немножко любит приврать, и я слышу, когда он врет. Но мне не хочется смущать его, и начинается игра. Иногда я спрашиваю себя — спрашиваю себя, правдива ли *я* в эту самую минуту. И правда съеживается и исчезает, и ухватить ее не удается. Мама, я запуталась. Все болтаю и болтаю, а на самом деле, скорее всего, устала и боюсь.

В дверь стучат. Не ожидая ответа, фрекен Нюландер всовывает в щель свою белую напудренную физиономию и сообщает, что звонят. Вот здесь, в прихожей. Пожалуйста.

— Я оставила на всякий случай номер телефона Эви, —

говорит Карин, но Анна не слышит. Она уже схватила трубку: «Алле, это я. Хорошо, что позвонили, Эви. Я иду. Буду дома через десять минут. Спасибо, хорошо».

Анна возвращается в разгар беседы матери с фрекен Нюландер, которая немедленно испаряется, прикрыв за собой дверь. В черных глазах поблескивает воспитанное любопытство. «Может, позвонить и вызвать такси?» — спрашивает она из-за двери. «Нет, спасибо, не надо».

И, повернувшись к матери, Анна говорит, что Хенрик вернулся раньше, чем предполагалось, что теперь... — Но, девочка моя, ты просто была в городе, приходишь домой, удивляешься, это ведь

— Мама, вы должны пойти со мной. Иначе Хенрик решит, что я...

— Нет, я не намерена встречаться с Хенриком, об этом не может быть и речи.

— Что мне делать... Что мне делать?

— Немедленно иди домой, Анна.

Анна в отчаянии смотрит на мать, крепко сжимающую ее локоть. Потом опускает голову, берет со стула шляпу и поворачивается к зеркалу.

— Милая девочка, береги себя.

Это вырывается неожиданно, возможно, обе женщины удивлены в равной степени. Анна бросается матери на шею, но та не отвечает на объятия, а лишь похлопывает дочь по спине.

И на мгновение замирает. После чего Анна поспешно уходит, чуть не забыв сумочку, — мать показывает на нее пальцем, Анна молча кивает.

Так. Теперь Карин одна в тесной комнатке пансионата. Где-то в глубине, за стенами и перекрытиями, звучит последняя часть фортепьянной сонаты Бетховена, исполняемая с неимоверной тщательностью. Карин закрывает рукой глаза. Не то чтобы она плачет — с этим давно покончено, — но все-таки на душе горе.

БЕСЕДА ЧЕТВЕРТАЯ (МАЙ 1925 ГОЛА)

Анна читает вслух:

— «Мольде расположен в замечательном месте с великолепным видом на фьорды и заснеженные горы Ромсдальсфьеллет. Дома — по большей части деревянные — купаются в чуть ли не по-южному пышной зелени. Летом М. — довольно оживленный туристический центр. Статус города он получил в 1742 году, а в 1916-м сильно пострадал от пожара».

Они уже давно в дороге, каждый добирался сам по себе. Место встречи — Ондальснес, там заканчивается железнодорожная ветка из Осло. Тумас, приехавший на пару дней раньше, устроился в пансионате в порту. Последний отрезок пути в Мольде они, стало быть, должны проделать вместе на маленьком пароходике «Оттерэй». Тумас встречал ночной поезд, который прибыл по расписанию. Они успели позавтракать в пансионате (но оба были так взвинчены своим опасным приключением, что им практически ничего не лезло в глотку). После чего не спеша двинулись к набережной. О чемоданах Анны позаботился носильщик. Тумас уже загрузил на борт свою незначительную поклажу.

С моря дует свежий ветер, звонит рында, убирают трап, отдают швартовы. Пароходик, осторожно отчалив, лавирует между рыбацкими лодками, грузовыми кораблями и парусниками. В сумрачном, отделанном плюшем и пропахшем плесенью салоне Анна обнаружила книжечку о цели их путешествия — городке Мольде в дальних фьордах.

Они давно, несколько месяцев, говорили об этой поездке. Теперь, стало быть, она осуществилась. Официально Анна едет в гости к своей подруге Мэрте Ердшё, уже давно ставшей ее единственным задушевным другом.

В Мольде собрались на свой конгресс миссионеры со всей Скандинавии, сотни мужчин и женщин, приехавших из Африки и Китая. Мэрта, только что вернувшаяся из Конго, временно живет в доме тетки. Она уже много раз приглашала Анну приехать на несколько дней. Когда же Анна поинтересовалась в письме, не будет ли Мэрта возражать, если в городе в это же время окажется и Тумас, фрекен Ердшё ответила, что будет рада ему и что конгресс перебирается в Трондхейм, где в Домском соборе состоится торжественная экуменическая месса. Тетка Мэрты, жена министра, лечит ревматизм на курорте в Тироле.

Пассажиров на борту совсем мало. Как раз в эту минуту они одни в маленьком салоне, Анна закрыла путеводитель. Ее рука

ищет его руку, Анна закрывает глаза, быть может, спрашивая себя, что она чувствует, и с удивлением констатирует, что не чувствует ровно ничего. Разве что сосущий голод, поскольку она была не в силах что-нибудь съесть за завтраком.

Они вышли из фьорда, море переливается в грозовых порывах и встречном ветре, корабль ныряет, и иллюминатор окатывает брызгами серебристой воды. Блестящая латунная лампа степенно покачивается на своих цепях. Вокруг треск и скрип. Из-за стены, прилегающей к ресторану, доносятся женские голоса. Наверное, накрывают к обеду.

У Тумаса мальчишеское лицо, открытое, прямодушное, приветливые глаза — карие с зеленовато-голубоватым отливом. Большой упрямый рот, массивный нос, по-девичьи маленькие уши. Густые волосы зачесаны назад, открывая высокий лоб. Тумас высокий и стройный, руки, как и положено пианисту, крупные. Ногти обгрызенные. На нем опрятный, слегка залоснившийся костюм, который ему немного маловат, что усиливает впечатление мальчишеского облика. Тумас часто улыбается. Голос у него — выразительный музыкальный инструмент, находящийся в умелых руках.

На Анне юбка и блузка с широким отложным воротником, на шее — золотой медальон на тонкой цепочке. Широкие рукава с манжетами в цвет блузки. Юбка, до щиколоток, перехвачена широким вышитым поясом с кожаной пряжкой. Волосы, как и полагалось в те времена, причесаны на прямой пробор, но после недавнего мытья чуть растрепались. Лицо горит, точно у нее температура, она прикладывает тыльную сторону ладони к щеке — горячая, наверняка температура.

До последней секунды Тумас надеялся, что она не приедет, заболеет, или заболеет кто-нибудь из детей, или у Хенрика отменится поездка. Целый час до ожидаемого прихода ночного поезда из Осло он мерил шагами платформу. Откровенность вряд ли была отличительной чертой его характера. А сейчас он сразу же скажет ей — что скажет? Но тут с шумом и грохотом подкатил поезд, и земля задрожала, как и он сам. Вот длинная змея вагонов остановилась в ясном свете дождя, из паровоза и между вагонами валили тяжелые клубы пара, и сквозь них хлопотливо и целеустремленно заспешили по каменному перрону люди. Тумасу хотелось улизнуть. Это была последняя возможность избежать чего-то громадного, чего-то, что, возможно, раздавит его. Но Она появилась у него за спиной. Окрикнула осторожно, словно бы угадывала его страх и не хотела пугать еще больше. Когда он обернулся и увидел ее совсем рядом, страх испарился. Молчаливая и серьезная, она была совершенно спокойна, по

крайней мере так казалось, потом, улыбнувшись, показала на чемоданы, стоявшие справа и слева от ее ладной фигурки. «Да, надо бы позвать носильщика, вот именно. Вон идет один. Эй, доброе утро, вот эти два чемодана надо отнести на пароход, отбывающий на Мольде в два часа. Я расплачусь прямо сейчас. Не требуется? Увидимся на пароходе?» Носильщик ставит чемоданы на тележку с другой поклажей и мелом пишет на них «Мольде».

Покончив с этим, они вновь замерли друг против друга, улыбающиеся и серьезные. «Ну что, может, теперь поздороваемся? Здравствуй, дорогой Тумас». — «Здравствуй, Анна». Они протягивают друг другу руки.

— Как мило, что пришел меня встретить. Мы ведь договорились увидеться на пароходе.

— Я ждал несколько часов. Часа два, думаю.

— И, наверное, надеялся, что я не приеду? Анна, внезапно рассмеявшись, гладит его по щеке рукой, затянутой в перчатку. «Ладно, идем», — говорит она решительно. И они идут.

Стук моторов. Медленное скольжение вниз. Треск деревянной обшивки салона. Голоса в соседнем помещении. Вихри воды за иллюминаторами.

— Тебя обычно укачивает? — спрашивает Тумас.

— По-моему, нет. Однажды, давным-давно, мы с мамой и Эрнстом переплывали Ла-Манш в шторм. Все заболели, кроме меня и Эрнста.

— Даже твоя мать?

— Даже она, подумать только! Молчание. Доверительность.

— Да, Тумас. Мне кажется, нам надо обсудить кое-какие *практические детали.*

— Я предполагал, что это будет необходимо.

— Как я писала тебе, нас пригласили пожить в доме тетки Мэрты за городом. Мэрта — моя лучшая подруга со времен училища в Уппсале. Она единственная, кто знает. Ближайшие дни она будет в отъезде, поэтому ключ оставила у одной женщины, которая живет рядом с гаванью.

— Значит, все в порядке?

— Не думаю. Я не хочу вовлекать Мэрту в нашу драму, если что случится. Я предпочитаю жить в гостинице. Там достаточно нейтральная обстановка. Что скажешь?

— Не знаю, это так неожиданно.

— Поэтому я заказала номера в Городской гостинице — двухместный и одноместный.

— Но я, пожалуй...

— Тумас! Это мое дело. Ты настаиваешь на оплате дороги. Это и так много!

— Тебе не страшно?

— Если начну задумываться, то станет страшно. Посему я не задумываюсь. Планирую, но не думаю. Меня пугает только одно...

— Ну, говори.

— Меня пугает только одно — что теперь наша любовь должна принять какие-то ошеломляющие формы, чтобы оправдать наш поступок. Может, наша любовь не выдержит такой нагрузки?

— Ты так считаешь?

Анна, схватив его руку, подносит к губам и целует. — У тебя ласковая рука, Тумас. Вначале, — я хочу сказать — до всего, — я смотрела исподтишка на твою руку и думала, что вот *эта* рука...

— Да?

— Не скажу. Давай поговорим еще об одном практическом деле.

Она выпускает его руку и берет сумку, лежащую рядом на диване, открывает ее, роется, вынимает маленькое портмоне и из потайного кармашка достает большим и указательным пальцами обручальное кольцо.

— Это обручальное кольцо моего дедушки, маминого отца. Он оставил его мне на память. Теперь *ты* его поносишь несколько дней. Пастору Эгерману не подобает быть без кольца. Гостиничный персонал наверняка обратит внимание.

— Ты все продумала.

— Ты огорчен?

— Нет-нет. Но вот это, с кольцом... Не знаю.

— Будь же разумным, Тумас. Кольцо разрешает практическую проблему, и только. Немножко даже забавно. Интересно, что говорит дед на своих небесах?

— Что его внучка — безбожница, злая, распущенная язычница.

— Бери кольцо, Тумас.

— Что-нибудь еще?

— Вот письмо Мэрте, в котором мы благодарим ее за заботу, но отказываемся от приглашения.

Кольцо лежит на ее раскрытой ладони. Он колеблется. Она решительно надевает кольцо ему на палец — с жестом нетерпения.

— А теперь мы накидываем плащ-невидимку на наши два дня. Никто не знает. Никто не видит. Как сон. Но мы сами должны позаботиться, чтобы он не превратился в кошмар.

— Ты плачешь? — спрашивает Тумас едва слышно.

— Я почти никогда не плачу. Давно перестала.

— Я тоже тосковал.

— Иногда я думаю: бедный мой Тумас, он, наверное, в ужасе от всех этих чувств. Его собственных чувств и чувств Анны. Если он тоскует, то, быть может, по чему-то другому — не знаю, чему-то тихому, красивому, свободному от лжи. Нет-нет, *я не буду* плакать, ведь я совсем не расстроена. Не надо

утешать меня.

Он обнимает ее за плечи, притягивает к себе, она не противится, но почти сразу же высвобождается: «Нет, — говорит она решительно и мотает головой, — *нет.* Воистину мне не на что жаловаться. Это лучшие часы в моей жизни. Пойдем полюбуемся на волны, шторм и горы. На корме наверняка есть где укрыться от ветра. Идем, Тумас!»

Пароход «Оттерэй» причаливает дважды перед конечным пунктом — Мольде. Сперва он отклоняется на восток и заходит в тесный, глубокий фьорд Лангфьорден. В глубине расположено местечко Эйдсвог. Там пароход стоит час для погрузки, берет на борт пассажиров, после чего выходит из фьорда, поворачивает на север и причаливает у рыбацкой деревушки Ветэй. И наконец кораблик берет курс на Мольде, куда рассчитывает прибыть к вечеру.

Тумас с Анной одни в маленьком салоне. Они немного подремали, проснулись и снова прикорнули, свернувшись калачиком на красном пахнущем плесенью плюше и укрывшись своими пальто.

Итак, пароход замер у причала Эйдсвог, моросит дождь. Гора укрывает от ветра. Шум погрузки и разгрузки почти не слышен. Сквозь тишину слабо доносятся голоса немногочисленных пассажиров и команды, топот, приказы. Но вот возле салона раздаются шаги. Кто-то решительно стучит в дверь. Не дожидаясь ответа, узурпатор входит и останавливается у двери.

Это высокая женщина лет сорока, одетая в строгую форму шведских церковных сестер милосердия. Зонт, высокие боты. Перчатки. Аккуратная сумочка. Открытое крупное лицо, высокий лоб, туго зачесанные назад волосы, широко распахнутые пронзительно-голубые глаза. Мощный нос правильной формы. Губы неоднозначны. Мягкие, красивые в середине, они ужесточаются ближе к уголкам рта, где демонстрируют уже только решительность. Дама не отличается красотой, но привлекательна. Улыбаясь (а именно это она сейчас и делает), она становится почти хорошенькой. Лоб Анны заливает краска. Лицо Тумаса не выражает ничего — может, ментальное замыкание.

— Мэрта! — восклицает Анна.

— Собственной персоной, — отзывается Мэрта, прислоняет

зонтик к одному стулу, кладет сумочку на другой, перчатки на сумку, снимает форменную шляпу, помещает ее на стол под лампой, расстегивает длиннополое пальто. Совершая эти действия, она говорит — на ярко выраженном смоландском диалекте:

— Здравствуй, Анна, здравствуйте, кандидат. Могу представить, как вы удивлены. Милая Анна, у тебя, несмотря ни на что, здоровый и радостный вид. И к тому же щеки пылают. Она порывисто и неуклюже обнимает Анну и за руку здоровается с Тумасом, который встал, опрокинув при этом чашку с чаем.

После чего все трое на какое-то время замирают, вряд ли погрузившись в размышления, скорее от растерянности.

— Сядем? — предлагает Анна несколько неуверенно. — Хочешь чаю? Я могу заказать. Есть также бутерброды, если ты...

— Нет, спасибо. Я приехала сюда несколько часов назад и, чтобы убить время, до отвала наелась в пансионате — так что спасибо, не надо. Зато мне бы хотелось — если кандидат не обидится — поговорить с глазу на глаз с Анной. У вас ведь нет каюты? Нет, я так и думала и посему купила каюту, где мы с Анной можем уединиться. А вы, кандидат Эгерман, оставайтесь здесь и почитайте книгу. Возьмите ту, что я взяла в дорогу.

Из чемодана извлекается толстый том.

— Пожалуйста, это вы наверняка не читали. «Деяния любви» Киркегора, 1847 года, новое издание, перевод и комментарии Торстена Булина.

— Если нам надо поговорить, то только в присутствии Тумаса. Это необходимо.

— Единственная необходимость — нам с тобой поговорить наедине.

— Делай так, как говорит твоя подруга.

Анна удивленно смотрит на Тумаса, но склоняет голову в знак согласия. Мэрта с некоторым педантизмом собирает свои вещи, после чего женщины покидают салон. Дверь закрывается, женщины скрылись из глаз, и Тумас несколько мгновений стоит в нерешительности. Потом с размаху садится на диван, засовывает руки в карманы и начинает насвистывать какое-то ларго. Закрыв глаза, он прислушивается к биению пульса за ухом и вибрации машин в глубине судна.

Пароход, выйдя из гавани, набирает скорость. Сквозь облака пробивается яркий свет майского дня, мерцают дождевые капли на стекле иллюминаторов. Внезапная дрожь, неожиданная грусть: это не я, это не принадлежит мне, я беден, буду беден всегда, еще беднее, буду нищим. Блаженны нищие духом. Мы и в самом деле столь блаженны?

— Сегодня в шесть утра я села на быстроходный корабль, чтобы перехватить вас. Хотела передать ключ лично, дабы не вмешивать фру Бекк и избежать ее расспросов.

— Мы как раз решили поселиться в гостинице. Я уже заказала номера. Мне не хочется жить с Тумасом в чужом доме, в чужих комнатах с чужой мебелью. Ты должна понять! Это первый и, наверное, последний раз, когда мы с ним можем побыть вдвоем.

— Как тебе могло взбрести в голову, что гостиничная комната в центре города, с ее тонкими стенами, любопытной обслугой и презрительными понимающими взглядами, будет лучше тишины в старом, окруженном громадным садом доме? Как ты себе это представляешь?

Анна сидит на низенькой скамеечке, прижимаясь спиной к стене, голова опущена. Она играет пуговкой на манжете, которая вот-вот оторвется.

Каюта мягко покачивается, время от времени окно окатывает прозрачная зеленая вода.

— Я, пожалуй, готова, — говорит Анна.

— Готова, — что значит готова?

— Десять лет назад. Серый безветренный день в начале сентября. Я стояла у окна пасторской усадьбы, выходившего на реку — черную, как чернила. И тут пошел снег — он падал прямо-прямо. Вокруг меня была тишина — повсюду, ни единого человека. Я словно бы осталась одна на белом свете. Мы с Хенриком поссорились. Он молчал, день за днем. Я погибала и отворачивалась. Мы были женаты два года. Два года, Мэрта, у нас уже родился наш малыш. Я стояла у окна, в тишине, и вдруг увидела, понимаешь, *увидела* все, что натворила. Помню очень ясно, как я подумала: это не моя жизнь и этот человек — не мой муж, и единственное существо, имеющее право чего-то требовать от меня, — малыш, который спит в своей корзинке в спальне. Я осознала, что все это надо разрушить. Это было совершенно очевидно. Я ощутила своего рода радость. Почувствовала, что справлюсь, и вообще я могу справиться с чем угодно. Будут слезы и страдания. Но я не смирюсь. Не собираюсь больше стоять и глазеть на этого отстранившегося от меня нытика. Не разрешу больше унижать меня этими недовольными, мелочными придирками. Мне было двадцать шесть, и в это решающее мгновенье я знала, чего хочу от жизни.

Так что я взяла малыша и уехала в Уппсалу. Естественно, я воображала, что Ма обрадуется, поскольку она много лет плохо относилась к Хенрику и нашему браку. Я думала, что вернулась домой. Но я ошиблась, мама почти сразу заявила, что я, конечно, могу остаться на несколько дней, но она не намерена

предоставлять убежище сбежавшей жене, и что мой само собой разумеющийся долг — вернуться к Хенрику, и что я сделала выбор, и что человек выбирает только *один раз* и другого выбора нет. Через три дня я уехала обратно. Спустя два года, весной 1917 года, я сделала новую попытку сбежать. На сей раз меня забрал Хенрик, и вскоре мы переехали в Стокгольм. Не стану преувеличивать. И не хочу быть несправедливой. Наши будни вовсе не были адом. Мы превратились в двух тягловых лошадей, которые сообща тянули тяжелый груз. Моя несвобода не была слишком невыносимой. Я не это имею в виду. Но вот появился Тумас. Прошел уже почти год, да, это случилось в прошлом году, на Иванов день. А потом последовало «нарушение супружеской верности», если ты понимаешь, о чем я. И вдруг уже не было времени остановиться и перевести дух. А теперь эта поездка. Не думай, будто это какой-то внезапный каприз. Эта поездка — не знаю, как сказать, — эта поездка связана со смертью. Нет, я не нахожу слов, чтобы выразить то, что хочу сказать. Но разве, когда ты обнаруживаешь собственное одиночество — я имею в виду *абсолютное одиночество,* одиночество в смертный миг, одиночество ребенка, — разве тебе не становится больно? Я знаю, Мэрта! Ты никогда не испытываешь одиночества. Ты живешь в руке Божьей. Я тоже пыталась, пыталась, но такой общности достичь так и не сумела. Нет, *одна* — четко и ясно. И тут в моем одиночестве возник Тумас. И теперь мы с ним оба можем сказать: мы не одиноки. Анна усмехается:

— Да что говорить. Стоит ли говорить что-то еще, кроме того, что я в прекрасном настроении, чувствую себя *неважно,* хочется спать, но сейчас я счастлива — дай мне мяч, возьми мою куклу. Мне грустно, но вряд ли стоит говорить «мне грустно», поскольку никому до этого нет дела.

— Когда я покидала сегодня Мольде, у меня была куча всяких соображений, не морального свойства — нет, как ни странно, это меня не занимало с самого начала. Нет, мне было любопытно посмотреть на Тумаса — я ведь помню его совсем маленьким. Его мать тоже собиралась посвятить себя церкви, стать сестрой милосердия, мы — ровесницы. Потом она вышла замуж, родился Тумас — ладно, это к делу не относится. И еще я хотела отдать тебе ключ. И надеялась, что ты вернешься домой в целости и сохранности и что мы с тобой сообща составим план на случай, если кому-нибудь взбредет в голову задавать вопросы. Кроме того, я по-настоящему скучала по тебе. Ты ведь для меня как младшая сестричка, о которой я должна заботиться. Наверное, я чуточку ревную. Я хочу сказать — ревную к Тумасу. Но пусть это тебя не волнует. Так что, пожалуй, было глупо с моей стороны

приезжать таким вот образом. Столь невероятно рассудительная особа — и вдруг срывается с места. Прости меня.

— Дай мне, пожалуйста, ключ.

— Что? Ключ?

— Нет, не спрашивай. Пожалуйста, дай мне этот чертов ключ.

— Я закупила все, что вам может понадобиться, — сегодня же суббота. Дрова для кафельных печей, уголь для железной печки и керосин для ламп — все есть.

Анна берет ключ и прячет в сумку.

— Что ж, пора возвращаться к Тумасу. А то он, наверное, удивляется.

— Я вернусь из Трондхейма во вторник утром. И займусь домом.

Анна обнимает подругу. Прижавшись друг к другу, они покачиваются, нежно и утешающе.

Боркмановская вилла находится в нескольких километрах от города, у подножия гор. Здание представляет собой результат веры в будущее и архитектурной радости 1880-х годов. Обширный, но запущенный сад заселен сомнительными копиями классических статуй. Кое-какие состарившиеся фруктовые деревья уже зацвели, песчаные дорожки усыпаны прошлогодней листвой. На клумбах у южной стены дома сияют весенние цветы.

Они обходят дом, и Анна отпирает дверь на кухню; время — около семи вечера. Дождь прекратился, ветер стих, и с крутого горного склона сползает пронизывающий холод. Вдалеке слышится глухой рокот: водопад невидим, но постоянно напоминает о себе. Солнце закатывается за горы, ярко освещая облака на западе, свет по-майски мягок, без теней. Все это вкупе с полинялой элегантностью громадных, перегруженных мебелью комнат, запахами старого горя и давно увядших роз вызывает у Анны неожиданное предчувствие беды. В доме наличествует электрическое освещение — сонные карбидные лампы, дающие бледный желтоватый свет, немилосердно разоблачают запустение дома — канувшее в Лету величие.

Они опускаются на чересчур мягкий диван в гостиной с высокими, обрамленными тяжелыми гардинами окнами, выходящими в майские сумерки сада, на цветущие фруктовые деревья. Они берутся за руки: да, мы сейчас далеко. Вот мы и осуществили свою мечту. Или же это лишь искусная версия нашей мечты — дело рук демонов? Существуем ли мы вообще? — но ведь наша дерзость покарала нас одышкой и бледностью лиц? Что с нами? Может, мы попали в западню, с нежностью и заботой устроенную нам дорогим другом? Смешно? Будем смеяться — или уже пора плакать?

В этой атмосфере растущей грусти, отнюдь не элегической, Анна проявляет практичность: «Думаю, нам надо поесть и прежде всего выпить. Помнится, Мэрта упомянула про две бутылки вина, которые она поставила на ледник. Идем, дружок, мы еще поборемся. Нас ведь не казнят на рассвете, правда? Мы же приехали *наслаждаться,* Тумас».

Вид двух печальных физиономий в засиженном мухами зеркале с золотой рамой вызывает у Анны смех. Анна смеется, и Тумас невольно ей вторит, несмотря на владеющий им страх. Стоя рука об руку, они рассматривают свидетельство зеркального стекла. Созерцание и внезапная радость возвращают им былую близость. Тумас обнимает Анну, целует. Она отвечает, но останавливается и с мягкой решительностью отталкивает его.

Она стоит, голова опущена, рука упирается в его плечо. «Нет, не сейчас, у нас впереди — вечность. Удивительно, правда?»

Много лет тому назад министерша Боркман вела большой дом — множество прислуги, многочисленные гости, большая родня, не слишком многочисленные выдающиеся друзья и некоторое количество хорошо воспитанных прихлебателей. Кухня спланирована соответственно. Все, кроме могучей плиты, имеется в поражающем воображение множественном числе — кладовые, ледники, мойки, газовые счетчики, кухонные часы, подъемники для кушаний, сигнальные приспособления, переговорные трубы, сервировочные столы, обеденные столы, керосиновые лампы, столы для выпечки, разделочные столы, высокие стулья, низкие стулья, скамейки, шкафы, окна без занавесок, выходящие на огород, внушительных размеров дощатый пол без ковров, нагреватели для воды, насосы для холодной воды, помойные корыта, стеклянные шкафы, забитые всяческим предметами первой необходимости, кухонная утварь, сервизы для буден и праздничная посуда, серебро и керамические вазы.

Они накрыли на длинном столе с выскобленной столешницей, стоящем в центре кухни, уже поели и выпили. Зажгли свечи и теперь сидят друг против друга. Тонкие бокалы наполнены, красуются бутылки. Одна уже опорожнена.

— Да, Тумас, твоя Анна чуточку опьянела, и скажу тебе — последний раз *такое* было не вчера. Я родилась под знаком Льва, — собственно, я дочь своей матери, а моя мать, Тумас, не из трусливых. А *ты* меня боишься? — Иногда — да, иногда боюсь.

— Что же тебя пугает?

— Не знаю. Но это не то, что ты думаешь.

— Вот как. Не то.

— Мне делается страшно, когда ты...

— Когда я беру инициативу?

— Да, что-то в этом роде.

— Хочешь еще вина?

— Да, спасибо. Как хорошо.

— Ага, хорошо. Забудь о завтрашнем дне. Кстати, мы больше никогда не будем строить планов.

— Ты жалеешь, что затеяла эту поездку?

— Нет. Хотя, впрочем, — да, но не так, как ты думаешь.

— А как же?

— Этого я сказать не могу.

Она целует его ладонь, прижимает к щеке, целует еще раз, кладет себе на лоб.

— Идем, мой любимый. Идем займем спальню министерши и ее кровать, пока нам не изменило мужество.

Другие комнаты были бы, наверное, удобнее, но получилось так, что Мэрта постелила им в заботливо согретой и тщательно прибранной спальне министерши. На обоях — явно весьма дорогих — мутно горели розы, кафельная печь представляла собой отливающую зеленью башню, увенчанную ракушками и вьющимися водорослями. В центре комнаты величественно возвышалась черная блестящая резная кровать. Над перинами и пуховыми подушками колыхался балдахин. На картинах были изображены сцены из сельской жизни: сбор урожая, великолепные лошади и галдящие дети в национальных костюмах. Висел там и обрамленный черной рамой портрет усопшего десятки лет назад министра — дородного, но статного господина с седыми волосами, пышными бакенбардами и бородой, большим носом и строгим взглядом. На отлично сшитом мундире теснились ордена отечественного и зарубежного происхождения. Бархатные с вышивкой занавеси на высоких окнах были задернуты, скрывая весенние сумерки.

Сводчатый потолок был отделан лепниной. Над дверью в небольшой будуар и дверью поменьше — в хитроумно сделанную туалетную комнату — парили гипсовые херувимы. Запутавшиеся в цветочных гирляндах.

Этот мавзолей был до отказа забит молитвами, разочарованиями, слезами, скрытой похотью и тайными приступами гнева министерши, там пахло вареной цветной капустой и чем-то еще, что, вероятно, можно было бы назвать давным-давно мумифицированными крысами. В то же время пробивался и слабый аромат тяжелых духов министерши — мускус и лепестки розы.

Анна останавливается на пороге и вновь смеется: «Нет, это невероятно, Тумас! Ну, что теперь скажешь!» Хлопнув в ладоши, она обнимает Тумаса за талию и вталкивает его внутрь. «Но нам

нужен свет!»

Она находит шнур, и комнату заполняет мягкий ночной свет — свет майской ночи. Комната увеличивается. Наполняясь черными тенями и внезапно высвеченными предметами: напольные часы с золочеными стрелками, две колонны ионического стиля, разрисованные вьющимися лесными цветами, маленькая мраморная статуя обнаженной девочки, сидящей на корточках, с поднятой головой; в стороне — письменный стол с богатой резьбой, японская ширма, тонкая и прозрачная, застекленный шкаф с книгами в переплетах.

Вот в этой декорации и будут спать любовники. Любовники, чей опыт ограничивается робкими встречами на кровати в грязной студенческой комнатушке. Они еще не видели друг друга обнаженными, разве что на солнце и ветру сквозь скабрезную откровенность мокрых купальников. Они страстно обнимались, целовались до крови на губах, ощупью, порой на грани отчаяния, изучали тайны друг друга. Все это происходило с закрытыми глазами, неуклюже, наспех. Неуверенность делает их робкими, ибо их тела еще не обрели общего языка.

Поэтому нужно следовать озарению Анны: «Сейчас мы разденемся — поодиночке. Я разденусь в туалетной комнате, а ты в будуаре. Только не зажигай света, окно выходит на дорогу, вдруг кто-то мимо пройдет и заинтересуется, чем это министерша занимается на старости лет». — «Хорошо, так и сделаем», — кивает Тумас с облегчением оттого, что Анна проявила инициативу.

Анна раздевается в желтом свете одинокой электрической лампочки в виде ландыша, висящей где-то в отдаленной высоте туалетной комнаты фру Боркман. Узкое зеркало на двери отражает Анну целиком — с головы до пят. Вот она распустила узел на затылке, тяжелые волосы струятся по спине и плечам, доходя до талии, в тусклом свете сверкает белое кружевное белье: панталоны до колен с ленточками и широкой резинкой на талии, строгий, сшитый по фигуре лиф, который она, предварительно отстегнув подвязки, державшие с помощью безыскусных пуговок темные шелковые чулки, расстегивает пуговица за пуговицей. Рубашка, украшенная широкими кружевами, чуть приталена и заканчивается вышитой каймой на высоте бедер. Теперь на Анне не осталось ничего, кроме украшений — обручальных колец, медальона на золотой цепочке и маленьких бриллиантовых сережек. Она стоит голая, молодое стройное тело четко отражается в зеркале, освещаемом лампой. Тонкие руки, запястья, округлые гладкие бедра, живот со следами трех беременностей. Обследование объективное, но эмоциональное, нельзя поддаться

мгновенному ощущению нереальности. «Ночная рубашка», — произносит она вслух и натягивает фланелевую рубашку безо всяких изысков. Продуманный выбор, разумный. Целомудрие и безыскусная чистота поверх душевной бури. Не думать... может, помочиться? Да, это ей крайне необходимо. Ватерклозет министерши стоит на небольшом возвышении в торце туалетной комнаты. По бокам — блестящие латунные поручни.

Тумас разделся и сидит на краешке одного из обитых шелком стульев будуара. Мальчишеское тело, широкие плечи, жилистые руки, высокая грудная клетка, плоский живот без волос, кроме как на лобке — рыжеватый редкий кустик, худые ягодицы и длинные ноги. Ступни маленькие, с опрятными пальцами. Правое бедро чуть костлявее левого — детский полиомиелит. Он причесался, сделал аккуратный пробор и, чтобы успокоиться, зажег трубку. Но не успокоился. Дело в том, что ночная рубаха лежит в чемодане, а чемодан стоит на стуле в спальне. Он не может пойти в спальню голый, и в кальсонах и рубашке — или без нее — тоже нельзя: если Анна увидит его в таком одеянии, еще действующая магия белого вина наверняка испарится и все станет тривиальным. Вбежать в спальню, двумя прыжками добраться до постели и прикрыть наготу периной тоже не годится. Это было бы несовместимо с указаниями Анны. Он раздумывает, не одеться ли ему опять, войти, взять ночную рубаху, извиниться перед Анной, выйти, раздеться и надеть рубаху. Но подобные действия тоже разрушат зыбкое настроение.

Анна устроилась на пышной кровати. Она расчесывает, словно бы бесцельно, свои длинные волосы и тихо зовет Тума-са. Он тут же открывает дверь и входит — босой, но в длиннополом, наглухо застегнутом зимнем пальто.

Анна и Тумас беспомощны и беззащитны. Как внутренне — перед самими собою, так и внешне — перед величественным ложем, забитой вещами комнатой, перед утомительными переживаниями поездки, перед наготой, перед насильно выкорчеванным чувством вины. Все это надо преодолеть с помощью жестов и слов любви. Они пустились в рискованное путешествие. Пришли в движение загадочные силы. И сейчас, в это мгновенье, любовники достигли конечного пункта: она сидит на высокой расстеленной кровати, в простой ночной рубашке, со щеткой в правой руке, а он стоит у двери, босой, в поношенном зимнем пальто.

Комната освещается тремя источниками света: негасимыми весенними сумерками за тонкими занавесками на окнах, сонной лампой под потолком и трепещущими стеариновыми свечами на ночной тумбочке справа от кровати. Анна, возможно подавляя

дрожь в голосе, велит ему снять пальто и говорит, что сейчас они оба залезут в постель и крепко обнимутся. Он послушно гасит свет, она задувает свечи на тумбочке, и вот они лежат под периной. Обнимаются, это не слишком удобно, но они обнимаются, и он гладит ее по волосам. Им наверняка трудно дышать, и между ними — бездна. Но ночной свет за тюлевыми занавесками неподвижен. Так что если они не закрыли глаза от страха, то отчетливо видят друг друга. Тумас просит Анну посмотреть на него: «Давай смотреть друг на друга, Анна». Она прижалась лицом к его плечу, пытается взглянуть на него — нелегко...

Они засыпают от истомленности душ и невысвобожденного страдания тел.

Вновь начинается дождь, успокаивающий, кроткий. Они засыпают не став ближе. Есть веская причина посочувствовать. Роли, которые они предназначили себе и друг другу, сыграть нельзя. Их единственный багаж состоит из ледяных замечаний, чувства греховности, вины перед близкими людьми. И, быть может, самого страшного: вины перед униженным Господом. Против всего этого у них оружия нет — они беззащитны.

Они спят, идет дождь. За окном — а поэтому и в комнате — темнеет. Он просыпается, тянется к ней, а она, обнимая его за талию, притворяется спящей. Открывает губы для поцелуя, но поцелуя не последовало, его голова тяжело опускается на подушку, он прерывисто дышит. Она лежит неподвижно, не тревожит его, сказать им нечего, потому что у них нет слов — это будет потом: сверкающие слова из романов, ибо все это обязательно должно быть великим и уникально-сверхъестественным. Она, возможно, думает, что ей следовало бы столкнуть с себя тяжелое горячее тело, которое вдавливает ее в мягкую постель, — следовало бы помыться. Но она не в силах побеспокоить его, разбудить. Она не шевелится, дышит едва слышно, по-прежнему обнимая его.

Тумас спит, как ребенок, — глубоко и беззвучно, рот открыт, от него пахнет сном и катаром желудка. Анну же бросает то в жар, то в холод, ей надо помочиться, между ног течет липкая жидкость, а от запаха спермы у нее к горлу подкатывает тошнота. Но она не осмеливается пошевелиться — не сейчас. Она заставляет себя продлить мгновение, защищаясь от ржавого ножа разочарования.

Добавить нечего, кроме разве что дождя на рассвете, тишины (даже птицы молчат), запаха чужой комнаты.

— Тумас!

— Да.

— Мне надо встать.

— Конечно.

— Подвинься чуточку.

Она садится, двумя руками откидывает всклокоченные волосы, лоб горит, щеки горят, но ей холодно. Тумас глубоко дышит.

— Я, пожалуй, еще посплю.

На это ответить нечего. Анна касается лица и плеча спящего. Потом встает и открывает дверь в выстуженную туалетную комнату министерши.

Когда она, более или менее приведя себя в порядок, возвращается в кровать, Тумаса там нет. Она сворачивается под тяжелой периной, да, чувствует она себя неважно, от живота к голове поднимается волна лихорадки. Анна лязгает зубами — «наверное, у меня температура».

Она закрывает глаза, но тут же снова их открывает — очевидно, она заснула. Тумас сидит на стуле возле двери совершенно одетый. Лицо белое как полотно, в глазах слезы.

— Я уезжаю. Пароход на Ондальснес уходит через два часа, в семь, по воскресеньям он отходит на час позже. Я прогуляюсь до гавани, это недалеко. Внизу в прихожей я нашел расписание с указанием отплытия и прибытия пароходов. «Оттерэй» по воскресеньям отходит в семь утра, часом позже, чем по будням. Потом я прямо пересяду на поезд. Он уходит в пять вечера. Это пассажирский поезд — останавливается на всех станциях. В Осло я буду не раньше утра понедельника. А там много вариантов, но я смогу быть в Стокгольме уже в семь вечера в понедельник и в девять — самое позднее — в Уппсале. Анна сидит в кровати, подобрав под себя колени, от нее пышет жаром, поэтому она сбросила перину и укуталась в просторную ночную рубаху. Глаза закрыты, щеки пылают.

— Не уезжай.

— Надо быть честным.

У нее перехватывает дыхание, глаза устремлены на него:

— Что ты имеешь в виду?

— То, что я сказал, — говорит Тумас, — я должен быть честным. К моему ужасу, я вижу, что не был честным.

— В чем проявлялась твоя нечестность? — спрашивает Анна, почти потеряв голос.

— Я должен был бы осознать свою ущербность. Должен был бы сказать тебе, что вся эта поездка — ошибка. Может, не для тебя, а для меня. Находиться в бегах мне не по силам. Я слишком серый. Собственно, все это я знал с самого начала, но ты взяла дело в свои руки. Я был слишком труслив и не хотел тебя

огорчать, но понимал собственную ущербность. Всегда понимал.

У него выступают на глазах слезы, но он сглатывает их, беспомощно всхлипывает и проводит рукой по лицу.

Анна основательно задумалась — это серьезно, сейчас важно, чтобы слова и интонация совпали.

— Пожалуйста, не отчаивайся так. Или по крайней мере давай отчаиваться вместе. Мы ввязались в нечто чересчур большое и опасное — это истинная правда. Если мы будем держаться вместе, то сможем исправить причиненный вред.

Теперь Анна полна энтузиазма, лихорадки как не бывало. Она выпрыгивает из постели и становится напротив него на ковер с узором в виде водорослей.

— Какие у тебя маленькие ножки, — бормочет Тумас, горестно улыбаясь.

Ранним утром 6 мая Мэрта Ердшё возвращается пароходом из Трондхейма в Мольде. Она сразу же отправляется на виллу министерши, чтобы убедиться, что все в порядке и что любовники не оставили после себя компрометирующих следов. Погода переменилась. Ветер разогнал тучи и влажную дымку, стоит солнечное, тихое утро, в старом саду расцвело еще несколько фруктовых деревьев. Мэрта от нетерпения не дожидается автобуса, а берет такси.

Она входит в дом через кухню — все вроде бы в порядке, убрано. Она проходит в просторный холл, снимает форменное пальто и осторожно освобождается от накрахмаленной наколки сестры милосердия. Приглаживает темно-русые волосы, ставит свой маленький саквояж на стул и поворачивается к гостиной, купающейся в лучах весеннего солнца.

В дверях стоит Анна, опираясь рукой о косяк. Веки набухли от слез и ночного бдения. Волосы небрежно зачесаны назад. На ней пальто, под ним виднеется чесучовая блузка и синяя юбка с заметным пятном чуть выше колена.

Мэрта не может сдержаться, изумление опережает тактичность, и она восклицает приблизительно следующее: «Но Анна! Ты *здесь*? Я думала, ты уехала вчера утром!» Потом, резко оборвав себя, она подбегает к Анне и обнимает ее. Анна не сопротивляется, она закрывает глаза, руки повисли как плети. Женщины опускаются на пол. Они ничего не говорят — ни слез, ни объяснений. Мэрта держит несчастную в своих объятиях, они сидят, тесно прижавшись друг к другу, на голом паркетном полу, исчерченном квадратами солнечных лучей. Спустя какое-то время Мэрта спрашивает — очень осторожно, — звонила ли Анна матери и предупредила ли ее, что задерживается. Та слабо кивает: да, звонила, звонила еще в понедельник утром.

После этой произнесенной бесцветным голосом фразы наступает длительное молчание. Наконец Мэрта предлагает Анне ненадолго прилечь и говорит, что ей наверняка не помешает чашка чая. Анна говорит, что ей холодно, но позволяет отвести себя к дивану. Она падает ничком, отвернувшись, рукой прикрывая лицо. Мэрта накрывает ее пледом министерши. Анна не отвечает на вопрос, хочет ли она выпить чаю, — она заснула.

Ближайшие часы Мэрта хлопочет возле спящей. Ставит чашку заваренного на травах чая с медом на стул в изголовье. Наспех проверяет второй этаж и спальню. Везде тщательно прибрано, в громадных полутемных комнатах нет ни следа движений или чувств. Чемоданы Анны стоят возле двери. Шляпа снята с полки. Вероятно, Анна собиралась уехать, но ей изменили силы.

В три часа дня вторника Анна просыпается и направляется, чуть пошатываясь, в туалетную комнату. Она долго мочится. Потом умывается холодной водой. После чего пьет приготовленный Мэртой чай, сидя прямо, как маленький больной ребенок, решивший слушаться всех предписаний. Мэрта в библиотеке изучает толстенный том с двумя романами Бьёрнстьерне Бьёрнсона. Заметив, что Анна проснулась, она захлопывает книгу, ставит ее на полку, входит в гостиную и усаживается на стул возле окна. Солнце передвинулось в юго-западное крыло дома, оставив вытянутую, перегруженную мебелью комнату в полумраке.

Анна пьет чай. Она по-прежнему в пальто.

Подруга ждет.

Анна, бережно поставив чашку на стул, вытирает губы тыльной стороной ладони, вновь откидывается на мягкую спинку дивана, сбрасывает вышитые тапочки и закутывается в плед.

— Тебе все еще холодно?

— Нет-нет, все хорошо.

— Хочешь еще чаю?

— Нет, спасибо.

— Как ты себя чувствуешь?

— Вроде нормально. Правда, немного зуб болит.

— Ты проспала шесть часов.

— Сколько времени?

— Около половины четвертого.

Мэрта для верности бросает взгляд на маленькие золотые часики, висящие на тонкой золотой цепочке, пристегнутой к нагрудному кармашку форменного платья.

— Я приняла несколько порошков брома, которые нашла в ночной тумбочке министерши. Кажется, вчера вечером. Но все равно заснуть не могла. Почти всю ночь бродила по дому.

Внезапно меня вытошнило, вот, на юбке осталось пятно. Пыталась его вывести, но ничего не вышло.

— У тебя есть другая юбка?

— Вроде есть.

Все темы для разговора, похоже, исчерпаны, но Мэрта терпеливо ждет. Ее пациентка зевает. Закрывает глаза.

— Тумас захотел прогуляться в воскресенье утром. Сказал, что хочет немножко побыть один. Отправился в гавань и узнал, что после обеда идет почтовый пароход в Ондальснес. Он сразу же вернулся и сообщил, что уезжает. Одолжил сто крон и уехал. А я осталась.

Анна, тихонько засмеявшись, отворачивается и задерживает дыхание.

— И что ты делала?

— Это было воскресенье, а сегодня, по твоим словам, вторник. Не знаю, все смешалось. В основном я бродила по комнатам. Вообще-то интересно.

— Ты уедешь завтра рано утром.

— Прости? Да... Уеду? Не знаю. Хотя пожалуй.

— Конечно, уедешь. Если хочешь, я провожу тебя. Присмотрю, чтобы ты села на нужный поезд и так далее. — Все-то ты решаешь и устраиваешь.

— Кандидат забыл свои ноты.

— Мы планировали, что он поиграет в церкви, вот он и взял кое-какие ноты. Но с этим ничего не вышло. Ой, больно.

— У тебя что-то болит?

— Да, зуб. Я была у зубного за день до отъезда, он вскрыл его и почистил. У тебя есть магнецил или что-нибудь еще?

— Да, в саквояже, подожди, я принесу. Кажется, я оставила его в прихожей, да, именно так. Вот он. Ну-ка посмотрим, я точно знаю, что... вот они, я же *знала.* На, запей глотком чая. В чашке осталось. Вот так.

Анна хватает руку Мэрты и прижимает ее ладонь к своей щеке. И бормочет что-то вроде того, что как мне, мол, повезло, повезло, потому что у меня есть подруга, она такая славная и ни о чем не спрашивает.

— Значит, договорились — едем завтра утром.

— Одно я знаю наверняка.

— И что же?

— Знаю, что поступила несправедливо с Тумасом, навязав ему эту поездку.

— Он ведь мог отказаться.

— Интересно, каким образом? Я прямо бредила ею. Нет, нет. Нет. Он, пожалуй, пытался возражать. Робко, тихо.

Вновь смех, негромкий и чужой. Анна, забравшись с ногами на пышный диван, укрытый белым летним чехлом, кладет голову на расшитую подушку. Мохнатый плед министерши натянут до подбородка. Мэрта устроилась на том же диване, ее рука лежит на закрытой пледом ступне Анны.

— Самое ужасное, самое ужасное...

— Да?

— Знаешь, что чудовищнее всего?

— Нет.

— Я видела лицо *Хенрика.* Ты когда-нибудь задумывалась об этом странном феномене — человек не помнит лиц, которые видит каждый день? Я пытаюсь вспомнить мамино лицо — или твое, или лица детей — и не могу. Если я вижу сон, то *знаю,* что мне снится какой-то близкий мне человек, которого я встречаю ежедневно. Сон говорит мне, что это так, — но лицо редко бывает тем самым, это незнакомое лицо. И вдруг, когда я бродила по дому — это было, наверное, в воскресенье вечером, потому что началось... нет, это было, пожалуй, в понедельник вечером... или?.. Не знаю. Но вдруг я увидела лицо Хенрика. И это причинило мне страшную боль, потому что это был вовсе не тот Хенрик, не сегодняшний. Не то властное, или злое, или плачущее лицо, не тот Хенрик, который жалуется или испытывает страх. Не маска. Не тот Хенрик, требующий, угрожающий или попросту глупый. Это было другое лицо, но, несмотря на это, я знала, что это Хенрик. Но вовсе не тот Хенрик, которого я любила много лет назад, когда мы были молодыми! Умоляющее, мягкое, радостное, неуверенное, исполненное любви, милое лицо! Это был не *тот* Хенрик. Нет, я увидела старое лицо — Хенрика-старика. Ему было около восьмидесяти. Но я видела его — раз за разом — не перед собой, не как привидение или что-нибудь в этом роде. Нет, я видела его за глазными яблоками. Картина была очень отчетливой, возникала вновь и вновь и причиняла боль. Мне хотелось захныкать, пожаловаться, но ничего не получалось. Я только смотрела и смотрела, и это было почти невыносимо. Лицо Хенрика выражало столько горя, ранимости и решимости... я ведь знаю, что *он — старый ребенок.* И это мне он выпал на долю. И мне кажется, что моя роль в том, чтобы наносить ему незаживающие раны. Воспаленные раны — самые болезненные. Которые всегда будут воспаленными, никогда не затянутся. И он цепляется за меня, а я пугаюсь и прихожу в бешенство, и когда он всерьез угрожает моей жалкой свободе, я наношу ему смертельную рану. Я бы, наверное, могла убить. Его. А оружие — Тумас.

Анна спокойна, говорит спокойно. Око шторма. Время как

во сне.

— А Тумас?

— Тумас меня покинул, но я его не покину.

Голова откидывается на расшитую подушку, Анна натягивает плед на плечи. «Схожу на кухню, посмотрю, что у нас есть на обед», — сухо говорит Мэрта и удаляется.

На журнальном столике лежит дедушкино обручальное кольцо.

БЕСЕДА ПЯТАЯ (ОКТЯБРЬ 1934 ГОДА)

Воскресенье 14 октября 1934 года, 11 часов утра. Место действия — Уппсала, возле углового дома на пересечении Эвре Слоттсгатан и Скульгатан. Все утро идет дождь, с равнины дует пронизывающий ветер, он предвещает снег. Как раз в этот момент тучи разошлись и над университетом Густавианум выплыло низкое, укутанное тонкими завесами солнце. Домский собор и церковь Троицы колоколами созывают на мессу. Улицы пустынны.

Такси останавливается у подъезда по Скульгатан, 14. Из машины выходит Анна, открывает сумочку и достает маленький замшевый кошелек с посеребренным замочком. Она платит одну крону двадцать пять эре и дает еще двадцать пять эре на чай. Шофер, краснощекий парень с отвислыми усами, молча кивает, включает передачу и исчезает в облаке дыма.

Анна какую-то минуту стоит в задумчивости. Ей сейчас сорок пять, лицо почти не изменилось — появились игольчатые морщинки вокруг глаз, губы стали пухлее, мягче. Нос чуть покраснел от ветра. Глаза серьезные, взгляд выражает пытливое любопытство. На лбу глубокая поперечная складка. В остальном же — прямая спина, элегантное зимнее пальто, черная шляпка с короткой вуалью, перчатки и ботики.

Она быстрым привычным движением смотрит на ручные часы, хотя прекрасно знает, что сейчас — пять минут двенадцатого, поскольку колокола только что перестали звонить. Она приехала слишком рано, но после короткой прогулки по Слоттсгатан все-таки решила войти. С некоторым усилием она открывает тяжелую дверь, холл подъезда выглядит весьма внушительно — покрытые ковром мраморные ступени, цветные окна и резная дверь во двор. С потолка, расписанного в стиле модерн, свисают могучие медные абажуры с матовыми лампочками. Запах свежей краски и позднего завтрака.

Споро преодолев два пролета, Анна звонит в правую из двух имеющихся на этаже покрытых белым лаком застекленных двойных дверей. Открывает высокая, худая женщина. Ей лет семьдесят, живые серо-голубые глаза, высокий лоб, узкий, красивой формы нос, тонкие губы и слегка обвисшие бледные щеки. Редкие волосы туго стянуты на затылке в безыскусный узел. Это, стало быть, Мария.

— Ой, Анна, как хорошо, уже пришла! Входи, входи. Как приятно видеть тебя, ты такая же красивая, как всегда. Вот тебе плечики, подожди, я повешу. Поцелуй меня.

Анна, пробормотав какие-то извинения за слишком ранний приход, наверняка с большой любовью ответила на приветственный поцелуй и, сев на белый плетеный стул, сняла ботики, которые поставила на полку для обуви под вешалкой. Потом она приглаживает непослушные волосы и вынимает из сумочки пудреницу. Высморкавшись с негромким трубным звуком, она тщательно пудрит нос. — Как только осень, нос у меня сразу делается большим и красным — так было с детства.

Критический взгляд и относительное удовлетворение. На Анне синее шерстяное платье по икры, юбка на пуговицах, широкие рукава заканчиваются кружевными манжетами, круглый воротник, тоже украшенный кружевом, схвачен на горле камеей, в ушах — бриллиантовые сережки.

— Якоб спит. Утром у нас был доктор Петреус, сделал ему укол морфия. Теперь он проспит с час или около того.

— Как он себя чувствует?

— Дело идет к концу, счет пошел на дни, по словам доктора. Иногда бывает тяжело. У него страшные боли, и тогда помогает только морфий. А в промежутках между приступами он чувствует себя относительно неплохо, даже, бывает, съедает что-нибудь, но, в основном, лишь выпивает стакан молока или бульона — или шампанского.

Мария с усмешкой делает легкое движение своей большой исхудалой рукой.

— Не ужасайся. У нас вовсе не дом печали. Здесь живут и страдания, и физическое унижение, и некоторое нетерпение из-за того, что смерть так медлит. Но мы не предаемся горю. Ни я, ни Якоб.

— Мария, вы уверены, что у дяди есть силы повидать меня?

— Он говорит о тебе ежедневно. Иначе я бы, как ты понимаешь, не позвонила.

— Хенрик передает самый горячий привет. Он не мог прийти из-за мессы.

— Видишь ли, Анна, на этом-то и строился расчет. Якоб попросил меня узнать, когда у Хенрика месса, ну и...

Заговорщически улыбаясь, она тянется к серебряной шкатулке, стоящей на круглом столике в гостиной, берет сигарету и тут же закуривает.

— Тебе не предлагаю, поскольку помню, что ты не куришь. Надеюсь, ты извинишь меня.

Анна кивает, вежливо улыбаясь. Мария откидывается на спинку небольшого обитого зеленой тканью кресла. Характерным жестом она закладывает правую руку за спину, а левой держит у губ сигарету.

— В пятницу у нас был тяжелый день. У него раздулся живот, прямо до смешного. Доктор Петреус выкачал целые литры жидкости. И сразу полегчало. Но самое ужасное все-таки, когда его рвет желчью. Приступы накатывают волнами, чудовищные, — он задыхается, корчится в судорогах. Мы бессильны — доктор, сестра и я, — ничего не помогает, ни морфий, ничего. У него метастазы везде, рак точно взбесился.

Она умолкает и смотрит в потолок. Потом переводит ясный, прямой взгляд больших серо-голубых глаз на Анну. Лицо ее в жестком октябрьском свете, резко оттеняемом низким октябрьским солнцем, бледно. Нет, она не плачет.

— Мы прожили вместе уже почти пятьдесят лет. Мне было двадцать один, когда мы поженились. Если бы мы смогли вновь встретиться после смерти, если бы такая таинственная возможность существовала, то все это — внешнее — было бы легко нести. И смерть была бы облегчением, потому что Якоб освободился бы от своих страданий, а я — от трудного ожидания, но смерть есть смерть. Никаких загадок, никаких красивых тайн. Кстати, знаешь, что странно: в особо мучительные минуты мне в голову приходит утешающая мысль — развод был бы, если бы мы плохо с ним жили в браке, намного болезненнее. Но мы жили счастливо, поэтому...

Она молча курит, потом гасит окурок в пепельнице, вскакивает и расправляет юбку на костлявых бедрах.

— Спасибо, что выслушала меня. Знаешь, я не слишком-то люблю говорить об этом. Пойду посмотрю, не проснулся ли Якоб.

У двери она поворачивается и как бы мимоходом бросает:

— Я забыла сказать, что сегодня придет пробст Агрелль. Якоб хочет, чтобы тот его причастил. Он будет здесь в час. Я позову тебя через несколько минут.

Библиотека представляет из себя большую прямоугольную комнату с двумя окнами, выходящими на Эвре Слоттсгатан, вдоль стен — забитые книгами шкафы. Посередине стоит внушительных размеров заваленный письменный стол. Узкий дверной проем ведет во внутренние покои, где виднеется кровать с высокими спинками. У стола — кресло с мощными подлокотниками и высокой спинкой. В кресле сидит Якоб. Он в опрятном темном костюме, висящем мешком на его истощенной фигуре. Белый жесткий воротничок на несколько номеров велик, руки покоятся на подлокотниках — большие и бессильные, кисти высовываются из чересчур просторных манжет. Но узел на галстуке безупречен, высокие ботинки блестят, холеные седые усы. Ничто в старом господине не указывает на близкую смерть.

Анна целует дядю Якоба в щеку и обнимает его вместе с

креслом, оба растроганы и чуть неуклюжи. Якоб кладет свою большую ладонь на ее волосы и прижимает ее голову к своему плечу.

— Дорогая Анна, как хорошо. Дорогая Анна. Ты все такая же. Дорогая Анна.

— Давно мы не видались. Правда ведь давно?

— Да, погоди-ка. Погоди, дай вспомнить. Мы встречались в церкви Хедвиг Элеоноры два, нет, три года назад. Хенрик произносил проповедь. Было просто-напросто Соборное воскресенье 1931 года, и ты, Анна, пришла туда с детьми и каким-то немецким мальчиком — разве не так?

— Да, с Хельмутом.

— Географически отдаляешься от человека, даже если расстояние не такое уж... Географически — да. Но не то — как бы это сказать, — не то чтобы это особенно задевало. По крайней мере не чувства. Я часто думаю о тебе, Анна.

— А я думаю о...

Они сейчас совсем близко, так близко, что видят лишь кусочек лица и глаза. Анна во внезапном порыве проводит рукой по щеке Якоба.

— Не стану жаловаться. Я живу хорошо, несмотря на весь этот кошмар. Только вот больно долго. Она не торопится, эта самая. Это мне за то, что я всегда был нетерпелив и в то же время ленив. Сейчас я вынужден напрягаться. Час за часом, минута за минутой. А я — я хочу быть на ногах, в костюме. Хочу почаще сидеть в этом кресле. Тогда мне легче дышится. Хотя порой бывает тяжко — здесь, среди моих старых книг. И Мария открывает окна, впуская холодный воздух, ты понимаешь. У меня крепкое сердце. Бьется и бьется. Как-то вечером оно заколотилось и встало — в раздумье, и я подумал — сейчас! Но не тут-то было! И я сделался морфинистом. Это самое прекрасное в этой длинной и тоскливой истории. Тебе, наверное, кажется, что я эдакий болтливый бодрячок, — так это потому, что мне недавно сделали укол, и это как рай — не могу вообразить себе ничего более милосердного. Сначала боль и муки, а потом никакой боли — одна эйфория. Так что приходится делить время на доброе и злое. Мария читает мне вслух по нескольку часов в день — я слишком измотан, чтобы читать, да и голова в тумане. Но мы читаем «Сокровище королевы»[85]. Иногда приходит органист Домского собора, этот, как его там зовут — видишь, Анна, какой я стал бестолковый, — вот, Аксель. Аксель Мурат. Приходит и играет на рояле в гостиной — в основном Баха, «Хорошо темперированный клавир». Хотя сейчас у меня нет потребности в общении, только устаешь. Друзья думают, что мне приятны гости, а это вовсе не

так. Вот Мария и отказывает всем направо и налево. Одно лишь по-настоящему неприятно во всех этих неприятностях — то, что я не могу есть. Только чуточку жидкости, и это очень грустно. Я вспоминаю времена, когда был обжорой и настоящим чревоугодником. Наесться до отвала, вкусно поесть и вкусно выпить. Иногда, когда я остаюсь один (и, конечно, если боли терпимые), представляю себе разные блюда. Да, это, верно, кара, ведь обжорство — один из смертных грехов. А как ты, Анна? Как дела?

Вопрос прямой, задан строгим голосом и сопровождается испытующим взглядом. Прошу, мы перешли к делу. Анна колеблется, она в смятении, покраснела.

— Что вы имеете в виду, дядя Якоб?

— То, что я спросил, и ничего больше. Как дела?

Тон нетерпеливый, не приемлющий уверток. Отвечай же, прошу. Анна не решается, на какое-то мгновение ее накрывает тенью гнева, и она говорит, что ничего особенного, все как обычно. «Все хорошо, было бы неблагодарностью жаловаться. Да, и дети здоровы. У мамы было воспаление легких, но она уже поправляется. А Хенрик в большом напряжении в связи с предстоящими выборами настоятеля — ну да вы знаете. Решение правительства затягивается. Энгберг против, но старый король, похоже, хочет Хенрика, вот назначение и отложили, как это называется. И это, конечно, действует на нервы».

Старик делает нетерпеливый жест, проводит рукой по лицу и, саркастически улыбнувшись, откашливается.

— Коммюнике мне ни к чему. Я хочу знать, как вы живете, ты и Хенрик, как все уладилось. Мы не говорили серьезно десять лет. Так что, возможно, пора. Я где-то прочитал, что Тумас женился, и я слышал, что он получил назначение в окрестностях Уппсалы.

— Я тоже слышала.

— Какая ты стала немногословная, Анна. Разве я не достоин того, чтобы узнать, чем все кончилось?

— Достойны, только не знаю, есть ли о чем рассказывать.

— Я попросил Марию связаться с тобой потому, что не хочу сходить в могилу, не зная, чем кончилось дело. Анна, я всегда считал тебя моим ребенком, моей дочерью. Не проходит дня, чтобы я не думал о твоей жизни. Я отметил, что брак не распался. Много раз я собирался поговорить с тобой. Но я — ленивый и непредприимчивый тип, который охотно отодвигает в сторону все, что может нарушить его покой, так что я, как обычно, откладывал и откладывал, пока вдруг все не ушло в далекое прошлое. Но вот теперь. В долгие часы болезни наша беседа всплыла в моей памяти и не давала мне покоя. И в конце концов я

попросил Марию разыскать тебя. И сейчас, Анна, мы с тобой здесь, лицом к лицу. Время настало.

Настоятель говорит быстро и горячо, внезапно силы у него иссякают, и он отворачивается, поэтому Анна не видит его глаз. Левой рукой, украшенной кольцами, она разглаживает гладкую синеву юбки.

Поскольку молчание затянулось, настоятель переводит взгляд на Анну и требовательно глядит на нее: я хочу знать.

— Я сделала, как вы мне посоветовали, дядя Якоб. Когда я приехала на дачу, мне показалось это уместным, потому что мы с Хенриком были одни. Ну, я и рассказала все, как есть, ничего не утаила. Даже самое мучительное. Я закончила рассказ, наступило долгое молчание. А потом Хенрик сказал: «Бедняжка Анна, как тебе, должно быть, тяжело». Мы начали говорить, и я осмелилась поведать о себе больше, чем когда-нибудь за двенадцать лет совместной жизни. Это был очень странный вечер, и я вспомнила ваши слова, дядя Якоб, о том, что надо дать Хенрику шанс созреть. Никаких попреков, никаких угроз, никакой горечи. Никакой злобы.

— Вот видишь, Анна! Видишь!

— Вижу.

— А потом?

Анна задумывается. Ладонь с кольцами гладит синеву юбки.

— Я последовала вашему совету. Порвала с Тумасом. Было тяжело, но ведь после того, как я открылась Хенрику, тайная жизнь не могла продолжаться. И я порвала с Тумасом. Не обошлось, конечно, без слез. А теперь это все лишь прекрасное воспоминание. И Тумас женился, да вы знаете. Я его больше не вижу.

— А переутомление Хенрика?

— Он невероятно много работал. Он всегда чудовищно много работает — он ведь не в силах отказать, если люди просят. А тот год был тяжелым во многих отношениях. Дети болели. Я тоже болела. Потом у Хенрика наступил нервный срыв. Да ведь вам все это известно, дядя Якоб. Я не пыталась влиять на него, выжидала. Когда Хенрик должен был вновь приступить к работе, возникли, естественно, проблемы. Ну и больше, собственно, рассказывать не о чем. Я перенесла две операции и чуть не умерла. Приехала мама, взяла хозяйство в свои руки. Это было, наверное, нелегко: Хенрик и Ма никогда не ладили, хотя с годами, пожалуй, подуспокоилось но враждебность — тяжкий груз не стану отрицать...

— А как у Анны с Хенриком?

— Анна с Хенриком живут в дружбе. Мы даже можем

ссориться без неприятных последствий — раньше такого не бывало. Хенрик понимает, что мне нужно немножко свободы, совсем чуть-чуть. Так что следующим летом я с двумя другими женщинами поеду в Италию, похожу по музеям.

Якоб, глубоко вздохнув, закрывает глаза. На губах играет слабая улыбка.

— Откровенно говоря, я беспокоился. Но не решался спросить. То, что ты мне рассказала, сняло бремя с моей души. Я говорю, как старый Симеон в храме: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром».

Он привлекает Анну к себе и неуклюже, плотно сжатыми губами целует возле уха. У него вырывается сухой всхлип.

— Прости, от меня, наверное, дурно пахнет. Я с большой нежностью думаю о твоем мужестве, Анна. Помнишь, как мы стояли на Домском мосту и пересчитывали семь мостов Уппсалы?

— Помню.

В порыве сильного душевного волнения Анна осторожно высвобождается, отходит к окну, тыльной стороной ладони вытирает глаза и сопит — нет, не плакать, не плакать.

Тихонько вошедшая в комнату фру Мария подходит к мужу. Они о чем-то шепчутся. «Да, так и сделаем», — отчетливо говорит Якоб

— Анна, не подождешь за дверью несколько минут? Мы сейчас закончим, — говорит Мария.

Анна отвечает «разумеется», бесшумно выходит, прикрыв за собой дверь, и вдруг оказывается перед пробстом Агреллем в полном пасторском облачении. Он несколькими годами старше Якоба, но его красноватое лицо пышет здоровьем, мягкие седые волосы густы и зачесаны назад, открывая выпуклый лоб. Льдисто-голубые глаза смотрят с любопытным вниманием.

— Я — один из самых старых друзей Якоба. Он просил причастить его именно сегодня, в день нашего совместного посвящения в сан пятьдесят два года тому назад.

Мария, приоткрыв дверь, сообщает, что теперь можно войти. Распахивает дверь настежь и пропускает пробста, а сама выходит, закрывает дверь и застывает в некоторой растерянности.

— Якоб пожелал остаться с ним наедине пару минут. Слабый взмах руки и извиняющийся взгляд: «Ты останешься?»

— Да.

— По-моему, Якоб будет рад, если ты…

— Да.

— Я помню тот вечер давным-давно, кажется, это был 1907 год, когда Якоб вошел ко мне, присел на краешек кровати и сказал: «Представляешь, Мария, Анна Окерблюм говорит, что не

хочет идти к причастию». После этого он не спал всю ночь. Был удивлен, раздосадован и страшно огорчен. Но ты все-таки пошла.

— Да, пошла.

— А причина? Мне просто любопытно.

— Причина проста. Когда я сообщила маме, что не собираюсь идти к причастию, она здорово рассердилась и сказала, что мне должно быть стыдно, что я эгоистка, избалованная девчонка, что это будет *позором* для семьи и что она не потерпит подобных глупостей. Перед тем как хлопнуть дверью, она повернулась и добавила, что намерена отменить нашу поездку в Грецию, но, разумеется, я свободна поступать, как хочу, должна следовать собственной совести, и никто не будет меня принуждать. Вот я и пошла к причастию.

Обе улыбаются при мысли о матери Анны, решительной, но сейчас уже дряхлой старой даме в большом доме на Трэдгордсгатан.

— Анна, передай от меня привет Карин. Жалко, что мы так давно не виделись. Но уж больно много было всяких болезней и забот в последнее время.

— Обязательно передам.

Дверь приоткрывается. Мария протягивает свою длинную худую руку Анне, и они входят в комнату больного.

Длинный прямоугольный стол у кресла Якоба расчищен. На нем стоят две зажженные свечи в оловянных подсвечниках. На вышитой скатерке — позолоченная чаша с вином. Перед чашей — блюдо, тоже позолоченное, с облатками. Пробст Агрелль склонился над больным. Они шепчутся. Слепящий луч низкого солнца прорезает комнату, рисуя беспорядочные узоры на сокровищах книжных шкафов. Часы в гостиной только что пробили час. Доносится колокольный звон с церкви Троицы. Пробст кивает вошедшим, приглашая их подойти поближе — они остановились в дверях. Мария, повернувшись к Анне, вновь протягивает ей руку и ведет за собой. Анна не сопротивляется. Пробст стоит перед Якобом, который закрыл глаза. Большие ладони покоятся на широких подлокотниках. В резком свете он смертельно бледен, кажется отсутствующим, но, похоже, в настоящий момент боли не испытывает. Он сидит выпрямившись. Опрятный и собранный. Мария приглаживает ему волосы и смахивает пылинки с плеча пиджака. Быстро наклоняется и что-то шепчет в его большое ухо. Почти незаметно улыбнувшись, он шепотом отвечает, глаза по-прежнему закрыты.

Агрелль берет молитвенник, лежащий на временном алтаре, и после короткого раздумья начинает тихо читать первые слова причастия. Он целиком обращается к больному, обволакивает его

голосом и мыслью. Мария смотрит на свои сцепленные пальцы, она собранна, словно перед ответственным заданием, приближающимся к своему полному завершению. Анна повернулась к слепящему свету, слезы, сдерживаемые слезы, застрявшие в горле и щекочущие нос, постарайся дышать ровно, это не выразить словами, это за пределами облекаемых в слова чувств. Там Якоб и его жена Мария, сейчас. В этот миг. Если отвести взгляд от слепящего света между торцом дома и могучим деревом. Она не может. Но она знает.

Агрелль читает стоя:

— «Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание.

И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая в оставление грехов; сие творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание.

Отче наш, иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли.

Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим;

и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого;

яко Твое есть Царство и сила и слава, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

Анна и Мария, коленопреклоненные, повторяют слова молитвы. Якоб с усилием сцепил пальцы — веки по-прежнему смежены. Лицо спокойно, под глазами внезапно появились черные тени. Он шевелит губами, но слов разобрать нельзя.

Пробст, взяв блюдо с облатками, делает шаг к больному, наклоняется над ним. Якоб открывает рот.

— Телом Христовым тебя причащаю. — Пробст кладет руку на голову Якоба. Потом, повернувшись к Марии, протягивает ей облатку. Она принимает ее, подняв голову.

— Телом Христовым тебя причащаю. — Он держит руку над ее жидкими седыми волосами, освещенными резким светом. Наконец делает шаг в сторону Анны, но та трясет головой — нет, нет. Пробст Агрелль не замечает — или не хочет замечать — ее сопротивления.

— Телом Христовым тебя причащаю. — Облатка. Благословение. Он не смотрит на Анну. Никто не видит ее, кроме нее самой. Тяжесть. Ей хочется рухнуть на пол. Но она сдерживается.

Теперь пробст осторожно подносит к губам больного чашу.

— Кровь Христова изливается за тебя. Поворачивается к Марии, которая принимает милость, приблизив губы к чаше.

— Кровь Христова изливается за тебя. Наконец — Анна. Наконец — Анна.

— Кровь Христова изливается за тебя.

Пробст Агрелль отступает назад и говорит собравшимся:

— Господь Иисус Христос, чье Тело и Кровь вы вкусили, да сохранит вас в жизнь вечную! Аминь.

Якоб открывает глаза и смотрит на своего брата по служению с едва заметной улыбкой.

— Не забудь псалом.

— Сейчас.

Якоб снова закрывает глаза, а пробст читает:

— И молю я напоследок, Боже милый мой, в Свою руку Ты мою возьми и в блаженную страну веди. Там кончаются страданья. Там надежда не нужна. Вот Тебе душа моя. Забери ея…

Якоб в тяжелейшей судороге сгибается пополам, он пытается прикрыть руками рот, но с губ сочится желтоватая, с примесью крови, жидкость, которая течет по подбородку. Еще один чудовищный спазм, рот открывается, из него с глухой отрыжкой извергается кровь и слизь. Больной хочет встать с кресла, но падает назад, задыхается. Анна, взяв его руку, поднимает ее над головой, жена схватила другую руку, но из горла опять вырывается серая вязкая жидкость, стекающая по темному костюму. Приступ стихает, он продолжался всего пару минут. Агрелль большим носовым платком вытирает Якобу рот и нос. Мария торопливо говорит, что вроде бы сестра Эллен еще не ушла, она обещала подождать. Пожалуйста, Анна, приведи ее, она где-то в квартире.

Анна бежит через гостиную в прихожую, дверь в кухонный коридор открыта. На кухне Анна видит сестру Эллен, перед ней чашка кофе и «Уппсала Нюа Тиднинг». «Пожалуйста, сестра, идите побыстрее. Настоятелю плохо». Сестра спешит на помощь, Анна остается в прихожей. Она слышит голоса и быстрые шаги. В ванной льется вода, шумит в трубах, хлопает дверь.

ЭПИЛОГ-ПРОЛОГ (МАЙ 1907 ГОЛА)

— Итак, конфирмант находится перед самим Господом — перед лицом Божьим. Господь принимает тех, кто обращается к Нему. На причастии Он хочет видеть тех, кому нужно прощение, кто хочет быть Его детьми. Дорогие друзья, а сейчас давайте все вместе прочитаем благословение: «Да благословит нас Господь и сохранит нас; да призрит Господь светлым лицем Своим и помилует нас; да обратит Господь лице Свое на нас и даст нам мир! Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

Это говорится майским вечером в одном из боковых приделов Домского собора, где Якоб собрал своих учеников перед предстоящим им завтра первым причастием. Шестнадцать человек, из них четверо — юноши. Год — 1907-й, одна из девушек — Анна Окерблюм, семнадцати лет.

На сохранившейся фотографии она сидит справа от пастора собора, на ней красивое, сшитое специально для конфирмации платье. Голова чуть выдвинута вперед, она пристально разглядывает меня.

В этот же вечер она одета буднично — клетчатая блузка с широким кружевным воротником, заколотым серебряной брошью, и синяя, в складку, юбка из тонкой шерсти. На безымянном пальце правой руки — кольцо с маленькой камеей. Возможно, эта юная дама и не красавица, но она выделяется, не прилагая к тому ни малейших усилий.

Якобу сорок шесть, это высокий, широкоплечий, грузный человек с крупными руками, облаченный в пасторский сюртук безупречного покроя и бросающейся в глаза элегантности. Каштановые волосы расчесаны на косой пробор, глаза большие, ярко-голубые, чуть навыкате, высокий лоб, густые, прямые брови. Нос величественно доминирует на его тяжелом лице. Широкие губы частично скрыты под мощными, немного непослушными усами, подбородок тоже широкий, хорошей формы. Насколько я помню, у него был низкий голос с призвуком диалекта.

В настоящее время — то есть в 1907 году — Якоб вот уже несколько лет служит в епископальном приходе, и ожидается, что в недалеком будущем он станет епископом. Должен добавить, что он давно желанный гость в окерблюмовском доме на Трэдгордсгатан.

— В половине одиннадцатого собираемся в приходском зале. Когда колокол пробьет без четверти одиннадцать, мы все вместе отправимся в церковь. Я остановлюсь возле зарезервированной для вас скамейки и прослежу, чтобы всем хватило места. Каждый

должен взять сборник псалмов. До мессы принимать цветы или подарки нельзя. Поблагодарим же друг друга за сегодняшний вечер и увидимся завтра на нашем общем торжестве. Доброго вечера и спокойной ночи, мои ученики.

Пастор на секунду склоняет голову и закрывает глаза, потом смотрит на учеников с отсутствующей улыбкой: можете идти. Молодые люди немедленно следуют его призыву, сперва молчаливо и серьезно, а через несколько минут с шумом и гамом.

Материализовавшийся у алтаря бокового придела церковный сторож господин Стилле выравнивает ряды стульев и поднимает с пола оброненный сборник псалмов. Якоб какое-то время стоит и задумчиво глядит вслед ученикам.

— Ужас, до чего они расшумелись, — констатирует господин Стилле. — Кто-то забыл свой сборник псалмов, даже на пол уронил. Да-да-да. Тут подписано, но я не большой мастак читать написанное от руки. Что-то вроде Самселиуса?

— Господин Стилле, если вы все равно идете в приходской зал, будьте добры, положите книгу на стол у окна.

— Хорошо, господин пастор.

— Пойду за пальто. Спокойной ночи, господин Стилле.

— Спокойной ночи, господин пастор.

Якоб торопливо направляется в ризницу, представляющую из себя большую, неправильной формы комнату. Сонные лампочки в зеленых абажурах теряются в высоте свода. Вдоль стен стоят застекленные шкафы с облачением и реквизитом для церковных ритуалов. В центре — стол из светлого дуба, который сторожат шесть стульев с высокими резными спинками и потертой черной кожаной обивкой. У двери узкое, в человеческий рост зеркало. В этом темном помещении холодно, пахнет известкой, плесенью и костями мертвецов.

В комнате три двери: одна, сводчатая, ведет в алтарь, другая, узкая и высокая, с лесенкой, — на кафедру, а третья, широкая, двойная, — к северным воротам церкви.

Анна стоит возле двойной двери. Она в светлом демисезонном пальто и пыльной шляпке с длинной булавкой. В затянутых перчатками руках — сборник псалмов. Пастор, успевший уже надеть пальто и взять с полки шляпу, обнаруживает Анну и останавливается.

— Я бы хотела с вами поговорить, дядя Якоб. Если это возможно. Я хочу сказать, если у вас есть время. Это ненадолго.

— Было бы лучше подождать с беседой до следующей недели. В среду у меня будет сколько угодно времени.

— Тогда будет поздно.

— Поздно? Что ты имеешь в виду?

— Мы можем сесть? Всего на пару минут.

— Конечно, разумеется. Я только скажу господину Стилле, чтобы он подождал гасить свет и запирать.

Якоб исчезает в глубинах церкви, слышно, как он разговаривает со сторожем: «Нет-нет, конечно, у меня есть дела. Скажете, когда надо, — я буду тут».

Якоб возвращается, кладет шляпу на стол и садится на стул с высокой спинкой. Анна сидит у дальнего закругления стола, на большом расстоянии. Поля шляпы затемняют глаза и лицо, придавая ей анонимность. Подняв руки, она вытаскивает блестящую булавку, откладывает шляпу в сторону и извиняюще улыбается:

— Это новая шляпа. Мне она показалась очень элегантной.

— Ну, постепенно дорастешь до нее. Она наверняка будет тебе к лицу.

Пастор уже совсем было собрался спросить, что за дело у Анны, но передумал, он ждет. У девочки явно что-то на душе, но ей трудно решиться.

— Да, папа просил передать вам, дядя Якоб, что вас ждут на обед в следующее воскресенье. Ведь тетя Мария на курорте, и папа думает, что вам одиноко.

— Очень мило, но я пока не знаю.

— В воскресенье в три часа в большом зале университета будет выступать квартет Аулина, а потом они придут к нам на обед. Папа сказал, что они приятные люди и что вы, дядя, знакомы по крайней мере с двумя — Туром Аулином и Рудольфом Клаэссоном. А вечером мы помузицируем.

— Да-да, весьма соблазнительно.

— Мама позвонит. Но я, собственно, не потому...

— Понимаю.

Ожидание. Анна, ковыряя сломанный ноготь, пытается что-то сказать. Якоб ждет, не торопит ее.

— У меня одно затруднение.

— Не сомневаюсь.

— И я боюсь, что вы рассердитесь.

— Не думаю, чтобы ты, Анна, могла сказать нечто такое, из-за чего я бы рассердился.

Ожидание. Анна извиняюще улыбается, на глазах у нее выступают слезы.

— Дело вот в чем.

— Ну, Анна. Давай же, говори!

Пастор остается в неведении, в чем же дело. Но он не задает наводящих вопросов, не делает попытки выведать.

— Да. Дело вот в чем. Я не хочу идти к причастию. Вынув

платок из сумочки, она сморкается.

— Если ты, Анна, не хочешь идти к причастию, значит, у тебя должны быть веские причины.

— Я пытаюсь представить себя стоящей на коленях возле алтаря, и облатка, и вино — нет. Это было бы обманом.

— «Обман» — сильное слово.

— Тогда ложью, если это лучше. Приняв участие в этом ритуале, я бы просто разыграла спектакль... Не могу.

— Давай немного прогуляемся. Пойдем в Одинслунд, полюбуемся на весну.

Анна кивает со смущенной улыбкой. Якоб придерживает дверь, и они проходят в церковь. Сумеречный свет за высокими окнами придает загадочную бесконечность сводам и галерее, где стоит орган. Сторож Стилле машет — «спокойной ночи». И запирает церковные ворота.

Медленным прогулочным шагом они пересекают Бископсгатан.

— Остановимся. Не замерзла, Анна? Нет. Давай присядем на скамейку. А известно ли тебе, что церковь Троицы изначально называлась Крестьянской церковью по названию прихода — Приход Крестьянской церкви. Он существовал еще в конце двенадцатого века. Здесь хорошо. Можем говорить о вечных вопросах под защитой вечности.

— Вы верующий, дядя Якоб? — Пожалуй, я могу ответить утвердительно. И скажу почему: есть факты, которые не в состоянии опровергнуть даже самый умный неверующий. Хочешь послушать?

— Да.

— Ну так вот. Когда Христа казнили, распяв Его, Он ушел из мира, Его больше не стало. Конечно, в Писании рассказывается о пустой гробнице, об ангеле, говорившем с обеими женщинами. Рассказывается и о том, что Мария Магдалина видела Христа и беседовала с Ним и что Учитель посетил своих учеников и позволил Фоме Неверующему дотронуться до Своих ран. Все это евангельские утверждения. Рассказы на радость и в утешение. Но они не имеют ничего общего с настоящим чудом.

— Чудом?

— Да, Анна. Чудом, непостижимым. Подумай об учениках, разбежавшихся в разные стороны, как испуганные зайцы. Петр отрекся. Иуда предал. Все было кончено, ничего не осталось. Спустя несколько недель после катастрофы они встречаются в тайном месте. Перепуганные, в отчаянии. Мучительно сознавая, что потерпели крах. Их мечты построить вместе с Мессией новое царство развеяны. Они унижены, им стыдно, трудно смотреть

друг другу в глаза. Они говорят о побеге, об эмиграции, о покаянии в синагогах и перед священниками. И вот тогда-то и происходит чудо — сколь непостижимое, столь и великое.

Якоб делает небольшую паузу — короткую искусственную паузу, наверное, чтобы проверить интерес своей слушательницы. Поблизости ни души. От длинных цветников Одинслунда и свежей зелени вязов исходит густой аромат. Маленький трамвай с трудом взбирается на пригорок возле университета Густавианум, скрежещет на повороте и соскальзывает на Бископсгатан, чтобы бесшумно исчезнуть внизу у Трэдгордсгатан. Слабо светятся окна вагона, он похож на скользящий голубой фонарь.

— Чудо?

— Да, невероятное. Самое достоверное, самое простое и в то же время самое великое из всех евангельских чудес. Представь себе учеников, сидящих в длинной сумрачной комнате. Возможно, они только что вкусили нехитрую трапезу, которая, быть может, напомнила им о последней вечере с Учителем. Но теперь они расстроены, в отчаянии и, как я говорил, напуганы буквально до смерти. И тут поднимается Петр, тот, что отрекся, и молча стоит перед товарищами. Они поражены — неужели *он* собирается говорить? Воистину оратором он никогда не слыл, а после катастрофы стал еще молчаливее. И тем не менее он стоит перед ними, собираясь что-то сказать, и начинает говорить, заикаясь, неуверенно. А потом с все большим жаром. Он говорит, что пора покончить с временем трусости и стыда, разве он сам и его друзья за девять месяцев не пережили удивительнейшие вещи, которые испокон веков не приходилось переживать ни одному человеку? Они слышали послание о непобедимой любви. Учитель смотрел на них, и они обратили к Нему свои лица. Они услышали и поняли. Осознали, что они избранные. Девять месяцев они жили, окруженные новым знанием и непостижимой заботой. И что же мы делаем? — спрашивает Петр, гневно обводя их взглядом. На дар Учителя мы отвечаем тем, что прячемся в норах, словно чесоточные крысы. Идут часы, дни и недели, говорит Петр, а мы тратим время, драгоценное время, на то, чтобы сохранить свою никчемную жизнь без всякой пользы. И сейчас я спрашиваю, говорит, стало быть, Петр, я спрашиваю, не пора ли нам в корне изменить положение вещей. Ибо нет ничего хуже, чем наша сегодняшняя жизнь или ее отсутствие. Зачем нам барахтаться во мраке и трусости, когда мы можем выйти на свет и сказать людям — стольким, скольким успеем, прежде чем нас схватят, подвергнут пыткам и казнят, — сказать, что в нашей жизни есть упущенная реальность, то есть любовь. У нас нет выбора, если только мы не предпочтем задохнуться в своих норах.

Подумайте: совсем недавно Учитель, случайно проходя мимо, *посмотрел на нас и назвал по именам* и велел следовать за ним. Он выбрал нас, каждого по отдельности и всех вместе, ибо знал или думал, что знает, что мы разнесем Его заповеди по всему свету.

Петр посмотрел на каждого из своих друзей и назвал их по именам. Их было одиннадцать, поскольку Иуда повесился. Тот, что был самым преданным и мстил, ибо считал себя обманутым. Помните, что сказал Учитель, когда позвал нас: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков»? Когда Петр закончил свою речь, все, собравшиеся в темной комнате, почувствовали большое облегчение. Зажгли лампы, разлили вино и определили, кто в какую сторону пойдет, дабы исполнить свою миссию. Назавтра рано утром они отправились в путь. И вот оно — *чудо:* за два года христианство распространилось по всему Средиземноморью и в большой части Франции. Миллионы и миллионы людей крестились и готовились выдержать пытки и преследования.

— Да.

— Вот так. Так выглядит чудо. И *на этом* я заканчиваю. Позорные деяния, совершающиеся во имя любви, — дело рук человека, сокрушительное доказательство того, что мы свободны совершать всевозможные преступления.

— Да.

— Понимаешь?

— Понимаю.

— Причастие — это подтверждение, которое должно напоминать тебе о твоей причастности к чуду.

— Следующей осенью я поступаю в медицинское училище.

— Вот как? Это решено?

— Да, решено. Мама хочет, чтобы я получила хорошую профессию и могла бы стоять на собственных ногах и быть независимой, как она выражается. Хотя, по ее мнению, затея насчет сестры милосердия не слишком удачна.

— Но это уже решено.

— Если я что-то решила, то будет так, как я хочу. О чем вы думаете, дядя Якоб?

— О чем думаю! Ну, не всегда надо говорить «я люблю тебя». Но можно совершать деяния любви.

— Именно так я представляю себе свою жизнь. После получения диплома сестры милосердия я собираюсь стать миссионером и поехать в Азию. Я уже говорила с Русой Андре, и она записала меня, но одновременно сказала, что я имею право передумать, поскольку я еще несовершеннолетняя.

— Но об этом твоя мать не знает.

— Нет, я не говорила с мамой.

В мае река Фюрисон превращается в стремнину, водопад, — вздымаясь, она бросается на камни набережной. Бурлит черно-бурая вода, глухо, порой угрожающе. Под Железным мостом стремнина нетерпеливо клокочет, кипит и грохочет, от нее исходит едкий запах и ледяной холод.

Они стоят на некотором расстоянии друг от друга, положив руки на парапет моста, и глядят вниз, на постоянно меняющуюся, кипящую воду. Еще не стемнело, но фонарщики уже принялись за дело. Анна, сняв свою элегантную шляпку, держит ее в руке. Вдруг она отпускает ее, и шляпка с булавкой, цветочными украшениями и шелковой лентой летит вниз, в буйный поток. Подхваченная буруном, она, кружась, исчезает под мостом.

— Уронила шляпу?

— Нет, она улетела.

Анна, перебежав на противоположную сторону, со смехом наблюдает, как забавно уносится вдаль ее головной убор. Якоб подошел поближе, он с удивлением, смешанным с уважением, смотрит на свою ученицу.

— Анна, ты выбросила шляпу?

— Ну да. Ведь вам она не понравилась.

И, повернувшись к нему, она обвивает руками его шею и лбом утыкается в его грудь, в грубую ткань летнего пальто и в жесткие пуговицы. Он делает движение, чтобы отодвинуться, но она не отпускает его — нет, погодите, это скоро пройдет, молчите, нет, подождите, ничего страшного.

Они замерли, Якоб бережно обнимает ее, она еще крепче вжимается лбом ему в грудь — нет, не надо, так хорошо. Помолчим.

— Ты не можешь запретить мне говорить, Анна.

— Но я *не хочу* разговаривать.

— А я хочу.

— И что вы хотите сказать?

— Да вот собирался сообщить, что на Фюрисоне семь мостов: Исландский, Вестготский, Новый, Домский, Железный, Хагалюндский, Лютагенский. Семь мостов.

— Семь, как смертных грехов.

— Можешь перечислить?

— Равнодушие, Гнев, Пьянство, Зависть, Похоть, Жадность, Гордыня. Получилось семь?

— Семь. Идем, Анна, а то замерзнем.

У берегового устоя они останавливаются и прислушиваются. Сквозь рокот воды доносится ясный звон колокола Гуниллы.

— Колокол Гуниллы пробил девять. Твой папа уже

недоумевает, куда ты подевалась.

— Мама уже сердится.

Вскоре они стоят на углу Дроттнинггатан и Трэдгордсгатан.

— Дальше я не пойду. Попрощаемся здесь.

— Спасибо. Спокойной ночи.

Тем не менее они не двигаются с места, он по-прежнему держит ее руку в своей. — Анна, если ты не захочешь идти к причастию, позвони мне завтра в восемь утра. Я буду у себя в кабинете. И ты скажешь, придешь или нет.

— Я позвоню. Самое ужасное — это мама и наши гости. И мое красивое конфирмационное платье. Вы ведь не видели моего красивого платья, дядя Якоб.

— Будь серьезной, Анна!

— Я серьезная, скоро всерьез зареву.

— Тогда иди к себе в комнату, запри дверь и поплачь. А поплакав, прими решение.

— Неужели вот так просто?

— Конечно. Так просто.

Коснувшись ее щеки, он быстрым шагом направляется в сторону Слоттсбаккен и «Каролины Редививы»[86]. Анна тоже не стоит на месте. Она спешит домой.

Форё, 8 июня 1994 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ЛАТЕРНА МАГИКА
ДЕТИ ВОСКРЕСЕНЬЯ
ИСПОВЕДАЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ

Редакционно-издательский комплекс «Культура»

Ингмар Бергман
ИСПОВЕДАЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ
Редактор В.А. Широков
Дизайн С.Е. Шановича
Перевод со шведского А.А. Афиногеновой
ЛР № 020022 от 2 июня 1997 г.
121835, Москва, ул. Арбат, д. 35
Издано при участии издательства «Книгописная палата» ЛР 00485 от 29.11.99
Подписано в печать 09.03. 2000. Формат 84x108/32. Усл. печ. л. 27,0. Тираж 2000 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов
в ООО ПФ «Полиграфист»,
160001, г. Вологда, ул. Челюскинцев, 3.
Тел.: (8172) 72-55-31, 72-61-75, факс 72-60-72
Заказ № 2043
ISBN 5-8334-0073-2
INGMAR BERGMAN. ENSKILDA SAMTAE
Norstedts Förlag Stockholm
ИНГМАР БЕРГМАН. ИСПОВЕДАЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ
Москва
РИК "Культура" 2000
Федеральная программа книгоиздания России
Редактор В.А. Широков
Дизайн С.Е. Шановича
Перевод со шведского А.А. Афиногеновой
Издательство благодарит Посольство Швеции за помощь в подготовке данного издания и Шведский институт (Стокгольм) за финансовую поддержку
Б 48
Бергман Ингмар
Исповедальные беседы. — М.: РИК «Культура», 2000. - 432 с.
ББК 85.373(3)
ISBN 5-8334-0073-2
© А.А.Афиногенова, перевод,
примечания, 2000 © Сергей Шанович, дизайн, 2000 © РИК «Культура», составление,
оформление, 2000 © Ingmar Bergman, 1987 © Norstedts Förlag AB, Stockholm

notes

Примечания

1

LATERNA MAGICA. © Ingmar Bergman, 1987. Norstedts Förlag, Stockholm.

2

Эстермальм — аристократический район Стокгольма (Здесь и далее прим. переводчика.)

З

Юргарден (букв. — зоопарк) — район Стокгольма, где расположены Сканеен (музей народной архитектуры на открытом воздухе), зоопарк и многочисленные музеи.

4

Форганг — цирковой занавес.

5

Колокол Гуниллы — отдельно висящий колокол в Уппсале, очевидно, названный в честь шведской королевы Гуниллы Бьельке (1568-1597).

«сестричка» *(нем.)*.

7

В Швеции Ваня — женское имя.

8

Rubato , сокращенное от *tempo rubato (итал.)* — свободное, не строго в такт, музыкальное исполнение; здесь — в переносном смысле — как несоблюдение общего ритма, постоянного на протяжении всего спектакля.

9

Муландер, Улоф (1892-1966) — один из основоположников шведской театральной режиссуры; прославился постановками пьес А. Стриндберга. В 1934-1938 гг. возглавлял Королевский драматический театр (Драматен). Спорадически работал в кино, поставил фильмы «Дама с камелиями» (1925), «Супружеская жизнь» (1926), «Только та, кто танцует» (1927), «Генерал фон Добельн» (1942), «Женщины в тюрьме» (1943), «Я убил» (1954), «Аппассионата» (1944), «Между нами, ворами» (1045), «Юханссон и Вестмэн» (1946). Младший брат известного шведского кинорежиссера Густава Муландера.

10

В пьесе эта реплика принадлежит Дочери.

11

Убивайте своих возлюбленных *(англ.)*.

12

Хансон, Ларс (1886-1965) - выдающийся шведский актер театра и кино. В 1913-1920 гг. играл в Интимном театре, с 1928 г. — актер Драматена. Снимался в знаменитых шедеврах шведского немого кино: «Ингеборг Хольм» (1913) В. Шёстрема, «Песнь о багрово-красном цветке» (1918), «Сага о Йосте Берлинге» (1924) М. Стиллера и др.

13

Имеется в виду Эрланд Юсефсон (род. 1923), известный шведский актер, театральный деятель и писатель. В 1966-1975 гг. возглавлял Драматен. Снимался во многих фильмах И. Бергмана. В 1985 г. снялся в фильме А. Тарковского «Жертвоприношение».

14

Нюквист, Свен (род. 1922) — выдающийся шведский кинооператор; систематическую работу с И. Бергманом начал в фильме «Источник» (1959) и с тех пор снял фактически все фильмы Бергмана. В 1985 г. снял фильм А. Тарковского «Жертвоприношение».

15

Шёберг, Альф (1903-1980) - выдающийся шведский актер, режиссер, известен блестящими постановками классики (Шекспир, Мольер, Стриндберг) на сцене Драматена. Среди фильмов наиболее выделяются «Травля» (1944, но сценарию И. Бергмана), «Фрекен Жюли» (1951), «Судья» (1960), «Отец» (1969).

16

Фильм, поставленный А. Вайдой в 1980 г.

17

Герои старинной шведской баллады для детей.

18

Имеется в виду Ингрид Карлебовон фон Русен, жена И. Бергмана с 1971 г.

19

В Швеции руководитель театра сочетает обязанности директора и художественного руководителя.

20

«Свенск Фильминдустри» — ведущая шведская кинокомпания по производству и прокату фильмов. Создана в 1919 г. Речь идет о фильме А. Шёберга «Травля».

21

Мармстед, Лоренс (1908-1966) — шведский продюсер, выпускал фильмы Х. Экмана, И. Бергмана, А. Матссона и других.

22

Дюмлинг, Карл Андерс (1898-1961), возглавлял «Свенск Фильминдустри» с 1942 г.

23

Мать-животное, матка *(дат.)*.

24

Шёстрём Виктор Давид (1879-1960) — известный шведский режиссер и актер. Поставил такие фильмы, как «Возница» (1920), «Тсрье Виган» (1916) и мн. др. Последняя актерская работа — роль профессора Борга в «Земляничной поляне» И. Бергмана.

25

Орден добрых темплиеров — организация трезвенников, первоначально созданная в США в 1851 г.

26

Линдблум, Гуннелъ — шведская актриса театра и кино. В 1954-1959 гг. работала в Городском театре г. Мальме иод руководством И. Бергмана. В 1968 г. была приглашена в Королевский драматический театр (Драматен) в Стокгольме. Снимается в кино. Среди фильмов: «Песнь о багрово-красном цветке» (1956, римейк) Г. Муландера; «Земляничная поляна» (1957), «Источник» (1959), «Гости к причастию» (1962), «Молчание» (1963), «Сцены из супружеской жизни» (1973), все — И. Бергмана; «Влюбленные пары» (1964), «Девочки» (1968), «Любовницы» (1968), все — М. Сеттерлинг; «Голод» (1966) Х. Карлсена, «Отец» (1969) А. Шёберга. С 1977 г. самостоятельно снимает фильмы: «Летний рай» (1977, по сценарию «Райская площадь», о котором далее идет речь в тексте), «Солли и свобода» (1980), «Летние ночи» (1987).

27

Шайн, Харри (род. 1924) — один из инициаторов создания Шведского киноинститута; в 1963-1970 гг. был его исполнительным директором, затем до 1978 г. — председателем правления.

28

Греде, Чель (род. 1936) — шведский кинорежиссер; среди фильмов: «Харри-весельчак» (1969), «Клара Желание» (1972), «Слово безумца в свою защиту» (1973, по роману А. Стриндберга), «Простая мелодия» (1974), «Моя любимая» (1979), «Гип-гип, ура!» (1987).

29

Имеется в виду Гун Хагберг, третья жена Бергмана (брак заключен в 1951 г.). в 1971 г. погибла в автомобильной катастрофе.

30

Полицейский Паулюс Бергстрём — комический персонаж из сатирического журнала «Грёнчёпингс веккублад», символ глупого полицейского.

31

Прессомбудсман — уполномоченный по прессе, осуществляющий надзор за соблюдением прессой законов и постановлений. Назначается правительством, однако не имеет права самостоятельно выносить решения.

32

Здесь — школьник, выезжающий по обмену в другую страну *(нем.)*.

33

Здесь — сестра-прислужница. Женщина, занимающаяся церковной благотворительной деятельностью *(нем.)*.

34

Дорогой Ингмар, это следует рассматривать просто как вежливость *(нем.)*.

Истории религии *(нем.)*.

«Буря» *(нем.)*.

Отравлено евреями *(нем.)*.

Ах, Иигмар, это не для иностранцев! *(нем.)*.

«Союз немецких девушек» *(нем.)*.

40

УФА («Унивсрзум-фильм-акциенгезельшафт») — крупнейшая немецкая кинокомпания, созданная в 1918 г. В годы фашистской диктатуры выпускала пронацистский киножурнал.

41

Имперская кинопалата, созданная в Германии в 1933 г., подчинила себе производство и прокат фильмов, в результате чего немецкая кинематография была полиостью поставлена под контроль нацистского государства.

42

Сегерстедт, Торгни (1876-1945) — журналист и историк. С 1917 г. был главным редактором «Гётеборгс Хандельс ок Шёфартстиднинг», где беспощадно бичевал нацизм.

холодные закуски (нем.).

Перевод С. Апта.

45

Мой любимый Ингмар, крепко обнимаю тебя, ты по-прежнему такой же худой? Клара *(нем.)*.

Арборелиус, Улоф (1842-1915) — шведский пейзажист.

47

Ханссон, Пэр Альбин (1885-1946) — журналист, известный политический деятель, социал-демократ. После смерти (в 1925 г.) Яльмара Брактинга стал председателем Социал-демократической партии Швеции, в 1932-1945 гг. — премьер-министр страны.

48

Ламм, Мартин (1880-1950) — известный шведский литературовед, профессор Стокгольмского университета.

49

Бергман, Ялмар (1883-1931) — выдающийся шведский писатель, автор романов «Маркуреллы из Вадчёпинга», «Завещание его милости», «Клоун Як» и др.

Муландер, Густав (1888-1973) — шведский режиссер театра и кино, актер. Наиболее примечательны фильмы «Интермеццо» (1936). «Невидимая стена» (1944), «Женщина без лица» (1947), «Ева» (1948), «Разведенный» (1951) — три последние по сценариям И. Бергмана.

51

Типично шведское блюдо из кусочков мяса, сосисок с картофелем и другими овощами.

52

«В твой день рождения я приду к тебе в гости на целую ночь» *(нем.)*.

53

Вигман, Мари (1886-1973) — немецкая танцовщица, хореограф, одна из зачинательниц современного экспрессионистского танца.

Имеется в виду Эресунд, разделяющий Швецию и Данию.

55

Хаммарен, Торстен (1884-1962) — шведский актер, режиссер, театральный деятель. Возглавлял Городской театр Гётеборга.

великая старуха *(англ.)*.

57

Лагеркранц, Улоф (род. 1911) — писатель, литературный критик. В 1951-1960 гг. возглавлял отдел культуры, а в 1960-1975 гг. был одним из двух главных редакторов крупнейшей шведской газеты «Дагенс Нюхетер».

58

Речь идет о фильме И. Бергмана «К радости» (1950).

хозяйка *(франц.)*.

подруга сердца *(франц.)*.

61

Шёман, Давид Харалъд Вильгот(род. 1924) — шведский режиссер, сценарист, критик, актер. Работал ассистентом у Бергмана. Первая самостоятельная постановка — фильм «Любовница» (1962). Далее поставил «491» (1963), «Одежда» (1964), «Постель для брата и сестры в 1782 году» (1965), «Я любопытна (в желтом)» (1967), «Я любопытна (в голубом)» (1968), «Вы лжете!» (1969), «Счастливчики» (1970), «Супруги Тролль» (1971), «Пригоршня любви» (1974) и др.

62

«Вермландцы» — музыкально-драматическое произведение шведского писателя Ф.-А. Дальгрена (1916-1895), история «деревенских Ромео и Джульетты».

«петух в вине» — национальное французское блюдо.

Грабов, Карл Людвиг (1847-1922) — шведский театральный художник. Его декорации в духе немецкой театральной живописи конца XIX в. отмечены псевдорсалистическим, романтизированным стилем.

65

Вальпургиева ночь — праздник весны, отмечаемый 30 апреля. Восходит к древнегерманским языческим традициям. Сейчас в основном студенческий праздник.

Дальбек, Эва — шведская актриса театра и кино. Стажировалась в Драматене, где дебютировала в 1941 г. в кино — с 1942 г. у Бергмана снималась в основном в комедиях: «Женщины ждут» (1950), «Урок любви» (1954), «Женские грезы» (1955), «Улыбки летней ночи» (1955), «У истоков жизни» (1958), «Не говоря уж обо всех этих женщинах» (1964).

67

Диктор Мабузе — герой фильмов знаменитого немецкого режиссера Ф. Ланга «Доктор Мабузе — игрок» (1922; в советском прокате — «Позолоченная гниль»), «Завещание доктора Мабузе» (1933), «Тысяча глаз доктора Мабузе» (1960). Бандит-безумец, одержимый манией величия.

68

Ион-Анд, Йон (1889-1941) — шведский художник. С 1927 г. главный художник-декоратор Королевской оперы. Считается одним из зачинателей кубизма в Швеции (в 10-с гг.). известен новаторскими работами в области театральной живописи.

профессия *(франц.)*.

Памина еще жива *(нем.)*.

71

Речь идет о фильме «Не говоря уж обо всех этих женщинах» (1964).

72

Я на вас в суд подам за этот проклятый фильм! *(англ.)*.

Здесь — это грандиозно! *(англ.)*

Имеется в виду Лоренс Оливье.

Речь идет о фильме «Двуличная» (1941, реж. Дж. Кьюкор), провалившемся в прокате и оказавшемся последним в творчестве этой выдающейся киноактрисы. Чем бы ни мотивировалось решение Гарбо отказаться от дальнейшей актерской деятельности — страхом перед старением, утратой популярности, крушением романтического идеала на экране, кризисом нравственных общечеловеческих ценностей, обостренным начавшейся войной, — решение это оказалось поистине драматичным и по-своему уникальным.

Здесь — пьяный бред *(нем.)*.

Под «социалистическим адом» здесь, конечно, понимается Швеция, которую многие западные политики и экономисты рассматривали (и рассматривают до сих пор) как страну «социалистического толка», избравшую «третий» путь развития (то есть смешанную экономику с большой долей государственных предприятий, хорошо развитую систему социального обеспечения и как итог высокий жизненный уровень).

верность произведению *(нем.)*.

всезнайка, умник *(нем.)*.

SÖNDAGSBARN © Cinematograph Fårö 1993 Norstedts Förlag AB, Stockholm

81

Сборник песен Альмквиста.

«Обнаженная красота» *(нем.)*.

83

ENSKILDA SAMTAE © Ingmar Bergman Norstedts Förlag AB, Stockholm

84

Букв.: Дубовое Гнездо *(швед.)*.

85

Роман шведского писателя XIX века Карла Юнаса Луве Альмквиста.

Название университетской библиотеки Уппсалы.